

Библиотека Казахской Литературы

М о р и с С И М А Ш К О

Колокол



УДК821(574)
ББК84Каз-44
С37

ВЫПУЩЕНО ПО ПРОГРАММЕ
«ИЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРЫ»
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Редакционная коллегия:

Каскабасов С.А. (*председатель*), Кул-Мухаммед М.А.,
Кирабаев С.С., Елеукенов Ш.Р., Исагулов Ж.И., Нургалиев Р.Н.,
Абдрахманов С.А., Исмакова А.С., Бейсенгалиев З.Г., Абдезулы К.,
Майтанов Б.К., Шаймерденов Е.Ш., Болтанова Ж.К.

Составитель **К. Отегул**

Симашко Морис

М37 Колокол. *Исторический роман; повести.* /
Морис Симашко. Астана: Аударма, 2011. – 568 стр.

Список книг серии “Библиотека Казахской Литературы”
утвержден Ученым советом Института литературы и искусства
им. М.О. Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты картин
художника **М. Кенбасва.**

ISBN 9965-18-339-2

УДК821(574)
ББК84Каз-44

ISBN 9965-18-339-2

© Издательство “Аударма”, 2011
© Иллюстр. “Музей современного
искусства”

Предисловие

Творческое наследие народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии КазССР имени Абая, премии им. И. Шухова СП Казахстана, журналиста, переводчика, эссеиста, публициста, писателя Мориса Симашко остается востребованным в современном Казахстане.

Книги Мориса Симашко «Повести Красных и Черных песков», «Искушение дабира», «Хроника царя Кавада», «Семирамида» и другие выходили более чем на 40 языках народов мира в ведущих зарубежных издательствах. За перевод его романа «Маздак» для серии «Библиотека мировых шедевров» писатель Ежи Литвинюк был удостоен Государственной премии Польши.

Дебютировал прозаик крупно и весомо: в журнале «Новый мир» в 1958 году была опубликована повесть «В черных песках» о послереволюционных событиях в Средней Азии. Свежесть взгляда, своеобразная стилистика поразили и заинтересовали критиков и читателей. Произведение было высоко оценено: А.Твардовский, Б. Лавренев отметили талант молодого прозаика.

Спустя всего два года в этом же журнале печатается новая повесть Симашко «Искушение Фраги», посвященная классике туркменской поэзии Махтумкули, жившему и творившему уже в XVIII веке. Затем один за другим стали выходить его произведения: «Искушение Фраги», «Емшан», романы «Маздак», «Искушение дабира», «Комиссар Джангильдин», «Колокол», «Семирамида», повесть «Гу-га». История и древняя культура Ближнего Востока, России стали неотъемлемой частью его творчества. Французский поэт и литературный критик

А. Боске отмечал, что писатель умеет передать в своих восточных сюжетах «фантасгармонию и великолепие среднеазиатских пустынь и связанные с ними полеты духа, рассуждения о вечности».

Каждая новая книга неизменно покоряли читателей точным знанием эпохи, массой резко очерченных подробностей и глубоким психологизмом.

Раскрывая глубоко и проникновенно правду человеческой жизни, писатель был убежден в том, что именно на этой, географически конкретно очерченной территории была сконцентрирована мировая история, складывались отношения между Западом и Востоком. Именно отсюда начинались великие завоевания и великие переселения народов, позже охватившие и Европу.

В романе «Колокол» Ибрай Алтынсарин показан сторонником европейской формы образования для казахских детей, никогда не забывающего о своем национальном достоинстве. Писатель был уверен в том, что в совмещении этих двух качеств и состоит ныне национальная задача казахов.

Султан Бейбарс, бывший раб, правитель Египта герой повести «Емшан» еще в десятилетнем возрасте, во время одного из многочисленных набегов с запада, был уведен и продан удачливому рабовладельцу, может оказаться выходцем из рода Берш. Это он остановил гуннов, которые грозили уничтожению египетской цивилизации. Лишь запах жусана – степной травы напоминал ему о далекой родине, о детстве. С этой небольшой повести, которая была переведена на 38 языков мира, по образному выражению А. Нурпеисова, начинается «запах «Емшана» в потоке истории.

Книги Мориса Давидовича Симашко – это увлекательное чтение. Оно построено на прочном фундаменте знаний мировой истории и цивилизации. Открыв первую страницу книги, читатель не расстанется с ней до конца.

Кадиша НУРГАЛИ,
доктор филологических наук,
профессор

ВСТУПЛЕНИЕ

Николай Павлович умирал. Он лежал и смотрел в посветлевший потолок своим твердым сосредоточенным взглядом. Вчера Мандт, исполняя данное еще полтора года назад обещание не скрывать в этом случае правды, предупредил его о неизбежности конца. Но он знал все уже без Мандта. Это знание пришло в ту минуту, когда адъютант штаба передал ему в среду под конец дня серый продолговатый пакет с сургучом и красными молниями по шву. Первый раз в жизни, прежде чем ровным движением разорвать конверт, он посмотрел на лицо адъютанта. Там было несколько оспинок – на носу и щеках. Прочитав донесение, он положил его на подставку для бумаг и сказал: «Иди, братец!» Потом прошел вниз, в свою комнату, и лег на узкую железную кровать. Так и лежал он со среды, не вставая и не принимая пищи. Только многолетний слуга-чухонец заходил к нему.

Ближние лишь знали, что Николай Павлович слегка занемог простудой перед масленицей на свадьбе у дочери графа Петра Андреевича и в великий пост не смог приобщиться святых даров вместе с семейством. Лейб-медик Мандт ничего тревожного не говорил, даже когда государь перестал принимать пищу. Ждали выздоровления, и все занимались своими делами.

Когда Мандт наедине подтвердил ему неминуемое, Николай Павлович велел позвать проститься импе-

ратрицу Александру Федоровну и детей. Ровным, твердым голосом он сказал цесаревичу: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете. Служи России».

Делал он все так из чувства того долга, которое было у него в прошлом. Слова выговаривались помимо него, он даже слышал их со стороны. И речь других людей тоже будто слушал теперь не он, а другой, неизвестный ему человек. Болезнь его была не простуда. Он хорошо знал, что если бы встал, как обычно, в зорю, и начал свой заведенный день, к чему привык еще много раньше – в саперной и инженерной службе, то все бы продолжалось и болезни никакой бы не было. Но продолжаться это не могло.

Впервые ощутилась неизбежность полтора года назад, когда, приехав в свою финскую Александрию на берегу залива, он приложил к глазу морскую трубу. Серые полосы резко приблизились, и он увидел красно-черные железные обрубки с трубами, из которых поднимался черный угольный дым. Они страшны были своей уродливостью. Нелепо торчали в стороны палки механических лебедек, и ни один парус не украшал моря и неба. Как бы не веря себе, он опустил трубу и оглянулся. Шпили Санкт-Петербурга, столицы его царства, были совсем рядом. Англичанин, в котором еще сорок лет назад почуял он угрозу себе, пришел к порогу самого его дома...

Все шло потом к этому концу. Он был неплохой инженер и понимал умом закономерность материальных законов. Синоп, когда лихой его адмирал ворвался в бухту к туркам и с громовым «Ура!» поджег их корабли, был последним свидетельством той русской особенности, коей считал он себя историческим выразителем. Случившееся затем происходило

уже в другой, непонятной ему плоскости. Дымящие густым самоварным дымом железные пароходы встали в морях империи напротив Кронштадта, Свеаборга, Севастополя, и тот же адмирал принужден был затопить свои белопарусные фрегаты у входа в собственную бухту. Победоносные до той поры армии стали почему-то топтаться у Дуная, а когда в поддержку султану англичанин и француз высадились в самой Тавриде, не смогли им воспрепятствовать. На своей земле русские склонили знамена на Альме, под Инкерманом и оказались заперты в Севастополе. В среду он узнал об Евпатории, где ничего не сделал и новый его командующий. Это и был конец...

Сейчас он лежал и думал, уже безучастный ко всему. Четыреста тысяч русских войск стояли в Европе, но и одного полка нельзя было взять оттуда. Австрийский и прусский дворы в союзе со шведами не пожелали даже принять на себя обязательств нейтралитета. Двоядушная Австрия, которую совсем недавно спас он от венгерской революционной гидры, сама придвинула двести тысяч войск к русской границе, принудив его уйти из дунайских княжеств. Как же это случилось?..

Некий немецкий родич – князек из умствующих не так давно говорил ему, вежливо приподняв плечи:

– О, Ваше Величество, существует выработанная человечеством от классических времен дипломатия, коей законами пренебрегать не следует...

– Говори прямо! – предложил он.

Князек, сам потомственный дипломат, не сбился с тона:

– Наука дипломатии не терпит однообразия даже в людях умудренных. Каждый период требует своего подхода, порой противоположного, и не может в современном государстве один и тот же человек вести дипломатическую политику на протяжении всей своей жизни.

Он воспринял тогда эти слова, как отголосок интриги против своего вице-канцлера. Так и не назвал

князек фамилию Нессельроде, что сорок лет уже вершил дипломатию России. Когда сразу же после известных событий, случившихся в его воцарение, решил он пойти на близость с Англией и Францией, граф Карл Васильевич послушно и со рвением осуществил все его предназначения. Потом же, после июльских потрясений в Европе, столь же радиво восстанавливал твердый дух священного союза против всепроникающего французского якобинства. Долг государя, от которого освободился он теперь, не мог позволить ему ставить в вину своему министру столь похвальную исполнительность.

Все делалось разумно и устремленно к цели успокоения в Европе, а следовательно, в российских интересах. Англия противопоставлялась Франции, а главная опора, как и положено со времен французских войн, была на Австрию с Пруссией, где порядок впрямую зависел от его своевременной помощи. Как же получилось вдруг, что не в одной Европе, а во всем мире не нашлось государства, которое бы стало союзником в трудный час. Вопль всеобщей ненависти раздается отовсюду по адресу России, тридцать лет охранявшей европейский мир. В Нессельроде ли дело...

Впрочем, и помимо Австрии или Пруссии со шведами не снять полков из Европы. Состояние мыслей в Западных губерниях таково, что лишь присутствие военной силы гарантирует порядок. Да и никак не умиротворен Кавказ...

Что-то непонятное ему вмешалось и положило предел. Ибо инженерно все делалось правильно. Держава, как и возводимое здание, покоится на расчетах и материале, соответствующем сим расчетам. Мог ли он здесь ошибиться. Сколько лет Россия в его лице одним лишь бряцанием победоносного оружия остужала недобрые страсти. И все вдруг оказалось тленом...

Тело не ощущало ни тепла, ни прохлады. Красноватый свет углей из камина нарушал серость ровного

февральского дня, проникающего в окна. Все здесь было просто и необходимо ему. Бумажные обои по стенам, кресло, стулья, диван. Рабочий стол, на котором портреты жены и детей, трюмо с полочкой, где склянка духов «Parfum de la Cour», щетка и гребенка. Мебель вся красного дерева с зеленым сафьяном. И еще на стене у трюмо шпага, ружье и сабля. Над спинкой кровати портрет великой княгини Ольги Николаевны в мундире гусар, которым она была шефом. Внутренняя дверь к лестнице наверх, в комнаты императрицы...

В Европе ходили разговоры о его сластолюбии – тут уж поляки постарались. Да и своих язвителей не пересчитать. Между тем, за многие годы была по-настоящему у него лишь некая фрейлина, с которой делил природные человеческие чувства. Постоянная болезненность жены объясняет его грех. Людям непристрастным известно, сколь заботливый был он муж и отец. Случались, правда, у него в краткие часы досуга некоторые амурные приключения, да разве не простительно это христианину, без остатка полагающему жизнь свою на благо подданных. Уж в разврате и разгуле, коим отличались его клеветники, его не обвинишь. Делалось это им пристойно, чтобы не вводить в соблазн других.

Все это было далеко сейчас от него, в той жизни, где исполнялся им долг. Ни одно чувство уже не владело им. Можно было взвешивать в холодной пустоте. Оставалось лишь недоумение...

Наверху камина, в серой ровности, куда не достигал свет углей, стоял единственный в комнате бюст человека, от коего всегда получал он нужный ответ. Не эллинский или римский то был образец. Кто, как не этот граф с нерусской фамилией, наиболее знал и представлял российскую славу. Под Аустерлицем отличился он, осаждал турков, лучшим был в войну Двенадцатого года. И по велению долга первым от русской гвардии тайно представил покойному брату-

государю свидетельство про то, что готовится среди взбудораженных заграничными походами умов. Александр Павлович не сделал тогда должного самодержцу вывода, оттого и произошли последующие события.

А уж после его воцарения этот человек принял на себя самую большую трудность, встав во главе важнейшего перед всеми отделения собственной его канцелярий. Все сошлось там: и тайный надзор за направлением умов и выявление делателей фальшивых ассигнаций, и отеческое наблюдение за стихотворцами. Была ли когда в России более кристальная душа, чтобы занять такую должность.

Да, не он один стремился к поставленной цели. Тесный строй сподвижников старше его опытом и годами сомкнулся за его спиной в памятный день возложения им на себя державного бремени. Он лишь олицетворял их волю, волю России. И когда произошли известные события, то их соединенная воля разметала ряды преступных людей, поднявших руку на само Отечество. Всем известно, что он пытался тогда удержать правосудие от крайностей. Но этот человек на камине настоял на употреблении позорной петли при казни наиболее виновных, явив пример спасительной твердости в государственных делах.

И прочие его министры все почти составили славу России, когда пришлось спасти Европу от узурпатора. Никто их лучше не мог понимать нужды отечества. Однако не одни лишь войны являли тридцать лет его царствования. Ученейший из русских людей кратко и всесторонне выразил цель, коей руководствовалась Россия в своем пути, указанном ей Провидением. Как чертеж в построении величественного здания российской государственности запечатлелись в уме его слова ревнителя просвещения, знатока эллинской и русской словесности, президента Российской Академии наук, графа Сергея Семеновича Уварова, кои высказал тот в докладе к десятилетию Министерства народного просвещения... «Посреди быстрого паде-

ния религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащий; собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. Без любви к вере предков, народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего ПРАВОСЛАВИЯ, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова. САМОДЕРЖАВИЕ составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия... Наряду с сими двумя национальными началами, находится и третье, не менее важное, не менее сильное: НАРОДНОСТЬ...»¹

Все продумано было в этом меморандуме, и стиль его лицетворил заложенные в нем мысли, вплоть до крайнего, завершающего абзаца: «В заключение всеподданнейше осмеливаюсь с умилением выразить пред Вашим Величеством, что я считаю себя, в полном значении слова, счастливым, что удостоился быть, в продолжении 10-ти лет, орудием Ваших высоких видов, исполнение коих не могло бы иметь успеха, если б непрерывное внимание Вашего Императорского Величества, Ваш опытный взгляд, Ваше драгоценное

¹«Русская быль» (Эпоха Николая I). Московское книгоиздательское товарищество «Образование», 1910, с. 115-118.

никогда не изменяемое доверие не осеняли меня и министерство на каждом шагу и во всех оборотах служебной деятельности».

Образцом высокой патриотической доблести служил сей документ в его царствование, выражая не приблудные и случайные, а истинно русские качества сердца, души и поведения.

Он не менял своих министров, которые встали рядом с ним в трудный день, как не менял и единожды поставленной цели во славу России. И коль умирали они на своих постах, не мог уже найти им достойной замены. Первым безвременно ушел тот, чей бюст стоял у него на камине. Граф Александр Христофорович Бенкендорф был старшим и опытнейшим из всех...

Нечто в собственных мыслях привлекло вдруг внимание Николая Павловича. Тогда, когда выполнялся им долг самодержца, это было в порядке вещей. Но теперь, получив возможность взгляда со стороны, он ощутил некое несоответствие. Почему вот уже тридцать лет иносказательно называется тот памятный день, когда безответственные умы бросили дерзкий вызов трону и порядку? Картечью были разметены они, а пятеро повешены затем на валу кронверка. Это было законное действие с его стороны, поддержанное всей здравомыслящей, приверженной порядку Россией. Зачем же теперь, отрешившись от всего, даже в мыслях упоминает он это, как «известные события»? И во все его царствование никто на людях не называл этот день иначе. Что означает такая формула: стремление забыть или нечто другое, в чем и нельзя признаваться?..

Тогда, провозглашенный только что государем России, стоял и смотрел он на площадь, где выстроилось каре бунтующих войск. В первый и последний раз воочию видел он тех, кто прямо угрожал ему смертью. Это осталось с ним на всю остальную жизнь, как было предчувствием до того. С ними был его постоянный

спор, хоть никогда больше – ни раньше, ни потом – они впрямую не поднимали на него оружие.

Да, так оно было, ежеминутно ощущал он проявления все того же смертного холода, который пахнул на него в тот декабрьский день от молча стоящего каре. И знал сейчас, что умирает от него, и не от чего другого.

В первый раз ощутил он этот холод в малолетстве. Дядька водил его на плац, где производился развод караула. Безмерно приятны были ему ровность и машинное движение солдатских рядов. Изо дня в день смотрел он на них, и детские сны его были об этом. Как вдруг сон разрушился, из постоянной одинаковости лиц выделилось одно лицо.

Было сделано не так что-то незаметное глазу. Фельдфебельские усы дрогнули, и утверждающий кулак в перчатке заходил где-то среди строя. Так происходило много раз, и еще маленький, он без напряжения смотрел на установление должного порядка в строю. И тогда выделилось это лицо: широкое, скуластое, с рыжеватыми бровями. Серые глаза разбойно потемнели, и фельдфебель, уже понимая, отдернул руку.

– Ну, ты... ты смотри!.. – закричал фельдфебель и вдруг побежал, разрушая ровность построения. Солдат гнался за ним, и из-под съехавшего парика трепалась на ветру русая прядь волос. Штык беззвучно вошел в поясницу фельдфебелю. Солдат смотрел, опустив руки, в посветлевших глазах его была отрешенность. На солдата навалились с разных сторон и увели...

Вцепившись дядьке в рукав, стоял он и дрожал от особого, впервые осознанного чувства. Множество раз видел потом он учения и разводы, сам участвовал в них. Солдаты исправно исполняли команды и принимали наказание с должной покорностью. С тем большим упорством ужесточал он дисциплину на учениях, стремясь выявить это непохожее лицо. Послушные его мановению колонны двигались в четком маневре, и начинало казаться, что солдат из детства только приснился ему.

Но снова и снова, в тысячах видов являлась угроза. Когда дерзкий стихотворец приписал ему и сподвижникам его смерть своего знаменитого собрата, вдруг остро ощутилась все та же холодная дрожь. Неправдой было это. Он лично покровительствовал покойному, дал ему соответственный порядку производства чин при своем дворе, оплатил его долги, а убийцу его изгнал навеки из России. Даже своего лейб-медика Арента послал после дуэли к умирающему. И, как знают все, погиб тот от арапской неровности своей натуры. Самого же обличителя постигла потом та же участь, вполне им заслуженная.

А еще отчетливо помнился ему приезд его до воцарения в Лондон с младшим братом Михаилом Павловичем. Наследник английского престола встречал их на набережной. Как только сошли они с корвета, он услышал звонкий голос:

– Гляди, гляди, Джек, кто же из них русским царем будет?

– Да вот тот, рядом с принцем Джимми. Который словно палку проглотил!

Веснушчатое мальчишеское лицо на столбе увидел он. Рыжие кудри трепал морской ветер, и в глазах была дерзкая веселость.

– Чего он глядит так на тебя, Джек? Уж не должен ли ты ему шиллинг?– не унимался другой, внизу.

В толпе смеялись. Он огляделся и увидел вокруг такие же веселые лица. Без всякой боязни смотрели и говорили они. С недоумением повернулся он к наследнику английского престола. Тот тоже смеялся и даже махнул рукой оборванцу на столбе.

Во Франции они так же вели себя, и дерзкая эта заносчивость таила лезвие машины, коей недавно отсекались там головы. С той, первой поездки ощутил он знакомую угрозу и всю жизнь противостоял ей, внимательно наблюдая за положением в Европе.

Такое нездоровое состояние национального духа противно было русской природности. Следовало

оградить Россию от того гнилого и разлагающего, что порождено было Западом, и в этом видел он свою задачу. Даже Турцию поддерживал он против греков и сербов, когда поднимали те руку на законные власти.

Четко определив необходимые для России понятия православия и самодержавия, граф Сергей Семенович не совсем уверен оказался в определении народности. Некая расплывчатость присутствовала в его словах... «Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие; но тот и другой проистекают из одного источника и связываются на каждой странице Русского царства. Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует НЕПОДВИЖНОСТИ в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста: черты изменяются с годами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий, если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию».

На твердом постаменте практики разрешал он со своими сподвижниками этот вопрос. Они знали свой народ не в плане философических упражнений. Множество раз присутствовал он при наказании солдат, когда командовал или был главным инспектором инженерной части. По фамилиям помнил он каждого рядового в силу удивлявшей всех памяти. Обязательно приходя всякий раз в госпиталь к подвергнутому экзекуции солдату, он спрашивал:

– Как чувствуешь себя, борец?

И тот, бодрясь и преодолевая боль, отвечал истинно по-русски:

– Так что благодарю за науку, Ваше Высокопревосходительство!

Не служебный то был ответ, а шло у претерпевшего от глубины сердца. Он досконально знал эту природную особенность, ибо, как радивый командир, слушал также разговоры солдат, не замечаемый ими.

– Нашего брата в строгости держать надлежит, – поучительно говорил как-то пожилой ветеран молодому рекруту.

– Мочи нет, дядя Филя, – плача жаловался тот. – Душу унтер вымает!..

– А ты знай свою линию – терпи. Терпение есть наивысшая российская доблесть... Тверд будь в бедствиях и все превозмогешь. На то и есть ты русский солдат!..

Бывши уже императором, он приказал ввести в полках науку солдатской доблести и любви к отечеству, преподаваемую молодым солдатам. А рекрута, выражавшего недовольство положенной строгостью, в тот же день наказал. Унтера же, выказавшего рвение в службе, поощрил.

Что значил единый увиденный в детстве взбунтовавшийся солдат перед этой массой примеров. Не она ли являла собой суть истинной народности. Прочее происходило лишь от принесенных извне идей и действий подстрекателей. Само слово революция – нерусское, и в народе это всегда называлось воровством.

Многократно любил он выслушивать рассказ про то, как русские кирасиры в четырнадцатом году входили в Париж. Цвет французов встречал их на Елисейских полях, дамы бросали цветы, восторженно махали платками. Солдаты же, перемигиваясь, с присвистом пели:

Доху я, доху я, доху я купила...

То была истинная народность, коей присуще державное презрение ко всему иностранному. Природная русская насмешливость выражалась в срамных словах на два смысла, выпеваемых в лицо многоумным французам. Наученный палкой русский солдат выражал свое превосходство пред ними, погрязшими в скверне революций...

Практическое понимание народной души позволяло ему повелевать людьми. Сумрачный петербургский день помнился ему, когда почерневшие от холеры трупы валялись вдоль улиц. Народ, прибив полицейских и высадив двери винных лавок, ловил и бросал в реку немцев и докторов, от которых будто пошел мор на Россию. Ему донесли, что уговоры не помогают. Тогда, чувствуя звон в голове от подступившей болезни, он сел на коня и въехал в середину толпы.

– На колени!– закричал он.

И тысячи людей, готовых к смертоубийству, пали на колени, видя в нем лицо той власти, которая одна только может принести им спасение.

Не те ли солдаты, коих держали в спасительной строгости, сокрушили узурпатора, а потом еще не раз удерживали Европу от торжества беззакония. На этот святой дух российской народности неукоснительно опирался он тридцать лет своего царствования. Что же произошло теперь? Отчего дымят иноземные корабли в виду Петербурга и беспомощны стали русские армии?..

В невидимой связи состоит это с тайным смущением, кое подавлял он в себе всю жизнь. Не он один – сами собой стали писаться и произноситься вокруг него лукавые слова. Не одни только «известные события» – на все, что делалось, имелись обязательно иносказания. Зачем же не называлось все прямо?

Нет, он не был трусом. То была лишь оставшаяся от детства нервическая болезнь, когда при разрывах фейерверка или обычном небесном громе закрывался он руками и впадал в бессознательное состояние. Проверяя себя, он в рост стоял на Дунае под турецкими ядрами. В холеру, когда умерли в три дня его брат и любимый фельдмаршал, он был среди смутившихся духом людей, заходил каждодневно в смрадные бараки, и только бог уберег его для некоей высшей цели. Не пуль и ядер боялся он и в тот день, глядя на стоящее пред сенатом каре. Опасность шла оттуда, куда

не достигал его ум. Отдельное лицо впервые увиденного солдата имело тысячи ликов.

От этого постоянного ощущения опасности были тайности его канцелярии. Год от года умножались ее отделения, призванные наблюдать за самими министерствами. Но и этого не доставало. По каждому делу образовывались секретные комитеты, о коих и вовсе никому не было известно даже из самых доверенных людей. Теперь он знал: когда делалось так, то больше всего опасался он не проникновения иноземцев в державную тайну, а непохожего лица солдата, увиденного в детстве...

Чего же испугался он тогда и боялся потом всю жизнь? Времени уже не оставалось у него. Но даже сейчас не решался он сдернуть тот последний покров, под которым таилась простая человеческая правда. В том была она, что хотел он удержать при себе неведомым путем определенную ему власть. Лукавым прикрытием было остальное. Все происходило от этой власти: бесчисленные комнаты его сгоревшего и вновь отстроенного дворца, парки и мраморные колоннады у теплого моря, леса для охоты, женщины, которых можно было беспрепятственно выбирать, и главное из всего – вера в собственную значимость. Под последним покровом оставалось то, что представлял он из себя на самом деле: среднего, завистливого к чем-нибудь выдающимся людям, по-мелкому злого и жестокого человека. Себе подобную одинаковость насаждал он в мире, так как на ней утверждалась сама возможность этой власти. В царство посредственной одинаковости стремился превратить он Россию, Европу, весь мир, ибо это свойственно серым, однозначным людям.

Но разум уже не повиновался ему, и в последние мгновения своей жизни он увидел все так, как оно было на самом деле. Тот солдат из детства не был единственным, и не случайно вглядывался он на учения в их лица. Все они были разными, даже лицо того унтера, которого поощрил он за строгость. Разными были они

у его жены, у адъютанта из штаба, передавшего ему сообщение о неудаче под Евпаторией, у прибирающего комнату чухонца. Дерзкий мальчишка-стихотворец, обвинивший его в том, чего он прямо не совершал, лишь выразил эту непреодолимую разность. Однако совершил ли он... это?

Будто разорвав серую паутину света, встало перед ним в особенной, никогда еще им не виданной яркости необыкновенное лицо, странно удлинненное книзу, с рыжеватыми завитками волос по щекам. Большие голубые глаза поэта серьезно и прямо смотрели куда-то мимо него. Пот проступил на лбу у Николая Павловича и потек холодными каплями к ушам и подбородку. С тоскливой ясностью понял он, что во веки будет проклят этой страной, которой правил столько лет...

Да, не он, а они оказались правы. Он мог бы сказать еще, как Россия при нем усилилась до того, что ни одно дипломатическое действие в мире не происходило без ее участия, что расширились ее пределы и новые языки и народы вступили в ее благодатную сень, что упорно и непоколебимо утверждался им среди этих народов свет российского гения. Но они знали нечто большее о своем народе, неведомое ему и его сподвижникам.

Это тот увиденный в детстве солдат, это они, непохожие, а не Бенкендорф и Милорадович, выиграла Отечественную войну. Под Севастополем спасали они сейчас то, что губил он тридцать лет – славу России. Все они в мире – разные: поляки и мадьяры, которых он подавлял, малороссы, чухонцы, горцы Кавказа. Между ними, непохожими, идет своя жизнь, не имеющая отношения к той жизни, которую он для них придумал. Не палка, а нечто другое, о чем в силу своей посредственности он не мог иметь представления, свяжет Россию с ними, со всеми другими людьми на земле. Ибо они, непохожие, и есть Россия...

Умер Николай Павлович по-русски, не издав ни стога.

ОКОЁМ

1

Знакомые пальцы мягко подергали его за ухо. Он открыл глаза, и дядька Жетыбай пошел к другим кроватям, трогая так за ухо каждого воспитанника. Дежурный унтер Галеев с рыжими усами стоял у двери, неодобрительно косясь глазом на потягивающихся, медленно одевающихся мальчиков. Фитили в лампах под потолком были выкручены до отказа и свет достигал всех уголков длинного спального зала, разгоняя темень морозного утра.

Так было заведено еще пять лет назад, когда открылась эта школа. Бии и другие ответственные люди из киргизов особо договаривались со старым генералом, что все здесь по возможности будет приближено к степной, аульной жизни, чтобы воспитанники не чувствовали себя одинокими. И когда в первое утро оба унтера – Галеев и Митрошин закричали по-солдатски и стали сбрасывать их за ноги с кроватей, многие очень испугались, а самый маленький – Жакып Амангельдиев, приехавший с ним от узунских кипчаков, убежал в степь, так что его едва нашли. Родичи, не успевшие уехать после праздничного открытия школы, захотели сразу же забрать обратно с собой некоторых мальчиков. Тогда Генерал Ладыженский твердо пообещал им, что унтеры будут следить лишь за порядком в школе и не станут заставлять их делать все, как в солдатской службе. А ему особо, из уважения к деду, разрешили оставить при себе дядьку Жетыбая на все время обучения в школе. Без этого он никак не соглашался оставаться в Оренбурге.

Дядьку Жетыбая даже приняли на службу при школе. Его определили смотреть за четырьмя юртами и всем

хозяйством при них, которое приобрели специально для воспитанников. Летом они могли, если хотели, спать в этих юртах, пить кумыс и ездить на лошадях. Каждое утро с тех пор дядька Жетыбай приходил будить его, как делал это дома после той страшной ночи, когда не стало отца. Вместе с ним дядька Жетыбай будил и других мальчиков...

Сначала в этот день все было, как обычно. Один за другим выходили они в умывальную комнату – каждый со своим куском мыла и полотенцем. Красной медью сиял огромный – выше человеческого роста – умывальник с красивыми чеканными завитушками у кранов. Туда была уже налита подогретая вода. Умывшись и приведя себя в порядок, они оделись, убрали постели, поели лапши с мясом и сухим соленым сыром – куртот, которую готовил им повар из татарской слободки. Начались занятия.

Мирсалих-ага, большой и строгий, в мундире с блестящими пуговицами и с подстриженной по-русски бородой, задал старшему – третьему классу переводить арабскую притчу о некоем человеке, который был беден, но благодаря богобоязненности и честности сделался богатым и уважаемым купцом в своем городе. Мирсалих-ага Бекчурин был ученый человек. Кроме них он обучал татарскому, персидскому и арабскому языкам старшие классы в Неплюевском кадетском училище и еще служил в Пограничной комиссии у Генерала. Говорили, что учителя Бекчурина вызывали однажды по важному делу в Петербург, к самому царю.

Быстро закончив свой перевод, он достал из-под стола русскую книгу и стал дочитывать историю про кузнеца, который летал на черте в Петербург и привез своей невесте золотые туфли, которые дала ему царица. Он второй раз уже читал эту книгу. Сидящий рядом Шамурат Кучербаев толкнул его ногой. Прямо над собой увидел он строгие глаза и большую бороду учителя...

Мирсалих-ага взял со стола его перевод, прочел и кивнул головой. Потом взял в руки книгу, тоже почитал. Чуть обозначились морщинки у его глаз, и сделалось ясно, что не такой уж строгий учитель, а только борода у него необыкновенная.

– Это интересная книга, бала¹, – сказал Мирсалих-ага. – Но даже самое приятное на свете делается в свое время.

Учитель всех их называл «бала». Он поспешно закрыл книгу, спрятал под стол и стал старательно списывать с доски завтрашнее упражнение. Учитель пошел к своему месту, но вдруг остановился на полдороге, посмотрел в окно.

На улице во весь опор проскакали всадники, что-то кричали. Прошло еще немного времени, хлопнула тяжелая входная дверь, послышались поспешные шаги. В передней заговорили громко и тревожно.

Никто уже не занимался, все смотрели на дверь. Она отворилась, и показался надзиратель школы Кукляшев. Он не заходил, а лишь кивнул учителю. Мирсалих-ага вышел. Происходило нечто необычное...

Учитель вернулся, лицо у него было бледным, но спокойным. Встав на кафедру, Бекчурин оглядел их каким-то особенным взглядом.

– Сегодня, дети, не будем учиться.

– Почему, мугалим? – спросил кто-то.

– Вам все скажут... Потом.

Мирсалих-ага махнул рукой, собрал свои тетради и ушел, от волнения загребая ногами. Они остались одни и не знали что делать. Первыми встали старшие, пошли к двери, выглянули в прихожую. Никого из учителей не было, лишь оба унтера – Галеев и Митрошин стояли возле комнаты дежурного служителя. На лицах у обоих тоже были растерянность и непонимание. Галеев погрозил им пальцем, они вернулись в класс и прикинули к окнам.

¹Мальчик, ребенок.

По большой Оренбургской улице, на которой стояла школа, туда и обратно скакали конные. Прохожие оглядывались на них, останавливались. Потом от Пограничной комиссии отъехали дрожки с Генералом. Знакомое лицо с жесткими бакенбардами было неподвижно, и глаза смотрели куда-то вверх, на крыши домов. Сзади скакали три казака с флажками на пиках.

Прозвенел, наконец, звонок, и они побежали из классного зала к шкафам с одеждой. Комната надзирателя была закрыта, в школе никого из взрослых не было. Наматывая на ходу башлыки, они повыскакивали на широкий школьный двор с прочищенными в снегу дорожками, и оттуда уже через дыру в заборе – на улицу...

Народу прибавлялось, люди собирались на углах. Сразу за высоким каменным домом Пограничной комиссии, к которому примыкала школа, стояли длинные казармы. Там, на плацу, строились солдаты, слышались команды и звуки трубы.

– Царь-то...

– Извели, говорят, заступника... Теперича что захотят с народом сделают!

– Известно, грамотеи...

Это говорили между собой люди, сошедшиеся из дворов по другую сторону улицы. Один – приземистый, крепкий – Тимофей Ильич, что гонял их всегда от своего забора, значительно покашливал в кулак. Дом у него был с фронтоном, резными ставнями и зеленой железной крышей. Его слушали, согласно кивая головами. Другой, видимо, прохожий, в нагольном полушубке, говорил громко, тонким голосом, размахивая руками:

– Государь-то волю хотел народу дать. Чтобы мужика из крепости, значит, в вольные перевести. Вот они его и того... Удавили, говорят, в самом дворце, как и родителя его Павла Петровича. Тоже за народ стоял...

– Не то, – твердо сказал Тимофей Ильич. – Немец, новый доктор царский, Мант по фамилии, подсыпал чего-то. Другой был, Арент, тоже немец, тот не

захотел. Так и его извели, чтобы сподручней было... И не в мужике дело. Как это можно его из крепости освобождать? Кто же тогда в России сеять-пахать будет? Мужик не казак, на хозяйстве не удержится, сразу в кабаки засядет... Тут другое дело, государственное. Измена, вот что.

– Как это – измена?– ахнул кто-то.

– А так. Чтобы в Крыму, значит, и прочее французу с турком отдать. Вот и купили кой-кого. Немцы да полячишки в России много власти получили. Опять же студенты эти, лохматые. Был в Казане, навидался...

– Что ж будет теперь-то?

– В Петербурге, сказывали, народ докторов бьет. Манта ищут. Как в воду, говорят, канул, только государь преставился...

От угла пришел городской в шинели со шнурком, прикрикнул на собравшихся:

– Па-апрашу не собираться... На-арод!

– Так мы так только, между собой, Семен Иваныч...

– Не велено без дела... Па-апрашу!

Народу все прибавлялось. Зазвонили колокола: сначала на большой соборной церкви, потом на Никольской и в слободках. Люди бежали к площади. Из широких казарменных ворот строем выводили солдат с ружьями. Офицеры на лошадях повели их на Губернаторскую улицу...

Лишь после обеда к школе подъехали две пары дрожек. Из них вылезли школьный попечитель Плотников, надзиратель Кукляшев и молодой ахун из слободской мечети. Воспитанникам приказали переодеться в парадную одежду. Они бросились надевать красные нагрудники, новые зеленые кафтаны с черным шнуром по краям, заправлять твердые коленкоровые воротники. С прутков над кроватями доставали меховые шапки-тюбе с красным шелковым верхом, надевали их все ровно – полпальца над бровью.

Красный бархатный занавес в зале у стены был раздвинут. Во весь рост стоял там на картине царь-

император в мундире с золотыми эполетами, с орденами и лентами на груди. Когда открывали так царя, он всегда смотрел на сапоги, с удивлением думая, каким образом художник смог так хорошо нарисовать идущий от них блеск. Сейчас оба школьных служителя и унтер Галеев прилаживали к картине широкую черную ленту, крепили ее булавками. Стоя по классам, они долго ждали.

– Что же вы, голубчики, замешкались!– негромко упрекнул попечитель.

– Сейчас только приказали, ваше высокоблагородие,– сказал Галеев.

– Вы же знаете. От Их высокопревосходительства предупредили,– тихо объяснил Кукляшев.– Не вызывать ненужных волнений...

– Да, да, конечно.

Ленту, наконец, укрепили, и попечитель Плотников, сделав шаг вперед, заговорил:

– Господа киргизские воспитанники, дети... Прискорбнейшая, надрывающая сердца истинных сынов Отечества весть пришла к нам из столицы. Скончался самодержец всея Руси, император Николай Павлович. В бозе почил... Вся Россия, все верноподданные народы ее скорбят о великой утрате. Ибо кто, как не сей государь, был первым их радетелем и заступником. И эта школа, в коей уроженцы дикой доселе киргизской степи вкушают сладкий плод от древа цивилизации, была открыта по высочайшему его повелению. Великим ревнителем просвещения был покойный государь...

Плотников говорил долго. Потом Кукляшев повторял это по-татарски для самых маленьких, которые не знали еще хорошо русского языка. А он стоял и думал, что же теперь будет. Может быть, школу их закроют?..

По-двое строем повели их через город в соборную мечеть. На улицах толпился народ. У губернского присутствия стояли конные солдаты и казаки. Городовые тащили через площадь пьяного. Он вырывался и кричал:

– Государя нашего, светлого... И помянуть-то христианским обычаем не даете, р-растакие!

В мечети и перед ней рядами стояли люди из татарской слободки. Были среди них башкиры в лисьих шапках, виднелись киргизские треухи. Все они не в пример людям на улицах стояли молча, словно бы ожидали чего-то....

Воспитанников провели в середину мечети, поставили на постоянное место справа. Здесь, впереди, находились самые значительные люди: губернские чиновники в мундирах, купцы в шелковых халатах с опушкой, известные своим благочестием старики. Среди чиновников был и Мирсалих-ага Бекчурин, их учитель. Он стоял чуть в стороне, поглядывая умными, прищуренными глазами на соседей. Старики с неодобрением смотрели на его необычную бороду.

Молитву вел домумлло Усман Мусин, главный ахун соборной мечети, который учил их три раза в неделю Корану и шариятским законам. Подняв как при молитве руки, он возвестил о кончине великого земного владыки-царя, чьи действия, как и действия всякой земной власти, были угодны богу, ибо все от него. Послушание и следование законам, в коем смысл правой веры, призывают оплакать того, чьи дни прекратились и молиться за утверждение нового владыки, столь же могучего, доброго и благостного к делам веры...

Мирсалих-ага произвел со всеми первый ракат молитвы, а потом стоял, не принимая в ней участия.

С книгой в черном с зелеными углами переплете он перебежал две улицы к офицерским домам, где жил учитель русской словесности Арсений Михайлович Алатырцев. Там, на казенных квартирах, жили почти все их учителя, состоявшие также и при кадетском училище. В одинаковых ровных домах из желтого кирпича еще не закрыты были ставни, и окна светились.

Он оббил в прихожей снег с сапог, отдал слуге Тимофею кафтан с башлыком, вошел в гостиную. Там

были люди, в основном знакомые ему: учителя из Неплюевского училища, офицеры-топографы и артиллеристы. Среди них сидел Мирсалих-ага Бекчурин, который дружил с Алатырцевым.

– А, это вы, Ибрагим... Тимофей, дай господину Алтынсарину чаю и булку!

Учитель русской словесности всех их, даже из первого класса, называл на «вы». Он уселся в своем углу возле шкафа с книгами, а они продолжали говорить – громко, как всегда, вставая при этом временами и подходя друг к другу.

– И тут явился дух времени, – с усмешкой говорил Дальцев – офицер с темным топографическим кантом на обшлагах. – Чего, кажется, естественней: смерть. Как сказано: «и цари ей причастны». И что же, чуть не сутки не решались объявить о том мешчанам и гарнизону, все ждали надлежащих разъяснений. Отсюда, как водится, и слухи дикие, и волнение в людях, которого как раз пытались избежать.

– Сама философия российского правления такова – ничего не говорить прямо, – заметил Алатырцев. – В самом очевидном деле надлежит найти некое иносказание.

– Холопство! – горячо сказал топограф. – Не суть тут даже само крепостное состояние. Мужик – он хоть на земле, какая она ни есть. Нет-нет, взбунтуется или самозванца отыщет. А вот дворовый холоп при барском доме – тут уж ничего не может быть подлее и безобразней. Пятки чесать, лгать, наушничать наперебой – и все соревнование в том, чтобы какой-нибудь объедок послаще со стола перехватить. О воровстве уж не говорю. Какое может быть у холопа движение души, кроме как половчей обмануть ближнего своего, да и господина при случае. Разве не все мы – холопы при сей форме человеческого общежития!..

– Господин поручик... Господа, в этот скорбный для России час. Над разверзтым гробом, так сказать...

Это просящим голосом произнес Куров, советник губернского правления, живущий в другой половине дома с учителем Алатырцевым. Он был старше других, с лысиной посреди седеющих волос, и всегда так говорил, удерживая других от резких слов.

– С каждым днем яснее ощущаем, будто ходим ногами вверх, – пожал плечами Дальцев, но голос понизил. – Да еще прямо так и говорится, что это и есть естественное состояние человека, во всяком случае россиянина. Весь мир думает неправильно, одни мы – молодцы. Нужно было крымское позорище, миллионное воровство до министров, чтобы хоть как-то ощутить это неестественное состояние!..

– Покойный государь неуклонно боролся с названным злом. Таковы, однако, люди... Достижений России, руководимой державной рукой, не отнимешь.

Другие гости сидели, не вступая в обострившийся разговор, пили пунш, приготовленный Тимофеем. Спорили теперь между собой лишь топограф Дальцев с Куровым.

– Э, господа, ничего не попишешь: Россия, – капитан казачьей артиллерии Андриевский добродушно-примирительно махнул рукой. – Вот скажите, доктор, вы не наш российский немец – подлинный, можно сказать. Как в германских землях: так же воруют?

Доктор Майдель, врач Пограничной комиссии, который заведовал также лечением воспитанников киргизской школы, серьезно покачал головой:

– О, господа, в Германии есть свой немецкий форофство. Только хитрый, – доктор поднял вверх палец. – Этот форофство не допускайт все форофать без разбор. Если так делать – то форофать скоро ничего не останется. Россия есть великий несчастный страна. Человек здесь добрый, честный, ошень честный. Так что, как говорят, хуже форофства...

– Вот, слышите, поручик! – засмеялся Андриевский. – Ну, а на другую от нас сторону? Что вы, господин

Бекчурин, скажете насчет сего предмета у мусульманских наций?

– Воруя. Аж дым идет!– засмеялся Мирсалих-ага.

Здесь Бекчурин был совсем свой. Хотя был он из оставшихся в правой вере, его тут больше любили, чем крестившегося по-русски Кукляшева, заведовавшего их школой.

– Здесь не отшутиться, господа,– грустно сказал Дальцев.– Историю не обманешь. Рано или поздно, а приходится отвечать по всему счету. Чем позже, тем счет неотвратимей. Позволять себя калечить столько лет, как позволили это мы, русские...

– Прошу прощения, господа...

Советник Куров встал, поклонился и при общей тишине ушел на свою половину дома. Капитан Андриевский подмигнул хозяину:

– Ну хоть не донесет. В нашем любезном отечестве это высшая аттестация порядочности!

Продолжали пить и говорить, потом стали расходиться. Так здесь было каждый вечер. Когда ушел и Дальцев, учитель Алатырцев взял у него из рук книгу:

– Прочитали?.. Интересно это для вас?

Они долго потом разговаривали. Алатырцев знал татарский язык и поэтому определен был к ним учителем. Однако говорил он с ними только по-русски. Как и Генерал из Пограничной комиссии, учитель Алатырцев расспрашивал обо всем из кайсацкой жизни, но не записывал в тетрадь, и только задумчиво покачивал головой.

Пришедший за ним Жетыбай сел у порога и слушал их. Дядька всегда приходил, когда он дотемна задерживался у Алатырцева. Когда они уже уходили, учитель, заложив пальцы за помочи под расстегнутым сюртуком, остановился перед шкафом с книгами:

– А вам, пожалуй, можно кое-что посерьезней из этого автора почитать, Алтынсарин. В российскую словесность вы проникли – дай бог некоторым из моих кадетских лоботрясов. Вот, возьмите.

Алатырцев поставил в шкаф принесенную книгу, дал ему другую, стоявшую рядом. На титуле было крупно обозначено «Мертвые души» – сочинение господина Н.В. Гоголя и мелкой прописью – «поэма». Он подумал, что это должно быть еще страшнее, чем про чертей и утопленниц.

На улицах стояли городовые, проезжали казачьи патрули. Пьяных прогоняли в слободки, выталкивали на задние дворы. Падал мягкий, пахнущий близким теплом снег.

Он пошел к Жетыбаю. Дядька жил в юрте на школьном дворе: утеплил ее, поставил маленькую татарскую печку, а жестяную трубу выпустил в шанырак¹.

Задерживаясь по вечерам, он не шел в школу, а оставался спать у дядьки Жетыбая. Это позволялось ему. В последний год его часто вызывали в Пограничную комиссию. Старший толмач Фазылов временами запивал и не справлялся с работой. Он тогда переводил все, что было необходимо, и писал по-русски подробные объяснения казахских слов. Сам Генерал похвалил его деду Балгоже, когда тот осенью приезжал в Оренбург.

Печка в юрте уже топилась. Солдат Демин в белой рубахе без пояса подкладывал в открытую дверцу печки маленькие, аккуратно нарубленные ветки. На краснеющем железе стоял котелок с кашей и медный чайник. Вкусно пахло разваренной крупой.

Года два уже как приходил к ним этот солдат – невысокий, плотный, с широко расставленными спокойными глазами. Его перевели по болезни из полка в госпитальную часть, и он остался в команде при Пограничной комиссии. Из своей казармы в соседнем дворе Демин шел к дядьке Жетыбаю, а часто и спал здесь, когда не случалось службы.

Дядька Жетыбай так и не выучился по-русски, и Демин был единственный русский человек, с кем он

¹Отверстие в куполе юрты.

мог разговаривать. Уж как это получалось у них, трудно было понять, потому что солдат тоже не знал по-татарски и тем более по-кайсацки.

Демин выложил на сковороду крупно нарезанное баранье сало и, когда оно зарумянилось, полил им разваренное пшено. Потом расстелил на кошме солдатское полотенце, поставил котелок, выложил деревянные ложки. Они принялись есть, слегка обжигаясь горячей кашей. Нигде он не ел так хорошо, как с Жетыбаем и солдатом. Потом они пили чай вприкуску с мелко наколотым казенным сахаром.

Придвинувшись к лампе, принялся он читать. Книга оказалась вовсе не о чертях, а про какого-то человека, который в своей бричке со слугой и кучером приехал в один город. Все почти там было, как у них в Оренбурге, но читать было интересно.

Почитав немного, он положил книгу на сундук и лег на свое место за печкой, где была постелена вчетверо свернутая кошма. Дядька Жетыбай прикрутил лампу, и они с солдатом начали свой нескончаемый разговор. Было тепло, приятно потрескивали дрова в печке, но он не мог уже спать. В груди стучало, будто что-то хотело вырваться и улететь. Такое иногда происходило с ним, а потом два-три дня ходил он потерянный, пугался всего, никого не хотел видеть.

– Только мы, значит, разделись, амуницию с себя сложили, чтобы искупаться, значит, тут в самый раз оно и случилось, – размеренно, не спеша рассказывал Демин. – Из-за деревьев, это, выезжают на лошадях. А он впереди – в каске, такой шапке железной, с орлом, глаза смотрят прямо и вроде не видят...

– Ца-арь!.. – в растяжку произнес дядька Жетыбай. У него выходило по-казахски. – Са-арь...

– Известно, их императорское величество, – подтвердил Демин. – Как закричит страшным голосом: такие, мол, растакие, морды, говорит, кто позволил разоблачаться? В черте Царского села.

Мы стоим в исподнем, замерли все. Их благородие, поручик Родионов, неробкий был человек, встал во фронт: так и так-то, мол, ваше величество, сам я дозволил артиллеристам искупаться, как они, значит, устали после маневров, пушки таскаючи. Тут их императорское величество вовсе осерчали, непотребное стали говорить. Нас повелели арестовать, поручика тоже: саблю отняли. На той же неделе по триста палок каждому вкатили и всех сюда, в степь...

Дядька Жетыбай покачал головой:

– Нехорош... палка.

– Шпицрутен называется по-русски. Небось видал и тут, в Оренбурге. С двух сторон бьют. Самое нехорошее дело. Все от нее болит, сама душа... А поручика Родионова за их дерзостное послабление к солдату, как он, значит, дворянин – на Кавказ, под Шамиля...

– Ца-арь!– опять протянул Жетыбай.

– Да уж...

Все смешалось у него в голове: речь попечителя Плотникова, уличный разговор, крики пьяного, которого тащили городовые, слова топографа Дальцева и размеренный рассказ солдата. И еще книга, которую начал он читать, как бы вплетала в себя все виденное и слышанное. Голос дядьки Жетыбая повторял: «Ца-арь!»

Дед Балгожа всегда замолкал и значительно прикрывал веки, когда называлось имя государя. Прочие казахи лишь хлопали глазами. Киргизская школа была открыта по именному повелению...

Ярко вспыхнул горячий летний день, навсегда оставшийся в памяти. Впервые их одели в одинаковую форму: темно-зеленые кафтаны со шнурами, красные нагрудники, стоячие белые воротники. Три султана-правителя, бии и самые значительные люди степи стояли толпой во дворе школы. Еще раньше приезжали два генерала и поп, который крестил пахнущие краской комнаты и картину с царем, вывешенную в

классном зале. Ахун соборной мечети Усман Мусин, их будущий учитель, начал совершать намаз, а гости из степи молились с ним вместе. Военный губернатор и прежний – хромой генерал из Пограничной комиссии с сопровождающими людьми молча ждали, пока все будет сделано по мусульманскому закону. Потом заиграл военный оркестр и пели гимн с пожеланием силы и здоровья царю. Гости из степи нестройно подпевали. Кукляшев на русском и татарском языках, а за ним ахун поздравляли воспитанников с открытием школы. По двое вели их в зал, где были расставлены столы для обеда. Такие же столы стояли во всех других комнатах. Губернатор с золотыми эполетами говорил громким голосом. Кукляшев слушал, склонив голову, и переводил, выкрикивая:

– Государь – отец своим верноподданным народам. Он надеется, что выучившиеся в этой школе люди будут честно служить в канцеляриях по управлению степью и будут полезны своим соплеменникам, неграмотность коих служит препятствием для познания и строгого исполнения российских законов...

Съев две ложки супа, губернатор уехал. На следующий день за татарской слободкой в больших котлах варилось мясо. Вокруг скакали джигиты, боролись силачи-палуаны. В последний раз сидели они, притихшие, со своими родичами, оставлявшими их здесь, в русском городе...

Он открыл глаза. Сухой жар шел от печки. За войлочной стеной, у самого уха, слышалось тихое равномерное шуршание – с вечера падал снег.

– ...Вот этот Потресов, барин-то медведевский, и говорит нашему барину: продай, мол, их на вывод, которые мастеровые, делу обученные. – Голос Демина не прерывался, был покойный, ровный. – Известно, фабрика у него, у Потресова, в Елецком уезде: лён бьют машиной. Да только по закону государеву нельзя уже было, чтобы от жены али от родителей сына отлучать. Тогда барин в управу: три тыщи, говорят, дал. Нас всех

и записали как, значит, бобылей и сирот. Зиму потрепал у Потресова лён – мочи нет, хочу домой. Родитель как раз помирал. Ну я и сбежал. В деревне уж поймали – и в солдаты. Набор в то время под венгерца был...

– Ай-ай, нехорош, – качал головой дядька Жетыбай.

Еще не раз просыпался он. Все падал и падал снег за стеной. Теперь уже говорил дядька Жетыбай:

– ...Ай, снега не было, все дождь. Потом мороз – трава пропала. Снег пошел, джут начался. Овцы пропали, лошади пропали...

– Мор, значит? – догадывался солдат.

– Джут, – соглашался дядька Жетыбай.

– Хуже нет для скотины, когда бескормица, – вздыхал Демин. – Отсюда и болезни на нее...

Потом солдат ушел. Дядька вовсе прикрутил лампу, лег. В груди уже не стучало. Все слышнее становилась тишина. Знакомое, черно-красное, увеличиваясь, наползало на него. Все силы он собрал, чтобы закричать...

Огонь запрыгал в стороне, остро запахло горящим войлоком. Черные полосы пробегали в красном небе. Кричать нельзя было ни в коем случае...

Широко ступая, шел к нему человек с бритой головой. Громадный, до звезд он был, и с отсвечивающей холодным лунным светом сабли стекала кровь. Тонкий детский плач дрожал в воздухе. Сердце перестало биться.

Человек подошел и, не опуская головы, посмотрел на него. Черные, закрученные на концах усы свисали по обе стороны рта. Глаза смотрели пристально, не мигая.

Чуть качнулась сабля в руке, в холодных глазах появилось раздумье. Уже не видя его, человек повернулся и, не выпуская из руки сабли, пошел назад, в степь. Все дальше уходил он, пока не растворился в неясном звездном тумане. И тогда только вырвался из горла протяжный, нескончаемый крик...

Дядька Жетыбай держал в руках его голову, гладил щеки. Лампа горела ярко, до блеска осветляя войлочный свод юрты. Дрожа, заливаясь слезами, прижимался он к жесткой, пахнущей дымом дядькиной ладони.

– Успокойся, бала, «он» больше не придет...

2

Это чувство осозналось неожиданно, так что он остановил подаренного дедом гнедого трехлетка. Слезши с коня, он сел на землю, глядя перед собой бессмысленным остановившимся взглядом. Подобное случалось с ним, когда следовало о чем-то серьезно подумать. Долго мог сидеть он так, не двигаясь, упершись взглядом в какой-нибудь кустик неподалеку...

Нет, не сразу появилось это чувство. И в прошлый и в позапрошлый приезд на вакацию домой, в узунские края, жило оно в нем, но не проявлялось еще с такой неустойчивой силой.

Половина времени уходила на дорогу. Но едва возок, который присылал за ними дед Балгожа, въезжал на школьный двор, как начинался переход в другой мир. Этим миром остро пахло от запарившихся, вздрагивающих от городского шума лошадей, от неразговорчивого возчика Нурумбая, от проехавшего полтыщи верст по степи возка-тарантаса, в колесах которого застряла цепкая сухая трава. То был впитанный уже им навечно горьковатый и сладкий запах дыма, молока, теплой пыльной шерсти, запах самой земли, жесткой и соленой, на которой росла эта вырванная железными ободьями колес трава.

Мир, который он оставлял, давал еще себя знать зримыми, осязаемыми образами: вынесенными для покраски во двор учебными столами, реестром сдаваемых на сохранение в склад казенных вещей,

солдатом Деминым, вышедшим проводить их до конца квартала. И еще сто верст в селениях и станицах напоминал этот мир о себе колодцами с круглым воротом наверху, желтеющими полосами пшеницы, песней людей, равномерно машущих косами. Когда же все это уплыло назад и началась ровная, с сухой травой степь во все четыре стороны, ничего больше не осталось от того, другого мира – лишь неясные блики без цвета и запаха. Он весь был уже здесь, в этой степи, частью которой состоял от рождения.

Поворачивая голову, он видел только ровную линию окоёма по кругу. Сколько бы они ни ехали, эта линия передвигалась вместе с ними. Тарантас неизменно находился в центре этого круга. Впереди, в светлых летних ночах, возникало из вечности кочевье его деда Балгожи.

Потом, как и в прошлые приезды, погрузился он без остатка в радостную, бездумную жизнь, которая причиталась ему от рождения в этом мире. Все вокруг было частью его самого: юрта матери с горой одеял на плоском, обитом цветной жестью сундуке, жгучее, кисловато-приторное кобылье молоко в деревянной чашке из ее рук, из рук бесчисленных тетушек во всех других юртах, звонкое ржание привязанных к аркану жеребят. Алтынколь – озеро в золотых камышах с полукружьем кочевья – было средоточием жизни. Ее неизменность определял властный и спокойный взгляд бия Балгожи, его деда, чье неоспоримое право на эту жизнь подтверждалось и из другого, призрачного мира с высокими домами, выложенными камнем улицами и другими людьми, не имеющими отношения к Алтынколю. В сундуке у деда лежал мундир с золотыми пуговицами и большим серебряным орденом, таким же, как у Генерала.

Был праздник по случаю их приезда. За сто и за двести верст, из других родов и кочевий,двигающихся от Тобола вместе с выедающим траву скотом, наехали

гости и родичи. Но главный спор был между своими. Кулубай – дядя его по матери выставил сразу трех лошадей из своего тургайского табуна – одинаково серых с черными хвостом и гривой. Соперник этого дяди во всем – Хасен – другой его родич по второй жене деда Балгожи, представил лишь одного гнедого – поджарого, с широкой грудью и тонкими ногами, из тех, от которых был подаренный ему дедом трехлеток. Всей душой переживал он за гнедого скакуна Хасена – не из-за масти, а потому что вел скачку на нем Нурумбай, джигит, приезжавший за ними в Оренбург. Всю дорогу этот молчаливый человек с черными усами на сухощавом непроницаемом лице как заведенный делал свою работу: расчищал место для ночлега, собирал топливо, раскладывал костер. Выходило это у него так, будто делалось само собой. Ночью Нурумбай тихо спал, но вдруг поднимал голову и слушал степь – светлую, полную шорохов. Их сопровождало пятеро казаков, но у Нурумбая было свое задание от деда по их охране.

С Идеге Айтокиным, приехавшим с ним на вакацию из школы, поскакал он на другую сторону озера, где была половина установленного расстояния скачки. Там, в степи, уже горячили коней сочувствующие. Скачка начиналась от холма у кочевья, огибала озеро и возвращалась с другой стороны. Он видел, как двое людей дяди Кулубая заехали в тугай. Столбы пыли вихрились у горизонта, стремительно приближаясь.

Джигиты завопили, заулюлюкали, пристраиваясь к скачущим и подбадривая своих избранников. По правилам никто не приближался к ним на длину аркана. Он тоже кричал и скакал со всеми, не выбирая дороги. Гнедой со свободно сидящим на нем Нурумбаем, вырвался на добрую четверть версты от других и шел мощным размашистым шагом. Ему хорошо было видно лицо Нурумбая, спокойное, без всякого выражения, как будто тот делал обычную свою работу. И вдруг все изменилось...

Не понятно было, что произошло, но Нурумбай уже поднимался с земли, зажимая рукой голову. Повязанный на ней платок быстро набухал кровью. Гнедой конь, хромая и кося глазом на тугаи, отходил в сторону.

Пронеслись две серые с черными гривами лошади Хасена, потом орущей, гикающей толпой проскакали остальные участники скачки. Кто-то из джигитов поднял с земли толстую, с обрубленными сучьями палку, лежавшую на дороге в двух шагах от тугаев, показал Нурумбаю. Тот, не сказав ничего, отвернулся...

Эту палку потом выбрасывал перед собой в сжатой руке Хасен, когда говорил перед аксакалами и уважаемыми людьми рода узунских кипчаков. Дородный, с выпуклыми глазами и мясистыми губами, он не прямо обвинял своего противника, а лишь настойчиво говорил о неких людях, бросивших березовый обрубок под ноги гнедого, чтобы не дать ему получить жулде – первую награду. Зато Кулубай, крепкий, широкоплечий, быстро и зло сверкая глазами во все стороны, кричал, что хорошо знает, кто подрезал ремни у лучшего из его серых аргамаков. При этом он тыкал рукой с зажатой в ней камчой в сторону Хасена и его сторонников.

Долго и рассудительно говорили аксакалы. Речь каждого придирчиво оценивали, смеялись в интересных местах, сочувственно цокали языками. Все знали, каким образом подрезаны были ремни и чья палка вылетела из тугаев под ноги гнедому. Дело было не в жулде, из-за которой ссорились теперь родичи. Награда лишь подтверждала другие, более высокие притязания.

Дед Балгожа, огромный, с необъятным животом под синими бархатными штанами, слушал с непроницаемым лицом. Потом лишь кивнул головой, утверждая приговор аксакалов. Русское ружье с серебряной насечкой и кобылица с жеребенком из табуна самого бия присуждалась владельцу серых аргамаков – Кулубаю. Не дело главы рода было вникать в мелкие

хитрости младших родичей. Аксакалы одобрительно покачивали головами, подтверждая мудрость бия. Оба дяди сидели боком к родичам и мягкими, как вата, словами жалили друг друга. С каждым его приездом повторялось это.

Не усидев на тое, пошел он бродить по аулу. В юртах было пусто – лишь женщины и совсем маленькие дети оставались тут. Все остальные сидели возле котлов – одни ближе, другие – дальше, третьи вовсе на отшибе, куда передавались миски с куырдаком – обрезками мяса, кусками печени и подбрюшья. Каждый знал здесь свое место и не было случая, чтобы кто-то из сидящих сзади полез вперед, к уважаемым людям...

Пройдя большие белые юрты у самой воды, он перешел через тугай на выгон, где вразнобой разбиты были жуламейки¹ табунщиков и туленгутов. Кое-где среди них тоже стояли небольшие юрты тех, в чьем доме была женщина. Он шел, заглядывая в незавешенные двери. Собаки, не поднимая головы, следили за ним спокойными глазами. В глубине серой с черным квадратом над входом юрты увидел он знакомого человека, лежащего на кошме.

Нурумбай повернул завязанную платком голову, приподнялся и сел, опершись спиной в прокопченные стойки. Мать его – совсем маленькая, как девочка, в стершейся от времени плюшевой кофте – вышла, постучала посудой и внесла глиняную миску с кислым молоком. Кумыса, как видно, у них не было, и молоко жидкое было и совсем кислое. Попив его, он тут только понял, что в доме ничего больше нет. Поблекшее ситцевое одеяло лежало на разохшемся, с широкими щелями, сундуке, кошма не закрывала всего пола, и виднелась голая земля. Было чисто и пусто.

Он сам не знал, зачем пришел к Нурумбаю. Тот сидел неподвижно и смотрел на него спокойно, как в дороге,

¹Небольшие походные шатры.

когда топливо было собрано, а лошади отпущены пастись. Что же привело его сюда? Он закрыл на минуту глаза и вдруг понял.

Тот, другой мир, в котором жил он уже пять лет, незримо присутствовал здесь вместе с ним. Какая-то связь была между приходом его сюда, громкими разговорами в доме учителя Алатырцева, бесконечными рассказами солдата Демина, заучиваемыми в школе стихами и даже той книгой, в которой расчетливый человек скупал мертвые души. Без всего этого он остался бы сидеть у котлов, где сидит бий Балгожа, дяди, аксакалы, все его родичи...

Уходя, он еще раз оглянулся на юрту Нурумбая. Черная квадратная заплатка над входом была пришита неровно, рыжей шерстяной ниткой. На сером войлоке выделялись еще пятна, где шерсть стерлась и требовала починки. Он посмотрел вокруг. Такой же выцветший войлок был здесь на других юртах в жуламейках. Раньше он не видел этого. И сейчас, кроме него одного, никто здесь ничего не видит. Из того, другого мира проистекало беспокойство.

Вскоре он забыл это все: ездил на своем гнедом по гостям в соседние кочевья, охотился с Нурумбаем, ловил арканом жеребят. Всюду ему было хорошо и, казалось, нет ничего на свете, кроме открытого во все стороны пространства. Но нечто таилось уже в нем самом, чего нельзя было избежать или исправить. И вот сегодня, когда ехал он в гости к очередному родичу, это осозналось сразу, как будто некая пелена спала с глаз. Все вокруг перестало сверкать, и с неудержимой силой потянуло его в тот, другой мир. Он слез с гнедого трехлетка и сел на землю... Нет, не думалось ему сейчас по порядку, как когда решал он задачу с дробями. Неожданность открытия потрясла его. Значит, в нем самом жили эти два мира: один – с матерью, родичами, дедом Балгожой – уравновешенный, вечный; и другой – с остро пахнущими краской столами, громко споря-

щими друг с другом людьми, новыми словами, книгой в черном переплете с зелеными углами. От того, другого мира, исходило волнение, избавиться от которого уже не было возможности.

В каком же мире предстоит ему жить? Если там, то как может он обойтись без матери и деда Балгожи, без того вечного, частью которого является. Но и без того, другого мира, он тоже уже не ощущает себя. В нем самая связь между этими двумя мирами.

Ему ясно увиделось, что не он один, а все узунские кипчаки, которые живут сейчас в белых юртах вокруг золотого озера, и те, что в черных юртах в жуламейках на выгоне, неминуемо соприкоснутся с другим миром. И беспокойство поселится в них, как сейчас в нем. Что будет с ними? В первый раз думал он об этом.

Медленней стал ходить он по аулу. На выгоне объезжали лошадей. Пожилой человек раз за разом садился на большого, с кровавыми глазами жеребца, и тот бил тяжелыми копытами о землю, так что все вздрагивало вокруг. Натянутые арканы не позволяли жеребцу дотянуться зубами до стоящих рядом людей. Жилы на руках их были вздуты, крупный пот скатывался по лицам. Потом коня разом отпускали, тот уносился в степь, вставал на дыбы, опрокидывался на спину, чтобы сбросить человека со своей спины. Когда это получалось, коня ловили с двух сторон арканами, и все повторялось.

Начиналось это с восходом солнца и заканчивалось, когда в ауле зажигались костры. Лица у людей были спокойны. Вечером они уходили в свои жуламейки и лежали там тихо, до утра. Так было всякий день. Четыреста пятьдесят лошадей продавалось осенью на Троицкой ярмарке из одного только табуна на Алтынколе. Продавали также объезженных лошадей в казну Хасен, Кулубек и другие его родичи.

Женщины доили кобылиц. Движения пальцев их, если долго смотреть, усыпляли. Время первой дойки

без перерыва переходило во время второй дойки. На темных сухих руках вздувались голубые жилы. Потом, когда кобылиц угоняли в табун, женщины били палками шерсть – ровно, без перерыва, час за часом. Шерсть скатывали, как тесто, в мокрые тяжелые комья, ее мяти валками, выдавливая цветные узоры. Жилы на руках у женщин делались бурыми. Кошмы везли потом на ярмарку.

Вспомнилась книга для народных училищ, откуда заучивали они тексты... «Беспечные номады проводят время в праздности и играх». Так там было сказано.

Беспокойство продолжалось...

Теперь он считал дни до отъезда. Отчетливо виделись каменные квадраты другого мира, явственно звучали слова. Он вдруг осознал, что когда учитель Алатырцев или топограф Дальцев и даже Мирсалих-ага говорили в пылу спора: «мы, русские... наши российские порядки», то про себя он повторял это за ними. Как же так, если оставался он узунским кипчаком? И как быть с бесчисленными тобольскими, ишимскими, тургайскими, уильскими кочевьями?..

Семь поколений предков твердо знал он наизусть, как всякий казах. Это оставалось в нем навечно. Мир узунских кипчаков не отпускал его. Он ощутил это уже незадолго перед отъездом...

За много дней говорили, что знаменитый Марабай теперь в урочище Тересколь – у соседей. Он ждал приезда певца, потому что все равно ему нечего было уже делать. Лишь заинтересовало, что этот прославленный Марабай, несмотря на свою известность в кочевьях, его курдас – однолесток.

Марабай приехал к полудню в сопровождении большого сурового родича, одетого, несмотря на жару, в зимний чапан. Худенький, с тонкими руками мальчик важно сидел среди взрослых, но, когда кончились приветствия, побежал к озеру и предложил ему сыграть

в асыки¹. Они играли, а Марабай, тараща большие черные глаза, рассказывал про своего коня, который, как конь Тайбурыл у Кобланды-батыра, легко перепрыгивает через самую широкую реку. Говорил мальчик и про непобедимого борца-палвана из его рода, про лук, стрела которого пронзает сразу двадцать человек, и про многое другое, как любой аульный мальчик, попавший в чужое кочевье. А он все думал, что же рассказать в ответ: про школу или про Генерала из Пограничной комиссии, которого все боялись? Но Марабай этого не поймет, а рассказывать про коней, которые перепрыгивают реки, он теперь уже не мог...

Все сразу переменялось. Мальчик с черными глазами стал вдруг расти, тонкие руки его повелительно управляли временем, лоб осветило страдание. Тучи чернее самой черной ночи закружились над степью, обгоняя встающее солнце, а вместо дождя из них сочилась кровь. И забыв пять лет своей жизни в другом мире, он мерно качался в такт со всеми, и слезы текли у него из глаз, заливая лицо и землю. Все узунские кипчаки, от мала до велика, плакали вместе с ним, и с ними плакали предки...

В год Великого Бедствия это случилось. Там, где встает солнце, как случалось уже не раз, раздвинулись горы, и красноглазая Смерть ринулась на кипчаков, аргынов, кереев, найманов², обитавших в этой своей вечности от сотворения мира. Некий многорукий бронзовый Идол жил за горами. Он не спрашивал, не предлагал, а лишь прекращал жизнь. И ужас, непонимание смерти бились в тонких пальцах акына, в синей жилке на его тонкой шее, в высоком детском плаче, в жесткой траве, вздрагивающей под порывами сухого, горячего ветра:

О, что за время пришло – время страданий!

Птица счастья покинула нашу горькую степь.

¹Игра в кости.

²Казахские племена.

Люди бегут из родных мест, как развеянные бурей птицы,
Холоднее лютых буранов оставляемый ими белый след.

О, что за время пришло – время скорби великой!
И нет просвета в безбрежности времен...

А потом акын Марабай пел другую песню, как сорок батыров из степи скакали на помощь Казани – жемчужине веры, осажденной капирами¹, и приняли там смерть. Опять со всеми качался он в такт горестной музыке, радовался победам и плакал над неудачами предков. Да, он был узунский кипчак и не мог стать кем-то иным...

В ночь после песен Марабая опять приходил к нему Человек с саблей. Нельзя было кричать. Огонь прыгал в стороне, черные широкие полосы пробегали в красном небе. С мерцающей холодным блеском сабли стекала кровь.

Человек смотрел на него долго, не опуская головы, потом повернулся и пошел, сливаясь со звездами. Знакомые теплые руки гладили его голову, плечи. Не переставая протяжно кричать, он прятал лицо на груди у дядьки Жетыбая, и мать плакала, причитала, стремясь успокоить его бьющееся в судорогах тело. Дед Балгожа в белой ночной одежде печально смотрел на него от дверей юрты...

Этого не могло быть. В ту ночь, когда убили отца и братьев, дядька Жетыбай спрятал его в дальней жуламейке за выгоном. Никто не приходил туда с саблей. И этого человека не могло тогда тут быть, потому что, когда люди его напали на род узунских кипчаков, тот воевал с киргизами где-то на другом краю степи.

Наверно, рассказывали ему все это, и с тех пор, где бы он ни находился, наступает время, когда приходит к нему Человек с саблей. Только дядька Жетыбай

¹Неверными.

может тогда его успокоить, и еще три дня боится он всего, дрожит и убегает от людей.

Перед самым отъездом уже дед его – бий Балгожа собрал совет рода узунских кипчаков. Сам дед сидел на двух подушках в суконном полковничьем мундире с эполетами и большим серебряным орденом. Но шапка и штаны на нем были казахские. Ему дед приказал тоже надеть парадную школьную одежду с серебряными пуговицами и жестким коленкорovým воротником. И посадил его бий Балгожа рядом с собой, у правого колена.

Сразу побагровела шея у дяди его Хасена, сузились и совсем перестали быть видны глаза и губы у другого дяди – Кулубая. Они первыми сидели к деду – по правую и левую его стороны. И еще мулла Рахматулла пробормотал что-то, отвернувшись. Другие молча смотрели перед собой, никак не выказывая своих чувств. Приехавшие с ближних и дальних кочевий, все они были его родичи: прямые или нагаши – родственники по матери. Кипчаки все находились между собой в родстве, и за каждым сидящим здесь уважаемым человеком была его родня в белых юртах, и в черных, и жуламейках за выгоном. Нурумбай приходился родичем дяде Хасену, чьих лошадей объезжал. Дядька Жетыбай, приставленный к нему от рождения, вовсе не имел жуламейки и жил при юрте деда Балгожи.

Все говорилось, как водится: какими путями возвращаться кочевьям на кыстау – тобольские зимовья, об угнанных барымтачами¹ лошадях. И еще про затобольские земли, где селились капиры-переселенцы. Эти земли принадлежали узунским кипчакам, и двадцать лет назад бий Балгожа отдал их по договоренности в казну. Теперь там в ряд стояли дома с колодцами посередине улицы, а узунским кипчакам невозможно было выгонять скот на ту сторону реки в пойменные тугаи.

Дядя Кулубай первый напомнил об этом. Не прямо, а говоря совсем о другом. В старину, рассказывают,

¹Конокрады.

кипчакские кони могли скакать день, ночь и еще день без отдыха. На то есть свидетельства в песнях акынов. Теперь же редко какой конь продержится даже день и половину ночи на ногах. Все вздыхали, слушая, поддакивали, соглашались. Получалось, что как раз в затобольских лугах паслись прежние кони, не знающие усталости. Сверкая глазами, кричал дядя Хасен, что казахам было завещано не трогать земной покров, не будоражить кости предков. Все кипчакские беды оттого, что капиры ковыряют железом землю. И еще звон беспокоит лошадей, когда стучат орысы в медные колокола. Кобылы перестают доиться и молоко скисает, делается горьким. Все согласно кивали головами.

Большое теплое колено деда ощущалось за спиной. Он понимал, отчего происходит недовольство родичей. Их искоса бросаемые взгляды скрещивались на нем, сидящем у места, откуда правят родом. Ничего здесь не делалось даром, и городская одежда его с серебряными пуговицами особенно раздражала родичей.

Не к лицу было баю Балгоже замечать понятные всем чувства племянников. Трубным, как у диких гусей, голосом им отвечал аксакал Азербай. Да, хуже и слабее делаются кони у кипчаков, и нет в них прежней выносливости. Мельчают не только кони, но и люди. Стоит лишь посмотреть, что сделалось с танабугинскими, турайгырскими, кульденянскими кипчаками, актачинскими аргынами, матакайскими керееми. На путях кочевий их отобраны лучшие земли в казну. Приходится им со всем своим скотом обходить стороной, по бесплодным солончакам, построенные там русские селения. Путь получается длинный, а корма на нем мало. Узунские кипчаки, избежали этого, отдав бросовые пойменные земли, и пути их кочевий всегда свободны. Мудрость бия Балгожи служит источником их благосостояния и хорошего отношения к ним начальства. Всем известно, что сам Генерал в Оренбурге не делает чего-либо, не выслушав его совета. Когда произошло несчастье и джигиты Кенесары – Аблаева внука напали

на их кочевья, то были отправлены солдаты с пушками для их защиты. Иначе всех бы узунских кипчаков постигла судьба Алтынсары – Ибраева отца и других погибших в ту ночь. На переправе, когда хотели спасти табуны, убили их соилами¹, а потом искали по всему кочевью и убивали их сыновей. Один лишь внук по прямой линии остался у бия Балгожи, и место здесь его по закону, у колена бия.

Правильно все делалось в роду узунских кипчаков в эти трудные годы. Но есть некие люди, которым не по душе мудрость и здравомыслие. Подметные письма посылаются от них начальству о будто бы незаконных наших действиях, и нарушается спокойствие. Нанимая людей из капиров для этого недостойного дела, они уподобляются неразумным волчатам, приводящим охотника к своему логову. Мы знаем, как, обвиняя нас, они водят дружбу с приставом в Новониколаевске, пьют с ним запретные для правоверного напитки и продают через него украденных в соседних кочевьях лошадей. Известно также, что некие другие люди покрывают конокрадов, получая от этого прибыль. Случившееся прошлым летом убийство трех человек при барымте – их рук дело.

Кулубай осуждающе покачивал головой, Хасен фыркал, потрясал кулаком от возмущения такими действиями. А он чувствовал колено деда и понимал свою обязанность перед миром, от которого произошел. Посадив его здесь, у своего колена, дед выразил свою непререкаемую волю.

А мыслями он был уже там, в другом мире. Всю дорогу, примолкший, не играл он на привалах с другими воспитанниками, которые возвращались с ним в город. Идеге Айтокин плакал первые три дня пути. Но он сидел на облучке и смотрел вперед, туда, где, постоянно отдаляясь, виделась линия, отделяющая землю от неба. Лишь когда въехали на большой

¹Длинная палка с заостренным концом.

школьный двор и дедовский тарантас собрался в обратный путь, он подошел к Нурумбаю, взялся за его руку и постоял, не выпуская ее...

3

А город сделался совсем другим. Он ходил по улицам, смотрел на людей и все видел словно бы заново. Каждый разговор, событие, услышанное слово не просто принималось им, но поверялось из того мира, откуда он вернулся. Делалось так само собой, необдуманно. Оба мира скрестились в нем, и он знал, что это только начало для рода узунских кипчаков. Многорукий бронзовый Идол из песни акына Марабая холодно позванивал с другой стороны, и Человек с саблей задумчиво уходил в звездную ночь...

Первый человек, преобразивший этот мир, был небольшого роста, рябой, с кустистыми светлыми бровями и очень крепкий. Как-то в воротах школы застряла бочка с водой. Возчик Евдоким, дядька Жетыбай и прохожий солдат старались сдвинуть тележный передок в сторону, чтобы освободить створ ворот. Господин Дыньков стоял на крыльце и недовольно смотрел на них. Потом сбежал и, не снимая мундира, один взялся рукой за выпирающее сзади бревно. Что-то скрипнуло, бочка с водой приподнялась и колеса покатали по земле...

Появился в школе господин Дыньков как-то незаметно. Просто ходил целый день по коридорам и во дворе какой-то человек в мундире, а вечером остался в школе. Он пришел в спальную комнату, сел на табурет у окна и заговорил вдруг по-казахски. Совсем как кипчак он говорил, как никто не умел из известных им русских людей.

– Вы только спите здесь, дети?– спросил он.

– Нет, мы еще пишем и читаем вот у этого большого стола,– объяснил Миргалей Бахтияров, чья кровать стояла с краю.

– Ты откуда?– спросил у него этот человек.– Из какого рода и кто ты?

– Я Западной части, сын сводного брата султана Баймухамета,– объяснил разговорчивый Миргалей.– Двоюродный брат мой Баймухаметов учится в Неплюевском училище, а еще один брат у губернатора служит...

Незнакомый человек по очереди спрашивал всех, из какого они рода и сам называл их родичей.

– Так ты внук Балгожи?– переспросил он.– Каково здоровье высокочтимого бия?..

Даже Хасена и Кулубека он знал и справился о их благополучии. Потом долго и подробно рассказывал о себе, как служил на Орской таможне. Хитрые бухарцы много лет провозили к себе краденое на приисках золото, и никак нельзя было их поймать. А вот он поймал. Ходил возле каждого каравана, который направлялся в Бухару, и догадался. Один купец, Мадмин-ака, все хвалил мед у башкир и всегда угощал им таможенников. «Ай, посмотрите, воистину золотой мед!»– не уставал восхищаться бухарец, всякий раз увозя по двадцать-тридцать бочонков к дастархану самого эмира. Мед и вправду оказался золотым. В каждом бочонке был золотой песок. Крупинки его обволакивались медом, и трудно было что-нибудь заметить, даже если вылить мед на тарелку. Дома, в Бухаре, оставалось только промывать этот песок...

Собравшись вокруг, все они цокали языками, удивляясь бухарским хитростям. Никто так и не спросил, зачем этот человек пришел к ним в школу.

Наутро приехал попечитель Плотников, их построили перед портретом нового государя. Незнакомый человек находился тут же.

– Вот, господа киргизские воспитанники, ваш новый надзиратель, коллежский советник господин Дыньков Алексей Николаевич. Надеюсь, что его опыт и, так сказать, направление чувств помогут в достижении целей, поставленных перед школой...

Они стояли и удивлялись. После важного, дородного Кукляшева новый надзиратель выглядел очень уж просто, как какой-нибудь нижний чин или простой человек, сам себе покупающий на базаре еду. Получилось так, что с первого раза начали его называть не «господин надзиратель», как Кукляшева, но и не по имени и отчеству, как русских учителей, а «господин Дыньков». Через несколько дней в большом крытом рыдване приехали его мать, жена и три девочки с такими же круглыми лицами и толстыми светло-желтыми, как из соломы, косами. Оба унтера, солдат Демин и дядька Жетыбай снимали узлы, сундуки, корзины и носили в надзирательскую квартиру. Их никто не звал, но все воспитанники стали помогать.

– Отдай Таську, я сама понесу!

Маленькая девочка отобрала у него корыто с куклой, которое он нес, принялась кутать и качать ее: «Бай, Тасинька, бай, ручки-ноженьки небось устали лежать от самого от Орского, глазки запылились...»

Уже на второй день после появления в школе господин Дыньков сказал им, чтобы убрали с видного места кумганчики и большой медный таз с водой для омовений, которые стояли в умывальной комнате.

– Унесите их в баню, дети, – сказал он. – Кто захочет – там возьмет.

И в прошлом, и в позапрошлом году сам попечитель предлагал убрать отсюда все необходимое для омовений. Унтер Галеев по приказанию Кукляшева уносил это во двор, под крыльцо, но они всякий раз приносили обратно, и кумганчики с тазом оставались стоять здесь, как во всех домах у правоверных людей в слободке. Теперь они без всяких разговоров унесли замызганные кумганчики. Некоторые по надобности ходили за ними в баню, другие и вовсе перестали соблюдать омовения.

Домулло Усман, учивший их правоверному закону, заметил это и спросил у господина Дынькова, почему

не позволяет тот производить омовения. Надзиратель замахал руками:

– Что вы, уважаемый Усман-ходжа, ни боже мой. Пусть делают как хотят!

Однако кумганчики с тазом так и остались в бане.

В следующий раз домулло Усман упрекал господина Дынькова за длинные волосы у некоторых воспитанников. Из татарской слободки приходил по четвергам специальный человек Мустафа, чтобы брить им головы в положенный срок. Миргалеи Бахтияров и Кусваков всякий раз прятались от него. Они потихоньку ходили танцевать к юнкерам в Неплюевское училище и бывали на представлениях в Дворянском собрании. У Бахтиярова имелась даже городская одежда с длинными узкими штанами со штрипкой и остроносими полусапожками. В них он был совсем как чиновник или учитель.

– Не могу им сего запретить, господин Мусин, – строго ответил на этот раз господин Дыньков. – Извольте заметить, что офицеры и чиновники из магометан носят волосы. По службе это разрешено. Нашим лицеистам тоже предстоит служить. Мое дело проследить, чтобы все было в пределах.

Домулло Усман лишь сердито моргал глазами. После этого все в школе стали отпускать себе волосы. Мустафа перестал ходить в школу, а вместо него приходил Кухнер, отставной солдат из кантонистов, подстригающий мещан и чиновников.

Он тоже начал отращивать себе волосы. У солдата Демина было надколотое зеркало на подставке. Оно стояло на сундуке в юрте у дядьки Жетыбая. Подолгу смотрелся он в желтоватое стекло. Сизые уродливые шрамы становились все виднее среди черных жестких пучков волос. Это был когда-то у него таз – аульная болезнь, от которой выпадают волосы. Солдат Демин, бривший всегда голову у дядьки Жетыбая, брил теперь и его, осторожно обходя шрамы.

Но самая большая ссора между домулло Усманом в господином Дыньковым произошла из-за уразы¹, когда целый месяц нельзя правоверным есть от восхода до заката солнца. Накануне надзиратель приказал повару Билялетдину, который готовил для них приличествующую мусульманам еду, готовить на завтра полный обед. Продукты были выданы в кухню на весь день, как в обычное время. Билялетдин, видно, сразу же побежал в слободку, потому что домулло Усман приехал в школу задолго до начала занятий. Он самолично присмотрел за их утренней молитвой и, пока они завтракали, прохаживался по коридору. Потом старик уехал, но часа через два вернулся. Из кухни пахло пловом, и проникающий в классы запах дразнил ноздри.

Они не слышали начала спора, но во время перерыва видели, как разгоряченный ахун-домулло махал руками. Господин Дыньков мягко говорил ему по-татарски:

– Все вы правильно сказали, Усман-ходжа, и уразу обязан чтить и блюсти всякий человек, приверженный вере. Однако сказано у пророка о слабых, болеющих и убогих разумом, к коим допустимы послабления. К ним же причтены несовершеннолетние.

– Не сказано в книге о несовершеннолетних! – громко возражал ахун-домулло.

– Прямо не сказано, но есть разъяснения.

В последний перерыв из открытой двери надзирательской комнаты доносились несколько голосов. Из слободки пришли ученые старики-улемы и спорили между собой. Слышался и голос господина Дынькова:

– Несовершеннолетние, когда вдалеке от дома, не есть ли слабые...

Вправду сказать, все они, как обычные казахи в аулах, не удерживались в пост от еды. Лишь тут, в школе, их стали учить законам веры. С вечера они припрятавали куски и днем жевали, не попадаясь на

¹Мусульманский праздник с постом.

глаза домулло Усману. Был еще Мирсалих-ага Бекчурин, но все знали, что он, как и другие городские люди, не соблюдал уразу. На этот раз они по одному, по двое пошли в столовую. В конце коридора стоял домулло Усман, но ничего им уже не говорил.

На следующий день его позвали к Генералу. Старый толмач Фазылов по случаю уразы еще до восхода солнца выпил припасенной водки и теперь кричал и стучал в двери гауптвахты при комиссии. Толмача, когда начиналась у него горячка, запирали там по приказу Генерала.

Ему же, как обычно, поручили перевести на русский язык большую жалобу. Она была написана от каких-то людей из Западной части Орды татарскими, казахскими и арабскими словами. Все же он разобрался в конце концов. Получалось, что султан-правитель Западной части подполковник Баймухамет Айчуваков отобрал скот у какого-то уважаемого человека по имени Тлеген, а сам дружит с хивинцами и принимает от них подарки. Так всегда писали русским властям, когда жаловались на утвержденных правительством султанов или управляющих родами: из Восточной и Средней части писали про бухарцев и кокандцев, а из Западной – про хивинцев.

Дверь из генеральского кабинета была открыта, явственно слышались голоса разговаривающих там людей.

– Нужно ли сейчас, ввиду происходящих событий, обострять таким образом отношения с инородцами, Алексей Николаевич. Вы же опытный человек и знаете: магометане весьма чувствительны к подобным действиям. Сразу же начнутся разговоры.

Голос был чей-то незнакомый, не генеральский. Он знал уже, что «происходящие события» – это война в Крыму с турками, французами и англичанами. Потом он услышал голос господина Дынькова:

– Помилуйте, Евграф Степанович, моей вины тут нет. Все по доброму согласию.

– Не вина тут, а так сказать... политика, – перебил его первый голос. – Ахун соборной мечети господин Мусин – лицо положительное. Далась вам эта ураза, Алексей Николаевич. С расчетом ведь открывалась школа. Пусть остаются при своем, абы верные слуги царю выходили.

– А я так мечтаю, Ваше Превосходительство, что все сии хитрости только делу вредят. – В голосе господина Дынькова слышалось упрямство. – Коли хотим мы киргизцев и прочих навечно под российскую руку взять, то и надо это прямо делать. Обман да заигрывания они сразу почуют и на него свой обман выставят. Хоть бы то же магометанство. Нет его в киргизцах, а так лишь, одна видимость. Уж я-то знаю, поверьте. А почуют наиболее лукавые из них наши заигрывания и начнут: и ураза тут будет, и прочее... Нет, прямо это надлежит делать: вот так-то, господа киргизцы, извольте! Доверия от того больше у них будет. Главное не в том. Душу живу надо иметь, да-с!..

– Так или иначе, Алексей Николаевич, следует придерживаться высочайше утвержденного статуса школы. О том была договоренность и с киргизами.

Это уже говорил сам Генерал. В коридор прошли, не обращая на него внимания, попечитель Плотников и какой-то статский советник с круглыми черными баками. Господин Дыньков подошел к нему, вынул платок и стал вытирать себе лоб.

– Так-то, брат!

Даже отодвинулся он, до того противно было ему смотреть на большую руку надзирателя школы со светло-желтыми волосами у запястья. Волосы лезли из-под твердого коленкорowego подрукавника. Но господин Дыньков не обращал на него внимания и все вытирал вспотевший лоб большим, как скатерть, клетчатым платком.

– Эй, халам-балам, выпусти, душа просит счастья!.. – кричал во дворе запертый Фазылов и нехорошо ругался по-русски и по-татарски.

Вечером, в юрте у дядьки Жетыбая, он с неприязнью смотрел на солдата Демина. Что делает тут у них этот орыс¹? И когда он засыпал, то видел большую руку с желтыми волосами и слышался ему жесткий, как камча, голос: «Нет, прямо это надлежит делать: вот так-то, господа киргизцы, извольте!»

В следующий день он терпеливо соблюдал уразу. И два дня еще не ел в дневное время, но потом не удержался. Теперь он уходил всякий раз, когда господин Дыньков начинал с ними свои разговоры. Не было для него на свете неприятней этого человека.

Долго не приходил он и к учителю Алатырцеву. Вечерами ему нечего было делать. Книги, которые были при школе, он все перечитал. Два или три раза подходил он все же к окнам офицерского дома. У учителя по-прежнему собирались люди. Гул голосов доносился из-за прикрытых ставен. Но ведь и надзиратель Дыньков мог быть там, среди них, думал он и уходил.

Собирались теперь вместе по вечерам не одни только учителя и офицеры. Вместо заболевшего дядьки Жетыбая, исполнявшего должность рассыльного при Пограничной комиссии, послан он был как-то с бумагой к самому попечителю Плотникову. В доме попечителя он увидел чужого генерала и еще двух чиновников с орденами, сидящих полукругом возле стола. Один из них, с маленькими ручками, читал какую-то бумагу негромким размеренным голосом.

– Господин надворный советник заняты, подождешь!– сказал ему слуга с такими же бакенбардами, как у попечителя, и он остался сидеть в зале, у дверей. На него даже не посмотрели.

– Вот что далее пишут их сиятельство,– чиновник с маленькими ручками значительно выпрямился, и он узнал статского советника, который приходил к ним в Пограничную комиссию. «Давно ли мы покоились в

¹Русский.

самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам «семь морей немолчно плещут»?

Что стало с нашими морями?.. Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях... Друзей и союзников у нас нет. Везде проповедуется ненависть к нам, все на нас злословят, на нас клеветают, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Европа уже говорит, что турки переросли нас...

В исполинской борьбе с половиною Европы нельзя было более скрывать под сению официальных самохвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Европу колебали, несколько лет сряду, внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы...

Благоприятствует ли развитию духовных и вещественных сил России нынешнее устройство равных отраслей нашего государственного управления? Отличительные черты его заключаются в повсеместном недостатке истины... Многочисленность форм подавляет сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, всмотритесь в него, отделите сущность от бумажной оболочки; то, что есть, от того, что кажется, правду от неправды или полуправды, – и редко где окажется прочная плодотворная польза. Сверху блеск, внизу гниль. У нас самый закон нередко заклеямен неискренностью...»¹.

¹Валуев П.А. – будущий министр, автор неофициальной записки «Дума русского во второй половине 1855 года», из которой приводятся отрывки.

Статский советник опять откинулся, ошалело посмотрел на других и оглянулся на него, сидящего у двери. Все они тоже посмотрели на него, но словно бы не видели.

Другой статский советник с залысинами прокашлялся:

– Коль такой строгий и приверженный престолу ум, как граф Петр Александрович Валуев, пишут подобное... Губернатор Курляндии как-никак...

– Повторяю, господа, все это строго конфиденциально, – предупредил читающий чиновник. – Передано мне под большим секретом их превосходительством в Самаре.

– Будьте покойны, Евграф Степанович. Сие не выйдет за стены этой комнаты.

Они еще раз посмотрели на окна и двери. И опять не увидели его. Он тоже посмотрел на свои сшитые по аульному образцу штаны, на руки, как бы желая убедиться в своем существовании.

– «Управление доведено, по каждой отдельной части, до высшей степени централизации; но взаимные связи этих частей малочисленны и шатки...» – читал статский советник. – Везде преобладает у нас стремление сеять добро силою. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде противоположение правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных его императорского величества...»

Здесь не разговаривали громко, не спорили, как у учителя Алатырцева, а только согласно покачивали головами.

– Правы, правы их высокопревосходительство, – задумчиво говорил генерал. – Государственным умам надлежит спокойно решить сии вопросы, чтобы не

позволить вырваться разрушительным силам. Слышно, к такому мнению склоняется и государь...

Всю дорогу домой думал он о том, почему не видели его эти люди. Ведь он сидел там, и они смотрели, не желая постороннего присутствия. Между тем этот самый чиновник с короткими ручками упрекал недавно надзирателя Дынькова за уразу.

Учитель Арсений Михайлович Алатырцев сам остановил его в коридоре:

– Почему вы, Алтынсарин, перестали бывать у меня?..

Он потупился. Серые глаза учителя смотрели недоуменно. В тот же вечер он пришел в знакомый дом.

– Тимофей, чаю господину Алтынсарину и калач!

Были все прежние, но появились и новые люди: высокий офицер из кавалерии Нестеренко и еще один – Бутаков – пожилой, рослый, в белом кителе. В городе знали, что люди в такой форме – из Аральской флотилии. Господина Дынькова здесь не было.

На него и тут посмотрели мельком, но его увидели, приняли во внимание. Неизвестно почему, но знал он об этом. И разговор их каким-то образом был связан с ним, хоть говорилось о другом.

– Ну, так вот, господа, приступаем мы, егеря значит, к Корсуню, – рассказывал штаб-ротмистр Нестеренко, поправляя ус и поблескивая хитрыми глазами. – Все, как водится, в боевом строю, с приданной артиллерией. Враг-то силен, почитай три уезда хохлов наших от мала до велика готовы поспешать на войну, в самый Севастополь. И все про некий указ говорят, по которому, кто, значит, в ополчение добровольно запишется, тому вольную – опять в казаки со всей родыной... Да-с, дело знакомое. Стояли мы перед тем возле Чернигова. Там тоже – поголовные разговоры, что вышел манифест о воле и лишь местные власти да священники не хотят переписывать мужиков в казаки. В селе, где летом квартировали, тыщи две народу собралось. С косами да вилами приступили к прибывшему иерею

и тамошним попам: «Посоветуйтесь между собой и решайтесь написать нас всех вольными казаками, дать нам присяги, что мы уже не панские. А также, что поля и луга наши, и все, что у панов, наше же. Оно так и есть, ибо мы и наши деды за все это уже отработали». Я слышал, как священник увещевал их, что никакого такого манифеста нет. «Батюшка,– слышу, так тихо шепчет попу на ухо один хохол с сивыми усами.– Мы и сами добре знаем, що такого указа нема. Колы ж нам хочется, щоб вин був!»

Все рассмеялись.

– «Колы ж нам хочется, щоб вин був!»– повторял топограф Дальцев.– Нет, наши русаки посвирепей. Без объяснений ворчат. Да глухо так, аж мороз по коже. Я был давеча в своем уезде. Помещики, кто помельче, собираются с семьями по пять-по шесть в одну усадьбу. Страшатся ночами.

– А собственные планы каковы, господин поручик?– усмехнулся Нестеренко.– В смыслах имения.

– Мы однодворцы, от Петра служилые,– махнул рукой Дальцев.– Один у меня дворовый человек да бабка Агафья...

– Да уж...

Нестеренко в задумчивости покачал головой. Все примолкли.

– Ну а в Корсуні как все же у вас обошлось?– спросил учитель Алатырцев.

Нестеренко ничего не ответил. Глаза у него сделались какие-то мутные.

– Не в одной Корсуні, по всей Киевской губернии вводились войска,– заметил учитель Алатырцев.– По официальным данным, застрелено тридцать шесть крестьян.

– Побольше будет. Дома умирали, к писарям не ходили,– глухо сказал Нестеренко.– А егерей потом сюда, в Оренбург, чтоб перед глазами все это не стояло. Так обычно делается после усмирений...

Потом говорили о войне, что Севастополь как будто уже сдан, но только не объявляют, а в Новороссийске десант, и взят союзниками Кинбурн. На Кавказе же дела лучше: Карс турецкий окружен, а Омер-паша¹ заперт в Сухуме. Мюриды имама Шамиля тоже поутихли после того, как прошлым летом пытались задержать арьергард генерала Бебутова. Слышно, в Чечне идет война между самими горцами и есть готовые выдать Шамиля. Ведь так произошло и здесь с Кенисары², который десять лет тревожил линию и мирных киргизов. Живого его не выдали, но голову привезли...

Тут заговорили о делах на линии. Кокандцы не успокоились после отнятия у них Ак-Мечети³: всяческим образом вредят русской торговле. Следовало бы использовать их распри с эмиром. Непокойно, как всегда, и с Хивой. Хан почуял, что русские заняты в злосчастной этой войне, и не позволяет флотилии плавать в Амударье. Хивинцы на деле никак не признали договоренную между ними и Россией границу. Сарбазы хана по-прежнему обирают аулы адаевцев и чумекеевцев, принявших русское покровительство. Из-за хивинских козней идет настоящая война между адаевцами и чумичлы-табынцами⁴, а вместе у них – с туркменами.

– Все тут до чрезвычайности просто, – рассказывал капитан Андриевский, посланный летом с командой разбираться в этих делах. – Приезжают и берут по хивинскому закону, а это означает – все, что в юрте имеется у киргиза: кошму, одеяло, дочку, ну и скот. Да самого же еще принуждают гнать к ним этот скот. Я приезжаю на пост с толмачом, зову хивинского контрагента: так, мол, и так, онбаши-ага⁵, такого-то дня

¹Турецкий полководец в период Крымской войны.

²Кенисары (Кенесары) Касымов – хан Среднего жуза, внук Аблая, возглавлял в 30-40 годы 19 в. антирусское феодальное движение в Казахстане.

³Ныне Кзыл-Орда.

⁴Казахские роды.

⁵Уважаемый сотник.

ограблен такой-то киргиз, российский подданный, взято то-то и столько-то скота. «Ах, какое это преступление, – негодует хивинский законник. – Давайте поедem к пострадавшему брату!»

Едем. Я с казаками, он со своими сарбазами. Приезжаем. «Спросите его сами, какие хивинцы, мол, произвели у него грабеж», – говорит онбаши, а при том сидит на коне с отвлеченным лицом, будто дело его и не касается.

Толмач спрашивает. И киргиз, который утром плакал и говорил на хивинцев, подтверждает, что они вовсе не грабили. И грабежа, мол, никакого даже не было.

«Разве позволит наш справедливый хан давать твориться подобному беззаконию!» – говорит на прощание онбаши и уезжает, пожелав мне тысячи благ.

Приступаю к киргизу, а он молчит и только смотрит на меня. Ах, как смотрит, как на последнего дурака да и бесчестного человека притом, который навел на него и детей его смертельную угрозу.

«Тот самый онбаши и громил их, ваше благородие! – разъясняет мне понимающий казак. – Хивинец, вишь, близко, а Оренбург вон он где. Пост от поста тут – полтыщи верст...»

Что же касемо войны меж самими киргизами, то и того проще. Вражды между соседями при здешней кочевой жизни и так предостаточно. Ну а хивинцы опять-таки делают на свой лад. Набегают, скажем, на адаевский аул, угоняют лошадей. Часть их по дороге оставляют тем же табынцам. А тавро-то на лошадях чужое. Вот и война. В другой раз наоборот: от табынцев часть лошадей оставляют адаевцам. Нет, тут в Азии честному человеку – гибель. Так и будешь весь век в Иванах-дураках ходить!..

– То-то же, капитан, – засмеялся Мирсалих-ага. – Предлагал я графу обучать линейных офицеров хивинскому наречию.

– И что же?

– Василий Алексеевич¹ выразил согласие. Естественно, по инстанции, в Азиатский департамент, оттуда в Министерство, там еще куда-то. Три раза оттуда запрашивали разъяснений. А дело-то копеечное. Докладывал, что готов безвозмездно, в приватном, так сказать, порядке. Тоже нельзя: как это – учить чему-то там офицеров без начальственного подтверждения.

– В приватном порядке лишь в карты играть да водку пить дозволяется на святой Руси!

– А что, господа, как наш бард крестьянский у вас тут лямку тянет?– спросил вдруг Нестеренко.

– Это кто же?– не понял Дальцев.

– Шевченко, в солдаты сосланный,– пояснил Андриевский.– Тут целая история. Прислан он был к нам, в пятый батальон, напрямик из крепости. С собственноручной всемилостивейшей припиской: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать». Ну, вы покойного орского коменданта Платона Семеновича помните: строг был, но справедлив. «Ежели сей солдат, говорит, будет рисовать у меня на посту или дежурстве – не спущу!» Через год лишь хвятились, что не в одном Оренбургском корпусе, а по всей Великой и Малой России гуляют стихи этого Шевченко, да такие... Ну вы знаете. Автора, естественно на цугундер, у Платона Семеновича – объяснение с начальством. Докладывает: так, мол, и так, на посту названный солдат в писании стихов, а также в рисовании не замечен. Что взять с полковника: служака, на груди кресты еще с двенадцатого года. Дураком его посчитали. Только ой какой не дурак он был и нам внушал: «Честь офицера российского, господа,– очень тонкое понятие. Это у французов офицеру лишь о службе да кокотках приходится думать. У нас же, как видите, и стихотворцы все больше из офицеров».

– А с Шевченко как же?– поинтересовался Дальцев.

¹Оренбургский генерал-губернатор.

– Да, вас тогда еще здесь не было, Владимир Андреевич... Вот капитан-лейтенант касательство к этому делу имели. Расскажите, Алексей Иванович!

Все время молчавший Бутаков постучал трубкой о медную подставку, выбивая пепел:

– Что же тут рассказывать, господа... У нас тогда в Раиме одна только шхуна была поставлена на воду. Берегов порядком не знаем. Слышу про это дело с Шевченко, предлагаю начальству, чтобы ко мне его рисовальщиком определили. Начальство и радо, куда бы его подальше...

– А насчет запрета на рисование?

– Говорили мне. Ну как же так, думаю, ежели он по службе обязан этим заниматься... Душевный, мягкий и пылкий человек этот Шевченко. Как загорится, начнет читать, голос гремит, в глазах слезы...

Штаб-ротмистр Нестеренко слушал, весь напряженный, пальцы его мяли что-то невидимое.

– Что делал он у вас?

– По своей воле: писал, рисовал. Только жизнь там несладкая, на Арале. Ну, и не все у нас офицеры – стихотворцы, – усмехнулся Бутаков.

– Что ж произошло?

– В Оренбурге, уже в пятидесятом, когда составляли доклад по экспедиции, вижу сизые шинели. И все знают – где и что. Сундучок свой Шевченко у мичмана Максимовича держал, так они сразу туда. Оказалось, подпоручик Тертичный, прикомандированный к нам, рвение проявил. Сам вроде бы как брат с Шевченко, все по-малороссийски говорил. Ну, а тот – доверчивый, чистая душа...

Вызвал меня чин из известного учреждения: «Как же вы, говорит, господин капитан-лейтенант, будучи осведомлены о личном мнении его императорского величества, оказались столь нерадивы. Да и прочие офицеры. Лишь господин подпоручик Тертичный, как истинный патриот, исполнил свой долг перед престолом».

– Что ж было вам за то?

– Куда посылать дальше Аральского моря, – усмехнулся Бутаков. – Вот разве в капитан-лейтенантах по сие время. Зато Тертичный – майор и флигель-адъютант.

– А Шевченко?

– Того в Орский каземат, потом в Новопетровский форт. Тоже местечко – не дай господи, – стал рассказывать Андриевский. – Топограф – капитан Яковлев забрал его рисовальщиком, когда на Каратау ходил. И опять отыскиались патриоты. У нас ведь знаете как: понятия «патриотизм» и «донос» соседствуют.

– В тот раз у мичмана Максимова так и не нашли ничего, – сказал Бутаков.

– Не нашли? – переспросил Нестеренко.

– Место такое у нас, открытое, все свои. – Андриевский переглянулся с Бутаковым, с другими офицерами. – Уж как-то загодя известно, если приходится ждать гостей. Все мы тут немного хивинцами сделались. И после Каратау ничего вещественного у солдата Шевченко не обнаружили. Но Якову Петровичу – внушение. Тоже до сих пор в капитанах.

– Где же он сейчас, Шевченко?

– А там же, в Новопетровском. Был я у них этим летом, так он мне акварель подарил.

– Значит, рисует?

– Как же. Комендант Усков там уж на что бурбон, а все же от общего офицерского мнения на сей счет не отходит.

Штаб-ротмистр Нестеренко сидел, закрыв глаза.

Когда шел он обратно, в соседнем доме распахнулась дверь. Послышался пьяный крик: «Смею заметить вам, что красного валета вы спрятали в прибор... Кто спрятал?.. Вы, господин, штабс-капитан!.. Звенела разбиваемая посуда. Кто-то в белеющей из-под растянутого мундира рубашке выскочил на крыльцо, крикнул: «Сапожков... Спишь, скотина этакая?» Послышался

удар по лицу, болезненный всхлип. Такое не раз уже он видел на плацу за школьным двором.

Продолжал звучать в ушах грустный, насмешливый голос:

Вид молдованина до финна
На всех языках все мовчать,
Бо благоденствуе...

Это к концу читал штаб-ротмистр Нестеренко. Язык был словно бы русский, но какой-то другой.

Все перемешалось у него в голове: эти люди и рядом такие же, которые в кровь бьют по лицу солдат. И солдаты, которые даже не поднимают руки, чтобы закрыть лицо. Раньше, до последней поездки на вакацию, он не думал об этом.

Во флигеле у надзирателя Дынькова горел слабый свет. Загораживая все виденное и слышанное в этот вечер, представилась ему широкая рука с короткими пальцами и желтыми волосами, лезущими из-под твердого белого коленкора...

Тогда же или потом он заболел. Как сквозь сон чувствовал он холодное, твердое прикосновение к голому животу и знал, что это доктор, который приходил к учителю Алатырцеву. «Изолятор», – слышалось ему. Это слово не отпускало его с самого начала: «изолятор... изолятор...»

– То есть тиф. Тиф от брюшина... – говорил доктор. – Но может случиться и холера. Здесь, на рубеж Азии возможно... Никого не пускать. Этот дядька его просит. Не пускать!..

– Слушаюсь, Карл Христофорович... Так точно... И один бульон птичий...

Голос был очень знакомый, слышанный им много раз. Он открыл глаза. Доктора уже не было. Господин Дыньков сидел на белом табурете и смотрел на него бесцветными глазами.

– Ничего, брат, ты спи. Дело такое – болезнь...

Казалось, это продолжалось вечно. Он открывал глаза и опять видел господина Дынькова. Тот давал ему бульон из большой ложки:

– Ешь, брат. Первое дело – еда...

Голова от слабости клонилась набок. Он выталкивал языком ложку, теплая, пахучая влага текла за шею. Но рука со светло-желтыми, волосами возвращалась, настойчиво придвигала ложку к губам. Что-то просачивалось в рот, согревало бесчувственное горло.

– Петух молодой, кашей кормленный. Первостатейный бульон...

Плыли в тумане белые стены и потолок. Неизвестно было, день или ночь в окне. А человек, поивший его бульоном, казалось, никуда не уходил.

– Эх ты, горе луковое... Мне дед твой Балгожа рассказывал, как родню у тебя порезали... Я ведь тоже сирота. В Неплюевском воспитан, на государев счет. Верного слуги отечества отпрыск... Сироте надо умным быть, а то пропадешь...

Он смотрел на руку: большую, твердую, с задубелыми короткими пальцами, лежащую на скобе железной кровати. Светло-желтые волоски росли на запястье. «Вот так-то, господа киргизцы, извольте!» Ничего не значили эти слова. Главное было что-то другое. «Душу живу надо иметь, да-с!..»

Он сидел, закутанный в теплую серую шинель, на крыльце изолятора. Осеннее солнце пригревало плечи и грудь. По двору ходили куры – белые с желтыми гребешками, рылись в опавших листьях. Кричали, вытягивая головы, голенастые петухи. Из надзирательского флигеля вышла повязанная большим платком старуха, мать господина Дынькова.

– Цып, цып, цып...

Куры бросились со всех концов двора, а она сыпала им пригоршнями просо, не пуская к деревянному

корыту. Там жадно клевали кашу молодые петушки с едва проросшими гребнями. Из них варили ему бульон.

Подошла девочка с куклой, строго посмотрела на него, села рядом на ступеньку.

– Тасинька устала, хочет на солнышке посидеть... Солнышко хорошее, теплое. Правда, Тасинька?

Кукла была глиняная, с крашеными щеками и голубыми глазами. Такие продавали цыгане на ярмарке. Он опять удивился: какая у девочки толстая светло-желтая коса.

– Он не обидит тебя, Тасинька, – рассказывала кукле девочка. – Видишь, мальчик болел, сделался совсем худым...

4

Где-то звенели колокольчики. Будто упавшие с неба звезды, горели тоненькие свечки – красные, желтые, синие. Зайцы, белки и медведи висели на ветках. Пахло теплым, оттаявшим деревом, кружилась голова. Он почувствовал, как слезы потекли у него из глаз, и оглянулся, не увидел ли кто-нибудь этого.

Но все сидели на стульях и смотрели на елку: девочки с одной стороны зала, мальчики – с другой. Девочки шептались между собой. Рядом с ним Миргалей Бахтияров совсем как свой переталкивался локтями с неплюевскими кадетами. Их троих из школы позвали на елку к Генералу: Бахтиярова, Кулубекова и его. Бахтияров и Кулубеков были в городской одежде, только он – в школьной. Из знакомых ему здесь еще были три дочки господина Дынькова.

Заиграла музыка, и он оторопел. Генерал взял за руки маленькую девочку с бантами и начал с ней танцевать по гладко начищенному полу. Сразу же к девочкам подошли кадеты, а с ними Бахтияров с Кулубековым, стали танцевать вслед за Генералом. Сделалось шумно, весело.

Две взрослые барышни, дочери Генерала, по очереди садились за фортепьяно, затевали танцы, прыгали и смеялись, совсем как маленькие. Генерал тоже смеялся и громко кричал, выстраивая пары.

Жанарал – так называли его казахи в отличие от военного губернатора Перовского, которого звали Губернат. Офицеры и подчиненные в Пограничной комиссии между собой, подражая казахам, тоже говорили «жанарал». Офицеры называли его еще «генералом от Московского университета». Ему не говорили «Ваше превосходительство», а «Василий Васильевич», однако боялись больше, чем самого губернатора. Всегда в мундире с начищенными пуговицами, с ровно уложенными завитками волос по обе стороны широкого лба, Генерал смотрел на всех строгим взглядом и не допускал упущений в службе. Дед Балгожа уважал его так же, как и предыдущего начальника Пограничной комиссии – настоящего военного генерала Ладыженского.

Сидя в Пограничной комиссии на месте толмача Фазылова, он видел, как втягивали голову в плечи чиновники, когда из-за двери слышался резкий выговаривающий голос. Даже приезжающие адъютанты губернатора, жившего где-то далеко за городом, поправлялись и осматривали себя, прежде чем зайти. А тут Генерал казался совсем обычным человеком.

Две девочки остановились напротив и тихо говорили между собой. Одна из них, лет девяти, в розовых панталончиках с кружевами, все удивлялась:

– Киргиз... Мальчик-киргиз или так оделся?

– Настоящий киргиз! – ахнула другая.

Первая девочка подошла к нему и спросила:

– Вы умеете танцевать?.. А почему вы в шапке? Да еще меховой, теплой, здесь так жарко...

Он покраснел и крепко взялся двумя руками за шапку. Ему казалось, что шапка сейчас упадет и все увидят его голову с синими шрамами от таза. А девчонка не уходила и все говорила:

– Что же вы испугались? Будьте в шапке. Так даже интересней. Вы, наверно, не умеете танцевать? Идемте, я вас научу!..

Она протянула ему маленькую ручку. Он крепко, всей спиной прижался к стулу.

– Фи, какой вы скучный... Вот Мишенька – совсем другое дело!

Она повернулась к Бахтиярову, называвшему себя по-русски Мишей. Тот свободно взял ее за руку, и они встали в пару для следующего танца.

Все равно ему было здесь хорошо. Он сидел в углу и смотрел на елку, на танцующих, на ярко горящие в подставках большие свечи. Все это отражалось в широких стеклянных окнах, в начищенном до блеска полу и казалось сном.

– Вам нравится елка, молодой человек?

Он вздрогнул, ухватился за колени. Засмотревшись, он не увидел, как подошел Генерал и сел с ним рядом.

– Вы, помнится мне, внук войскового старшины Джанбурчина?

И вдруг Генерал сказал совсем просто по-казахски:

– Ты, джигит, никого не бойся. Будь молодцом!

– Хорошая елка! – тихо ответил он по-русски.

– Ну и слава богу.

Генерал стал спрашивать, бывает ли у кипчаков, что в юрту приносят хвойные ветки. Он сказал, что не знает. А вот сухую траву приносят. Генерал слушал внимательно, переспрашивал, и они долго разговаривали. Все знали, что Генерал – ученый человек и собирает старые украшения и другие вещи, имевшиеся у казахов. Непонятно было, зачем он это делает.

Потом Генерал отошел от него и подошла маленькая Дынькова.

– Тасинька спит. Она не пришла на елку.

Девочка смотрела на него серьезно, ожидая ответа. И он гладил ее по туго заплетенным косичкам.

Продолжала играть музыка, хлопали хлопушки. Дети обсыпали друг друга цветными бумажками. Девочка

сидела с ним рядом, чтобы он не был один. Она так и сказала ему:

– Ты не бойся тут. Я буду сидеть с тобой.

Пришел закутанный в вату человек, в ватной шапке и с ватными усами.

– Дед Мороз... дед Мороз... – закричали, запрыгали все.

У закутанного в вату человека, который старался говорить по-мужскому, был женский голос, и он узнал одну из дочерей Генерала. Из большого мешка она стала доставать бумажные мешочки и пакеты. На каждом было написано имя. Сначала их раздавали самым маленьким, потом старшим девочкам и подросткам. Дочка Дынькова взяла свой мешочек. В нем были пряники, орехи и кукла в красном сарафане.

– Тасинькина сестричка! – сказала она.

Дочка Дынькова пересчитала пряники и орехи, выложила часть из мешочка, протянула ему:

– Возьми, покушай.

Все вокруг рассматривали подарки, переговаривались, ели пряники.

– Ибрагим Алтынсарин!

Дед Мороз протягивал ему перевязанный красной ленточкой пакет. Он подошел, взял и сел на место. Сердце забилося у него, когда развязывал он ленточку. Такой красивой книги он никогда не видел. «Басни Крылова» – значилось синими буквами на золотом переплете, на каждой странице были цветные картинки. Некоторые из этих басен он знал наизусть. Ему всегда хотелось иметь свою книгу, большую, красивую, только ему принадлежащую.

Бахтияров получил роман про рыцаря Айвенго, Кулубеков – про путешествия, другие тоже перелистывали свои книги, рассматривали картинки, девочки примеряли ленты...

Снег шуршал за войлочной стеной. Он лежал с открытыми глазами и думал, как спят сейчас в своем

зимовье дед Балгожа, мать, родичи, как спит Нурумбай, его мать. Спят лошади, овцы в кошарах. И приходил опять к нему Человек с саблей, пристально смотрел сквозь украшенную свечками елку. Все это пропадало, и оставалась ночь с красными полосами по черному небу, когда нельзя кричать. Дядька Жетыбай гладил ему плечи.

– Успокойся, бала, он не придет.

Книга лежала тут же, на сундучке. Он ухватился за нее, прижал к щеке.

5

Всю зиму ходил он вместе с Бахтияровым и Кулубековым в дом с белыми колоннами, который стоял на главной улице. Это было Дворянское собрание, где устраивались танцевальные вечера и представления. Взрослые дамы, учителя, офицеры играли пьесы, и он с замиранием сердца смотрел, как они надевали парики, становились королями, генералами или просто чиновниками, как в пьесе господина Гоголя. Бахтияров и Кулубеков были здесь свои. Вместе с кадетами они бегали за сценой, подавали вещи, суфлировали, иногда даже говорили что-нибудь на сцене. Он же сидел тихо сзади в своей шапке, но ему здесь очень нравилось. Строгий старый солдат с крестами и медалями, стоящий у входа, пропускал его, как артиста. Пьесы эти показывали за деньги, которые раздавали потом бедным людям и погорельцам.

Однако больше всего ему нравилось бывать у топографов. К ним он ходил теперь чаще, чем к учителю Алатырцеву. Как-то осенью его с Бахтияровым послали в корпус, чтобы помочь определить русские написания урочищ и других пунктов на карте. Они остались у топографов на весь день. Там был знакомый ему поручик Дальцев и еще капитан Яковлев, тоже иногда заходивший к учителю Алатырцеву. После работы их позвали обедать со всеми.

– Не соглашаются в столице с нашими расчетами, – удивлялся за обедом Дальцев. – Два года уже.

– Все не так просто, поручик. Уж коли нанесено на карту, то какие тут могут быть допустимы изменения! – говорил приехавший из Петербурга офицер.

Разговор шел о городе Орске, который значился на картах на три версты западнее того места, где стоял. Топографы уточнили его местонахождение, но трогать что-нибудь на карте можно было только с высочайшего разрешения.

– А как обходятся астрономы? Комета, говорят, новая появилась, не учтенная в сенатских списках! – смеялись офицеры.

Эти крепкие, загорелые люди жили как-то по-особому слаженно. И начальство у них было хорошее – умный и добрый полковник Бларамберг, которого все любили в Оренбурге. Каждый из них уходил с тремя-четырьмя казаками на все лето за тысячи верст в степь. К зиме топографы возвращались и составляли донесения. Он знал, чем они занимаются, – в школе учили землемерному делу и съемке местности.

– Не хотите к нам в корпус, господа киргизские лицеисты? – предложил им капитан Яковлев, старший из топографов. – Вы уж, вижу, наострились у нас. Что же, подучим, а там и училище особое есть. Будете в Хиву, в Коканд ходить, съемки делать...

Бахтияров сразу загорелся, принялся расспрашивать, горячо обсуждать, как станет топографом, будет путешествовать по разным неизведанным местам. Лишь вчера он говорил, что хочет быть артистом. Офицеры слушали, посмеивались.

– А вы что же, господин Алтынсарин?

Яковлев смотрел на него, прищурившись, поглаживая чисто выбритый подбородок. Все топографы – даже старшие офицеры – брили лицо и не отпускали бакенбардов, только оставляли усы. Чем-то похож был капитан Яковлев на господина Дынькова, хоть по виду казался совсем другим – строгим, подтянутым, несмотр-

ря на возраст. Рассказывали, что Яковлев делал съемки у туркмен, в Самарканде и даже в Бухаре, когда ездил туда с посольством.

– Нет, не хочу топографом!

Глядя прямо в глаза Яковлеву, он помотал головой.

– Та-ак-с... По статской службе оно верней, конечно. Чины и все прочее.

Идя домой, он все думал, почему так ответил топографам. Ему представлялось до сих пор, кем же станет он после школы. И всю жизнь потом что будет делать.

Сразу же появился Варфоломей Воскобойников, который сказал о своей науке:

– Предмет сей, господа киргизские воспитанники, наиважнейший в истории человека от Ромула и Рэма до наших дней. И не прервется он до самого дня страшного суда, когда будет наложена окончательная резолюция. Вышеупомянутый предмет есть делопроизводство, сиречь составление деловых бумаг, входящих и исходящих, а также производство следствия с должным по сему поводу протоколированием. Ибо все исчезает, превращается в труху, меняются поколения, толпами появляются и исчезают с лика земли народы, а древо сие остается незыблемо и плодоносит всеблаго и неутомимо. Счастлив избранник, вкушающий хлеб от него, поскольку не зависит от урожаев и землетрясений, а лишь от милости начальства...

Варфоломей Егорович занимал особый стол в Пограничной комиссии и к нему сходились все бумаги для регистрации и продвижения к исполнению. Большой угреватый нос его всегда был в табаке, который он нюхал, выбивая ногтем из большой деревянной табакерки. Говорили, что он самый старый чиновник в комиссии и помнит еще дни губернатора Эссена, когда три года службы на линии позволяли умному человеку построить дом или приобрести деревеньку

в России. Жил он один – снимал квартиру. Его и назначили к ним учителем.

– Не один холодный ум, а душу, следует вкладывать в написание бумаги, – говорил Варфоломей Егорович, вытянув из рукава потертого мундира худую старческую руку. – Ибо одно дело написать: «Соблаговолите рассмотреть», а другое: «Уповаю на всемилостивейшее Вашего превосходительства рассмотрение». Оттенков сего столько же, сколько у радуги небесной, и как бряцающий на лире пиит, так исполняет свою песнь и составляющий отношение губернский секретарь. Чуткое ухо начальства всегда уловит в ней фальшивую ноту, а посему надлежит вступающему в службу знать все таинства столь удивительного феномена. В том же протоколе следствия можно в таких красках представить дело, что остается безотлагательно наградить человека, а тронь другую струну, и того же человека надлежит ни часу не медля – в рудник. Вот она, какова сила в сей слабой руке!..

По четыре часа в день писали они теперь всяческие письма, отношения, циркуляры, протоколы по поводу «обнаружения мертвого тела». Привстав на носки и закинув голову, Варфоломей Егорович диктовал молодым голосом: «Ваше превосходительство, милостивый государь мой Ксаверий Александрович... Всенижайше кланяюсь и остаюсь навеки благодарным и покорнейшим слугой Вашего превосходительства...»

Варфоломей Егорович Воскобойников водил дружбу с толмачом Фазыловым. Порой случалось, они вместе пропадали на два-три дня. По этой «слабости», как говорили, делопроизводитель не приобрел богатство и не достиг высоких чинов, несмотря на сорокалетнюю службу. Но если Фазылов после всего попадал на гауптвахту, то Варфоломей Егорович приходил к ним словно бы помолодевший, очищенный, по его словам, «от скверны мудромыслия». В такие дни он говорил особенно много и цветисто:

– Великий пиит наш господин Пушкин Александр Сергеевич, которого я имел честь лицезреть здесь, в Оренбурге, допустил очевидную несправедливость. В своем сочинении «Дубровский» он односторонне отобразил преданнейших слуг отечества, коими во все времена являются чины разных классов. Крестьяне, при очевидном содействии дворянина Дубровского, пожалев кошку, заживо сжигают сих несчастных, исполняющих свой долг, а увлекшийся сочинитель как бы благословляет их на столь страшное дело.

Вместе с тем, посмотрите, господа, что есть Российская империя. Мы, чиновники, составляем суть и основу ее. Уберите приходящие и исходящие бумаги, отношения и протоколы, которые обучаю я вас составлять, и что от всего останется. Кучи бессмысленных людей, ходящих куда и как попало. Никакой России не будет без нас. Мы подобны древу животворящу. Пусть даже середина его выгнила и пуста – мы, составляющие кору и остов его, стоим недвижимо. И кажется всем, что древо высится как прежде, раскинув могучие ветви и осеняя побеги в благодатной своей тени. А там, глядишь, новые соки забродят в нем и мы, как птица Феникс, сохранившая свою красоту, примемся всемерно укреплять и наполнять обновленный ствол...

В эту зиму прикомандировали еще к ним военного фельдшера, который показывал, как делать прививки от оспы. Кроме того, унтер-офицер от егерей учил их распознавать лошадиные и скотские болезни, особенно сибирскую язву. Он прилежно учился всему, но не думал, что будет когда-нибудь этим заниматься...

– Христос воскрес!

Девочка с серьезным видом подошла к солдату Демину и протянула ему красное яйцо. Она каждый день приходила теперь к ним в юрту и подолгу сидела, качая свою куклу. Но сегодня девочка надела нарядное платье с бантиком, шнурованные ботинки, в косу была вплетена синяя лента. Солдат Демин так же серьезно

достал из платка покрашенное яйцо и дал его девочке. Потом они трижды поцеловались.

После этого девочка подошла к нему, протянула такое же яйцо. Он взял, растерянно посмотрел по сторонам. Солдат Демин развернул свой платок, дал по синему яйцу ему и дядьке Жетыбаю. Он отдал свое яйцо девочке. Встав на носки, она с серьезностью на лице трижды поцеловала его. Губы у нее были холодные и пахли молоком.

– Христос воскрес!– сказала девочка дядьке Жетыбаю.

– Ай, жаксы!– согласился тот, подставляя усы для поцелуя.

– Что же, давайте и мы похристосуемся по такому делу!

Солдат Демин поцеловался с ним и с дядькой. В городе звонили колокола. В этот вечер они ели сладкий хлеб-кулич, похожий на тот, который пекли к его приезду тетушки.

В который раз цепенел он весь и стоял, придавленный чужим и страшным. Даже день тогда делался черным. Они жались друг к другу у школьного забора и смотрели на другую сторону улицы.

– Каргызьё, мать твою душу!..

Тимофей Ильич из углового дома торговал мясом. На широком – во весь квартал – дворе стояли загоны, сарай, высокая скирда сена. Открывались крепкие деревянные ворота, и было видно, как два работника разделявают под навесом темно-лиловые туши. Базарные мясники к утру увозили их в крытых рогожей повозках. И каждую неделю после конного базара на улице начинался крик. Пригнавшие овец казахи требовали деньги, а Тимофей Ильич стоял, оглаживая седеющую бороду, и говорил негромко, рассудительно, как и сейчас:

– Что ж ты, мил купец, кричишь, ежели сам нарядился по полтинничку. Вот и люди слышали. Так я говорю, Федор?

– Да уж точно, чего там, – подтверждал долговязый, с переломленным носом работник, хмуро поглядывая на старого казаха в лисьем малахае. Тот держал перед собой в горсти деньги, и горестное недоумение было в его глазах.

– Рубыль, говорил... Рубыль! – тонко закричал молодой, повязанный красным платком джигит, подскакивая к Тимофею Ильичу и махая руками.

– А то уж невежество – промеж старшими лезть. Рубель, говорил я, за пару. А за одну овчишку как раз и выходит полтинник. Все по закону.

– Рубыль, говорил... Назад овца давай!

Джигит бросился в ворота, к загону, где стояло с полсотни пригнанных ими овец. Долговязый Федор подбил его ногой, и джигит упал на землю. Работник приподнял его длинной рукой за пояс, лениво ударил кулаком в зубы. Кровь текла из разбитого рта и носа у джигита, а старик все стоял, держа в дрожащих руках деньги.

Соседи от других дворов молча наблюдали за этим. От угла неспешно, придерживая шашку, шел городской.

– Что здесь за шум? – спросил он.

– Да вот азиатцы разбойничают, Семен Иванович. Каждый раз это с ними, – принялся объяснять Тимофей Ильич. – По дикости своей счета правильного не понимают. Вырядятся, а потом назад товар желают возвратить. Не по закону это. Нонче базар кончился, на неделе ничего уж не купишь. Прямой убыток мне получается.

Городовой посмотрел на старика, на джигита и закричал:

– Давай, очищай... Нечего тут!

Старик начал испуганно отходить, позвал джигита. И тут быстрым шагом подошел господин Дыньков. Никто не видел, как вышел он из школьных ворот.

– Сколько овец было у тебя, аксакал? – спросил господин Дыньков по-казахски у старика.

– Пятьдесят четыре, – тихо сказал старик. – Семь дней от Сарыкума гнали. На свадьбу деньги. Вот ему на свадьбу.

– Покажи, что тебе за овец дали?

Старик доверчиво протянул раскрытую горсть. Господин Дыньков взял, пересчитал деньги, повернулся к Тимофею Ильичу:

– Что ж ты, православный, людей варяжишь?

– Так они, ваше высокоблагородие, сами, по-добруму. Вот Федора спросите. А Арсений Егорыч был при том. Я всегда по совести, при свидетелях...

– Да самые вороватые и есть они, каргызьё! – Работник Федор стоял, расставив ноги в собранных гармошкой сапогах, на лице играла усмешка. Все боялись его в квартале и на других улицах. Бил он всех в драках, и говорили, от удара его бык падает. Господин Дыньков даже не посмотрел на него.

– Почему от большой отары овец не покупаешь, Толкунов?

– На что мне она, большая? Сотняшку-другую овечек на неделю, и в достаток по моим делам. Мы люди маленькие.

– По-волчьи делаешь, Тимофей Ильич. На большое клыков не хватает. Слабых прирезываешь, у кого защиты не имеется.

– Дело торговое, – спокойно возразил Тимофей Ильич. – Все по закону, по человечеству.

– Ну, вот что, любезный. Чтобы не было худого разговора, плати как рядился!

– Да так и рядились, по полтиннику. – Работник Федор, имевший свой интерес в деле, угрожающе шагнул вперед. – Ты не того, твое благородие. Учить надо каргызню, а не то, чтобы...

И вдруг маленький господин Дыньков легко подскочил вверх, белый кулак мелькнул в воздухе. Работник зашатался, стал отступать, неровно размахивая

руками, пока не сел спиной под ворота. Голова его моталась из стороны в сторону, он что-то мычал, открывая и закрывая рот.

– Если убыточно платить, Тимофей Ильич, значит, овец надлежит вернуть.– Господин Дыньков говорил, как будто ничего не произошло.– Вот они, твои полтинники, в полном счете.

Тимофей Ильич посмотрел на деньги, покосился на сидящего под воротами работника:

– Почему же не заплатить. Можно и заплатить, коли по человечеству... А то дело торговое. На то и щука в море, чтобы карась опасно ходил.

Вынув из-под чуйки кошель, он отсчитал серебряные деньги, передал господину Дынькову. Тот пересчитал их и отдал старику.

– В городе, аксакал, надо деньги на месте получать,– сказал он строго.– Тут тебе не дикая степь.

Старик взял деньги, склонил неловко голову. Господин Дыньков махнул рукой:

– Иди... иди!..

Старик с джигитом пошли по улице, убыстряя шаг. Джигит все оглядывался.

Городовой кашлянул в кулак, поправил усы:

– Все чтобы, значит, по закону!

Господин Дыньков посмотрел на него насмешливо, повернулся и пошел в школу. Расступившись, они все пошли за ним, с восторгом глядя на широкую крепкую спину.

Всякий раз, проходя теперь мимо ворот Тимофея Ильича, они замедляли шаг, шли выпрямившись, без страха глядя на сидевшего у ворот работника Федора. Как и прежде, грыз тот семечки и смотрел на них тяжелым взглядом, но они уже не боялись его. В выходящих на улицу окнах господина Дынькова виднелись оклеенные розовой бумагой горшочки с цветами...

Домулло Усман-ходжа побаивался господина Дынькова – с тех пор, как пришедшие из татарской слободки ученые старики прознали правоту надзирателя в толкований закона об уразе. Но ссоры между ними продолжались.

Раньше их по два и по три раза на неделе водили в мечеть: парами, через весь город – один унтер сзади, другой впереди. Когда они возвращались, времени на другие занятия уже не оставалось. Теперь господин Дыньков редко отпускал их. Приходящий за ними служитель от ахуна уходил, и тогда приезжал в своей коляске сам Усман-ходжа.

– Не такой уж важный это праздник, господин Мусин, – твердо говорил надзиратель. – Ни отцы, ни деды их в степи его не справляют, уж поверьте, я знаю лучше вашего... Коли бы еще им по духовной части идти, тогда другое дело. А действовать им предстоит по мирской части. Когда большая Пятница или Гаит¹, тогда я ничего не говорю. Богу, как говорится, богово...

Усман-ходжа увещевал его, грозил, что будет жаловаться самому губернатору, но уходил ни с чем.

– Без бога нельзя, господа воспитанники, – сказал им как-то господин Дыньков, зайдя вечером в спальню. – Бог у всякого народа, у каждого человека есть, отцом-матерью завещанный, и не может человек от совести своей отречься. Только ни к чему богу ежечасное человечье юление перед ним. По нашему если взять, то на рождество и пасху, ну еще престольный какой праздник – и достаточно. Вон она, Россия, какова: до океана. А коли бы все только и занимались, что свечки в церкви ставили, что бы получилось. Помыслите о том. А бог, что же, без бога, никак невозможно.

Чего же хотел от него, от всех них господин Дыньков? И Генерал чего-то хотел, и другие...

¹Мусульманский праздник.

Все понятней становилось ему будущее. Это не оставляло его с того первого дня, когда осознал он себя в двух мирах одновременно. Частью мира узунских кипчаков был он от рождения. И другой мир – реальный, зримый, в котором жил он главную половину жизни, властно удерживал его в своих необъяснимых границах. Тот, узунский мир, был вечностью, которая выражалась видимым окоёмом степи. В этом мире окоёмов не было, и вся безбрежная грандиозность его лишь угадывалась в каменных домах, окружающих людей, их поведении, разговорах, книгах. Предстояло разрушить узкий окоём вечности и вывести узунских кипчаков за его зримые пределы.

Как это будет делаться, особой заботы для него не представляло. Все было просто, и теплое колено деда, которое он почувствовал в прошлое свое возвращение, служило порукой успеха.

Да все он знает теперь и уверенной рукой начнет менять устоявшуюся вечность. То, что это необходимо делать, он уже не сомневался. Еще прямо не думалось об этом, но образы будущего складывались в одном направлении, устремляясь в сияющей, победный зенит...

Так получалось, что ни с кем он по-настоящему не дружил. Быстрый в движениях, красивый Миргалей Бахтияров и толстый покладистый Кулубеков были лишь приятели, бравшие его всегда с собой. Он терялся и не любил шума. Был еще маленький Идеге Айтокин, но с ним он водился по родству. Тот тоже временами приходил спать в юрту к дядьке Жетыбаю. И все другие в школе были друзья, с которыми он не ссорился, но никогда его не тянуло быть с ними вместе. Чаше хотелось ходить одному и думать.

В это последнее лето за ним не прислали тарантаса, только передали от деда Балгожи вяленое мясо – казы и пятнадцать рублей. Все ближние разъехались после экзаменов по домам, а он остался в городе. Так ему было

даже лучше. С утра уходил он, взяв с собой гривенник серебром и лепешку, а возвращался на двор к дядьке Жетыбаю, когда на задние улицы города пригоняли стадо и в воздухе остро пахло пылью и молоком.

Раньше всего по утрам он шел туда, где пыль заканчивалась, и камень был уложен во всю ширину улицы. Как раз посередине улицы стоял большой белый дом с колоннами, внутри его были лестницы с черно-золотыми решетками, переходы, высокие залы. Там устраивали праздники, читали книги, говорили между собой, и всем было хорошо. Он подолгу смотрел на этот дом, а мысли его плыли в узунскую вечность. Все было такое же: белые колонны, отражающие солнце окна, львы у подъезда, даже ровная мостовая улицы. Но не здесь уже находилось это. Смутно проступал пологий берег Тобола, где в невысоких, взлохмаченных ветром тугаях помнилось, как во сне, кыстау – зимовье узунских кипчаков. Выпрямлялась земля, сами собой появились дома и улицы, шли и ехали по ним одетые по-новому люди. Он узнавал их в лицо, потому что были это его родичи – ближние и дальние – те, что обитали в белых юртах на берегу озера, и другие, которые жили в жуламейках по ту сторону выгона. Всех он делает причастными к новому, большому миру.

Потом шел он на городской рынок. Каменные лавки стояли в ряд, и в каждом ряду сидели купцы в немецком платье, в хивинских, бухарских, персидских халатах. Тяжелые сукна, ситцы, атласные шелка свисали с полок, ковры лежали прямо на земле. Кажется, ничего не было в мире, чего нельзя было бы здесь купить. И опять он видел мать и всех своих тетюшек, выбирающих наряды, джигитов, примеряющих удобные и красивые одежды, девочек с куклами.

Урал был синим. По широкому мосту переходил он на другой берег. Весной тут стояла вода. Сейчас она ушла, и среди бело-зеленых деревьев по посыпанным песком дорожкам гуляли люди: дамы с офицерами, чиновники, кадеты. В круглой, на деревянных столбах

беседке играл оркестр. Солдаты в белых рубашках дули в блестящие медные трубы, а пожилой усатый офицер в мундире с эполетами красиво взмахивал палочкой.

А за рощей, прямо в открытом поле, был меновой двор. Двое ворот вели туда – с юга и севера. Что ни день приходили караваны с шелком, шерстью, кожами. Деревянные изгороди сходились треугольником, куда загоняли овец. Надсадно блея, протискивались они одна за другой в узкий проход. Только так можно было их сосчитать.

Посредине двора находилась таможня, стояли рядом церковь и мечеть. Огромная, в полверсты, площадь тоже была окружена лавками, но торговали тут сундуками, сбруей, ружьями, рядами теснились повозки с мукой и сеном.

На Конном базаре самарские и саратовские купцы сидели на помосте и пили чай. Приказчики в красных рубашках подводили к помосту лошадей, и купцы торговались по-татарски с пригнавшими их на продажу казахами и башкирами. Объезженные аргамаки шли дорожке всего. По сто и по двести рублей серебром платили за хорошую лошадь...

А потом он шел в другую сторону. Улица переходила в обсаженную ивами дорогу, в конце которой был Царский сад. Высокие, с чугунными пиками, ворота были всегда закрыты. С прошлой осени губернатор из-за болезни выехал отсюда и поселился в ста верстах от города, в казачьей станице. Каждый день скакали туда с докладами от штаба, от губернского правления, от Пограничной комиссии.

За Царским садом был госпиталь, а еще дальше, на отшибе, – караван-сарай с белой мечетью. Все это: городской сад с оркестром, меновой двор, конный базар, мечеть с легкими, словно сахарными минаретами он переносил туда, на берег Тобола...

Встряхивая длинными черными волосами, Миргалей Бахтияров говорил высоким голосом:

– Самое лучшее – быть генералом. Сколько надо служить: пятнадцать, ну двадцать лет – и статский советник. Потом – действительный статский. Все султаны-правители к тебе с поклоном. Только это дикость, зачем мне с ними водиться. Лучше совсем в городе жить. Тут тебе все, что нужно. А потом в Казань можно поехать, в Петербург...

– Ай, хорошо, правильно, – соглашался Кулубеков, хитро поблескивая глазами. – Только еще скот надо держать, как башкиры-офицеры. Пусть в степи себе ходит, пасется. Десять рублей лошадь стоит. Если тысячу или две тысячи лошадей в год продать, все, что захочешь, будешь иметь. И еще скот у киргизов покупать, а тут продавать. Юсупов десять домов имеет, а приехал из Казани на линию, говорят, только каталку для мешков за спиной имел...

Между собой они разговаривали по-русски, а о казахах говорили словно о посторонних людях. Даже по русскому обычаю называли их киргизами. С удивлением слушал он их, не одобряя и не осуждая. Почему-то никак не думалось ему о службе или скоте.

– Э-э, дяде Хасену буду бумаги торговые с орысами писать, – говорил по-казахски маленький серьезный Идиге Айтокин. – На почетном месте буду сидеть. Кому нужно прошение или жалобу, пусть деньги, скот дает...

Пыль не поднималась выше конских животов и, тяжело расплываясь, оседала на краях дороги. Молча смотрел он на едущих бесконечной чередой людей. Только двое из них были связаны по рукам и плечам веревками. Остальные сидели свободно на понурых усталых лошадях. По бокам и сзади, потряхивая на запястьях нагайками, ехали казаки башкиро-мерещякского войска. Третий день уже гнали из Западной степи родичей и туленгутов Исета Кутебарова¹.

¹Батыр, возглавлявший народное движение против царизма в 50-е годы XIX века.

Сначала на приречные луга пригнали захваченных у него лошадей. Потом целый день прогоняли овец. Людей из его аулов переселяли в Букеевскую орду и Восточную часть, к кипчакам и аргынам. Сам Исет-батыр, не подчинившийся властям, и на этот раз укрылся в Хиву. Говорили, что никуда он теперь не денется. Без скота и поддерживавших его родовых аулов много не навоюешь.

Потом через слободку шли кочевья – с лошадьми, верблюдами, привязанными к поклаже детьми. С утра до ночи сидел он в Пограничной комиссии, помогая толмачам. Аульных аксакалов и биев приводили в большую комнату, где за накрытым зеленым сукном столом заседали члены комиссии в мундирах и при орденах.

– Киргизы аула номер пять, в количестве ста сорока восьми душ... – протяжно читал Варфоломей Егорович Воскобойников. – Из них пола мужеска восемьдесят три и пола женского шестьдесят пять. Старшие над ними аксакалы Бекбулатов Сабир и Джумагельдин Кадырбай, коим и объявляется решение о выселении сего аула из пределов Западной части Орды в пределы Тугайнова кочевья при колодце Яхбиль и в зимовье Чингельды... Основание на выселение: представление Его высокоблагородия султана – правителя Западной части полковника Айчувакова...

Два аксакала – один в желтой шубе до пят, другой в чапане – слушали, уставившись куда-то в стену за спиной комиссии. Тот, что был в чапане, время от времени вытирал платком слезящиеся глаза. Большая зеленая муха, залетевшая от казарменных отхожих мест, громко жужжала под потолком. Толмач, присланный из суда, переводил тихой, невнятной скороговоркой. Старики, видимо, не слушали, хоть говорилось по-казахски.

– Имеются ли отличные от сего мнения, господа?

Статский советник, который в доме попечителя Плотникова читал тайное письмо, смотрел перед собой

бесцветными глазами. Бумага с гербом в его маленьких ручках казалась непомерно большой, тяжелой.

Капитан казачьей артиллерии Андриевский, сидевший с краю стола, просил всякий раз передать ему бумаги, но не читал, а лишь поглядывал на аксакалов.

– Неясно, господа, участвовал ли этот аул в волнениях. – Андриевский вдруг обернулся, нашел его глазами. – Спросите у них, Алтынсарин, принимали ли участие жители аула в набеге на семнадцатый пост в прошлом ноябре? И в каких отношениях состоят они с мятежным батыром Кутебаровым?

Капитан только раз или два видел его в доме учителя Алатырцева, но имя запомнил. Он в ответ поспешно кивнул головой и принялся расспрашивать аксакалов. Старики сразу же повернулись к нему, заговорили:

– Мы никому не причинили вреда. Исет-батыр овец у нас брал. Как не дать. Родственник он нам, и туленгуты у него... Аллах, почему такая напасть на нас?!

Капитан Андриевский отодвинул от себя бумаги:

– Могу засвидетельствовать, господа, что это мирный аул. В своих расследованиях на линии в прошлый год я бывал на дальних постах и знаю все аулы семнадцатой и восемнадцатой дистанций¹. Не они разорили пост в ноябре.

Статский советник Красовский, не выпуская из коротких рук бумагу с гербом, заговорил, как бы не слыша возражений капитана:

– На основании представления султана-правителя полковника Айчувакова, предлагается утвердить...

– Но позвольте, Евграф Степанович. Для соблюдения авторитетности русского слова и Российского государства в киргизском обществе надлежит разобраться по справедливости. Спросите у них, Ибрагим, о причине нелестного мнения о них полковника Айчувакова.

¹Промежутки между постами. Составляли административную единицу в степи в 50-е годы XIX века.

– Ай, с Исет-батыром они враги. А Исет нашего рода,– пояснили аксакалы,

– Выходит, родовая вражда.– Капитан Андриевский приподнял плечо.– Приличествует ли нам поддерживать подобные устремления?

Статский советник еще крепче стиснул руками бумагу с гербом:

– Как известно вам, Иван Матвеевич, султан-правитель назначается на должность генерал-губернатора с утверждением по известному ведомству. В сей лишенной всякого понимания о праве среде, которую вы изволите именовать обществом, существуют свои правила и обычаи. Правительство находит полезным в обращении с киргизами поддерживать устоявшиеся правила, сколь бы ни были они противуестественны для европейского понимания законности.

– А не скатимся ли сами мы в конце концов к столь неевропейскому ее пониманию, ваше превосходительство?!– резко возразил Андриевский.

– Слово султана-правителя для нас превышает все остальные мнения, исходящие от киргизов. Коль находит тот неудобным пребывание аула на подведомственной ему территории, мы неукоснительно будем поддерживать его решение. Только так утвердится авторитет власти.

– А люди?

– Какие люди?

Статский советник с недоумением посмотрел на аксакалов, словно впервые увидел их. Старики напряженно прислушивалась к тому, что говорил Андриевский. Аксакал в чапане так же, как и капитан Андриевский, не стал обращаться к другим толмачам, а нашел глазами его:

– Что говорит орыс?

– Русский говорит, что неправильно всех переселять,– сказал он, и старик с надеждой уставился на капитана.

– На основании представления султана-правителя Западной части Орды полковника Айчувакова утверждается переселение аула номер пять семнадцатой дистанции в пределы Восточной части Орды, а именно...

Один за другим кивнули головами советники комиссии, гласно закивали казахи-заседатели в синих и малиновых бархатных штанах. Андриевский отвернулся к окну.

Заседание комиссии закончилось. На улице аксакалы из переселяемых аулов молча сидели на земле вдоль стены. Они словно бы ожидали еще чего-то. Как только вышел Андриевский, все они повернули к нему головы. Капитан остановился, постоял, потом, не глядя по сторонам, сел в седло и поскакал в сопровождении казака вдоль улицы...

Что-то непонятное ему было в этом мире, чему никак не находилось объяснения. Одно и то же здесь имело разные значения. Помнились проводы, которые устроили офицеры-топографы своему командиру, любимому всеми полковнику Бларамбергу, только что сделавшемуся генералом. Узнав об этом, он с Бахтияровым побегал сначала в топографическую роту. Составленные в ряд столы были накрыты холщовыми скатертями. Солдаты сидели ровно, со строгими лицами. И у уезжавшего в Петербург немца-генерала лицо было строгое, важное. Старший унтер обтер платком седые усы, поправил погон и заговорил:

– Так что дозвольте, ваше превосходительство Иван Федорович, поблагодарить вас, что не побрезговали солдатским угощением и пришли отведать напоследок нашу хлеб-соль.

– Спасибо, голубчик... Спасибо, братцы!..

Генерал привстал, но унтер властно повел рукой в его сторону:

– Как мы, значит, пятнадцать лет знаем вас как командира, достигающего до солдатской души. Потому

как у солдата глаз остер и всегда видит, коль происходит от начальства бездушевность и небрежение. Сколько в этом разе не старайся, сердце солдата не зажжешь...

Сменяющий на посту генерала высокий полковник тоже с нерусской фамилией слегка побледнел и сторбил плечи. Унтер покосился в его сторону и, увидев, что слова дошли до цели, удовлетворенно кивнул головой.

– И особо желаем, ваше превосходительство, благодарить вас от лица тех российских воинов, что ходили с вами в пятьдесят втором под Ак-Мечеть. Каждый из нас скажет, что истинно русский вы человек. Потому как другой командир и носит случаем русское звание, а нет к нему солдатского расположения...

Сидя по-прежнему ровно, генерал плакал, утирая слезы. Солдаты подходили по очереди, и он целовался с ними. Потом выпили разлитую в кружки водку и молча ели обед: щи и кашу. Генерал и приглашенные офицеры съели все без остатка вместе с солдатами и так же, как они, оставили ложки. На прощанье трижды прокричали «ура»...

Офицеры давали прощальный обед в Дворянском собрании. Там играл военный оркестр и на столах стояла хрустальная посуда, которую всегда доставали в таких случаях. Вместе с другими праздными зрителями они с Бахтияровым стояли в дверях.

– Чины вверенного вам отдельного отряда корпуса топографов никогда не забудут пятнадцати лет трудной и счастливой службы Отечеству под вашим просвещенным командованием, Иван Федорович, – громко и четко, как всегда, говорил старший из офицеров капитан Яковлев.

Все вставали и говорили по-очереди, а генерал утирал платком свои большие голубые глаза. Потом он встал, плотный, высокий, с кубком в руке:

– В момент расставания, господа офицеры, не могу удержать слез. Тем не менее, считаю долгом своим, прежде чем благодарить вас за теплые чувства ко мне,

почтить недавний уход от нас августейшего командира, чьи отцовские заботу и благорасположение мы ощущали в каждый час нашей службы на беспокойных азиатских рубежах. Как знаете вы, я был в то время в столице и мне выпала печальная честь присутствовать на высочайших похоронах. Когда в последний раз приложился я губами к холодной руке своего государя и благодетеля, я думал о вас, своих товарищах, вместе с которыми честно исполнял его монаршую волю и предназначения...

Словно некая тень упала на лица людей. Они сразу одеревенели, потеряли всякое выражение. Какая-то торжественная важность появилась на них, и все, что до сих пор было живое, искреннее, стало ненастоящим.

Генерал скорбно покачал головой:

– Расскажу вам, господа, как с шефом наших казаков графом Цуккато покидали мы траурный покой в Зимнем дворце. Нам встретился старый камердинер усопшего с заплаканным лицом. Граф спросил у него: «Много ли страдал покойный царь перед смертью?» – «Ах, Ваше сиятельство,– ответил ему камердинер,– физически он мало страдал, но какие душевные мучения он перенес в последние месяцы своей жизни, знают только бог и я». – «Как так?»– спросил граф. «Сколько ночей,– ответил камердинер,– я слышал, как Его величество часами ходил взад и вперед по своей спальне, вздыхал и громко молился. Судьба его армии, государства и особенно неблагодарность Австрии, которую он в сорок девятом году спас от гибели, подтачивали его здоровье. Но днем он всегда был бодр, и никто не видел, что происходило у него внутри, и что он переживал. Да! Усопший царь Николай Павлович был человеком в полном значении сего слова. Мир праху его!..

Офицеры торжественно склонили головы и выпили свои кубки. Все: и Дальцев, и Яковлев, и приглашенные Андриевский с Бутаковым. Он мало что

понимал и, когда кончилось торжество, вслед за ними пошел на квартиру к учителю Алатырцеву. Там, как обычно, собралось много людей. С теплотой говорили об уезжающем генерале, чья жена – симферопольская гречанка была первой в устройстве музыкальных вечеров и спектаклей в Дворянском собрании.

– Из каких он немцев: курляндский или наш, русский, – спросил Андриевский.

– Он из фламандцев, – сказал учитель Алатырцев. – Слышали про знаменитого собирателя древностей Бларамберга в Одессе? Это дядя ему.

– Немец и есть немец. Почившего в бозе императора к месту вспомнил, – усмехнулся Андриевский.

– Нет, тут сложнее дело, – задумчиво сказал Дальцев. – Бларамберг достойный и честный человек. Слыхали, как солдаты с ним прощались?..

– Чем уж так полюбился им этот Бларамберг?

– А тем, сударь мой, что добрую душу имеет, – громко сказал Яковлев. – Русский человек все за доброту сделает. И не смотрит: русский это или татарин. Раз добрый, считает он, значит истинно русский человек, кто бы он ни был. А злодея, будь он хоть распрорусский, тем же немцем, татаринном или жидом определит.

– Но все ж отчего он такую верность памяти всероссийского погубителя имеет в сердце?

– Помимо всего, покойный царь лично благоволил к нему. Награды и прочее. Золотая табакерка с монограммой государя у Ивана Федоровича.

Учитель Алатырцев, внимательно следивший за разговором, покачал головой:

– Нет, господа, вы ошибаетесь. И вовсе не в немце здесь дело. Это уж наше, российское, со времен присной памяти Петра да Ивана, если не от самого Владимира Красное Солнышко. И пребудет оно до тех пор, пока не научимся различать слово «правительство» от слова «Отечество». Впрочем, и у немцев этого предостаточно...

Оля, дочка господина Дынькова, совсем по-хозяйски раскладывала лоскутные одеяльца, пеленала куклу. Для куклы стояла в юрте специальная кровать, которую вырезал ножом из дерева дядька Жетыбай. Они с солдатом все делали, что говорила им девочка.

С ним она тоже разговаривала так, как будто он должен был ее слушаться.

– Помазай себе этим голову,– сказала она, принеся горшочек с какой-то клейкой кашей.– Не бойся, тут вар и зельнь-трава. Мамка говорит: от этого волосы растут. Она знает!

Он послушно снимал шапку, и она мазала ему шрамы на голове. Делала она это серьезно, с терпением, совсем как большая.

– Вырастут волосы,– приговаривала она, как со своей куклой.– Будет он у нас красивый, с кудрями...

Солдат Демин и вовсе переселился в юрту. Там, на правой стороне, стоял деревянный сундучок и на кереге¹ висела иконка: светлолицый человек с бородкой, чем-то похожий на учителя Алатырцева. Солдат становился перед ним на колени и крестился. Дядька Жетыбай, посмотрев на него, тоже расстилал коврик, выполнял ракат молитвы. И кончали молитву они вместе.

Солдат уже понимал по-казахски, и говорили они с дядькой Жетыбаем на каком-то смешанном языке – не русском и не казахском, да еще с татарскими и башкирскими словами. Все так здесь объяснялись в слободках, на меновом дворе и конном базаре.

Снова, как при прощании с немцем-генералом, холодная тень лежала на лицах людей. Поэтому он смотрел на пятно от пролитых чернил. Оно расплывалось по зеленому сукну, принесенному из Пограничной комиссии. Сукном этим был накрыт большой школьный стол, поставленный поперек.

¹Стойка юрты.

Посредине сидел Генерал, наклонив голову с жесткими завитками волос. И еще сидели статский советник Красовский с маленькими ручками, новый попечитель с пушистыми светлыми усами, Усман-ходжа, капитан Андриевский. Портрет нового государя был не в рост, а поясной, но так же, как и на старом портрете, отчетливо были выписаны ленты, ордена, брови, уши. И у сидящих за столом людей все было такое же, как на портрете. Лишь надзиратель Дыньков, сидящий в стороне, боком к столу, испуганно вслушивался в ответы воспитанников и всякий раз вытирал пот со лба.

Полмесяца ожидали приезда нового губернатора, чтобы при нем провести первые выпускные экзамены киргизской школы, но решили больше не ждать. Генерал не задавал вопросы, а только слушал. Отвечали сразу по всем дисциплинам. Громко вызванный унтером из коридора, он вошел и вдруг почувствовал, что лицо у него становится таким же, как и у людей за столом. Даже голос сделался не свой. Он складывал, умножал, рассказывал стихи, но говорил не так, как всегда, а словами из книжек. Усман-ходжа приказал прочитать ему суру из Корана. Ее надо было выпевать, но он читал арабские слова все таким же голосом.

Лишь на миг нечто изменилось. Перечисляя известные ему книги, он назвал поэму господина Гоголя «Мертвые души». Генерал вскинул брови и лицо его сделалось вдруг таким, как на елке, когда танцевал там с детьми. Капитан Андриевский тоже повернул голову. Но в ту же минуту это прошло и все лица опять стали такими же, как на портрете у государя.

Новый попечитель барон Врангель читал громко, округляя периоды – совсем так, как учили их в школе:

– ...«За отличные успехи и благонравие награждаются похвальными листами воспитанники Кулубеков, Кусваков, Мунсызбаев, Алтынсарин, Кучербаев».

Им должны были выдать именные свидетельства об окончании школы с подписью нового губернатора, но

он не мог уже больше ждать. В последний раз пробежал он по пустому прохладному коридору, вышел во двор. Невозмутимый Нурумбай дернул поводья, и тарантас поехал к воротам. Бросились с кудахтаньем в разные стороны куры и петухи господина Дынькова. Сам господин Дыньков с женой стояли на крыльце флигеля. Маленькая дочка его Оля держала на руках свою куклу. И солдат Демин молча стоял у ворот.

Что-то на мгновение защемило в груди, но иначе никак не могло быть. Он уезжал к узунским кипчакам.

7

Пугающе-однотонное дребезжание отныне вошло в его жизнь. Оно представлялось ему днем и ночью. Напряженно прислушивался он, вспоминая, что делал вчера, позавчера, какое неверное слово сказал или произвел движение. Был это не размеренный звон идущих к Троицкой таможене караванов, и не утренний перебор колоколов с той стороны Тобола. Холодное залиvistое звяканье забиралось под одежду, так что начинали чесаться спина, руки, живот. И сразу возникало лицо имеющего присутствие в Новониколаевске Петра Модестовича Покотилова – с полоской усов, плотной шеей и снисходительной уверенностью в серых выкаченных глазах. Оно впервые явилось в день возвращения узунских кипчаков на свое зимовье-кыстау, и колокольчик продолжал биться в дуге, хоть лошади уже остановились.

Началось все в день его возвращения к Золотому Озеру, когда узунские кипчаки разбирали юрты и укладывали связки продыmlенных кереге вдоль верблюжьих горбов. Привезший его Нурумбай был позван к дяде Хасену. К вечеру с тремя джигитами Нурумбай скрылся в тугаях на том самом месте, где когда-то палка ударилась в ноги гнедому. Четверо всадников ехали так, будто не хотели, чтобы их видели, и у Нурумбая, а также у другого – больше-

лица, со сросшимися бровями джигита торчали ружья за спиной. Не заметив его, стоящего со стороны заходящего солнца, они пропали в синей тьме.

А через неделю, верстах уже в ста от Золотого Озера, когда кочевье медленно двигалось вдоль пересыхающей к осени речки-джара и овцы разбрелись по краям окоёма, где-то впереди люди заволновались. Послышался протяжный крик «ой, бо-о-ой!» и столб пыли стал приближаться откуда-то со стороны. Горестный крик подхватили, джигиты один за другим начали срываться с места и, смешавшись с облаком пыли, неслись вместе с ним обратно.

Неподвижно, на старом гнедом иноходце с хвостом до земли, сидел дед Балгожа. К нему прискакали, соскочили с лошадей и, удерживая за края, положили на землю черную кошму. Глядя открытыми глазами в небо, лежал на ней тот самый большеголовый джигит со сросшимися бровями, который уехал недавно через тугаи с Нурумбаем. На рубашке его запеклась кровь и ровный обломок дерева торчал в левой части груди.

– Ой, горе... Человек Хасена!

– Ой, беда.

– С Запада приехали они, от турайгырцев....

Люди вздыхали, тихо переговаривались между собой. Бий Балгожа продолжал смотреть поверх всех, куда-то в степь.

– Да, беда в доме. Нурлан разбился в Балтагульской роще, когда ловил отбившихся коней!– громко сказал аксакал Азербай. Люди заспешили, стали готовиться к похоронам. Неужто никто не замечал гладко оструганного, крашенного в черный цвет обломка пики в груди покойного?

Мулла Рахматулла, воздевая худые руки, читал молитву. Когда обернутое в полотно тело бегом понесли к видневшемуся невдалеке мазару¹, прискакал

¹Могила святого, значительного человека, вокруг которой группируется кладбище.

откуда-то дядя Хасен, принялся яростно хлестать камчой Нурумбая и двух других джигитов, привезших мертвеца. Нурумбай не закрывался, только пригнул плечи и втянул голову.

Другой его дядя Кулубай смотрел сочувственно, сузив глаза и стянув брови в одну линию. На привале аксакал Азербай сказал:

– Запиши, Ибрай, в свою тетрадь все, что следует о смерти Нурлана.

Дед его – бий и войсковой старшина Балгожа Джанбурчин кивнул головой, и он, достав из казенного сундучка толстую тетрадь с ровными линиями, записал: «Каирбаев Нурлан, киргиз того же узунского рода, пола мужеска, августа четвертого дня, года тысяча восемьсот пятьдесят седьмого, лишился жизни по причине неосторожности. Захоронен при мазаре Кожамета с отправлением обряда».

Потом кочевье остановилось. Приехал высокий жилистый бий и два аксакала от турайгырских кипчаков. С утра сидели они на расшитой кошме с бием Балгожей, Азербаем и другими узунскими аксакалами. Никто близко не подходил, только подносили кумыс и угощения. У турайгырцев тоже произошло счастье. Какие-то люди пытались ночью отбить табун кобылиц серой масти и в схватке с барымтачами застрелен из ружья табунщик Карсакпай. Четвертый день едут они по следам конокрадов. Видели свежую могилу при мазаре благословенного Кожамета. Какая беда приключилась у родичей?

Азербай подробно рассказал, как родственники уважаемого Хасена, племянника бия Балгожи, поехали искать отбившихся коней. Несчастье произошло в Балтагульской роще. Сын Каирбая Нурлан упал с коня и напоролся на сук. Над ним прочитали молитву, и все записано в книге, как требуют власти. Что касается несчастья с табунщиком Карсакпаем, то люди узунского рода всегда приходят на помощь родичам и готовы принести в дар братьям погибшего девять

кобылиц из племенного табуна, а также другие положенные предметы.

Аксакалы турайгырцев ответили, что поскольку несчастье уже произошло, то не следует привлекать к нему внимание властей. Должны быть проявлены мудрость и здравомыслие, принятые в отношениях между родичами. Ибо все кипчаки от одного корня, а турайгырцы ближе других к узунскому роду. Однако покойный Карсакпай хоть и обычный табунщик, но не безродный туленгут, а родственник почтенного аксакала Демеубия, и девять кобылиц не успокоят горе его братьев. Как бывало уже в таких случаях, к месту дарить три раза по девять...

Дядя Хасен не принимал участия в споре, лишь нервно дергал локтем. Зато дядя Кулубай улыбался и щурил глаза.

– Да, да, – сказал ему потом наедине дядя Кулубай, когда турайгырцы уехали. – Главное, чтобы все улаживалось между своими. Незачем затруднять власти нашими делами. Надеюсь, ты правильно записал в книгу про смерть Нурлана?

При этом дядя Кулубай все заглядывал в тетрадь, где была русская запись. Он хотел спрятать тетрадь, но дядя не успокаивался:

– И подписано все как надо?

– Вот, видите, агай: «письмоводитель Узунского отделения кипчаков Ибрагим Алтынсарин в сем удостоверяет».

Дядя Кулубай зачем-то потрогал туго сшитые листы, посмотрел нумерацию записей и похвалил:

– Барекельды... молодец!

Через два месяца он пытливо смотрел на холодную рябь Тобола, на желтые тугаи и клонящиеся к воде голые ветви деревьев. Шестнадцать лет назад, как раз в этот день, родился он здесь. Трижды приезжал он на вакацию к деду, но не сюда, а к Золотому Озеру, на

джайляу¹, за полтысячи верст отсюда. Теперь он останется здесь навечно, до конца своих дней.

У тама – зимнего дома деда Балгожи с пятью стеклянными окнами разгружали коней и верблюдов, рядом ставили большую восьмикрылую юрту. За пятьдесят сажений отсюда стоял его собственный, отцовский там – из плотного саманного кирпича с остекленным оконцем из гостевой комнаты. На откосе у приречного озера дверьми к солнцу теснились землянки родичей и туленгутов с поросшими жесткой травой крышами. Прямо за ними виднелись сараи и загоны для молодняка.

Вверх и вниз по реке стояли зимовья Хасена, Кулубая, Азербая, других родственников, и все это на сто верст вокруг было кыстау рода узунских кипчаков, смутно помнившееся ему в снах того, другого мира. Сейчас все было наяву и остро пахло сырой глиной, камышом, стылой водой. И казалось грубее и меньше, чем во сне. Даже Тобол был не таким широким. Блеклые листья медленно плыли вдоль берега. Он набрал полную грудь воздуха, развел плечи, и вот тогда вдруг послышался колокольчик.

Петру Модестовичу Покотилу помогали вылезти из коляски, следом семенил мелким шагом маленький фиолетовый человек. На крыльце с непроницаемым лицом стоял дед Балгожа. Забегали люди, предсмертно заблеял баран.

Его позвали через полчаса, велели представить реестровые книги по отделению. На половине для русских гостей в доме бия Балгожи стоял стол с городскими креслами, два шкафа и большой кожаный диван – точно такой, как в кабинете у Генерала. На диване, вольно раскинув ноги, сидел новониколаевский пристав Покотил и говорил, благодушно поглядывая на хозяина:

¹Летние пастбища.

– Так что по долгу службы принужден. Вот, с Семёном Бекбулатовичем, как знатоком по сей части. Однако, движимый особым почтением и, смею сказать, дружбой с вами, любезный Балгожа, решился произвести дознание лишь по прибытию вашему на Тобол. Тем не менее, дело не ждёт, вчера даже пришло напоминание из канцелярии его превосходительства. Все бы ничего, да сказано, что имеется собственноручная резолюция. Новый губернатор как-никак...

Маленький человек сразу вцепился руками в реестровую книгу, нашел страницу с записью о смерти Нурлана. Все у него было фиолетовое – лицо, нос, руки, даже потертый мундир фиолетово отсвечивал на локтях.

– Все точно-с, Петр Модестович. Извольте увидеть!

Целая неделя потом прошла как во сне. Его вызывали утром, днем и вечером, всякий раз приходилось писать объяснения! Фиолетовый человек спрашивал, кося взглядом в угол:

– Значит, не ведаете... э-э... господин Алтынсарин, о неких ста рублях...

К концу недели он видел, как Алим-ага, доверенный человек деда Балгожи, управлявший зимовьем в его отсутствие и ведущий счета, передал приставу Покотилову толстый конверт. Петр Модестович удовлетворенно кивнул, как-то незаметно опустил конверт в карман – как раз там, где пристегивается сабля.

В тот же день его опять позвали к деду. В комнате были лишь пристав со своим помощником. Бий Балгожа сидел прямо, как на коне.

– Вот-с, извольте, самую бумагу посмотреть. Знакома ли сия рука?

Чиновник положил между ним и дедом желтоватый лист. Бисерные буквы расплывались и опять собирались в ровную линию... «Мертвое тело с насильственными следами, кое захоронено при мазаре Кожак-мета... Означенный письмоводитель Алтынсарин Ибрахим, ему тоже дана взятка сто рублей... При попустительстве и укрывательстве бия Джанбур-

чина...» Почувствовав, что не хватает воздуха, он открыл рот. Петр Модестович Покотиллов водил по ковру сапогом со шпорой, благодушно махал рукой:

– Что же, чистосердечно засвидетельствуем. Нет, так сказать, возможностей установить вероятность насильственной смерти. Да-с...

– Так точно-с, нет возможности...– подтвердил чиновник.– По зимнему времени... пока.

Они уехали, и дядя Хасен говорил быстро, захлебываясь, приближаясь к самому лицу бия Балгожи:

– Кулубай, собака, Ерошке-приказному в Троицке двадцать рублей платит. Сам скот у танабугинцев ворует. Покотиллов помогает ему, свою долю имеет. Все мне известно про него!..

Он заболел после этого и десять дней слышался ему голос: «Означенный Ибрахим... взятка – сто рублей!» Когда жар прошел и вышел он из дома, в чистом осеннем воздухе как будто все еще дребезжал колокольчик. В испуге он приложил руки к голове. Уже не одна, а две коляски стояли у дедовского дома. Петр Модестович Покотиллов со своим фиолетовым человеком помогали сойти на землю кому-то большому, грузному, в судейской шинели.

Опять его позвали в присутствие к деду, и он узнал надворного советника Котлярова, служившего в губернском надзоре. Некогда в доме попечителя Плотникова тот слушал чтение тайного письма про непорядки и злоупотребления в империи. С ним приехал толмач от султана-правителя Восточной части.

– Признаете ли вы, господин Алтынсарин, выданную вами справку по отделению?– строго спросил у него надворный советник Котляров.

Это было уже по другому делу. Два месяца назад на пути от Золотого Озера дядя Кулубай попросил его написать бумагу на продажу двухсот пятидесяти лошадей, которых отправлял на ярмарку. Он написал и приложил печать Узунского отделения. Дядя Хасен, озлобленный утратой отданных турайгырцам кобы-

лиц, все дергал его за руку: «Какую бумагу Кулубаю выдал? Зачем?..»

Он подтвердил выдачу справки, и надворный советник Котляров стал еще строже лицом. Три дня писал он потом объяснение: когда выдал справку, проверил ли родовой знак – тамгу на каждой предназначенной на продажу лошади, знает ли общее наличие лошадей гнедой масти в табуне киргиза Узунского отделения Кулубая Кадырбекова.

– Вот-с, уважаемый бий, что вам вменяется в вину по жалобе от неких киргизов подведомственного вам отделения...

Буквы в доносе уже были крупные, неровные... «Получив с согласия бия Балгожи сто рублей от киргиза Кадырбекова Кулубая, писарь Алтынсарин дал справку на двести пятьдесят гнедых лошадей, в то время как лошадей означенной масти на ярмарку было отогнано лишь сто двадцать, прочие же сто тридцать – разных мастей, с забитым тавром, и те лошади краденые из других отделений: Танабугинского и Устинского. Писарь же Абрашка Алтынсарин, приходящийся внуком бию, творит беззакония и разбой...»

Алим-ага, ведущий счета, пересчитывал ассигнации, вкладывал в конверт. Не изменяя нисколько строгого выражения лица, надворный советник Котляров принял конверт, положил за отворот вицмундира.

– Я забыл, любезный бий, передать вам дружеские пожелания его превосходительства. Благодарит вас за лошадей к выезду. Признаюсь, я позавидовал. Отличные лошади-с!..

Вслед за коляской надворного советника послали в Троицк четверку серых с черными гривами лошадей. Дядя Кулубай удрученно качал головой, сводил в ниточку глаза и губы:

– Некоторые люди клевету, напраслину возводят на других. Писарей нанимают для этого, деньги платят. А сами у родственников лошадей уводят, на место бия метят. Ай, как нехорошо!..

Колокольчик гремел, не переставая. Пристав Покотилов вел дополнительное дознание: о сокрытии насильственной смерти киргиза Нурлана Каирбаева. И другой надворный советник с красными прожилками в глазах проверял, как велось следствие. Сразу трое чиновников приехали из губернской управы по делу о незаконной продаже лошадей. Каждый привозил бумагу с мелким убористым письмом или, наоборот, с крупными, неровными буквами. Но в той и другой обязательно говорилось о ста рублях и о нем, письмоводителе Алтынсарине.

Потом его стали вызывать в Троицк, а вместе с ним дядю Хасена, дядю Кулубая и самого бия Балгожу. Вместо бия по причине его преклонного возраста ездил ведущий счета Уzunского отделения Алим-ага, который вез с собой деньги. В Троицке снимал с него дознание приехавший с личным предписанием нового губернатора статский советник Евграф Степанович Красовский. Цепко держа в маленьких ручках подшитые вместе бумаги, он говорил ровным высоким голосом:

– Извольте немедленно представить объяснение, почему в показании от ноября, четырнадцатого числа, не указали на мужеский пол преданного земле при мазаре Кожаммета киргиза Каирбаева. А также по поводу ста рублей, каковые, по подозрению, вручены вам за сокрытие причины смерти означенного киргиза. Объяснитесь также и в других ста рублях, за справку о законно допущенных к продаже лошадях!

Конверт с деньгами Алим-агай передал приехавшему вместе с ним из Оренбурга чиновнику Пальчинскому. Тот молча принял. И серых, с черными гривами лошадей припрягли к экипаж статского советника.

Когда выходили из судебного присутствия в Троицке, дядя Хасен ухватил его за руку, стал тыкать пальцем через коридор:

– Видишь, Ерошка-приказной. Пишет Кулубаю все на тебя. На место бия сесть хочет!

К большой, заставленной шкафами комнате дядя Кулубай, наклонившись, что-то тихо говорил старому человеку с мышиным лицом. На том был выцветший мундир с грязным воротником и в руке обкусанное перо.

Вечером на постоялый двор купца Юмашева, где они остановились, пришел пьяный человек без шубы, в одной кацавейке, и стал громко по-татарски звать дядю Хасена. Тот выскочил, начал браниться. Они ушли в конюшню, и оттуда слышался дядин голос:

– Ты уже взял пятнадцать рублей. И пять рублей я вперед тебе дал. Зачем сюда пришел? Почему не написал про кульделянское тавро на кулубаевых лошадях. Про Ибрая-писаря мало написал. Пиши опять, что хабар Ибрагим берет: сто рублей!

– Ой-бой, совсем нехорошо делает наш уважаемый Хасен, – сказал дядя Кулубай. – Родственников порочит, место бия Балгожи предполагает занять!

Когда вернулись из Троицка, у дома бия Балгожи все стояла тройка, и Петр Модестович Покотиллов вылезал из нее, придерживая саблю. Следом приехали еще две тройки: от губернского надзора и с судейским предписанием. После их отъезда он вышел из дома и пошел прямо, ничего перед собой не видя.

Очнулся он над обрывом и с удивлением посмотрел вокруг. Оказывается, была уже зима и лежал снег. Замерзшая река ледяным полукругом обтекала берег. Редкая белая крупа сыпалась с неба. Вспомнилось вдруг, что сегодня Новый год – до другому, когда-то существовавшему для него счету.

Что-то знакомое проглядывало в пологом берегу, где чернел мерзлый камыш, в полузасыпанных снегом кошарах. Все еще не веря в то, полузабытое, он смотрел и вспоминал. Да, именно здесь предполагал он провести для узунских кипчаков широкую, с фонарями, улицу. На холме надо было построить белую мечеть. А кроме того еще – базар, меновой двор, сад для гуляния. И чтобы все имели красивую одежду...

Долго стоял он тут. А когда шел домой, к заметенному снегом таму, срезал по дороге веточку зеленой хвой.

8

Снилось ему, что он ловко кружится по гладкому сверкающему полу, а девочка в панталончиках и с бантиками все спрашивает его:

– А вы настоящий киргиз, Ибрагим?..

Встав поутру, он огляделся. Ровный ледяной свет лился в оконце. Стоял стол, и книги лежали на нем. Этот стол и стул с гнутой, обитой волосяной материей спинкой он принес от деда, а медный подсвечник купил в Троицке. Над сундуком с горой цветных одеял висело ружье, подаренное дедом, и в рамке дерева – похвальный лист. Каллиграфические буквы различались издали: «За отличные успехи и благонравие... полная благодарность». Вверху двуглавый орел с короной, внизу оттиснутый тушью веночек с лентой. За листом и свидетельством он ездил с дедом в ставку султана-правителя. Полковник Джантюрин был пьян, и еле нашли тогда этот лист в одном из сундуков его канцелярии.

Вошел дядька Жетыбай, положил сухого хворосту в печку, раздул вчерашние угли. Оконце стало оттаивать, и струйка воды побежала на кошму. Слышно было, как дядька в прихожей наливает теплую воду в умывальник. Мать и тетушка Фатима возились на своей половине с едой, запахло пригорелым молоком.

Оконце почти оттаяло. В образовавшийся светлый круг видно было оголенное промерзшее дерево и часть озера, засыпанного снегом, с многочисленными следами овец и собак. Пахло горькой свежестью, и сон не выходил из головы. Он взял вчерашнюю ветку хвой, вставил в щель между досками стола. Сколько времени он уже здесь? Что делали в это время узунские кипчаки?

Одевшись, он вышел наружу. Снег был сероватый, лежалый с желтыми промоинами от скота. Люди возились в кошаре, у скирды сена и возле дома деда Балгожи. Все это были родственники. Ему известны были правила уплаты. За все полагалась пятерница. Пять овец прибавлялось ежегодно в отаре пасущего скот. И пять предметов полагалось ему: сапоги, штаны, рубашка, чапан и шапка, а шуба – раз в пять лет. И сто, и тысячу лет назад все было так, потому что скот здесь всегда имел одну и ту же цену. Родственнику никак нельзя было дать умереть.

Дядька Жетыбай, похлопывая запаренный круп впряженного в сани-волокушу старого мерина, вез от реки чистый лед для воды. Подобные ему не имели скота в отарах, а жили при доме, выполняя разные работы. Жетыбай оставил кусок льда у их тама, остальное повез к дому бия.

Почернелые бревна виднелись под ногами из-под снега, между ними пробивался дым. Бычий пузырь затыкал дыру на скате, где бревна сходились. Наверху сидела собака и смотрела на него равнодушным взглядом. Он спускался вниз, под землю, по посыпанным соломой ступеням. Солома вмерзла в лед, и сапоги все равно скользили.

Сначала ничего он не разобрал, только остро перехватило дыхание, заслезилась глаза.

– Ой-бой, Абике... Заходите к нам, племянник!..

Они все называли его племянником, хоть родство было четвероюродное, а то и больше положенных семи степеней. Он начал различать людские фигуры – мужчину и двух женщин, возившихся возле большого пятиведерного казана. Вяло горел огонь, и дым от сырого хвороста расплывался под потолком. Женщины помешивали в котле деревянной лопаткой, выливали что-то в шайки, а мужчина уносил их в дымную темноту. Оттуда слышались вздохи, негромкое блеяние, и волнами приливалось едкое кизячное тепло.

Больные и слабые овцы содержались тут, а люди пользовались их живым теплом.

– Садись, садись, Ибрай-жан, покушай...

На расстеленной кошке спали дети, и совсем дряхлый старик в чапане прислонился спиной к поддерживающему крышу бревну. Мужчина оставил работу, сел с ним, и женщина подала им турсук с молоком. Потом из холодной, прорытой в стороне кладовки принесли вяленое мясо. Оно пахло сыростью. Мужчина крошил ножом мясо в подогретое кислое молоко, и они ели его, вылавливая деревянной ложкой с длинной ручкой...

Он пошел к другому озеру. Тут тоже был вырытый в земле кора¹, где люди жили при скоте, и курился дымок из-под снега. Стояли вперемешку тамы со сложенным на крыше кизяком и сплетенные из хвороста остроконечные шошалы.

На следующий день он сел на лошадь и проехал верст на пятнадцать в степь. Там, на хасеновой стороне кыстау, он встретил Нурумбая. Тот с двумя джигитами пас табун. Гнедые кони разбивали копытами снег, выдергивали не тронутую с осени траву. Сухие мерзлые бодылья хрустели у них на зубах.

Он остался здесь на ночь, спал на снегу, завернувшись в тулуп, спиной к огню. Нурумбай и джигиты проверяли сбившихся вместе лошадей, привозили и подбрасывали в огонь жесткие кусты терескена. К утру кони чего-то испугались, принялись уходить в степь. Страшно было смотреть, как неслась, взрывая снег, живая стена. Он скакал сзади и видел, как Нурумбай обошел табун, стал уводить его за собой на нужное место. От ночного привала проскакали верст десять.

Через день, когда спал он уже дома, в теплом таме, слышались гулкие неровные удары в дверь. Весь дом вздрагивал. Он поднялся, зажег свечу. Пламя ее

¹Зимнее помещение для скота и живущих при нем людей.

колебалось словно от чьего-то невидимого могучего дыхания.

– Опырмай¹, буран, – сказала мать. – Сильный ветер!

Четыре дня нельзя было даже приоткрыть дверь. А он лежал и думал, что делают сейчас в степи Нурумбай и джигиты, все другие кипчаки, которые пасут там лошадей, овец, верблюдов. Стало известно, что в племенном табуне бия Балгожи пропало сорок лошадей. Среди них были и его лошади, оставшиеся от отца его Алтынсары. Замерз табунщик у дяди Кулубая, и он записал в реестровую тетрадь: «пола мужеска, киргиз Тлевлесов Урман».

Уже и бревен не стало видно в том месте, где был кора, когда он шел из дома деда Балгожи. Лишь снежные сугробы высились тут и там. Где-то под землей обитали люди, согреваясь от скота. Он опять вспомнил придуманную им улицу и белый каменный дом посредине. Вспыхнули, загорелись фонари. Вышли из-под снега, заспешили, задвигались кипчаки. Он остановился, потер уставшие от холода глаза. И вдруг услышал посторонний звук.

Многоголосое бормотание слышалось тоже будто из-под земли, ослабевая и снова усиливаясь. Он подошел к сугробу, спустился по мерзлым ступеням. В таме не оказалось прихожей. Меж столбов, подпирающих крышу, лежала кошма, и ничего больше здесь не было! На кошме сидели мальчики, десятка полтора, и мерно раскачиваясь, пели:

– Клянусь небом, украшенным двенадцатью созвездиями и днем предвозвещенным...

Некогда Мирсалих-ага Бекчурин говорил им о поэтичности этих слов Корана, являющихся самой древней частью книги. Клятвы светилам были присущи людям, еще не познавшим бога.

¹Восклицание, выражающее неудовольствие.

– ...Клянусь свидетельствующим и тем, о чем он свидетельствует...

Невозможно было это слушать. Будто деревянные, выговаривались певучие, сладкозвучные слова. Они не понимали смысла того, что повторяли.

– Когда солнце обовьется мраком, когда звезды померкнут, когда горы с мест своих сдвинутся, когда звери столпятся, когда моря закипят...– завопил, увидя его, домулло Рахматулла, сидящий на возвышении с длинной тростью в руке.– Когда небо, как покров, сдвинется, когда ад разгорится и когда рай приблизится...

И домулло почти ничего не знал по-арабски. Ошибки периодов и сочетаний были в его речи. Трость коснулась головы самого маленького из учеников. Тот запел громче, перекрикивая общий хор.

Однако что-то еще было не так. Покосившись в его сторону, домулло Рахматулла подошел к мальчику, взял за щеки.

– Твой язык задубел в грубой повседневной речи и не может с должной сладостью произносить священные слова. Следует размять его!– сказал домулло и, вытащив язык мальчика, принялся старательно разминать его в желтых узловатых пальцах.

Ни слова не сказав, стал отступать он спиной к двери.

Светло и чисто было в мире. Снег слепил глаза.

Дома подошел он к столу, взял книжку в темно-зеленом переплете – сочинения господина Гоголя. Ее подарил ему учитель Алатырцев, когда уезжал он к узунским кипчакам. Тут же лежали басни Крылова – с золотым обрезом. Сон не прекращался. Третья книга «Описание Отечества». В ней говорилось о счастливых номадах, проводящих время свое в праздности.

Ветка хвои все стояла, воткнутая в стол. Иголки уже начали осыпаться, но зеленого цвета не теряли. В задумчивости, как случалось с ним, покачал он головой, раскрыл темно-зеленую книгу, начал читать...

Кругами скакали джигиты. Буйно, подобно выпущенным к солнцу птицам, неслись они по всему окоёму, без повода задерживали коней, замирали на месте, и вдруг устремлялись в противоположную сторону. Что-то означало это. Столько жизненной силы таилось в их непрерывном кружении, что тревожно, учащенно начинало биться сердце. У джигитов были напряженные, сосредоточенные лица.

Вместе с влажно раздувающими ноздри лошаадьми, потерявшими спокойствие верблюдами, остро пахнувшими к весне плотными массами овец двигались кочевья к тургайским озерам. Ехал на гнедом с хвостом до земли коне дед Балгожа. Ехала мать в теплой шубе и сапогах, придерживая уложенную в мешок посуду. Ехал дядька Жетыбай, держа в поводу груженного юртой верблюда. На много верст справа и слева вели свои табуны и отары аксакал Азербай, дядя Хасен, дядя Кулубай, другие родичи. А навстречу им от Сырдарьи и Улытау, от киргизских гор и хивинских рубежей, от самых крайних пределов, где степь перегораживает древняя стена, вместе с летящими в родные края дикими гусями двигались тысячи кочевий адаев, алшинов, аргынов, найманов, кереев, дулатов, уйсуней – всех, называющих себя казахами. Он помнил карту, висевшую в корпусе топографов и крашенное зеленью пространство на многие тысячи верст...

Кочевье уходило вперед, раскладывало юрты и ждало. Табуны и отары проходили, выедавая траву вокруг, и юрты снова укладывали на лошадей и верблюдов. Все было неизменным от начала времен. Для каждой юрты определено было свое место на этой дороге, и окаменевшие кости валялись в сухой траве, брошенные здесь предками. Золотое озеро было концом и началом этого нескончаемого пути.

Все повторялось, не меняя очертаний. Так же, как и в прошлый раз, прихорашивались женщины в предвестии желанного человека-сала. Тот приезжал в сопровождении джигитов попроще, полный собственной неотразимости, садился за праздничное угощение. Толпились молодые мужчины, разглядывая, какие сапоги у сала, какой моды пояс и цвет бархата на отороченной соболем шапке. С открытыми ртами слушали, боясь пропустить какое-нибудь его слово. Ибо сал – образец изящества в речи и образе. Все теперь знали, как говорить, какие изводить движения, и что надевать в это лето. Никто не определял его для такой роли, сам собой делался из человека сал, но и сто и тысячу лет назад ездил он по кочевьям, утверждая незыблемость общей для всех формы.

Больше всего взбудоражены были женщины. Благоклонность сала утверждала их первенство. Это разрешалось им, и они наряжались в самое яркое из одежды, поводили плечами, томно, призывно щурили глаза. Некоторые, совсем потерявшие голову, подходили, дергали его за расшитые рукава, шептали что-то влажными полураскрытыми ртами. А сал сидел неприступный, привыкший к поклонению. Так полагалось ему себя вести.

Сал уезжал гордый, недостижимый, но все знали, кому он отдал предпочтение. И долго, во все пребывание у озера, на обратном пути и длинными вечерами на кыстау говорили об этом, вспоминая каждое слово и движение благословенного сала, хранителя моды и хороших манер.

В круговращении времен были знаменитые салы, исполнявшие песни любви и песни страдания. Тысячекратно повторились они слово в слово, с должными паузами, являя образец в выражении чувств. На все случаи жизни были они. Их шептали в ночи или громко выкрикивали в минуту горя, а кто делал иначе, считался невеждой.

Тень славы великих салов сопровождала прочих, обладавших лишь умением держать себя. Их порой испытывали, чтобы узнать, как следует поступать в трудных обстоятельствах. Рассказывали, как устинские родичи-кипчаки накормили приезжавшего к ним сала айраном с актепинской дыней, вызывающими брожение в желудке. Тот под всеобщими взглядами просидел весь день за дастарханом, не дрогнув и бровью, и чуть не умер потом от собственной сдержанности.

Приезжал еще в кочевье сери – широкая душа, которому нипочем мнение толпы. Он делал все наоборот, совершая неожиданности, и молодые джигиты ходили за ним, слушая его высказывания и повторяя прибаутки. Это был установленный образец вольности и остроты суждений. Круг замыкался.

В должное время объезжал кочевья сопы – блюститель веры и родич святого Марал-ишана. С ним сидели аксакалы и говорили о таинствах бытия. Грузенный дарами верблюд следовал сзади, высоко неся голову.

Было другое. В тугаях, на краю выгона, пылал огонь. Уста Калмакан, маленький, с круглой лысой головой, все подкладывал сухой тростник. Ровный жар распределялся по земле, не остывая всю неделю. Широким кетменем разбивалась потом окаменевшая корка. Изпод нее доставали длинные черные прутья, которые еще с прошлой осени были уложены полукружьями в прибрежном иле. Так проникались они от земли железной твердостью. Огонь укреплял насыщенную солью иву, делая ее легкой и недоступной для червей.

Но это было лишь начало. Путья ивы очищались, принимали должную форму, пропитывались горьким соком степных трав и вновь прокаливались на огне. Потом они сглаживались, до темного блеска железом, полировались сначала жесткой шкуркой от шеи верблюда, потом кошмой и, наконец, мягким пухом озерного тростника. Бесконечно приятно было

водить ладонью по гладкому теплomu дереву, пропитанному всеми земными соками.

Готовая юрта лежала на обмазанной глиной площадке: небольшая стопка изящно изогнутых кереге, положенные друг на друга решетки, ровный круг шанырака. Все это легко и просто складывалось, словно сотворено было самой природой. Ему вспомнилось, как удивлялся топограф Дальцев: «Вы представляете, господа... Я измерил круг для воздуха и изгиб стойки. Оказалось, жилище киргиза до доли миллиметра построено по высочайшему инженерному расчету – в пору строителям собора святого Марка. С тем лишь отклонением, что собор не разберешь в полчаса и не увезешь на одном верблюде!

К женским рукам гладко прилегали браслеты с вызывающими томительную радость узорами. Знаки мощи и гнева были на мужских поясах, стремительные птицы и звери виднелись на конских уздечках. Расшитая шапка – саукеле с волнующимися перьями на голове невесты говорила о чистой, высокой мечте. Все рвалось куда-то в неизведанное...

Еще на пути к Золотому озеру провалился он в овраг с только что стаявшим снегом. Пять дней продолжалась горячка, от которой осталась вялая ломота в теле. В жаркий солнечный день становилось вдруг холодно, и ничего не хотелось делать. Потом он притерпелся к такому состоянию и не думал об этом.

Возвращаясь как-то от Нурумбая из хасеновой стороны кочевья, увидел он горбатого старика с большим ртом и вывернутыми губами. Неторопливо ехал тот на маленькой лошадке, временами останавливался и выкапывал из песка какие-то коренья. Старик пробормотал ответное приветствие, остро из-под руки посмотрел на него. Как и полагалось со встреченными в дороге путниками, он пригласил старика к себе в юрту. Мать с тетушкой Фатимой готовили еду, а старик посматривал по сторонам своими острыми глазами.

– Месяц назад ты упал в холодную воду!– скакал вдруг ему старик.

Мать от удивления выронила деревянную ложку, которой раскладывала по блюду выловленное в казане мясо. Он тоже не знал что сказать. Все было правильно.

– Это я увидел по цвету твоего лица и воспалению в глазах,– объяснил старик.– Нужно приготовить горячую воду!..

Все почему-то слушались незнакомого старика. Мать с тетушкой Фатимой поставили на огонь казан с водой. Старик, бормоча что-то и помешивая, стал сыпать туда щепочки и корни из своего коржуна. Пахло чем-то непонятным, вызывающим кашель. Когда вода отстоялась, старик обхватил его сильными цепкими руками и ковшик за ковшиком стал вливать в него бурое варево. Он задышался теплой горечью, пытался вырваться, но старик не отпускал его. Все кружилось перед глазами, жаркий пот заливал глаза.

Раздев его догола и не давая опомниться, старик принялся разминать его тело. Твердые, жесткие пальцы нащупывали каждую жилочку и хрящик, мяти, растирали их до изнеможения. На шее и затылке находили они бугорки и давили, пока горячая боль не пронизывала насквозь от головы к пальцам рук. Наступило забытие и, обессиленный, равнодушный ко всему, лежал он, не в состоянии даже приподнять веки.

– Теперь растопите масло!

Голос старика доносился откуда-то издали. Он пил из полной кесешки¹ теплый непосоленный жир, чувствуя, что и внутри уже не осталось сил, чтобы вытолкнуть его обратно. Гору одеял навалили на него. Горячие волны плыли кругами под куполом юрты, все убыстряя свое вращение...

Проснулся он утром от необыкновенной, давно уже не испытываемой легкости. Тело болело слегка, но

¹Большая пиала.

боль была приятной. Дышалось свободно и радостно. Он сбросил с себя одеяла, сел. Старика нигде не было. Подумалось, что все это происходило с ним во сне.

Никто не видел, как уехал горбатый старик. Забыли даже спросить о его имени и роде. Только через день он услышал, что через их кочевья проезжал знаменитый лекарь-кудесник Шоже-табиб из рода врачей-лечителей, обладающих лунным камнем. Тот, кто владеет этим камнем, может распознать и вылечить любую болезнь. Рассказывали также, что предки Шоже-табиба ездили учиться искусству врачевания за Ханские горы в древнюю страну, расположенную выше облаков. Ханскими называли горы, окаймляющие степь с юга, а древняя страна была Тибет...

Пришлось ему этим летом познакомиться еще с одним необыкновенным человеком. С подаренным дедом ружьем уезжал он всякий раз к дальним озерам. Отъехав как-то верст на семьдесят от кочевья, охотился он в тугаях вдоль русла пересыхающей речки. Вода в ней проступала только местами, и там собиралась дичь, наполняя прибрежные камыши.

На зеленой, не выгоревшей еще от солнца лужайке совершенно свободно ходил ярко раскрашенный фазан. Самодовольно крутилась головка на подвижной шее, топорщилось цветными перьями разжиревшее тело. Он присвистнул и выстрелил в шумно взлетевшую птицу. В ту же минуту послышался второй выстрел.

Ничего не понимая, поднял он фазана в добрых два фунта весом. Явный след его картечи вспорол птичью грудь и брюшко. Но кто-то еще стрелял из тугаев. Раздвинув густой камыш, он увидел молча стоящего старика. Пожалуй, и не старик это был. Борода незнакомца не казалась белой, но столько скромной значительности было в его лице и осанке, что человек невольно представлялся аксакалом.

– Ассалямалейкум, агай.– Держа за крыло, он протянул незнакомцу подстреленного фазана.– Вот ваша птица...

Человек с интересом посмотрел на него, покачал головой:

– Нет, юноша, это вы ее подстрелили.

– Тогда разрешите подарить ее вам.

– Благодарю вас, юноша.– Человек без всяких отговорок взял у него фазана.– Пойдемте ко мне, отдохнете, наберетесь сил после охоты. Вам ведь предстоит длинный путь.

Сидя на кошке в небольшом саманном доме у колодца Кожанулы, он еще раз подивился какому-то особому благородству в поведении и всем облике хозяина. Этому не противоречили простой чистый чапан, аккуратно подштопанный на рукаве, скромность посуды и предложенного угощения. Вместе с Динахметом Кожанулы, хозяином дома, чьи предки поселились здесь и стали казахами еще в годы деяний халифов, ел он из простой деревянной чашки просяную кашу, сдобренную фазаном, шубат¹. Оказалось, агай-кожа² учился в бухарском медресе, изучал священную книгу и хадисы³.

– Почему же вы не живете при мазаре, как Маралишан?– вырвалось у него.– Люди приводят туда в уплату за благочестие баранов, да и сопы собирают каждый год подарки.

– Не обязательно у мазаров служить богу.– Агай-кожа в задумчивости перебирал нанизанные на нитку косточки джиды.– Если человек сердцем ощутил заповеди мудрого и милосердного бога, ему не обязательно все дни проводить в суетном славословии.

Почти то же самое говорил когда-то другой человек, и он удивился. «Только ни к чему богу ежечасное человечье юление перед ним». Так объяснял невозможность частой молитвы господин Дыньков, надзиратель киргизской школы.

¹Шубат – напиток из верблюжьего молока.

²Кожа, ходжа – потомки осевших в Средней Азии и Казахстане ассимилировавшихся арабов.

³Рассказы о деяниях пророка, входящие в суннуманское священное писание.

– А могут ли неверные чувствовать сердцем истинного бога?– спросил он.

Агай-кожа посмотрел на него умными, все понимающими глазами, утвердительно кивнул головой:

– Каждый народ по-своему служит единому богу. Справедливости взыскует человек. А это и есть истинная вера, хоть, может, он и не ведает правила молитвы. Хуже лукавец, творящий молитву и думающий обвесить бога. Сказано у пророка: «Бог сильнее всех в ухищрении».

Здесь, у колодца, как и деда его, агай-кожа возделывал своими руками землю. Ровные арыки от проступающей из-под земли воды тянулись к огороду и просянному полю. Слиловые и яблоневые деревья росли у дома. Несколько верблюдов паслось вдалеке.

Отдыхая под навесом, видел он, как хозяин, закатав до колен белые полотняные штаны, мерно взмахивал тяжелым кетменем, отделяя и укладывая на обочину арыка жирные пласты глины. Солнце отражалось в грязи политого пола. Две женщины во дворе – средних лет и молодая – доили верблюдиц. Дети играли, бросая в ямки косточки.

Потом агай-кожа отложил кетмень, расстелил на сухом бугорке коврик. Повернувшись к юго-западу и воздев руки, упал он на колени и прижался лицом к земле. Теплый пар плыл в перегретом воздухе, размывая окоём.

Впервые за много дней ему тоже захотелось помолиться. Он встал на кошке, попытался отстраниться от мира. Звучные, печально-красивые слова сунны обрели вдруг некий подспудный смысл. Такого никогда не случалось с ним на пятничных молитвах с домулло Усман-ходжой или дома наедине. Очевидно, труд – высшее предназначение человека, и открывается ему смысл бытия...

Агай-кожа проводил его до самых тугаев, где они накануне встретились, дал две тяжелые желтые дыни

в обвязке из сухой соломы. Надолго остались в душе мир и некое чувство гармонии.

И снова резко очертился окоём. У правой ноги деда он сидел, одетый в ассessorский мундир с блестящими пуговицами. Для письмоводителя отделения не полагалось чина, но бий Балгожа сказал, чтобы такой мундир пошили в Троицке. Родичи смотрели на него с уважением, у дяди Хасена топорщились усы, у дяди Кулубая приветливо собирались в ниточку губы. Все продолжалось, и он уже знал, что опять будет написано про него «Губернату». Теперь пропал джигит из работников дяди Кулубая, и дядя Хасен, наливаясь кровью, кричал, что ему известно о некоем деле с отбитием табуна лошадей у аргынов-актачинцев, только подлые люди не захотели похоронить по закону пострадавшего при этом человека и завалили его тело в овраге.

Что бы ни писалось, обязательно будет указано, что он, писарь Алтынсарин, покрыл это дело, приняв от виновного деньги. Сумма будет та же – сто рублей. Он сидел в широком кругу родичей, ощущая сходящиеся на нем взгляды. Помнилось, как сказал аксакал Азербай, сидя у деда в юрте: «Они не хотят увидеть бием твоего внука Ибрая. Каждый сам метит на твое место. Потому и пишут на него. Пусть ничего не подтверждается, но если повторять многократно, то его имя будет помниться начальству рядом с плохими делами. А этого достаточно».

На скачках в этом году кто-то в тугаях гулко выстрелил из старого мультука. Серый аргамак дяди Кулубая понес в сторону и по брюхо увяз в песке. На этот раз первым к холму, где сидели аксакалы, приехал Нурумбай на поджаром гнедом коне из табуна дяди Хасена. Нурумбая позвали к котлу, дали самый хороший кусок мяса и новую рубашку из розового ситца...

Часами сидел он на холме, глядя на монотонное, безостановочное кружение. Ни на миг не прекращалось

оно. Как и в дороге, косые тени всадников неслись кругами по замкнутому окоёму. В какой-то точке джигиты задерживали коней, замирали на месте и тут же устремлялись в обратную сторону. И вдруг он все понял.

В застывшем лоне вечности кружились кипчаки, не в состоянии вырваться из него. Как петля аркана был для них окоём. Обреченное выражение застыло на лицах скачущих джигитов, старых и молодых. Так и предки его носились кругами, ожидая чьего-то клича.

В короткие ночи, когда горько пахнет выходящая в семя полынь и волнующий белый свет разлит по всему окоёму, рванулся он за джигитами, уносящимися вдаль, отпустившими поводья лошадей. Он тоже бросил поводья и скакал со всеми, не разбирая дороги, отдавшись теплomu ночному ветру. Человек пятнадцать их устремилось прочь от кочевья, и такие же группы по десять-пятнадцать джигитов встречались им по пути. Как странные ночные видения проносились они мимо, не касаясь и не окликая друг друга. Слышно только было, как шуршала, потрескивала сухая степная трава.

Все дальше и дальше неслись они, останавливаясь ненадолго у дальних родственников, называя свое имя и имя предков. Их кормили мясом жеребенка, поили шумно пенящимся в чаше кумысом, и вновь скакали они в белой тьме. Восторгом освобождения было переполнено сердце.

И вдруг увидел он, что несутся они все по тому же кругу. Лошади сами выносили их по дуге в знакомые тысячелетиями кочевья. Сделав полный круг, вернулись они к Золотому озеру. Так и не касаясь поводьев, медленно слез он с коня, сел на землю, усталый, опустошенный, уставился перед собой остановившимся взглядом.

Все оставалось внутри круга: доброе и злое. Объезжал лошадей Нурумбай, строил юрты по невидимому расчету Калмакан-уста, лечил людей Шоже-табиб, Динахмет Кожа-улы устремлялся к смыслу бытия, не

выходя за окоём. От невозможности уйти из круга отбивал тот же Нурумбай табуны у соседей, палки бросали друг другу родичи под ноги лошадей и само-забвенно писали друг на друга доносительные письма дядя Хасен и дядя Кулубай. Напряженные, сосредоточенные были лица у скачущих кругами кипчаков.

В это время приехал Марабай, и песня его заполнила мир. Опять сидел он со своими многочисленными родичами и предками, качая головой в такт неутраченному в веках плачу. Смертельным холодом веяло из-за линии окоёма. Многорукий бронзовый идол вставал со стороны солнца. Вечность кипчаков была призрачной.

А ночью пришел Человек с саблей, долго смотрел на него, притихшего. Впервые он не кричал от страха. Человек уходил, все так же держа окровавленную саблю в руке, зовя за собой назад, в замкнутый круг вечности.

Он лежал не шевелясь, глядя в расплывающийся звездный туман.

10

Все повторялось. Колокольчик звенел не переставая, и пристав Петр Модестович Покотиллов вылезал из саней, придерживая саблю. «Я, письмоводитель Узунского отделения кипчаков, имеющего вхождение в Восточную часть Орды, Алтынсарин Ибрагим, сим удостоверяю, что означенные в представленном мне Его высокоблагородием письме сто рублей от заинтересованных по сему делу лиц не принимал и запись в реестровую книгу об исчезновении упомянутого в нем киргиза сделал со долгу службы, согласно инструкции его превосходительства Председателя Пограничной комиссии о записях в подобных случаях. Не принимал я также ста рублей и в прошлый год по делу о подо-

зрении в насильственном умерщвлении другого киргиза Каирбаева Нурлана, о чем имел честь письменно докладывать Его высокоблагородию надворному советнику Котлярову, Его превосходительству, ныне действительному статскому советнику Красовскому, а также всем прочим лицам, производившим следствие по сему делу...» Круг замыкался, и все начиналось заново.

Отклонения были лишь в пределах окоёма. В начале зимы арестовали Нурумбая. Приехавшие с приставом солдаты связали ему руки и бросили на солому в сани. Он лежал там в истертом, залатанном полушубке, и лицо его было равнодушно. Маленькая старая женщина стояла в стороне, боясь подойти к саням. Алим-ага говорил, что следовало дать Сеньке Бекбулатову, помощнику пристава, пятьдесят рублей, чтобы отпустил Нурумбая.

– Посидит в остроге – умнее будет! – зло ответил дядя Хасен.

Все знали, что дядя Хасен посылал Нурумбая красть лошадей. Но тот привез убитого в барымте джигита Нурлана в кочевье вместо того, чтобы скрыть тело в песках. Дядя Хасен не мог этого простить. Бий Балгожа молчал, ибо не полагалось вмешиваться в домашние дела самостоятельного владельца.

Под конец зимы случилось невероятное. В кора самого бия Балгожи была проломлена крыша над кладовкой с мясом. Подобное случалось раньше от забегающих на кыстау зверей, смелеющих к весне. Но тут казы¹ было аккуратно снято с крюка и человеческий след остался на снегу.

Такого не происходило еще среди кипчаков. Достойно было угонять живых лошадей, но если скот забит, то мясо, как и прочие вещи в доме, считалось неприкосновенным. Никому не приходило в голову что-нибудь прятать от людей в степи, и кипчаки не знали замков.

¹Особым образом приготовленная вяленая конина.

След привел к землянке с черной крышей. Морозные наледи были там на стенах и сидели, прижавшись друг к другу, мужчина и мальчик. Байгуш – безродный казах это был, у которого осенью умерла жена. Так и в реестровой книге было записано: Багушев Култук. Только кость валялась в землянке от украденного казы, и ничего больше там не находилось. Хоть был это тоже узунский кипчак, но и предки его считались байгуши.

Собрались бии и аксакалы и изгнали его насовсем. Кутаясь от ветра в старую, брошенную кем-то овчину и придерживая рукой мальчика, уходил этот человек по льду Тобола на ту сторону, где селились русские...

Стараясь не глядеть по сторонам, приходил он теперь в дом к деду, где всякий день собирались аксакалы. Привычным сделалось многоголосое бормотание из-под снега, где сидел домullo Рахматулла с длинной тростью в руке. Собаки лежали на крышах тамов, не поворачивая головы. Ничего не осталось от мощенной камнем улицы с фонарями, от белого дома с колоннами, от всего остального, что виделось ему в снах из другого мира.

Сидя у ноги деда в отведенной для совета большой утепленной юрте, стал он замечать, что уже вместе со всеми с азартом следит он за словесными ухищрениями дяди Хасена, дяди Кулубая, прочих родичей, принимающих ту или иную сторону. В подражание бию Балгоже и степенному Азербаяу важно поворачивалась у него голова в сторону говорившего, ложилась на колено рука, властно очерчивались губы. Вместе с другими говорил он «дурус!» в знак согласия и поощрения. Дома, как бы просыпаясь, он хватался за книги, начинал читать. Круг отступал...

В конце второй зимы перешел он Тобол, медленно пошел по уставленной бревенчатыми домами улице. Возле церкви уже стояли три или четыре каменных

дома с выложенными желтыми кирпичиками кругами и фронтонами. Пахло хвоей и печеным хлебом.

– Степушка, погляди: киргиз без лошади!

– С того берега, видать.

Катающие бабу из снега дети с интересом смотрели на него. Ближе всех стоял мальчик в легком зипунке со съехавшей на ухо заячьей шапкой.

– Ты чей будешь?– спросил он, радуясь выговариваемым словам.

– Мы Петровичевы, а она вот Алеська Гордиенкова, хохлушка. Вон их дом, синькой мазанный...

Еще что-то спрашивал он, а они отвечали. Потом смотрел, как брали бабы воду из оледенелого колодца, легко несли на коромыслах, переговариваясь на ходу. Будто льдинки ударялись друг о друга – звучали их голоса в морозном воздухе.

По оседающему к весне снегу ездил он с Алимом-ага в Троицк, покупал сукно, одеяла, красный и голубой бархат, бусы из янтаря. Из рода Инет-бия от некогда откочевавших к Сырдарье кипчаков ему предназначена была невеста. Отцу и родичам ее полагались подарки.

Говорили, что невеста по имени Айсара – из женщин, рожающих сыновей, – первая в семье. К тому же родилась она четырнадцать лет назад в день, когда прилетели гуси, а это хороший признак. У Анет-бия значительные родичи у танабугинцев и турайгырцев, а по линии нагаши – родичей жены – даже среди аргынов-актачинцев и кереев Матакайского отделения. Все это соседи узунских кипчаков, и такое родство к пользе.

Еще десять лет назад начались переговоры по этому поводу. Табуны Анет-бия приходят к тургайским озерам с юга, так что там и произойдет вручение первого подарка от имени жениха. Затем последует уплата положенной по закону доли выкупа и тайное посещение невесты. Он слушал эти разговоры, и все представлялось не имеющим к нему никакого отношения...

Стена пламени стояла в излучине Тобола. Чернел лишь узкий проход, и лошади всхрапывали, замедляли движение, теснясь к середине. Пройдя огонь, они залиvistо ржали, вставали на дыбы и уносились к привычно отступающему окоёму. Вслед за лошадьми полдня шли овцы, проникаясь дымом горящего тальника. Потом, ведя в поводу лошадей и верблюдов с поклажей, между двумя очистительными огнями прошли люди. Все зимнее, недоброе, болезненное сгорало в пламени, и черные комья сажи падали на размокшую землю. Кочевье по обычаю предков начинало новый круг.

Ему казалось, что уже многие тысячи лет он проходит этот путь вместе с родичами. Ничего не менялось. Только бий Балгожа ехал в тарантасе. Водой набухало его огромное тело, и не мог он уже самостоятельно влезть на коня. Не было Нурумбая, сидящего в троичном остроге. И остался на кыстау дядька Жетыбай.

За месяц до откочевки пришел в зимовье солдат Демин с привязанным за спиной сундучком. Как уж они отыскивали друг друга, неизвестно, но, по всей видимости, дядька Жетыбай ждал его прихода. В тот же день он вместе с солдатом таскал на волокушах бревна с той стороны Тобола, расширял свою крытую дерном временку-шошалу, в которой жил последнее время. Все там было расставлено, как в юрте при киргизской школе, и над лежанкой солдата висела та же иконка. Днем солдат помогал дядьке Жетыбаю в делах у дома бия Балгожи, а вечером рубил, строгал, пилил прямо на улице, хоть стояли еще морозы. Когда же пришло тепло и стоял снег у реки, он принялся вместе с дядькой Жетыбаем вскапывать лопатой подсыхающую землю. Кипчаки смотрели искоса и ничего не говорили.

Так и не поехал дядька Жетыбай со всеми на джайлау, навсегда выйдя из круга. Это не удивило его. Что-то размывало кипчакскую вечность. Словно пытаюсь укрыться в своем окоёме, кочевье уходило все дальше в степь.

Кругами носились всадники, замирали на месте и устремлялись в обратную сторону. Печально, с горьким надрывом кричали в небе дикие гуси. В день, когда пришли к Золотому озеру, он сказал бию Балгоже о своем желании.

Дед, оплывший, тяжело дышащий, посмотрел на него, молча кивнул головой. Мать, как и полагалось, тоже ничего не сказала, только задержала движение руки с иглой. Все вещи были при нем, и он быстро, боясь задержаться, собрался в дорогу.

Золотое озеро стало перемещаться от центра круга к его краю, пока не уплыло за окоём. В тарантасе с ним ехал Досмухамед, родственник муллы Рахматуллы, блюдуший уразу и правила молитвы, который должен был остаться у него в услужении. Этой нитью, по мысли родичей, привязывался он к тому, чем был от рождения. Но он и не собирался оставлять мир узунских кипчаков. Дело было в окоёме.

Тарантас катился, приминая, захватывая ободьями колес жесткую, горькую траву. Ровный сухой ветер дул в спину. Звуки, цвета, запахи не оставляли его.

Предстояло находить выход из круга. Вечность была ненадежной, лишь ограниченная призрачной линией. Человек с саблей расплывался в звездном тумане. Многорукий бронзовый идол мерно покачивал головой, ожидая своего часа, домullo Рахматулла разминал детский язык твердыми желтыми пальцами. Единственный путь был тот, которым он сейчас ехал. Качая головой в такт бегу лошадей, он думал сейчас о том, какие же они – русские.

ДВА МИРА

1

– Отчего вы перестали читать, Ибрагим?..

Он смотрел на нее широко открытыми глазами. Сердце звонко стучало, и необыкновенным, светлым казалось тут все. Три дня уже происходило это с ним.

– Господин Алтынсарин, наверно, устал, – сказала сидящая в стороне Екатерина Степановна, не переставая вязать. – Дашенька, не неволь его.

– Нет, я не устал! – сказал он поспешно и начал снова читать, четко выговаривая каждое слово: «Однажды они вдвоем откуда-то возвращались лениво, молча, и только стали переходить большую дорогу, навстречу им бежало облако пыли... Потом вдруг все взглянули на него, один господин в лорнет. – Кто это? – тихо спросила Сонечка. – Илья Ильич Обломов! – представила его Олечка»...

Опять перестал он читать и уставился на Дарью Михайловну. Та опустила свое вязанье. Чуть удивленная улыбка была в ее глазах.

– Читайте... Что же дальше?

Когда ей было интересно, спицы начинали двигаться медленней. Глядя в книжку, продолжал он видеть изгиб ее руки. Ему становилось жарко.

Голос у нее был мягкий и ровный, полный ласковой силы, чтобы услышать его, он задерживал чтение. Она говорила не так, как говорили в Троицке и Оренбурге, а как-то особенно растягивала «а-а-а». Слова становились главными, волнующими. И все получало тайный, особенный смысл.

– Агафья Матвеевна следует по-русски произносить «Агафья». Вот так, – поправила его Екатерина Степановна. Он говорил – Агапия, и нажим приходился на

«я». Несколько раз повторял он, пока получалось правильно.

Дарья Михайловна улыбалась чему-то.

– У Володи вестовой – казак новочеркасский. Он говорит «хвонарь», а вместо «хватит» говорит «фатит», – сказала она.

Пришли дети проститься перед сном.

Дарья Михайловна перекрестила пятилетнего Петю и поцеловала Машеньку, что-то пошептала ей.

Все вокруг нее сразу становилось необычным. Даже оставленные в кресле спицы имели какое-то значение, излучали некое тепло...

Возвращаясь, она брала вязанье, усаживалась плавным движением.

– Почитайте еще, Ибрагим, голубчик...

Он брал книгу журнала, продолжал чтение. О романе господина Гончарова говорили во всех домах. Сложившиеся в подписку, офицеры передавали книжки журнала в очередь друг другу. Дарья Михайловна бросила вязать, сидела грустная – слезинка покатилась по ее щеке, когда Ольга оставила Илью Ильича...

Приходил Николай Иванович, забирал его к себе. В кабинете висела большая икона, и молчаливо проступали на ней неподвижные скорбные лица.

– Сила любви к ближнему подобна слабой травинке, раздвигающей камни! – говорил Николай Иванович.

Горел лампийон, светло-зеленые изразцы печи отражали покойный свет. Воодушевляясь по своему обыкновению и размахивая рукой, рассказывал он Николаю Ивановичу, как в лютую зиму, подвергаясь холоду и всяческим опасностям, пасут лошадей киргизы. Он говорил по-русски и потому называл так казахов.

Все в этом доме было необыкновенно. Тут как-то сразу обнаружилось, что вовсе не молчалив он и не застенчив, как считалось от его болезни. Самое тайное, что думалось ему, высказывал он легко и прямо. И говорил громко, смеялся во весь голос. Лишь с Дарьей Михайловной, гостившей у Ильминских,

замирал он, однако внутри все в нем наполнено было движением. Казалось, некий конь, и вправду перепрыгивая реки, уносил его все дальше.

Николай Иванович начинал ходить по комнате, мягкие бакенбарды его разлетались, глаза смотрели тепло и радостно.

– К неведомой нам цели ведет людей эта сила, даже злых и недобрых, которые в гордыне своей тщатся противостоять ей. В древности провозглашено было: «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ибо все одно!» Разве не величественна эта картина!

Теперь он слушал, и Николай Иванович рассказывал, как сила пара облегчает труд людей. Цивилизация победно шествует во все уголки земли, даже на далекие океанические острова, где люди не знают одежды и живут собиранием плодов и корней...

Все произошло от тетради, куда Генерал приказал записывать при чтении книг неизвестные ему слова. Но с Генералом случилось нечто, после чего тетрадь со словами стал брать себе Николай Иванович. На свободной части листа делались пометки, и коль слово представлялось значительным, писалось объяснение смысла. «Цивилизация» – все, чего с божьей помощью достигает человеческая мысль во благо людям. Седло для лошади, печь для обогрева жилища, само жилище в гармоничном приспособлении к образу жизни – тоже цивилизация. Она идет в ногу со смягчением нравов, с облагораживанием чувств, с поиском высшей цели. Ибо что будет, если человек наконец станет сыт, одет, а душа его оскудеет. В чем же состоять тогда будет смысл сей жизни?..

Казалось, люди на иконах слушают, храня загадочное молчание. Он уходил, когда караульщик в крепостной части ударял полночь. Выйдя на улицу, он останавливался на другой стороне и смотрел на окно в мезонине. Ласковый свет лился из замерзших стекол, за которыми спала с детьми Дарья Михайловна.

Когда зашел он по приезду в знакомое присутствие Пограничной комиссии, то остановился в изумлении. В покойных некогда коридорах все было в беспорядке. Двигались шкафы, переносились связки бумаг, с озабоченным видом переходили из комнаты в комнату писари и вольные служащие. Варфоломей Егорович Воскобойников, к которому он обратился за разъяснением, значительно поднял вверх палец:

– Великие российские потрясения – не сокрушение Бастилий, а суть реформы, происходящие от начальства. Смысл оных в смене мундира при оставлении всего прочего в первобытном состоянии. Каковое событие и наблюдается в сей час. Поскольку киргизы Оренбургского ведомства из ведения Азиатского департамента, составив область, перечислены ныне в Министерство внутренних дел, Пограничная комиссия упраздняется, а на ее месте образуется Областное правление оренбургскими киргизами. Посему надлежит шкафы и прочие вместилища благопорядка поменять местами и рассадить жрецов его в соответствии с новым направлением правительственной мысли...

Генерал теперь заседал в зале, куда один ход был из новой его квартиры, и отнесся к нему так, словно знал заранее о его приезде.

– С вашим дедом полковником Джанбурчиным, господин Алтынсарин, мы старинные приятели. Если бы все киргизы имели таких здравомыслящих и способных к делу управителей, то многих несообразностей можно было бы избежать. Это высокая наука – руководить людьми, и следует упражняться в ней. Надеюсь, ваша служба здесь принесет пользу для будущей вашей деятельности среди одноплеменников.

Генерал никак не изменился, говорил сухо, и крупные завитки волос по обе стороны лба казались вылитыми из меди. В тон им бронзой отсвечивали книжные корешки в стеклянных шкафах вдоль стены.

– Ваше превосходительство,– заговорил он, желая узнать, в чем же будет состоять его служба.

– Извольте называть меня по отчеству!– прервал Генерал.

Он не понимал – приказание это или разрешение.

– Ваше превосходительство, Василий Васильевич...– начал он через силу.

– Будете, голубчик, в присутственные часы докладывать мне о явившихся киргизах. А для полезного времяпровождения можете читать книги из этого вот шкапа...

С первого числа августа он вступил в службу младшим толмачом при областном правлении с представлением к чину зауряд-хорунжего. С утра сидел он в приемном зале и не знал, что ему делать. Казахи не приходили, и Генерала тоже не было. Приоткрыв в кабинет дверь и просунув голову, он рассматривал ряды темных с золотым тиснением книг. Потом, сам не заметив как, оказался в кабинете и принялся смотреть первую с краю книгу, что лежала на подставке. Книга была русской, и он принялся стоя читать, перелистывая страницы. Некая бедная, но благородного происхождения девица любила одного господина и много страдала, потому что им нельзя было сойтись. Отец его, граф, не позволял жениться.

– Вам, голубчик, лучше что-нибудь практическое читать!

Он едва не уронил книгу, услышав знакомый голос. Генерал достал из шкафа другую книгу, поменьше:

– Станете не понимать чего-нибудь или какого-либо слова, записывайте в тетрадь. Как наберется лист, я вам объясню при случае.

Он взялся читать с девяти часов до трех, а также по вечерам и ночью при свече в татарском доме, где поселился вместе с Досмухамедом. Книга была барона Брамбеуса – «Рассказ Ресми-эфенди, оттоманского Министра иностранных дел, о семилетней борьбе

Турции с Россией в 1769-1776 годах». Все было понятно, и он выписал только двенадцать слов.

Генерал на другой день посмотрел, одобрительно кивнул головой:

– Коалиция означает сговор держав в чем-нибудь против другой, противоборствующей стороны, – объяснял он, быстрым почерком заполняя правую сторону листа. – Янычары – взятые в султанскую службу в детском возрасте выходцы из подвластных Порте народов. Не связанные узами родства с турками, служили для их укрощения... Ну-с, что еще? Вдругорядь – русское слово, означающее вторичное повторение какого-либо действия...

Чувствовалось, что Генералу доставляет удовольствие объяснять ему значение слов. Видя, как он вхож в кабинет, писари и прочие служащие правления стали выказывать ему почтение. А он еще и еще брал книги, читая подряд. Однажды, разгоревши себя, решил он в благодарность за внимание порадовать Генерала старанием и радивостью. Взяв тяжелую книгу экономического рассмотрения российской торговли с прилегающими к границам империи державами, он выписал за один присест полтысячи непонятных слов.

– Что это ты принес мне, братец? – тихо спросил Генерал и, ударив о стол ладонью, загремел: – Поди прочь отсюда...

Пошатываясь, с тетрадью в руках, вышел он в приемный зал, сел на свое место. Писарь Мирошников, чье место было тут же, смотрел на него с сочувственным удовлетворением. Из коридора заглядывали люди, чтобы узнать, кого это распекал Генерал.

На другой и на третий день Генерал проходил к себе, не видя его. В конце же недели подошел и строго спросил:

– Что же вы, голубчик, книг не берете?

Он опять начал брать из шкафа книги, и в это время неизвестно откуда появился Николай Иванович, легким

шагом прошел через зал, и бакенбарды его разлетались от быстроты движения. Из генеральского кабинета донеслись взволнованные голоса. Минут через двадцать Генерал позвал его к себе. Когда он вошел, ему сделалось вдруг хорошо и покойно. Это чувство возникло от больших голубых глаз незнакомца, с интересом смотревших на него. Генерал тоже показался совсем другим, так как быстро вертел головой и смеялся.

– Вот, рекомендую тебе, Николай Иванович: прилежный и любознательнейший юноша. Внук бия Джанбурчина. Отец и родные тяжело пострадали от диверсии Кенесары Касымова. Будет тебе в помощь при изучении киргиз.

Этот день он находился уже вместе с Николаем Ивановичем Ильминским, пил из голубой чашки чай, представленный в кабинет Екатериной Степановной, и рассказывал о себе и своих родичах. Николай Иванович взволнованно ходил, глаза его сияли:

– Просвещение есть движитель человека к благоденствию. В соединении с чистой природой оно даст плоды, коих не достигнет самая изощренная администрация. Однако материал сей – люди не подчиняются одним естественным законам. Есть нечто высшее...

Удивительней всего было то, что он сразу же рассказал незнакомому человеку и про город, который как-то вознамерился строить для кипчаков на Тоболе, и про мучения свои из-за дядиных доносов и даже про Человека с саблей. Какая-то добрая сила исходила от большого человека с мягкими развевающимися волосами на щеках и теплыми крепкими руками.

– Это, Ибрагим, голубчик, им наказание, что они такие злые, – сказал Николай Иванович о дядях его Хасене и Кулубае. – Тебе и другим вокруг них тоже нелегко, но хуже всего им. Очень тяжело – быть плохим человеком. Так что пожалеть их следует. Не сами по себе и они такими сделались.

Это казалось удивительно для него – так смотреть на людей. И услышав про город для кипчаков, не стал

смеяться Николай Иванович. В голубых глазах его было понимание.

– Значит это, что сердце болит у тебя о нуждах своего племени. Даст бог, выстроишь еще свой город. Не обязательно из камня должен он быть. Есть материалы невидимые, а более всего людям необходимые...

Так и говорили они в первый раз чуть не до трех часов ночи, и спать остался он в кабинете Николая Ивановича на кожаном диване. Екатерина Степановна принесла ему туда большую подушку, простыню и суконное одеяло. Словно отогрелся он в этом доме от всех волнений.

Отныне уже Николай Иванович делал ему в тетрадь объяснительные записи, а он помогал в составлении этнографического отчета о туркменах: переписывал и заполнял особые карточки. Из только что закончившейся поездки с экспедицией по съемке восточного берега Каспийского моря до Персии Николай Иванович привез две корзины записей. Как значилось в предписании, в видах дальнейшего освоения Россией этих пустынных берегов надлежало изучить обитавшие здесь туркменские племена, их обычаи и пристрастия. Кроме того, Николай Иванович учил язык степных казахов и хорошо уже все понимал, потому что, как и Генерал, досконально знал языки татарский и турецкий.

Генерал теперь и вовсе отпустил его из присутствия к Ильминским. Всякий день теперь был он в их доме, став даже обедать с ними.

В первый раз, как наступил обед, он ни за что не хотел выходить из кабинета, говорил, что ест лишь утром и вовсе не голоден.

– Экий ты спесивый!– даже с удивлением в голосе сказала Екатерина Степановна и, большая, спокойная, чуть толкнула его в спину.– А ну, марш к столу, молодец!

Он начал есть и больше никогда уже здесь не стеснялся.

Не замечая как, начал он разговаривать громко, вставал и быстро ходил по комнате, совсем как

Николай Иванович. Екатерина Степановна с улыбкой смотрела на него.

Ночью он лежал в своем жилище с мазанным глиной полом и все думал о людях, которых он вовсе не знал еще месяц назад. Испугавшись наскучить им, он положил себе неделю не появляться в их доме. К вечеру второго дня послышался взволнованный разговор во дворе:

– Где же он? Ничего худого не случилось?!

Через минуту, пригнувши голову от низкой двери, в комнату вошел Николай Иванович:

– Что же ты, Ибрай, потерялся? Мы думали – болеешь или еще какая беда приключилась. Екатерина Степановна и вовсе обеспокоилась. Ну, слава богу, жив-здоров!..

Николай Иванович велел ехать с ним. На пыльной улице татарской слободки стояла генеральская коляска, которую тот одолжил у своего начальника. Екатерина Степановна укоризненно пеняла ему:

– Негоже так: даже вести не подал. Насилу вот тебя отыскали.

Когда она говорила «ты», ему было особенно приятно. В прочих случаях Екатерина Степановна называла его «господин Алтынсарин». В доме у него определилось уже свое место – в кресле напротив стола, а в кабинете Николая Ивановича, среди книг и бумаг с записями он и вовсе не чувствовал никакого стеснения. Это было что-то большее, чем в доме учителя Алатырцева. Некая притягательная сила содержалась в них.

В нем же была великая настороженность жизни в окоёме. Дядя Хасен открыто источал ненависть, дядя Кулубай улыбался, в ниточку сводя глаза и губы. В городе он тоже весь собирался, когда заговаривали с ним писарь Мирошников и таящий великий яд в словах Варфоломей Егорович Воскобойников. Отношение к нему Генерала не выходило за предел книг в кабинете. Некий колокольчик дребезжал в ушах. В присутствии и на улице он недоверчиво оглядывался. И вдруг все

это рухнуло, в один миг жизнь наполнилась почти ощутимым теплом. Сразу же и он переменялся весь без остатка, сделался быстрым, порывистым, сам удивляясь порой, куда же девались прежние границы.

Потом приехала из России Дарья Михайловна...

Она приходилась племянницей Екатерине Степановне. Муж ее, поручик Дальцев, находился еще на съёмках где-то в Улытау, и Дарья Михайловна с детьми жила пока у родственников.

Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де не только что в поварню:
Пускать не надо и на двор...

Подделываясь под голос повара, она надувала губы, укоризненно качала головой. Дети слушали, глядя в ее чистое лицо с ямочками на щеках. И он с ними слушал, словно впервые открывая какой необыкновенный язык, на котором она говорит.

А Васька знай себе курчонка убирает...

Всякий день он теперь ждал, чтобы после обеда Дарья Михайловна читала детям. Она начинала: «Предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать», и сразу будто пригревало солнце. Каждое слово в отдельности вдруг преображалось, делалось необыкновенным. До тех пор он не ощущал русских слов – просто говорил, как все другие в присутствии и на улице. Теперь ему казалось, что звуки этой речи жили в нем от рождения.

Всплескивая руками, ахая, рассказывала она:

– В уезде нашем такие хорошие балы устраиваются. У Якова Апполинарьевича и в Дворянском собрании. Оркестр летом от полка, а так – от инвалидной команды. Сейчас все замело-о-о у нас. А тут огни горят, санки едут к подъезду. Смеются, танцуют все, почитай до утра самого. Маменька говорит: далеко ехать, от нас то двенадцать верст. Да тоже хорошо, когда снег падает и чисто-чисто все в поле...

Ничего особенного не говорила она, но такая же притягательная сила таилась в простоте слов. В ней все было просто: белое лицо с чуть вздернутым носом, гладко зачесанные волосы, спокойные серо-голубые глаза.

– Душевные у нас уезды!– вздохнула Екатерина Степановна.

Это слово произносилось чаще других. Николай Иванович всегда говорил его, когда думал сказать о каком-нибудь хорошем. Даже о каком-нибудь решении, принятом в областном правлении, он говорил, если оно нравилось ему, «душевное решение». Вспоминалось из прошлого: «Душу живу надо иметь!»

Дарья Михайловна расчесывала Машеньке волосы, шила, гладила большим утюгом с углями, а он все смотрел, ощущая скрытую щедрость. Она взглядывала на него с ласковым удивлением, и ямочки на ее щеках делались заметней.

Приходил Человек с саблей, смотрел на него с недоумением. Он не боялся, лежал спокойно. Черно-красные полосы в небе стали терять резкость. В звездный туман уходил Человек с саблей, и показалось сейчас, что спина у него чуть горбится.

Лежа на жесткой, подстеленной кошмой койке, он повторял в памяти по порядку все пережитое за день. Слышались речи, виделись движения, являлись лица, глаза, улыбки. Все эти люди тоже как-то смотрели на него.

2

Полковник Дандевиль Виктор Дезидерьевич – человек сугубо практический, потому и торопит с отчетом. Ему просто – расставить вешки от Бузачи до Астрабада и дело сделано. Все у таких людей покоится на инженерии: столько-то батальонов обязаны уравновесить противника и выполнить помеченное дейст-

вие. Остальное не имеет значения. Коли б так было в жизни, то и Севастополь следовало сдать в первые три дня, а держали вон два года. Однако, судя по разговору со штаб-офицером Тропининым, в Генеральном штабе тоньше понимают будущие действия. Потому и обращаются к науке.

– Вы, Николай Иванович, по долгу службы не обязаны заниматься посторонними изысканиями, – сказал подполковник Тропинин в особой от других беседе. – Предостаточно того, что добытые вами материалы языка прикаспийских туркменов помогут в совершенствовании военных переводчиков. Но, посудите сами, высадившийся отряд сдруживается с кочующими там туркменцами. Каждый обстоятельный командир обязан предусмотреть, в каком отношении состоят эти туркменцы с другими, что встретятся на дальнейшем пути отряда. Принято среди номадов, что когда воспользуешься помощью проводника от враждебного им племени, то сам делаешься врагом. Все это обязан держать в сведении предусмотрительный и образованный офицер. Не говорю уж о самых обычных поступках, на которые не обратит внимания русский человек. К примеру, среди туркменцев нельзя руки вытирать полотенцем, а лишь отряхивать от воды, или лепешку хлебную не класть половой стороной вверх. Сколь будет полезно обстоятельное пособие, составленное опытным в этих делах человеком...

Радостно видеть таких людей в мундире российского офицера, и нетерпимы другие, подобные капитану Ершову, по злобе и невежеству портящие добрые отношения с теми же туркменцами. Когда этот офицер приказал выпороть проводника, то к Дандевиллю пришлось обращаться, чтобы не допустить необдуманного поступка. Цивилизаторская миссия России в этих полуобитаемых пустынях суждена ей историей и должна вестись не так пушками, как природной русской способностью уживаться и сдруживаться с прочими

народами. А за сим, привнесенное естественно, будет услышано ими и слово божье.

Вместе с тем, почва здесь немало приготовлена. Туркменцы общаются с русскими. Разинские казаки находили себе место среди них, и в иомудском племени кият есть род урусов. Однако трудно в одно лето разобраться во всех родовых антагонизмах туркменцев, и в докладе надо особо указать на важность исследований. Этот отважный и неприхотливый народ, живущий ныне наполовину разбоем, может быстро сделаться добрым подданным и предоставить серьезную военную силу для исполнения главного исторического предназначения России.

Впрочем, доклад вчерне закончен, и назавтра можно отдать его в переписку. Однако, чему ж так смеется в гостиной Дарьюшка? Вот уж поистине счастье для Владимира Андреевича иметь такую милую и душевную супругу. Вся родня их, видно, такая.

Это опять Ибрай читает им что-то из журнала. Уморительная у него привычка вдруг смотреть прямо на человека пять и десять минут. Кто не знает, удивляется. Могут и нескромным посчитать. А все только застенчивость, проявляемая таким способом у природных, неиспорченных людей.

Больше всего мучается юноша за свою голову. Парик у него первейший, от мастера Краузе, и почти не виден глазу. Таз называют эту болезнь киргизы, что у русских – простой лишай. Огорчительное сходство, ибо от невозможности лечиться выпадают у детей волосы.

Сколь глубокое чувство у юноши – даже слезы выступают на глазах, когда заволнуется. Истинно христианское у него направление души, а это во сто крат дороже заученного. Убедительней и прекрасней придумал ли что-нибудь человек? Какие экономические теории сравнятся с этим. Последний злодей легко приспособит себе самую обольстительную

теорию, а перед чистотой души бессилён. Инквизиторы на протяжении веков старались заставить служить себе имя Христа, но как стручья отпадали они, идея же сияла с первозданной силой.

Так уж устроена человеческая натура, что взыскует добра. У народа киргизского от природы такое направление, и только не испортили бы его ретивые скудоумцы. Свойственные нашим порядкам казенные отношения живо могут расшатать природную нравственность киргизов, не нарушенную пока и магометанскими законниками. Скорей магометанство киргизы приспособливают к себе, к своим первоосновам. Внедренные насильственно и без души европейские правила лишь вызовут неизлечимую болезнь.

Ибрай вот до сих пор не может успокоиться от кляуз родственников. Родовая вражда обязательно присущаномадам. Однако раньше человек брал меч и выезжал на поединок с противником, подставляя свою голову. Теперь же оружием их становится перо и бумага, прежде всего в кляузном направлении. Кто в этом разе становится среди них первейшим человеком? Сия российская беда прежде всего другого проникает в толщу инородцев. Стоит посмотреть на обычного писаря из киргизов – сколько в нем готовности к угнетению своих же одноплеменников. Суть народной души искажается, поставленная в искусственные правила.

Однако есть вот и Ибрай. Его не коснется скверна, хоть вращается в самом омуте канцелярского непотребства. Сколь необходимы такие люди киргизам. К слову, Ибрай зовет себя казахом и недоволен когда в доверительном разговоре называют их другим именем. Что ж тут поделаешь? Некогда вписанное в государственную ведомость обозначение никак не может изменено. Измаил легче взять, чем заставить российского столоначальника переменить форму. В середине формы он тебе десять бастилий сокрушит,

но чтобы сверху был порядок. К тому же и бардами навечно закреплено: «киргиз-кайсацкия орды...»

Следует прояснить с Ибраем топонимию слова «казах». Они говорят, что это происходит от дикого гуся – «каз» и «ак».

Скорей тут более древний знак, означающий способ жизни. Наши казаки не просто переняли от них имя, но заключенный в нем смысл.

Юноша намерен посеять добро в своих кипчаках. Для этого, как он говорит, надо построить в каждом роду точно такую школу, как при правлении. Но кто же даст на то деньги, где возьмутся учителя? Только что махавший руками и окрыленный, он уже уронил голову и сидит потерянный. Однако же это ближе к реальному, чем рассказанное им вчера. Оказывается, по окончании школы, имея шестнадцать лет отроду, Ибрай намерился выстроить кипчакский город – точный Оренбург. При том нисколько не думал, как все это устроит, да и к чему именно Оренбург?

А школа, что же... Конечно, такого лица, как при правлении и в российском уезде не увидишь. Но если попроще, ближе к народным училищам, то можно найти образец хоть в той же Казани. О том и Василий Васильевич заговорил, да сколько препон на пути. Не говоря об экономии к делу просвещения, что проистекает по Министерству финансов, так нет ведь простой киргизской азбуки. Если делать ее, то какой буквенный строй употреблять: русский или магометанский? К тому ж, на всю Россию думают о киргизском просвещении генерал Григорьев да я. Вот еще Ибрай, строящий воздушные города. Кто ж всерьез смотрит на генеральство Василия Васильевича. Несерьезно для российского администратора науками заниматься. Тут голос надо иметь, шпоры...

Слава богу, отчет закончен, следует ускорять киргизский словарь. Ибраю тут найдется дело. Да и от школы это не так далеко...

Опять долго не мог он уснуть. За дощатым забором у соседей третий день играли свадьбу. Заливалась гармонь, и глухие удары сапог об пол сотрясали землю даже здесь, в другом от них доме.

Полмесяца назад переехал он из татарской слободки ближе к службе и Николаю Ивановичу. Снял он флигель с прихожей на Большой улице, как раз напротив киргизской школы, рядом с каменным домом Тимофея Ильича Толкунова. Все у того было, как прежде: каждую неделю перед воротами стояли люди, требовали заплатить условленные за скот деньги. Выходил работник Федор, подкатывал рукав, шел на них с угрозами. Если сами они лезли в драку, от угла приходил городской Семен Иванович, приказывал разойтись. Теперь им было свободно. Господин Дыньков с лета болел и не показывался на улице.

Идя домой, он проходил всегда мимо толкуновского дома. Еще со школы это осталось, когда наперекор ходили они здесь. Сам Тимофей Ильич, стоя у ворот, ничего не говорил, лишь смотрел провожающим взглядом. Зато работник Федор старался так встать, чтобы прохожему пришлось наступить в грязь.

– Не для того дорогу чистим, чтобы всякие здесь ходили, – говорилось за спиной. – Ишь, какое благородие идет. Коли ты киргиз, то и будь киргиз. А то смотри – в мундире!..

По воскресеньям соседи, крепко позавтракав, сидели на скамье у ворот.

– Эй, малай, свиное ухо. Гляди: супонь лопнула, кобыла убегает! – кричал работник Федор водовозу-татарину, заезжавшему с бочкой в ворота школы. И хохотал на всю улицу, когда старик пугался и доверчиво шел смотреть упряжку.

Потом ловили собаку. Придавив ее коленом к земле, работник с помощью соседа привязал к хвосту жес-

тяную банку. Стоящие вокруг с серьезностью подавали советы. Обезумевшая собака убегала по улице, а они смотрели вслед и даже не улыбались. Только степенно говорили между собой: «В слободку побежала... Да нет, Тимофей Ильич, в сад к немцу!»

Вошедший в дело к Толкунову работник Федор теперь женился на его дочери, сам делался хозяином. Оба они были из одной станицы, и оттуда наехала родня: бородатая, в приспущенных по казацкой моде сапогах, с собственным попом в такой же казацкой одежде под рясой. Были на свадьбе еще соседи – сидельцы по мясной торговле и квартальный Семен Иванович. Дребезжали бубенцы в раскрашенных конских сбруях, а к вечеру опять пели и плясали. Сдавший ему квартиру оренбургский мещанин Василий Петрович Прохоров сам гулял у соседей, и в доме остались они с Досмухамедом. Тот молился в своем углу, поворачивая к лампе круглое безбровое лицо. А он лежал, не в состоянии спать, слушал идущий от соседей грохот:

Ох-ти, ох-ти,
Девка в кофте,
Всех целуйте и милуйте,
А мою не трожьте!

Вернулся со съемки поручик Дальцев. На этого офицера он смотрел теперь с удивлением. Дарья Михайловна была его женой, а тот как будто и не знал этого – ел, ходил, говорил, как все другие люди.

Дальцевы сняли дом в городе и только по воскресеньям ходили к Ильминским. Он ждал каждого такого дня с беспокойством, а когда заболел Петя и Дарья Михайловна не пришла, ночью встал и пошел к ее дому.

– Экий ты сегодня рассеянный! Уж не захворал ли? – спрашивал его Николай Иванович.

Когда в следующую неделю Дарья Михайловна пришла, он уронил чашку от волнения. Николай Иванович ничего не понимал, лишь Екатерина Степановна смотрела на него с усмешкой.

Были у Ильминских еще гости: советник Алексей Александрович Бобровников, старинный друг Николай Ивановича по Казани. Дарья Михайловна рассказывала, опустив вязанье:

– Душ-то у нас с Володей сорок. Мое приданое. А Володя и вовсе из однодворцев. Так что имение наше малину да грибы только давало. Оставила я все, взяла Авдотью, что меня и матушку еще нянчила, и теперь насовсем сюда, к Володиной службе. Бог даст, проживем. Места здесь хорошие, дешевые...

Он слушал, про что бы она ни говорила, проникаясь весь ее голосом. Увидев его взгляд, Дарья Михайловна, как обычно, чуть покраснела.

– Дворянам представлены будут выкупные свидетельства на землю, – заметил Бобровников.

– Земли у нас бедные, лесные, – сказала она. – А люди хорошие, душевные. Чего с них брать-то? Нет уж, сами как-нибудь с Володинойкой проживем службой. Не мы первые.

Потом она опять с ласковым любопытством взглянула на него. Ему сделалось хорошо.

Варфоломей Егорович Воскобойников, усмотревший непорядок в его отсутствие на службе, поручил ему разборку архива. Надлежало на всех папках заклеить слова «Оренбургская пограничная комиссия» и вписать каллиграфическими буквами: «Областное правление оренбургскими киргизами». Генерал сказал, что ему разрешено отсутствовать в виду работы с Николаем Ивановичем по киргизскому словарю, но Варфоломей Егорович только фыркал. Всякий раз, встречая его в правлении, делопроизводитель выказывал недовольство если не в словах, то в двусмысленности взгляда. При этом худое, идущее сине-розовыми пятнами лицо его принимало ядовитое выражение.

– Заходите, заходите, господин зауряд-хорунжий, – Варфоломей Егорович притворно вскакивал, делал руки

по швам.– Сабит Михайлович, доложите по порядку господину зауряд-хорунжему о вашем недоумении.

Старший толмач Фазылов, которому он подчинялся по службе, и которого Варфоломей Егорович по старинной дружбе обычно, называл Фазылкой, смотрел на него сонными глазами:

– Чего не был вчера?

Каждый день начинал он объяснять одно и то же, сбивался, сердился, а им того только было и нужно. Оба слушали с довольными лицами, находя в этом для себя удовольствие. Он и не обижался всерьез, чувствуя отсутствие злобности в их поведении. Просто от скуки это делалось.

К господину Дынькову он приходил обычно по утрам. Тот лежал в чистой рубашке на высокой кровати, исхудавший, ставший совсем маленьким.

– Так-то, брат,– говорил господин Дыньков.– Пора вот на пенсион. В расцвете, можно сказать, возраста. А ты давай, расскажи, как служба у тебя движается.

Помнилась крепкая рука и ложка с бульоном, означающая возвращение к жизни. Когда-то этот человек говорил что-то о «киргизах». Сейчас рука у господина Дынькова сделалась безжизненно-белая, и только волосы были на ней прежние: густо-желтые. Он наклонился, как когда-то в изоляторе, прижался щекой к этой руке.

– Ну, ты, брат, не расстраивайся,– дрогнувшим голосом сказал господин Дыньков и погладил его по голове.– На все воля божья. Вот сирот только жалко...

Дочка господина Дынькова – Оля подросла, но по-прежнему ходила с куклой. Рыжие веснушки были у нее на носу и щеках. Она не отходила от отца.

Не он один – к заболевшему господину Дынькову приходили Кулубеков, Мунсызбаев, Кучербаяев, оставленные практикантами при областном правлении, и еще Миргалей Бахтияров, служивший при губернской канцелярии. Они рассаживались по стульям и говорили

о своих делах. Господин Дыньков слушал их со вниманием. Не было никого в городе у них ближе надзирателя школы...

И опять слышались ему в ночи, когда лежал он с открытыми глазами, обрывки разговоров, отдельные слова, восклицания. Все это выражалось на одном языке. По-русски говорили действительный статский советник Евграф Степанович Красовский, новониколаевский пристав Покотилов, чиновники правления. В книге о счастливой судьбе номадов повторялась их речь. С мертвой однозначностью гремел колокольчик. И в какой-то миг стиралось все, раздавались чистые, незамутненные звуки:

У лукоморья дуб зеленый...

С кем же предстояло жить узунским кипчакам?

Пробегали по потолку черно-желтые тени от толкуновских окон. Топот у соседей то стихал, то становился сильнее, и пиалы дребезжали на полке:

Почему? Отчего?
По какому праву?
Распроклято каргызё
Косить нашу траву!..

И тут явственно увиделся солдат Демин. Со спокойной уверенностью вез тот на волокуше с дядькой Жетыбаем бревно с той стороны Тобола. Как же так получилось? Значит, дядька Жетыбай понимает все лучше его. Кипчаки тоже почему-то ничего не говорили солдату, когда начал тот строить себе жилье на этой стороне реки. Помимо него все делалось...

4

Что ж, свадьба и без их благородия совершилась как положено. Одного масла лампадного за три дня гулянья не меньше как на пятерку выгорело. На лошадей, на попа, на вино сколько потрачено. Припасы, соленья

там, это свое, да тоже вместо продажи на стол брошены: ешьте, пейте и веселитесь. Шестьдесят три души пребывали за столом: сватья да братья, всякие необходимые люди. Добро еще, станица далеко, за двести верст, а то бы вовсе разоренье. Ну, да ничего, Ксения вся сияет в монистах. Кто ж своему дитю враг? Да и Федька-злодей ублаготворен.

Давеча прихожу к их благородию, Ивану Матвеевичу Андриевскому. Так, мол, и так, играем свадьбу драгоценной и единственной своей дочери. Жених тоже свой. И как, значит, вы наш станичник, можно сказать, сродственник, то извольте оказать милость своим присутствием. Как-никак чин для нас немалый: капитан казачьей артиллерии и к начальству близок. Задумался Иван Матвеевич.

– Не изволь, говорю, беспокоиться, твое благородье. Тут из наших в городе Павел Ртищев или там Филимон Токарев в таскальщиках на мельнице, так их не зовем. Все уважительный, настоящий народ будет. Чтобы, значит, без невежества.

– Не потому я, Тимофей Ильич, не пойду к тебе, что людей сторонюсь, говорит, а потому, мол, что ты есть мерзавец, а не казак.

– Как так, – спрашиваю, – за что такие обидные слова приходится от вас услышать. Что казаки мы, Толкуновы, еще в реестрах императрицы Анны Иоанновны записано. И после бунта дед мой Ефим Толкунов отмечен за верность престолу-отечеству. Не так, мол, как некоторые.

– Это мы осведомлены, – говорит. – Только вроде не казачье это дело – людей по базарам облапошивать. Да и Федька твой – разбойник и подлец.

– Когда же это я, Иван Матвеевич, людей обижал, – спокойно так говорю ему. – Побойся бога: с киргизами только одними дело имеем...

Так слушать больше не стал. Оно и понятно. Яблоко от ствола далеко не покатится. Дед-то его у Пугача был,

у самого стремени, и ноздри ему рвали. С той поры и волчатся Андриевские на Толкуновых. Да отец, вишь, его грамоте научился, а сын и вовсе в офицеры вышел. Только слышал я, что при покойном императоре было у них нечто в артиллерийских юнкерах, за что солдаты на год угодил. Вот теперь новый государь послабление делает, так и вовсе таким раздолье. На что уж крепка была военная часть, так туда же. Взял это по весне у их благородия капитана Головлева «Военный вестник»¹ и поблагодумствовать вздумал, читаю: «Изнанка Крымской войны», а потом «Голос из армии». О том все, что чуть не государь Николай Павлович повинен в поражении, а до солдата унтер не смей и касаться, поскольку солдат русский есть герой. Так прямо и написано: «Горячее наше сочувствие должно быть обращено к этому сильному простому человеку, идущему против многих невзгод и лишений». А вот у нас в полку, когда поляк бунтовал, уж на что были герои. Кавалеры все, в крестах. Только как увидят меня – по струнке тянутся. Щелкнешь эт-та его разок-другой, так еще большим молодцом глядит. Потому что я есть вахмистр, от государя поставленный тебя, мерзавца, научить чувствовать службу. Тот тоже Филимон Токарев не раз был от меня ученый. Сейчас вот рожу воротит, когда на мельницу приезжаю за мукой.

Ну да обошлись без Его благородия Ваньки Андриевского. Капитана Ершова от соседей за стол позвали. Уж доподлинный офицер. Как выпили, так даже ко мне ручку хотели приложить. «Как смотришь, сволочь, – говорит. – Ежели ты благородного человека за стол позвал, то изволь сам стоять при нем за денщика! Насилу успокоили: «Так, мол, и так, господин капитан, всегда рады стараться!»

Теперь уж Федьке поворачиваться, дело расширять. Оно, конечно, и здесь человеку с разумением прожить

¹Официальный военный журнал в конце 50-х годов, одним из редакторов которого был Н.Г. Чернышевский.

можно. Да все трудней приходится. Вот и Андриевский тюрьмой пугает. Потому все здесь на виду. Да и рвань российская набежала, хлеб перебивает. А как мужика освободят, то и совсем деваться будет некуда. К тому, видать, дело идет. Господа дворяне сами на себя петлю накидывают. Что за народ такой несуразный в России. На себя же и бунтует.

В самый раз теперь куда подальше в степь податься. Хотя б в укрепление – Оренбургское или Уральское. Там, говорят, на Тургае, киргизы овцу на иголку меняют. А сюда готовый скот можно пригонять. Те же киргизы наймутся. Деньги, скажем, есть на первый случай. Да у Федьки обстоятельства еще мало. С киргизом надо обращение знать. Такой это народ уж дикий, скрытого движения мысли совсем не чувствует. Скажешь ласковое слово, а он и верит. В самый раз его, как зайца, тогда обкрутить.

Большие дела тут можно делать: мясо само по себе, потом шерсть, кожи. А Федька хоть и знает киргизский разговор, да все одно сквернословие. Как волчился на них в станице из-за покосов, так до сих пор не может без лютости на киргиза смотреть.

Вот этот малый, что у Прохорова живет. Ничего, что молодой, с таким даже лучше. Василий Петрович говорит – из богатеющих он киргизов. Вроде, многие тысячи скота он сам и сродственники его имеют. Да уж всякого киргиза в чиновники не возьмут. И в школе он этой у Дынькова учился, так что непростой человек. У Генерала пограничного, говорят, в чести. Вот и надо бы подбиться к нему. По нашему делу оно очень-таки может к пользе послужить. Знакомство среди киргизов большую силу имеет.

Вот к Его высокоблагородию Дынькову ходит он, больного проводывает. Надо бы и нам к случаю зайти. По христианскому обычаю как следует, да и соседи мы столько лет. Там можно и с киргизенком общение иметь. Чтобы честь по чести...

Не один он думал об узунских кипчаках. Все менялось, становилось сложнее. Теперь с утра и до конца дня просиживал он в подвале, где пахло затхлостью – будто вперемешку с деревом истлевало здесь живое тело. Бумаги не умирали, они оживали, вставали торчком. Варфоломей Егорович, заглядывая по временам, смотрел на него с удивленным вниманием.

Всякую папку архива он теперь развязывал и смотрел ее суть. Они были разные: про торговлю с Хивой, о холерной болезни в Мангышлаке, фискальные дела. И еще переписка по положению в губернии и на границах. Там жили и объяснялись люди, многие из которых еще недавно находились здесь, были даже знакомы ему. Все это укладывалось ровными листами на полках. И язык был без музыки, шуршащий, всепроникающий.

«Рассмотрев во всей подробности внесенные ко мне Пограничной комиссией при донесении 13 апреля прошлого 1847 года за №6205 проект устава для Киргизской Школы и смету потребным на первоначальное устройство ея расходам, я признаю проект устава во многих отношениях несообразным с Высочайше утвержденным 14 июня 1844 года положением о Киргизской Школе и целию ея учреждения, ибо цель эта, как сказано в §2 положения о Школе, кроме распространения между киргизами знания русского языка и некоторой грамотности, состоит в приготовлении способных людей к занятию по пограничному управлению мест: письмоводителей при султанах-правителях и дистаночных начальниках, а также к исправлению и других должностей, в которыя исключительно назначаются киргизы, а в §17-ом того же положения согласно с тою же целию, назначено преподавать в школе: русский язык, чистописание, арифметику и способ счисления на счетах, татарский

язык, закон магометанский и составление деловых бумаг на русском языке. Между тем, в представленном Пограничною Комиссией проекте устава о Школе предназначается, сверх этих предметов, преподавать еще: геометрию, топографию со съемкою и черчением планов и географию математическую, физическую и политическую, чтение коих в Киргизской Школе тем более излишне...»¹

Писанный маслом портрет среди портретов прочих губернаторов висел в присутствии: серо-голубой взгляд, усы с подусниками, одинаковая с другими лента через плечо. Человек этот в его памяти не сохранился – только ровная вязь слов с покрытым закруглением осталась от него на бумаге, что лежала сейчас перед ним. Зато рядом, на свободном поле уходила вкось, разрушая чистописание, другая, размашистая запись: «Что здесь признано ненужным, тому обучаются мужичьи отроки в земледельческих школах и о том толкуется им в книжечках, издаваемых обществом для простонародного чтения. В положении XIX века как-то странно встречаться с подобными предубеждениями противу просвещения. Легко сказать: русский язык! Составление деловых бумаг! Знание того и других свойственно ли необразованному? Не лучше ли бы сказать: научить грамоте русской? Спрашиваю: какую бумагу может составить писарь, век свой четко пишущий, без образования? Неужели семь лет только учить одной грамоте? Неужели и крестьянам не нужно и вредно знать, что такое север, юг и т.д., что есть другие реки кроме Урала и на них города кроме Оренбурга».

Как живой вдруг он возник: толстый, припадающий на ногу Генерал, тоже с лентой и подусниками. Однако что-то отличное от других было в его взгляде. Солдаты весело подтягивались, когда выходил он во двор комиссии. Будучи предшественником Василия Васильевича, не соглашался тот с самим губернатором.

¹Здесь и далее подлинные документы.

Теперь он окончательно вспомнил этого человека с неровным почерком. Три года подряд сидел он у них на экзамене и отирал пот с багрового лица, терпеливо слушал, как путались они в русском склонении.

На заглавном листе дела значилось: «Переписка от Оренбургского Военного губернатора и Командира Отдельного Оренбургского корпуса, Его Высокопревосходительства генерала от инфантерии В.А. Обручева в Оренбургскую Пограничную Комиссию с собственноручными соображениями по поводу оной Председателя Пограничной Комиссии, Его превосходительства генерал-майора М.В. Ладыженского, а также с последствием по сему делу». Два генерала – старший и младший – спорили между собой об узунских кипчаках.

Он продолжал читать приписку генерала Ладыженского на губернаторском письме. Это было о кипчаках... «Разве арифметика не математика? Напротив, все нужно, что может быть сообщено без излишнего затруднения и что может отвлечь от праздности, свойственной азиатцу вообще и киргизу в особенности. Образование только смягчает нравы, а не острог и шпицрутены...»

Опять это книжное суждение: «Номады проводят время в праздности и играх». Однако главное здесь было не в том. Русские слова начинали звучать в чистом своем значении. Чернильные брызги шли от пометок.

Нечто орлиное было во взгляде хромого русского генерала. В Петербург, к министру писалось его собственноручное письмо: «Имея честь доложить об этом Вашему Превосходительству, я не могу отказать себе в побуждении представить просвещенному Вашему вниманию, в кратком очерке, как положения, не одобренные Его Высокопревосходительством Владимиром Афанасьевичем, так и причины, на которых Комиссия основала полезность тех положений...»

Но поля оставались незамеченными. Посредине листа все тем же круглым почерком утверждалось оставление узунских кипчаков в прежнем их состоянии:

«Из предложения моего от 24-го минувшего Августа за №1221 Пограничной Комиссии известно, что я входил в сношение с Господином Канцлером Иностранных Дел по предмету учреждаемой при Оренбургской Пограничной Комиссии Школы для киргизских детей, изъяснив при этом некоторые предположения как о самой Школе, так и об учиненных Комиссией расходах. В ответ на это Действительный Тайный Советник Граф Нессельроде ныне уведомил меня, что он совершенно соглашается с моим мнением, что некоторые предметы учения (географию, геометрию и т.п.) нет надобности включать в программу учения для киргизских детей... О таковом отзыве Господина Государственного Канцлера Иностранных Дел сообщая Пограничной Комиссии к надлежащему исполнению, я предлагаю ей поспешить доставлением мне проекта о Киргизской Школе...»

Вечером, когда сидел он дома, неожиданно пришел Варфоломей Егорович Воскобойников.

– Тут, значит, ты и живешь... Та-ак!

Делопроизводитель, покачнувшись, сел на стул. Его друга – толмача Фазылова Генерал еще с утра посадил на гауптвахту, а Варфоломей Егорович куда-то пропал. Сейчас он был пьян и все прищуривал один глаз, грозя пальцем:

– Я тебя, Ибрашка, насквозь вижу. Какие там, в подвале, дела листаешь и прочее. Глаза у тебя наружу распахнуты, все на виду. С вопросом на русского человека смотришь? Изволь... Он ведь ой какой непростой, этот человек. Так, сверху, Иван-дурак, а такое тебе сотворит, что ахнешь. Душу выложит, живот за тебя положит, а там, глядишь, обругает ни за что, ни про что. Бывает и так: сверху бурбон, а в середине человек. Вот как генерал наш прежний Михаил Васильевич, чьи бумаги сегодня ты смотрел. Всего этого в нас – и от финнов, и от вашего брата – татарина. Одного, скажу я тебе, в настоящем русском человеке

нет – это ненавистничества. Уж оно точно. Во всяком человека видит, хоть и обозвать может по-всякому...– Воскобойников махнул рукой.– На нас, мундирных, не смотри, мы – люди казенные, службой порченные. Ничего человеческого в нас, почитай, и не осталось. А душа и в нас все же русская, к пардону склонная... Так что ты не сомневайся за своих киргизов. Различай: чего от службы, а что от людей...

Делопроизводитель уснул на стуле. С Досмухамедом перенесли они его на кровать, прикрыли одеялом. Утром Варфоломей Егорович открыл глаза, мутно посмотрел:

– Чего это вы меня тут положили? Правильно, киргизам надлежит учиться почитать начальство. Даже такое, как я. Думаешь другому в школах будут учить? Тому же, что по всей России: «Рады стараться, вашество!» Нетронутые, непорочные вы еще: преплезнейших слуг отечеству можно из вас сотворить. За установленным порядком следить, остроги охранять. Кто лучше непорочного человека годится для такого дела.

И уже уходя, остановился в дверях:

– Нет, зауряд-хорунжий Алтынсарин. Ты душой прильни, тогда поймешь!

С начала его приезда говорилось об этих школах. Намечалось открыть их четыре: при укреплениях Оренбургском и Уральском, в форте Александровском и на Сырдарье. В третий раз переписывал он по поручению Генерала исходящую бумагу господину Оренбургскому и Самарскому генерал-губернатору от 9-го Октября 1859 года №9602: «...Относительно условий приема киргизских детей Комиссия полагает, что должно принимать в оные желающих без различия происхождения и состояния родителей. Правительству следует, по мнению Комиссии, не поддерживать в Степи влияния, помимо его образовавшиеся и образующиеся, а создавать свои... Штат каждой школы Комиссия полагает ограничить на первый раз 25

воспитанниками и одним учителем, который вместе с тем будет и смотрителем школы».

В кабинете у Генерала сидели Николай Иванович, действительный статский советник Красовский, два советника правления и бий Нуралы Токашев от казахов.

В первый раз его позвали присутствовать. Он сидел чинно в углу и смотрел на говорящих. Помнились слова, сказанные вчера делопроизводителем Воскобойниковым. К чему-то следовало приглядеться.

– В прошлый раз, господа, мы слишком увлеклись антуражем будущего киргизского просвещения. У нас даже полы в школах предполагались деревянные. Я снесся с товарищем министра и получил соответствующие разъяснения, полностью меня удовлетворившие. Казна не может в такой степени печься о просвещении инородцев. Впрочем, как и о просвещении переселенческой части населения. Таковые заботы обязано принимать на себя общество, в данном случае сами киргизы. – Генерал Василий Васильевич посмотрел почему-то на него, положил руку на лежащую на столе бумагу. – Я, господа, не могу не согласиться с теми глубокими и основательными доводами, которые приводятся в разъяснении Его высокопревосходительства. Надо ли сейчас ставить просвещение инородцев на фундаментальную основу? При нынешнем состоянии их не будет ли это подобно маниловским мечтаниям о том, что никому не принесет пользы. По зрелому размышлению и исходя из возможностей областного правления я предлагаю совсем иной облик школы, близкой к простоте и непритязательности всего уклада киргизской жизни. Это прежде всего разумно. Во-первых, само здание школы можно соорудить из дерна или битой глины, что знакомо киргизам и обойдется весьма дешево. В Оренбургском и Уральском укреплениях придется класть каменные печи, в то время как на Сырдарье и в форте Александровском

достанет и азиатских каминов с выходом дыма наружу. Спать на полу киргизам не привыкать, но можно поставить и нары. Опять-таки несколько простых бухарских столиков для письма, к коим не надо стульев...

– Дурус!– громко сказал бий Нуралы Токашев, советник от Орды. Все вздрогнули, посмотрели на него. Тот, как всегда, сидел с выражением значительности на лице, поглаживая двумя руками оттопыренный на животе мундир. Ничего, кроме этого означающего согласие слова, советник никогда не говорил.

Николай Иванович только вздыхал, и добрые голубые глаза его смотрели беспомощно. Два месяца обговаривали они с Генералом устройство четырех школ с интернатом и европейским обиходом во всем. Николай Иванович все дни стремительно ходил, развеивая бакенбарды, и даже Генерал Василий Васильевич, вставая из-за стола, гулял по кабинету. Но тут пришла эта бумага.

– Итак, господа, предлагается на первый раз ограничить штат каждой школы двадцатью пятью воспитанниками и одним учителем, который будет и смотрителем. К тому еще нанятый вольно киргиз для варения пищи...

Он знал уже эту особенность в службе: не всегда Василий Васильевич или другой генерал прямо скажет: «Я хочу!» «Я думаю!» Следует говорить от неопределенного лица: «Предлагается» или «Есть такое мнение». И тогда прочие замолкают. Некую тайную силу имеет такой оборот речи.

– Больше ничего не нужно. Чем более будут школы наружностью походить на азиатские, тем лучше. Сообразно со штатом школьный дом должен заключать в себе учебную комнату, а вместе с тем спальню – стоит лишь отодвинуть столы. Также угол для учителя и пристройку для варки пищи, где может помещаться ночью работник-киргиз. В этих пределах нам позволяют средства...

– Дурус!– сказал Нуралы-бий.

Все та же знакомая тень падала на лица, какую знал он по проводам немца-генерала. Офицеры-топографы тогда пили в память умершего царя, а дома звали его «погубителем России». Сами они как-то и не заметили этого перехода. Когда собирали этих людей вместе и были они в мундирах, то переставали они думать по-своему. Все никак не мог понять он этой тайной силы, вдруг изменяющей людей.

Генерал Василий Васильевич, который множество раз обосновывал необходимость кирпичных домов и европейского обихода для школ, теперь убежденно говорил противное. Николай Иванович вертел головой, пошаркивал ногами и тоже согласно подносил мысли для изменившегося мнения. В основе всего была бумага, лежащая на столе. От нее переменились сразу эти люди.

– Что относится к учебным пособиям, то тут во главу следует взять «Самоучитель русского языка для киргизов», что готовит Николай Иванович с заурядхорунжим Алтынсариним. Генерал Василий Васильевич говорил обычным уверенным голосом. – Правда, не достигнуто общее мнение о буквенной форме...

Опять забегал Николай Иванович, заспорил горячо, по свойственной ему природе. Все эти месяцы убеждал он, что так как татары пользуются арабскими буквами, потому и казахам они ближе. Ведь и закон магометанский выражается арабской грамотой, и неразумно отрывать повседневное письмо от письма духовного. Генерал же Василий Васильевич вовсе не предполагал изучение в этих школах магометанского закона, а потому и стоял за линейный шрифт. На этот случай он не говорил, что «есть такое мнение», а только морщил губы:

– Помилуйте, Николай Иванович, снова вы за свое. Какая же польза киргизам от сего сложного написания в будущем. Ведь примутся они когда-нибудь за универсальные науки. Где станут книги доставать? Чем поможет им знание шрифта первобытного, уходящего...

– Сим шрифтом до сих пор пользуется мировая математика!– возразил Николай Иванович.

– Дурус!– согласился Нуралы-бий.

Все опять посмотрели на него.

В споре о шрифтах он склонялся на сторону арабского написания букв. Непонятно почему, ибо сам он в жизни не писал этим шрифтом, кроме как когда-то на уроках домулло Усман-ходжи.

Как-то принес он Фазылову исходящую в Орду бумагу, где, сам не зная почему, написал казахские слова русскими буквами. Тот выгнал его и так разволновался, что побежал жаловаться Генералу. Пришлось ту же бумагу переписывать по-татарски. В Орде, при султане-правителе, письмоводитель тоже был татарин. Канцелярия так и велась на татарском языке.

Но здесь дело было в другом. Должны были узунские кипчаки выделяться чем-то, им в особенности принадлежащим. Некое чувство противоречия ощущал он в себе, молча глядя то на Генерала, то на Николая Ивановича.

Советник правления от линейных войск капитан Андриевский решительно отодвинул от себя лежащую на столе папку с бумагами:

– Все ж не понимаю я, господа. В шрифтах ли дело. Россия, можно сказать, просыпается от векового сна. Просыпается вместе с вручившими ей свою судьбу другими народами. Государь непосредственно обращается к лучшим силам общества, ища поддержки в великих преобразованиях. Ужели отодвинется от этого общего порыва дело образованности инородцев? Разве они не та же Россия?!

Все снова посмотрели почему-то не на Нуралы Токашева, а на него, по-прежнему сидящего в углу. Только действительный статский советник Красовский сидел, не меняя вида. Бий Нуралы задвигался, не понимая, что произошло, но на всякий случай сказал негромко: «Дурус!»

– Речь должна идти, господа, о деле необходимом и неизбежном для киргизов. Ибо не может некая часть общества оставаться нетронутой общими веяниями. – Капитан Андриевский обвел всех недоумевающим взглядом. – Как же на огромную часть отечества, представляющую столь немалые богатства и сулящую еще большие в будущем, вовсе не отпускается средств для просвещения!

Действительный статский советник Красовский приподнял теперь от стола короткие ручки:

– Не так все просто в государственном управлении, как предполагает господин артиллерийский капитан. Предмет этот тонкий и требует зрелого подхода. Учиться сему следует у просвещенных наций, давно уж занимающихся колониальной деятельностью. Те же английские администраторы, к примеру, не вмешиваются во внутренние дела туземных народов, а лишь рассудливо подстраиваются к ним. Само собой разумеется, не опускаясь до общего с туземцами состояния...

Совершенно явственно вдруг представился ему этот человек, быстро перебирающий в этих самых ручках ассигнации, прежде чем положить их в карман. Он не видел этого. Деньги от узунских кипчаков были переданы тогда статскому советнику через приехавшего с ним для ревизии по делу о краденых лошадях чиновника Пальчинского. Так делалось со всеми ревизорами в генеральских чинах. Деньги им передавали через подчиненных.

– В присутствии вот этого почтенного бия, избранника от народа, можно сказать, – маленькая ручка простерлась по направлению к Нуралы Токашеву, – я спрашиваю, господа, нужно ли вообще киргизам просвещение в нашем, европейском, чуждом для них понимании. Зачем мы будем принуждать их в образовании. Есть у них свои магометанские школы в удобном для них виде. Способнейшие от них ездят учиться в бухарские медресы и даже в Стамбул. Не будем же мешать им. Это прошлое правительство занималось

принуждением подобного рода. Чего греха таить, находятся и в нынешнее время ретрограды, не дающие народам двигаться в естественном для них направлении.

В одно мгновение все сделалось ему понятным. Недоуменно оглянулся он на других. Генерал Василий Васильевич свел до побеления пальцы лежащей на столе руке. Николай Иванович морщился, будто от зубной боли. Капитан Андриевский, чуть склонив вперед крепкую голову, тяжело смотрел куда-то в подбородок действительному статскому советнику Красовскому. Он знал этот примеривающийся взгляд, когда казаки рубят лозу на учении. Нет, природное русское чувство не принимало такого хитроумия.

– Дурус!– сказал бий Нуралы Токашев. Вот разве что этот одобрит оставление сородичей в пределах окоёма. А у него пропали сомнения. Конечно же, русским шрифтом надо писать самоучитель для узунских кипчаков. От того же окоёма оставалось в нем желание обособиться. И оно приходилось к пользе действительному статскому советнику Красовскому.

Не так легко было вырваться из окоёма. Он удерживал даже буквенной вязью, которую вот уже тысячу лет так и не смогли освоить кипчаки. Сам домулло Рахматулла читал ее на память с голоса. Было, правда, нечто еще. Благородный кожа Динахмед с достоинством поднимал руки к небу. Но это не противоречило новым шрифтам и даже господину Дынькову. Одинаковое говорили они оба. Бог не нуждается в вечном юлении перед ним.

Действительный статский советник Красовский развивал свое положение:

– Оставленные в природном своем кругу инородцы будут благодарны за это престолу, и лучших из них можно будет использовать в службе. Первобытная чистота и отсутствие разрушительных европейских влияний позволит в широком правительственном смысле извлечь из того наивысшую пользу... На беду

нашу, господа, у русского простолюдина нет этой британской разборчивости. Ему все едино. Надо ли еще и шрифтами сближать его с инородческой массой. Здесь вижу источник будущих потрясений империи и с этим зову на борьбу. Сколь же опасны становятся подобные мысли о культурном единстве, исходящие от образованных классов. Вот в вашем, Василий Васильевич, ведомстве, например, надворный советник господин Дыньков развел в киргизской школе непонятное обновленчество во всем. Туземные дети желают совершать обряды и жить по-своему. Он же их даже мыться на европейский лад принуждает. Прямо франты какие-то, с длинными волосами ходят у него киргизы. Нет, все должно тут быть оставлено натурально. Смею вас заверить, что назначенные на то люди с вниманием следят за увлечениями такого рода, особенно в кругах административных и военных. Тем более, господа, надлежит быть непреклонным по этому поводу в связи с предстоящим решением государя по крестьянскому вопросу.

– Дурус!– подвел итог разговору бий Нуралы.

Никто не отвечал на речь советника Красовского. Снова как бы некая плита надвинулась на все. Когда закрылось заседание, Генерал Василий Васильевич сказал устало:

– Останьтесь, зауряд-хорунжий!

Он снова сел на свой стул в углу. Генерал, будто забыв о нем, глядел куда-то в корешки книг в стеклянном шкафу.

– Ты говорил, у тебя есть среди друзей один акын,– заговорил, наконец, Генерал. Получалось у него чисто, но с татарской мягкостью. Так говорили по-казахски все русские, которые знали прежде татарский язык. Лишь господин Дыньков объяснялся, как природный казах.

– Его зовут Марабай, Василий Васильевич!

Генерал заговорил по-русски:

– Надо бы позвать сюда, в Оренбург, этого человека. Я слышал о необыкновенных его способностях.

Генерал словно бы еще что-то хотел сказать. О Марабае было все оговорено с Николаем Ивановичем, так что зачем бы повторять это с младшим толмачом. Ничего больше и не было сказано. Просто Генерал Василий Васильевич, как давно когда-то в Новый год, встал с места и положил вдруг руку ему на плечо:

– Идите, Алтынсарин!..

6

Неужто до конца все уразумел юный киргиз из того, что говорилось? Прежде всего со стороны Евграфа Степановича. Надо особенное направление души иметь, чтобы выражаться так прямо о... скажем, о вещах сомнительных. Впрочем, дело государственное, так что Евграф Степанович, можно сказать, герой-спаситель, жертвующий честью на потребу отечеству. Что честь отечества слагается из чести каждого его члена, тому лишь классическое воспитание учит. Мы же не римляне. А этот неосторожный капитан получается прямым противником России. Да и все мы к нему за компанию...

Глаза у зауряд-хорунжего беспокойны сделались, как заговорил прямо при нем Евграф Степанович о киргизском вопросе. Надо было все-таки спросить у него, к какому направлению склоняется – в шрифтах, да и прочем. Не спрашивать же в самом деле этого чурбана Токашева. Тому все «дурус», было бы брюхо ублажено. Как изучишь киргизскую душу по таким вот экспонатам? Тем не менее многие по ним учат.

Господи, кажется, числюсь первым знатоком киргиз-кайсаков во всей Европе. Язык, обиход знаю, все прочее, а понимаю ли душу? Вот Евграфу Степановичу оно и ни к чему, почему же мне так нужно? Благо тому, кто смолodu избавился от сей вредоносной склонности к чувствованию. Пользы все одно никакой. Да только и науки подлинной без этого быть не может. Впрочем, как и политики настоящей.

Славный этот юноша – внук Джанбурчина. Может стать, и образец для положительного киргизского характера. Природная скромность и пылкое до слез восприятие. Сколь несчастный вид был у него, когда Евграф Степанович высказывал свое кредо. И вопрос в глазах, к нам направленный. Как притрется он к службе? И что ждет его среди своих? Острое положение!..

Бий Балгожа, его дед, смог сохранить в неприкосновенности свой узунский род. Когда прочие кинулись к Кенесары, подполковник Джанбурчин угадал общее направление политики и твердо противостоял разбойнику. Подданство здесь покоится на вековом уме, а не на слепом желании выслужиться. Тем и надо привлекать киргизов, чтобы рассчитывали, где им в истории больше пользы предстоит приобрести. Ужели бояться при этом умеренного просвещения? Куда как крепче станут через него они привязаны к России, чем посредством тамбовского макиавеллизма...

Однако Евграф Степанович прямо сказал о политическом наблюдении. В третий раз уж произносится это. Не мешало б ему знать, что мой чин по Министерству внутренних дел старше его временем и освобождает от подозрений. Неужто ему место мое приглянулось? Но для того, чтобы занять его, следует хотя бы уметь отличать палеолит от кухмистерской Додона.

Впрочем, в России все возможно. Вон как ловко объяснил он будущую восточную политику. Для исполнения того и вправду любой столоначальник подойдет. Ученость тут лишь станет вредить. Они так и смотрят в столицах на это с позиций покойного государя. «Генерал от Московского университета» – оттуда ведь моя кличка. Несмотря на то, что показал достаточную твердость руки. Корреспондентское членство в академии отнюдь не противоречит административной решительности.

Что же бы тогда значила настойчивость Евграфа Степановича? Имеется слух, что под вицмундиром

есть у него еще и лазоревый¹. Не отсюда ли ветер дует? Вроде бы вольно теперь стало и чуть не якобинцы все сделали. Вон как тот же Евграф Степанович ручками сучит, говоря о прежнем правительстве и нашем ретроградстве. Чуть Петропавловскую крепость не зовет за собою брать. Да не для меня сия воробьиная приманка. Хватило одесского примера...

Разве что с того времени потянулась нить. У них, как известно, свой архив. Но больно уж легковесною была одесская история, чтобы влиять теперь на послужной список. Да и пятнадцать лет службы по Министерству внутренних дел не состоялись бы, если б придавалось ей какое-то значение. Это тогда казалось, что помост подламывается, и виснет он в петле, судорожно упираясь в воздух ногами...

Навечно осталась с ним эта ночь, когда ртутным блеском среди черных скал отсвечивало море. Гетеристская² лодка качалась вместе с перекинутой на берег доской, и ноги скользили по мокрому дереву. Перед тем он с Соловьевым, тоже ментором Ришельевского лицея, и с уланским поручиком Кандыбой накупили порошу и тайно грузили его, теперь для стамбульских греков. Никак не понятно было, почему христианский государь запрещает помощь славным инсургентам, освободившим уж большую часть страдалицы Эллады. Однако говорили среди таможенных офицеров, что русские власти прозрачно смотрят на такую помощь от общества – не вышло бы только дипломатического скандала. А уж одесские греки со своими лодками и вовсе не считались с пограничной стражей.

Скрежет железа о камень прервал полоскание воды между камнями. Грубые руки взяли сзади за плечи, и

¹Голубые мундиры носили офицеры корпуса жандармов.

²*Этеристы (гетеристы)* – борцы за свободу Греции против турецкого гнета.

фонарь загорелся из-под шинели. Так и не развязывали им рук четыре дня.

– Порох под престол изволите приготавливать!

Подполковник Первой экспедиции¹ Городецкий, стянутый в талии, сидел один на один с ним в комнате без окон. Они и в ту пору играли наружностью в гвардию. Даже одинаковые с ней лосиные перчатки носили. Медленно, палец за пальцем, освобождалась от них рука.

– Мы для греков это делали, господин подполковник. Все преподаватели лица...

– А грекам порох против кого же?

Подполковник, как и все в этом южном, благоухающем рыбой и акациями городе говорил мягко: «грёки».

– Так греки, они ж православные. На султана войну готовят.

– Та-ак... А султан кто ж по-вашему?

– Гонитель он, враг свободы, славянской и эллинской...

Два медленных шага сделал к нему подполковник Городецкий.

– Су-укин ты сын!.. – заговорил он, как бы забивая в голову слова. – Султан – это Его Величество, августейший брат нашего государя, олицетворяющий необходимый порядок в магометанской части мира. Свободу же православные народы могут получить только из рук другого государя, придя под его высокое покровительство. Но не путем подкладывания пороховых снарядов под троны!

Освобожденная от перчатки рука вдруг пропала из поля зрения. Удар он услышал, а не почувствовал, и с недоумением тронул мокрую губу. Никто никогда не бил его. И невозможно это было.

– Возможно! – отвечал ему подполковник, аккуратно отирая руку. – Это там, в лицах да в журналах, действуют ваши правила жизни. А я вот захочу – утоплю тебя сегодня же в той самой бухте, как кутенка!..

¹Первая экспедиция Третьего отделения вела наблюдение за революционными и общественными организациями.

В то же мгновение он понял, что так это. Все призрачное, ненастоящее: яростный Белинский, философские споры, тирады Грановского. Реальная жизнь есть вот эта рука в перчатке. И чести дворянской нет, и свободы никакой для эллинов и славян. Все связанное с совестью, душой, любовью к ближнему, рушится и обращается в пар. Стоит лишь сделать движение пальцем где-то в тайности мощного организма. Всем холодеющим существом почувствовал он свою беззащитность.

– Что же будет?– прошептал он.

– В прошлый раз перебежавших границу жидов государь самолично повелел прогнать через двенадцать тысяч палок. И по две тысячи пархатые не дотянули, кончились!..

Подполковник смеялся натурально, без примеси злобы, и от этого обрывалось сердце. Да, они все могут. Тайнственная сила дана им. Может быть, это и есть подлинная свобода, а Белинский с Грановским, все они в лицах и университетах, учат лишь закреплению, сдерживанию чистой натуры.

– Пойдем,– снисходительность была в голосе подполковника.– Вижу, ты почувствовал настоящий смысл вещей!

Влекомый магнетизмом, исходящим от спины с виднеющимся аксельбантом, шел он по сырому нескончаемому подвалу. Думалось лишь о том, откуда же длинный такой подвал. Желтый, ракушечный камень скрадывал шаги.

– Вот, смотри... Подпишешь бумагу, что они утонули при твоих глазах!

Даже сомнения в его послушании не слышалось в голосе подполковника. Четыре тела с синими лицами лежали в ряд на полу. В одном он узнал старшего с греческой лодки...

Что ж, теперь он сам уже генерал. Все – университет, наука и даже Грановский остались при нем. Но холод

катакомбы проник в него навсегда. Сейчас уж не поверит он прекраснодушным речам. Задача его – честно служить науке, как может он на своем месте. Большого не дано. И коль встретится ему жертвенное прекраснодушие, то будет прямо его выкорчевывать, как пагубное для общества. Каковы плоды человеку от так называемых идей, коль не соответствуют они реальности жизни. Мертвеет все внутри от такого столкновения.

Тогда его отпустили, может быть, потому, что у товарища его Кандыбы был дядя градоначальник. Но рана сохранилась в нем, и следует обезопасить от того другие поколения. Сей идеализм по отношению к реальной жизни – самая жестокая язва России. На волке лишь в сказках можно ездить. Не дай бог, еще бы удалась авантюра на Сенатской площади. Не большую еще власть получил бы тогда подполковник Городецкий?..

Однако же что надо иметь в душе, чтобы изъясняться вот так, как Евграф Степанович? Державный интерес блюдет, да только дом в три этажа не построишь на российское жалованье.

Впрочем, это уже не имеет прямого касательства к изучению киргизской души. Жизнь идет своими путями. Может быть, и пригодятся когда-нибудь его труды здесь, в аванпосте цивилизации...

7

С ясной, как никогда, головой проснулся он в это утро и лежал недвижно, с открытыми глазами. Впервые в жизни ощущал он спокойную уверенность. Все окончательно определилось, встало на свои места.

Произошло это ночью, во время сна. Школьные задачи когда-то решались так – что не получалось весь день, приходило ночью, подсказанное какой-то таинственной силой. Сами собой являлись ответы на вопросы и ложились туда, где было им место.

Словно некая пелена спала с глаз. Что до сих пор виделось в тумане, обрело прямые, четкие очертания. Круг узунских кипчаков, откуда никогда он не уходил, стоял в середине вселенной. Они неслись все по этому кругу, не находя выхода. Но вечность не могла более продолжаться. Многорукий бронзовый идол стоял за спиной, ожидая своего часа. Обязательный выбор предстоял им.

Этот мир, куда из них ему первому представилось войти, был безграничен. Тут били, мучили, плакали, смеялись, ненавидели, любили, но приход его принимали как само собой разумеющееся дело. Здесь и в мыслях не имели ставить его в чем-то иначе, чем себя. Чины и уровни начинались только внутри этого мира, однако было нечто большее...

Некая единая цель по отношению к нему намечалась у Николая Ивановича, у Генерала, у господина Дынькова, у других составлявших служебный круг Пограничной комиссии, ставшей правлением, городской круг и еще более широкий круг, охватывающий совсем уж незримые дали с вырисовывающимися шпилями и площадями. Цель эту провозглашали открыто, и она повторялась в словах, бумагах архива, военных командах на плацу. Первая услышанная им здесь речь была про то, что предстоит сделать из них верных престолу людей. Но когда Николай Иванович приступал к кипчакской грамматике, глаза его сияли и было это уже в нарушение поставленной цели. А в доме Екатерина Степановна мягко поправляла его выговор и другая женщина читала, растягивая слова:

У лукомо-орья дуб зеле-еный...

Совсем уже шло это не от службы.

И Генерал вдруг забывался, когда разговаривал он с ним о песне про кипчака Кобланды. Казалось, ни к чему это Генералу, как учителю Алатырцеву незачем было звать, его к себе. А уж господин Дыньков и вовсе

не различал своего от служебного. Все у него было свое, и бульоном отхаживал тот его так же просто, как ел или спал. Скорей даже хитрым прикрытием была для господина Дынькова служба, когда докладывал начальству, как надлежит к пользе дела поступать с «киргизцами». А был еще солдат Демин...

Часто эти люди выделяли себя. Тот же господин Дыньков чуть ни при каждом шаге говорил: «Против русской силы кто найдется!» или «Матушка-Русь всему голова!» Но это никак не отделяло других. Когда господин Дыньков говорил так, они относили это к себе. Еще у учителя Алатырцева Мирсалих-ага изъяснялся «Мы, русские...»

Главное же то было, что внутри себя нисколько не таилось в них спеси. Вперемежку с восхвалением русской силы господин Дыньков махал рукой при очевидной нерадивости: «Чистый Иван-дурак!» У учителя Алатырцева говорили о холопстве и воровстве. Была еще книга в темно-зеленом переплете, где все большие характеры проступали в высоком очистительном свете. Здесь находилась тайна душевного соприкосновения с ними. Пока было так, узунским кипчакам не приходилось опасаться своего вступления в этот мир.

Бронзовый Идол определял другой путь. У него не было малейшего отклонения. Жизнь заключалась уже не в круге, а в единой точке посередине него. Оставалось лежать лицом вниз, представляя пыль без звука и движения. Все слова сходились в одно слово, беспрестанно повторяемое. Он помнил песню Маралбая. Все, что не сливалось в однотонный, бессмысленный сплав, подлежало уничтожению.

Тень идола падала далеко, закрывая встающее солнце. В самих кипчаках, в соседях их и в соседях их соседей оставалось это от прошлых нашествий. Только слово согласия допускалось в отношении бия Балгожи. Полагалось громко провозглашать его мудрость, и это неукоснительно делали и дядя Хасен, и дядя Кулубай,

и все прочие находящиеся в круге. Одни лишь кривые, изломанные линии могли здесь поместиться. Тот же бронзовый отсвет виделся на кокандских, бухарских, хивинских караванах, приходящих из-за дальних окоёмов в этот мир.

Нет, лишь один выбор был у кипчаков, и дядька Жетыбай сделал его, никого не спрашиваясь. Кипчаки и сам мудрый бий Балгожа молча соглашались с ним. Пути назад не было, и Человек с саблей уходил в глубоком, трагическом раздумье...

Встал он легко, умылся, оделся. Перед едой, памятуя правила, коснулся ладонями лица: «Бисмилля...» Закончив есть, сделал то же: «Олло хаки бар»¹. Досмухамед никогда ничего не говорил – лишь поворачивал к нему круглое безбровое лицо. Это означало, что все он делает по закону. Когда утром родич его молился, то не смотрел на него, мирно спящего. Полагалось не видеть чужого небрежения, ибо уже само по себе это считалось грехом.

Надев парик, он лишь на миг задержался перед зеркалом. Обычно он подолгу сидел на табурете, разглядывая следы болезни на голове. И парик примеривал долго – все казалось, что вылезает из-под искусно пригнанных волос белая, не тронутая солнцем полоска. Сейчас он сделал все быстро, не думая ни о чем.

Придя в правление, он спросил у Фазылова, нет ли для него на сегодня какой работы. Тот сонно посмотрел на него и ничего не ответил.

– Как же, господин зауряд-хорунжий, Его Превосходительство только самолично... – Варфоломей Егорович привстал с притворным подобострастием. – Как мы осмелимся утруждать вас!

И вдруг замолчал, с интересом глядя на него. Фазылов тоже, поднял голову. Что ж заметили они в нем?

¹Хвала богу.

– Все ж не звали меня?– переспросил он, несколько не тронутый на этот раз шутками делопроизводителя.

– Нет, все тихо, Алтынсарин,– совсем другим голосом сказал Варфоломей Егорович.– Что-то ты сегодня переменялся. Али место в губернии получил?

– Еще нет,– безразлично ответил он.

– Ну вот,– удовлетворенно хмыкнул Варфоломей Егорович.– А то ходишь, как сайгак настороже. Ничем тебя не примешь!

С переписанным набело проектом «Самоучителя русского языка для киргизов» пришел он к Генералу, принес бумагу:

– Кланялся вам Николай Иванович, просил принять на рассмотрение!

Генерал пробежал глазами лист, усмехнулся:

– Все же на магометанском шрифте настаиваете для киргизов?

– Таково мнение составителя, Василий Васильевич,– ответил он.

Генерал со вниманием посмотрел на него. Наверно, потому что в первый раз назвал он Генерала без чина: «Василий Васильевич». Само это у него сегодня не получилось.

– Каково же ваше собственное мнение, господин Алтынсарин?

– Считаю полезным для киргизов общепринятый в империи шрифт. Ваше Превосходительство.

Генерал опять поднял глаза, спросил по-казахски:

– Почему так думаешь, Ибрай?

– Ай, совсем нехорошо Короткорукий говорит!

И отвечая, он показал, как держит обычно свои ручки действительный статский советник Красовский.

– Это у него от болезни,– заметил Генерал.

– Нет, плохой человек. Бог метит!– сказал он твердо.

Никакого стеснения больше не чувствовал он здесь. Идя по коридору правления, видел он те же выставленные сюда от тесноты шкафы, тот же крашенный

синькой потолок, скрипели под ногой знакомые доски пола. Но это имело уже прямую принадлежность к нему. Плохое и хорошее, оно не смотрелось со стороны, из какого-то круга, так как сделался он уже полной частью этого мира.

– Слушайте, господа, что возвещает России очистительный «Колокол»...

С прошлых лет знал он, что внизу шкафа с книгами в доме учителя Алатырцева был некий строго запираемый на ключ ящик. Там лежали бумаги и журнальные книжки с муаровым титулом, где обозначалось это слово – колокол. Когда в первый раз ненароком увидел он внутренность ящика, учитель Алатырцев принял значительный вид. Понятно стало, что не следует об этом кому-то рассказывать. Теперь же ящик был открыт, а книжки лежали на столе.

– «Ты победил, Галилеянин!» Сие признание величия намерений нового государя со стороны человека, олицетворяющего русскую совесть, победным звоном отдается во всех углах нашего пробуждающегося к новой жизни отечества!

Говорил Мятлин, недавно приехавший из Казани преподаватель Неплюевского училища, и белые руки его мягко двигались над столом. Многие люди за эти годы переменились в доме учителя Алатырцева, но разговоры были те же. Теперь все уже открыто говорили об ожидаемом рескрипте государя по делу крестьян. Даже сосед учителя Алатырцева коллежский советник Куров участвовал в разговоре.

– Каков еще будет этот рескрипт?– сказал учитель Алатырцев.– Все ли ждут его с таким самозабвением?

– На это отвечу вам воистину колокольными словами с берегов Темзы: «Что они могут противопоставить, когда против них Власть и Свобода, образованное меньшинство и весь народ?»

Вдруг засмеялся топограф Дальцев:

– Помните, егерский ротмистр рассказывал: «Мы и сами добре знаем, що такого указа нема, колы ж нам хочется, щоб вин був!»

Да, совсем по-иному видел теперь он их всех. Раньше одно целое представлялось ему, на которое он смотрел как бы в приоткрытое окно. Сейчас он сам находился среди них, и каждый здесь был на свое лицо. Учитель Алатырцев, сдержанный как обычно, слушал внимательно, и непонятно было, одобряет ли он до конца сказанное. Капитан казачьей артиллерии Андриевский стал угрюмым, в волосах виделась седина, жесткая, ломаная складка появилась у губ. Молодой, с пухлыми щеками Мятлин говорил с певучей убежденностью, слова его мягко укладывались в душу. Особо от всех для него находился топограф Дальцев, всякое движение и улыбка которого окрашивались неким светом. Из всех лишь один Иван Анемподистович Куров в эти годы повысился в чине. Волосы вокруг лысой головы его были аккуратно припомажены. Каждый по-своему вели себя прочие люди, знакомые и незнакомые. Ему следовало определить здесь свое место.

Едва он вошел, учитель Алатырцев заметил новое его состояние.

– Садитесь к нам, Алтынсарин!

Тимофей, открывший буфет, чтобы достать специальную для него булку, недоуменно опустил руку. Он же сел к общему столу, а не на обычное место у шкафа. Никто и не обратил на это внимания.

– Все так, господа, но кому поручается проведение в жизнь этих святых предначертаний. – Молчавший до сих пор капитан Андриевский говорил с отчужденным лицом. – Неужто вовсе не знакомы вам прописи нашей бюрократии, претензия ее быть первым классом общества. Меж тем именно она намечена служить судьей между крестьянином и землевладельцем. Как бы первый не остался без воли, а второй без земли. Слыхали, что

делают уже во внутренних губерниях наши мундирные демулены¹. Целые деревни переписывают на фабрики, а чистая земля остается владельцу. За что имеют свою половину от владельца, а другую от держателя фабрики. Не то ли предстоит для всей России?

– Приглашенные в Петербург депутаты от просвещенного дворянства ясно высказали свое желание участвовать во всех стадиях дела.– Мятлин убеждающе повернул руку ладонью вперед.– Все должно происходить гласно и выборно. Кроме того, ставится вопрос об одновременном введении суда присяжных и свободе для печати по всем пунктам предстоящей реформы. Заявлено прямо, что «крестьянское дело не может решиться спокойно и правомерно иначе, как на изложенных основаниях». Замечу, господа, что слово «спокойно» было подчеркнуто при этом в адресе государю!

– После чего и последовал высочайший циркуляр с воспрещением в любых собраниях касаться крестьянского вопроса!– заметил учитель Алатырцев.

– Но господа тверские дворяне не приняли к сведению сей циркуляр как высочайший, а лишь подписанный господином Ланским²,– не отступал Мятлин.– Господин Европеус от их лица прямо отвел главенствующую роль при этом деле бюрократии, как все угнетающей силы, преследующей лишь свои частные выгоды. Они, как мы знаем, прямо противоположны интересам общества и воле государя!

– Европеус, Унковский³– только и слышно на углах!– отмахнулся Андриевский.

Мятлин, не опускающий своих рук, напал на него.

– Вы, казачество, Иван Матвеевич, не понимаете в должной мере интересы коренной России.

¹Демулен – один из вождей французской буржуазной революции 1789 года.

²Ланской С.С.– министр внутренних дел (1855-61 гг.), член Секретного Комитета по крестьянскому делу.

³Известные общественные деятели.

– Мы, казачество, и впрямь что-то не так понимаем. Двести лет не сидели в рабах да своими трудами жили! – отрезал Андриевский.

От Мятлина пахло душисто, и он вдруг подумал, что так же пахло хорошим мылом от скупающего души чиновника из книги. Учитель Алатырцев молчал большей частью. Иван Анемподистович Куров, поправив рукава полудомашнего архалука, в котором перешел коридор к соседу, заговорил солидно, негромко, с внутренне принятым спокойствием. Так говорил нынешний губернатор, и за ним все другие чиновники. Наверно, и в Петербурге кто-то так говорил. При прежнем губернаторе все выражались по-иному – громко и резко.

– Уверен, господа, мы сойдемся в том, что главное в сем нелегком вопросе – польза отечества. Не столь уж беспомощна и неблагоприятна наша правительственная машина...

– Хабарники все! – бросил Андриевский.

– Позвольте, Иван Матвеевич, заметить вам, что я тоже принадлежу к упомянутому сословию, однако...

– Эх, да знаем, что вы не берете, господин Куров, да толку что. Коль одна половина берет, а другая не берет, то достаточно ли этого. Впрочем, ответьте прямо, коль позовет вас к себе Евграф Степанович Красовский да скажет, что племянника следует в присутствие к вам пристроить или там кого в орденский список внести, то как вы в этом случае поступите?

– Ну, тут другое.

– Как же, по методе Ляпкина-Тяпкина, борзыми щенками...

Книжки в мягких переплетах с муаровым титулом лежали прямо перед ним. Он взял по привычке, начал смотреть. И забылся совсем... «Мы рабы, потому что мы господа... Или вовсе не будет России, и след ее, отмеченный ненужной кровью и дикими победами, исчезнет мало-помалу, как след татар, как второй неудачный слой северного населения после финнов.

Государство, не умеющее отделаться от такого черного греха, так глубоко взошедшего во внутреннее строение его, – не имеет права ни на образование, ни на развитие, ни на участие в деле истории... Неужели грозные уроки былого всегда будут немы?...»¹

Он поднял голову, вслушиваясь в разгоревшийся спор. Что бы ни говорилось здесь, имело прямую связь с узунскими кипчаками.

– Пути России, господа, возвышенны и необыкновенны, – провозглашал Мятлин, и руки его были сейчас подняты высоко вверх. – Восстановить доброе, светлое, что потоптано было нахлынувшей от Петра Европой. Оттуда надо строить проспект в будущее!

– Это от добрых князей, что глаза друг другу кололи? – спросил Андриевский.

– То прошлое, удельный период.

– Можно ближе по времени: ноздри рвать.

– Про великое славянское братство я говорю. Исторически предопределено России...

Это был нескончаемый спор. Он опять взялся листать... «Чтобы знать зло и средства его искоренить, – теперь не нужно ходить как Гарун-аль-Рашид, под окнами своих подданных. Для этого стоит снять позорную цепь цензуры, пятнающую слово прежде, нежели оно сказано. Пора расстаться с несчастной мыслью, что призвание России – служить опорой всякому насилию, всякому тиранству... Нет свободы для нас, пока проклятие крепостного состояния тяготит над нами, пока у нас будет существовать гнусное, позорное, ничем не оправданное рабство крестьян»². И вдруг сердце остановилось в предчувствии. Он сидел выпрямившись, вовсе прекратив дыхание. И знал – этого не могло здесь не быть... «Со времен ветхозаветных войн или монгольских набегов ничего не было гнуснее в свирепости, как набег полковника Кузьмина

¹Герцен А.И. Материалы «Полярной звезды» и «Колокола».

²Герцен А.И. Материалы «Полярной звезды» и «Колокола».

и майора Дерышева, которым заправлял, сидя в своей канцелярии, бывший помощник Липранди-Григорьев...»¹

Шли тогда через город переселяемые аулы. Батыр Исет Кутебаров ушел в Хиву, а вызванный с Кавказа полковник Кузьминский подряд жег аулы по его следу. Аксакалы в показаниях звали его Кузьмин. У всех русских сокращалось подобное окончание фамилии, так как по-казахски оно означает нехорошее слово. В следственные листы писалось – Кузьмин. Но откуда известно это стало в городе на Темзе?

Вдохнув воздух всей грудью, он поднял глаза. Учитель Алатырцев через стол смотрел в открытый им лист. Они встретились взглядами, и вдруг он понял, кто писал о казахах туда, где печатались эти книжки.

– Что ж будет, если сразу в один год перестроена станет вся экономическая система?– говорил Куров, значительно двигая бровями.– Потому и медлит правительство, чтоб не ввергнуть общество в губительный хаос. Горячность ума при подобных свершениях не к месту. Относящиеся серьезно к делу печатные органы сами указывают на опасность. Статистики подсчитали, что лишь в срединной России останутся без способа прокормить себя тысячи и тысячи крестьянских семейств. Пока еще воспрянет промышленность, приступят работать фабрики...

– Ну да, земли в России мало!– возражал Андриевский.

– Представьте себе, не так уж и много. Взять Орловскую или Курскую губернии, то с начала века еще рачительные помещики переселяли своих людей на дешевые заволжские земли. И у нас тут, как видите, все вырастает переселенческий элемент. Не обходится и без эксцессов. Что ж будет, когда двинется сюда плотная толпа малоимущих людей, не имеющих и одной овцы на обзаведение. Как примут еще их казаки

¹Там же.

и прежние русские поселенцы. Наконец, инородцы, те же киргизы...

– Что ж, киргизы, примут их!

Он негромко сказал это. Все замолчали, глядя на него с недоумением. Они даже сразу не поняли, отчего говорит он с такой уверенностью.

– Так вы думаете, э-э... господин Алтынсарин, что киргизы... ваши киргизы с охотой примут переселенцев?– спросил Куров.

– Да, и есть тому пример. Следует только не проводить это административным способом, но пустить в естественное развитие.

– То есть как это?

– А так, по-видимому, хочет сказать молодой человек, что киргизы не доверяют канцелярской справедливости,– бросил Андриевский.

– Все ж, как вы себе это представляете? Притом говорите есть и пример.– Куров развел руками.– В таком деле до сих пор имело успех лишь административное воздействие. Даже военные меры, как мы знаем, применялись в отдельных случаях.

Все теперь с интересом смотрели на него. Нимало не поколебавшись, взялся он объяснять:

– Коль естественно, сами по себе придут такие люди к киргизам, то земля им найдется. И в удобном для всех месте, где смогут обеспечивать киргизов хлебом. Киргизы в этом случае сами позовут их селиться в соседстве с зимовьем или с местами летнего своего пребывания. Вражда появлялась там, где власти без надлежащего рассуждения отводили землю. Старинные кочевые пути никак нельзя для того приспособлять. Тут дело даже не в количестве земли, а в том, что табун ни за что не пойдет близко от того места, воду не станет пить там, где вспахана земля. Что же делать тогда киргизу?

Он не удивился собственной свободе речи. Круг для него был прорван без остатка. Оставалось позаботиться об узунских кипчаках.

– Так оно и есть, – подтвердил Андриевский. – Сайгак или кулан не придет на то место, где хоть раз поили домашний скот. Лошадь кайсацкая того ж нрава.

Куров недоверчиво качал головой:

– Сомневаюсь, господа, чтобы обошлось это натуральным образом, без административного вмешательства. Не знаю, где уж отыскан пример.

Как было лучше объяснить им это. Он обратился за помощью к учителю Алатырцеву:

– Помните, Арсений Михайлович, солдат служил тут Комиссии, приходил в школу?

– Да, дрова рубил, помогал, домовитый такой, – подтвердил тот.

– Так и я его помню. – Демин это, – сказал Андриевский. – Прошлым летом по болезни списан в чистую.

– Сейчас солдат этот живет на Тоболе у родственника моего – войскового старшины Джанбурчина. И киргизы некоторые стали с ним вместе огородничать. Дядька мой Жетыбай, например, что жил тут при мне.

Все молчали, не зная, что на это сказать. Капитан Андриевский постучал по столу пальцами:

– Так-то вот, Иван Анемподистович. Оно, может, и способней – без административного участия, так сказать.

Уходил он последним. Учитель Алатырцев протянул ему руку.

В доме по левую сторону опять происходил шум. Знакомый офицерский голос кричал скверные слова, плакала женщина. Но дело было не в том...

Это был живой, движущийся мир. Сколько бы железных кругов ни наворачивали на него, природные свойства бурно прорастали сквозь ржавеющее железо. Он оглянулся на дом учителя Алатырцева. Скрытая жизнь таилась там. И словно горящие угли, лежали в нижнем ящике шкафа книжки с муаровым титулом. Даже звон оставался в ушах от их названия.

Как, однако, с чувством пожал его руку Алтынсарин. Впрочем, у всех них возраст мужания. Только блистающий своей султанской ослепительностью Бахтияров всю талантливость вложил в танцы. Этот же сильнее умом и чувствами. Явно читалось во взгляде, что узнал мое авторство о григорьевском походе на киргизов. В скромности его сомневаться не приходится. Но понимает ли, что сия литература к чтению не рекомендуется? Сейчас вроде и вольней сделалось, но все же...

Каков взгляд все же высказал он на русскую колонизацию. В виде натуральности отношений. Тут прямой видится социализм. Как же это, в благоустроенном государстве, и вдруг людям обходиться самим, без участия начальства. Да будь внутри самой России эта натуральность отношений, что б тогда оставалось делать администрации. На то ведь и поставлена она, чтобы быть на пути всякой натуральности. Кто ж тогда взятку понесет Евграфу Степановичу, если люди, не спрашиваясь, так прямо и будут входить во взаимные отношения. Нет, тут надобно в тупик поставить людей, чтобы самому выступить необходимой стороной. А для того и думать незачем, где поселенцам землю отвести. Как раз к месту на киргизских жизненных дорогах.

Все больше к Николаю Ивановичу Ильминскому склоняется молодой Алтынсарин – за два месяца в первый раз сюда пришел. Тот, слышно, рядом с миссионерством киргизским образованием занялся. Что ж, Ильминский – человек искренний, если б не его столь пламенная вера в христианские начала. Он и Ибрагима захочет в нее залучить.

А киргизское образование – дело похвальное. Куда только денется постигший грамоту киргиз в нынешнем раскладе российской жизни. Конечно же, потянется к первенствующему классу общества. Мундир и стол в присутствии закономерно видятся как вершина

жизни. По естественности натуры своей киргизы живо оценивают эту российскую особенность, тем более, что по прямой линии она от батыева кодекса. Тут они, пожалуй, даже способней окажутся в восприятии. Стоит посмотреть на полковника Айчувакова, как распоряжается в своем ведомстве. Из беков обычно выходят отличные офицеры.

В глазах Алтынсарина какая-то неотступная пытливость. И слезы проступают от затаенной боли. Что-то заставило выделить тогда в школе юного киргиза. Это чувство им языка русского. Не просто умение говорить – тут Бахтияров первый, а именно проникновение в характер.

Здесь лишь порог глубинной Азии, куда по физическому закону устремляется Россия. Киргизы с массой и пространством своим представляют для нее пробный камень истории в новые времена. В чем же крепче состоит их приближение к ней – в мундирной части или в этом взаимном проникновении? Если в одной мундирной, то лишь оторвет это от киргизов некую ничтожную часть, а остальных вдвойне сделает далекими. Сами носители мундиров, освоившись в своей роли, побегут в другую от России сторону. Лишь связанность сил духовных обеспечивает прочность отношений исторических.

К счастью, Россия сама в естественном отрыве от своей мундирной части, и точно увидел это Алтынсарин. Солдат, про которого он говорил, замечен им именно в противность администраторскому действию. Тем и силен народный русский элемент, что не находится в законченном состоянии. Он еще движется, складывается, принимая в себя все новые формы и тем связываясь с примыкающими народами. Господин Мятлин, как выученик казанских патриотических миссионеров старомосковской формации, желает сохранить этот элемент в неподвижности. Он и крестьян для того думает освободить, чтобы вернуть к первоначалу, с которого и

началось их рабство. Нет уж, судьба России шире и значительней в истории!..

Понял ли все здесь молодой киргиз, листая великого русского изгнанника? В том месте как раз читал он, где излагается кредо пришедшего к крымскому финишу российского управления.

«Продолжение петровского предания в внешней политике. Противодействие петровскому направлению в внутреннем развитии.

Расширение пределов и влияния в Европе и Азии, суживание всякой гражданственности в России.

Все для государства, то есть для престола, ничего для людей»¹. Тут тоже было открыто... «Неужели вам не приходило в голову, глядя на великороссийского крестьянина, на его умный развязанный вид, на его мужественные красивые черты, на его крепкое сложение, что в нем таится какая-нибудь иная сила, чем одно долготерпение и безответная выносливость? Неужели вам не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что кроме официальной, правительственной России, есть другая, что, кроме Муравьева, который вешает, есть Муравьевы, которых вешают»². А вот что-то и насчет проспекта в будущее... «История не барщина, на которую загоняют розгами крепостных крестьян; рабские руки могут только расчищать место, а не строить для веков»³.

Генерал Василий Васильевич Григорьев весь потух, когда пришла невидимо в Оренбург книжка журнала с оценкой действий его при границе. Он, конечно, и виду не подал, да тем сильнее расстройство. Как же, просвещенный человек, «генерал от университета», и на одной доске с держимордами. Все же неловко перед европейской наукой...

Тут любопытная раскладка ума, присущая российскому состоянию. Если б в петербургской или москов-

¹Герцен А.И.

²Там же.

³Там же.

ской книжке изругали, то больше, кажется, надо стесняться. Но нет, своих не принимают в расчет – это домашние. А вот как из Лондона – другое дело. Кажется, все тут десять раз разоблачено – и «беглый барин», и фамилия Герцен не совсем русская и деньги где чужие, однако боятся оттуда благовеста больше даже, чем сенатской ревизии. Значит, понимают свою ущербность. И то уже хорошо. Они все сейчас тайно этот журнал читают – от правительства до того же генерала Григорьева.

Лишь Евграф Степанович Красовский решился на опровержение. Как же, фамилию офицера не так назвали. Поджигатель-то был Кузьминский, а не Кузьмин, значит, и поджогов никаких не было, и киргизов никто не гнал. Тут не просто бессовестность, а расчет – объединить вокруг себя всех виновных, придать им уверенность. Всю Россию связать с собой хотят. Для этого прежде всего – лишить ее нравственного чувства.

Какими ж глазами должен смотреть на все это молодой грамотный киргиз? Однако ж выказал он здравую мысль о натуральности отношений. Значит, верит в русскую нравственность, хоть дальше пограничного круга не виделся с ней. А тут один Евграф Степанович чего стоит. И линейные казаки, что за клочок травы могут человека зарубить. Граница нигде еще не выдвигала эталонных людей.

Три года назад принес Алтынсарин возвратить ему зеленую книгу. И столько бережного дрожания было в руках, когда разворачивал ее из платка, что пришлось отдать навсегда ему «Мертвые души». Значит, тоже понимал всю любовную боль, с которой они написаны. Что же со стороны другого народа больше вызывает к себе доверия – такая вот очистительная сатира или громовая декламация: «О росс! О род непобедимый! О твердокаменная грудь!»

Не подходит к русской душе римская традиция. Тем более не подходит к будущей натуральности отношений с народами. Впрочем, к внутренней натуральности

тоже. От крепостного состояния обычно лезут в римляне. Человеку с достоинством сатира всегда ближе. Признак силы она, да и ума притом. Ведь по-русски говорится, что лишь дурак сам себя хвалит.

Выходит, и он дал нечто хотя бы одному Алтынсарину? О том ли думалось, когда пятнадцать лет назад оставлял университет. Они собирались в темной петербургской квартире, и неотмщенные тени зывали к ним из сибирских рудников, с петропавловского кронверка. О двух миллионах смертей, необходимых России, грозно говорили они, и когда взяли их, с радостной душой готов он был повторить многократно и рудник, и кронверк. Но не найдя в отношении его прямых подтверждений, послали его сюда. Как метался он тут, видя лишь мундиры да пыльную степь вокруг. А теперь так и самому ему некуда тронуться отсюда. Лишь русской словесности обучает он кадетов да этих вот пахнувших ковылем подростков от киргизской школы. Жизнь со всеми страстями минует его, оставляя в стороне от освещенной сиянием больших дел дороги.

Кто-то из тех подростков, кого учил он, дает надежду на будущее. Только что же сделает заметного один киргиз из миллиона?

9

Уже полмесяца она не приходила. Все слышался ему скрип двери в прихожей и стук шнурованных ботинок по крашеному полу. Махая рукой, Николай Иванович говорил:

– В звуках придыхательных кайсацких слышна разница... Уж не случилось ли чего, Ибрай? Экий ты опять рассеянный.

Так и не получалось у Николая Ивановича природное слово «казах». Говорил он «кайсак» и писал «киргиз». Вместе они составляли «Самоучитель» и обдумывали метод занятий для школ, что должны быть основаны при степных укреплениях.

На этот раз дверь наяву заскрипела, послышался звонкий детский крик, и застучало у него сердце. Николай Иванович легко зашпешил в залу:

– Дашенька... Екатерина Степановна к шляпнице поехала, велела сказать, как придешь. Вот Ибрай вас займет, чтоб не скучали...

Раздетые от шубок дети уже возились на диване. Она отнимала от волос белый пуховый платок, встряхивала от снега. Первый раз видел он ее в таком простом платке, какие все носили в Оренбурге, и даже руки прижал к груди одну к другой. Глаза ее лучились в узорном обрамлении, ямочки угадывались на щеках. Возникла сказка, которую учил он в школе: из темноты нависали лапы деревьев, и кто-то мчался на сером волке, бережно придерживая ее...

Она покраснелась от мороза, и, когда сняла платок, сияющие капли остались в волосах. Пахло особенной свежестью – из той же сказки. Развесив платок у голландской печи, она обернулась к нему:

– Какой вы взрослый сделались, Ибрай, серьезный... Подайте мне, голубчик, вон ту чашку с буфета, я Машеньке молочка дам.

Передав ей чашку, он остался стоять и смотрел, как она налила из молочника, заставила выпить молоко закапризничавшую девочку. Потом села на свое обычное место.

– Что вас долго так не было, Дарья Михайловна?

Совсем не таким голосом, как всегда, спросил он, и уже без улыбки, с тревожным удивлением посмотрела она на него.

– Петенька краснушкой болел, а потом и Машенька... А вы беспокоились, Ибрай? Какой вы хороший.

– Долго я никак не могу вас не видеть, Дарья Михайловна!

Он говорил громко, даже с требовательностью к ней. Она чуть вплеснула руками:

– Что это вы говорите, Ибрай?!

Как это она не понимает, о чем он говорит? Он принялся объяснять ей, что уже в первый день, когда

начал читать ей с Екатериной Степановной книжку господина Гончарова, ему было с ней очень хорошо. И когда она детям читает басни или стихи, не может он на нее не смотреть. Даже если просто рассказывает она, как в ее уезде пекут калачи или катаются в санях. Про то еще он сказал, как выговаривает она слова: «У лукоморья дуб зеленый...» А когда в прошлый раз болел Петенька, и вот сейчас тоже, он приходил к новой их квартире и там всегда стоял. Говорил он, глядя куда-то вверх, рассказывая про каждый случай, когда видел ее, и про то, что чувствовал при этом, о чем потом думал.

– Наверно, неприятно вам, что у меня от болезни следы на голове и вот этот парик?

Только теперь он испытующе посмотрел на нее. Она сидела, не двигаясь, опустив руки, и в глазах ее он вдруг увидел слезы. Это до того удивило его, что он замолчал. Вставши со стула, она сделала шаг к нему, взяла руками его голову, и он почувствовал на лбу у себя ее теплые губы.

– Голубчик вы мой... Сердешный...

Это переполнило его, и слезы хлынули из глаз. А она все гладила руками его голову. Потом она играла на фортепьянах, а он слушал. До сих пор не знал вовсе он, что она умеет играть...

Вошла с картонкой Екатерина Степановна, чуть улыбнулась. Она словно бы знала, что тут случилось. С Дарьей Михайловной они взялись примерять шляпу с длинным черным пером, а он смотрел, успокоенный и как бы поднятый над миром. Время от времени Дарья Михайловна улыбалась ему.

Пришел из кабинета Николай Иванович, сказал, потирая руки:

– Что ж, Ибрай, завтра и представим все Василию Васильевичу. Одна только загвоздка – учителя. Жалование меньше дворницкого. Придется на первой поре из отставных унтеров-татар находить.

– Я пойду в учителя, – сказал он.

Все с удивлением посмотрели на него. Лишь Дарья Михайловна будто сразу поняла, о чем он говорит.

А он и сам не знал, как это получилось у него. Все эти месяцы думал он о своем, и внутри все уже было решено, но сегодня впервые выговорил он это вслух и сам удивился. Да, конечно, у него один только путь. Оглядев этих ставших близкими ему людей серьезным взглядом, принялся он говорить о самом главном своем, об узунских кипчаках...

Вставала степь без конца и края, а посреди нее в узком кругу жили люди, частью которых состоял он сам. Многие умели они: объезжать диких лошадей, строить самые легкие на земле жилища, ткать шерсть, ковать железо, петь высокие песни. И по краям степи стоят крытые слепящей глазурью каменные строения, всем видом своим похожие на их нынешние жилища, потому что были тоже их частью. Но вот уже из века в век движутся они в одном кругу, не находя для себя выхода. От этого однообразного кружения искривляются их отношения между собой, закостеневают мышцы и перестает хватать дыхания...

Он говорил это другими словами, рассказывал о долгих зимних ночах на кыстау, о белых рассветах, в которых несутся мимо друг друга безмолвные группы всадников, о могиле безвестного человека Нурмана Каирбаева, погибшего по неосторожности, о бие Балгоже, о дяде Хасене и дяде Кулубае, о некоем джигите, сидящем в Троицком остроге, о всех них, живущих зимой на Тоболе и уходящих летом к Золотому озеру. И про Человека с саблей, который приходит к нему ночами, рассказал он.

Как же может он оставить их на произвол судьбы? Кем сам тогда он сделается, отторгнутый от своих корней? Ничего ему не остается, как идти в учителя.

Она не отводила от него глаз, и ему легко было говорить. Он не ошибся в своем доверии. И твердо знал, что ту же ступень человеческого участия встретит у самых разных из этих людей: у господина Дынькова, у учителя Алатырцева и приходящих к нему офицеров, даже у генерала Василия Васильевича,

обвиненного в тайном журнале за разгром аулов батыра Исета Кутебарова. В них это было – природное русское чувство.

Существовали, правда, Евграф Степанович Красовский, мясник Тимофей Ильич, пристав Покотилов. Но они для него были исключены из этого единства, как исключались им при оценке мира узунских кипчаков злобность дяди Хасена или хитрости дяди Кулубая. Здесь ничего не прощалось. Была книга в темно-зеленом переплете, которая все выводила из замкнутого круга. Даже сделанное по службе Генералом Василием Васильевичем тут же получало оценку. Сюда можно было идти без колебаний...

Пришел, как всегда, за ней и детьми от учителя Алатырцева топограф Дальцев, пожал ему руку:

– Вы, господин Алтынсарин, всех там натуральностью отношений смутили. Второй вечер спорят.

И принялся рассказывать про предмет спора, веселый, открытый, с широкой улыбкой. Он вдруг увидел, что муж с ней очень похожи: даже ямочки у топографа Дальцева были на щеках такие же, как у нее.

Когда уходили, она подошла к нему, взяла за руку:

– Вы хорошо решили, Ибрай, голубчик...

По морозному городу шел он. Падающий снег мягко оседал под сапогами. Запоздалые санки вдруг пронеслись мимо и слышался колокольчик. Он не боялся больше этого звона.

10

Господи, хорошо, что подвез Яков Петрович, Володинькин командир. Строгий, а душевный человек. А то бы идти с детьми три версты. Не очень-то на казенное жалованье раскатаешься. Ну, да бог даст, повысят Володиньку в чине. Так прямо Яков Петрович и сказал, что сделано представление. Сам он, гляди только что майором сделался, мало что уже старик и

пять лет топографической ротой командует. И служба-то какая нелегкая – все в степи да в степи, среди киргизов да кокандцев. Только и времени с семьей пожить, что зимой. Ну, и то хорошо...

А мороз какой нынче славный – так бы и побегала с детьми. Нельзя только, вон у Машеньки краснушка едва отшелушилась, не дай бог застудить. И Екатерина Степановна с Николаем Ивановичем заждались – в третий раз узнавать солдата посылают.

Однако же какая беда, разминулась с нами Екатерина Степановна. Вот придется с Ибраем посидеть. Какой-то нынче он серьезный, совсем за месяц взрослый сделался. И смотрит вовсе уж странно.

Екатерина Степановна все смеется: влюблен, мол, в тебя молодой киргиз. Где тут, совсем он мальчик, глядит, да и все. Даже странно как-то: уставился и не отводит глаз. Внимательно смотрит, словно на чудо какое. Без смущения совсем, как будто так и надо на женщину смотреть.

А сегодня и взгляд у него какой-то суровый: тревожно делается. Попрошу-ка я его достать чашку для Машенькиного молочка...

Нет, все так же он глядит. Спрашивает, почему это меня долго не было. А теперь громко говорит что-то. Да что же это с ним?

Сама я виновата, что допустила. Бог не простит. Такой чистый юноша. Не хотела я этого. Но только... только и не совсем это любовь, как бывает. В таком случае не признаются, смотрят тайком. А он прямо все рассказывает про то, что испытывает. Словно не понимает, что это значит. Как же исстрадался он, бедненький. Чего же это я натворила!..

Думает, болезнь его на волосах причиной, что будто неприятен мне. Да господи, самый милый он для меня человек. Вроде как к брату чувство к нему. Возьму да поцелую его. Бог видит, вовсе это не грех, ни перед людьми, ни перед Володинойкой...

И расплакался, как дитя. Да ничего, отходит у него от сердца. Наболевшее так и должно слезами вылиться. Поиграю что-нибудь душевное, он и в себя придет.

Вот и Екатерина Степановна. Все усмехается она над Ибраевой влюбленностью, а оно вон как обернулось. Все ж спокойней он теперь глядит, и в глазах у него светло. Может, и есть это подлинная любовь...

Что ж увидел он во мне такое? Будто говорю необыкновенно: «У лукомо-орья дуб зеле-еный». Обычно и говорю. Смешной какой. Или что движение руки особенное, когда Машеньке молока наливаю. Не может будто он не смотреть. Какое это такое движение? И глаза еще ласковые. Чего ж на всех букой глядеть...

Однако же хорошо, что Николай Иванович лишь теперь пришел, а то конфузно бы получилось. Как про это объяснишь. Лишь Екатерине Степановне можно рассказать...

В учителя хочет пойти Ибрай, вернуться к своим киргизам. Да посерьезнел сразу. И взгляд такой возвышенный. Все на меня смотрит, когда говорит.

Неужто так трудно живут киргизы? Посмотришь, едет себе на лошади, заботы не знает. Так оно и на мужичка сверху поглядишь, так хорошо ему живется. Все само из земли растет – знай собирай. Только трудно мужичку. Уж она знает, в деревне росла. Мало что дворянка...

По Ибраю если посмотреть – славный народ киргизы. Так и Володинька их хвалит. Нигде, говорит, такой душевный покой не ощущал, как в юрте у киргиза. Хозяин голодный будет, а накормит всем, что есть. И спать можно спокойно, никто гостя не обидит.

Что ж, Ибрай, как посмотришь, настоящий учитель. Серьезный такой: даже и в чувствах. Ведь и киргизам надо учиться. Вон как о них душой болеет. И все на меня смотрит, понимаю ли его. Уж, конечно, понимаю. Да как же такое не понимать.

Сейчас и в России благородные люди в учителя пошли. В их уезде сестры Прозоровские крестьянских детей учат. Никодим Павлович Шелгунов школу на

свои средства открыл. Она бы и сама, если б не дети да Володинькина служба, учительством занялась. Чем-то служить надо людям.

Ну вот и Володинька. С открытостью Ибрай и на него смотрит. Уж доподлинно честный он и благородный человек. И вовсе никаких претензий на нее не имеет – просто высказал чувства. Нет в том плохого.

Сказать ему только надо, что понимаю все. Вот так взять за руку и сказать...

11

Теперь у него не хватало времени. Уже утром другого дня пришел он на час раньше начала занятий в присутствии и с нетерпением ждал Николая Ивановича. Когда вошли к Генералу, тот распекал за что-то Варфоломея Егоровича Воскобойникова.

– Никак нет-с... Так точно-с, Ваше превосходительство!– отвечал делопроизводитель, глядя с очевидной иронией на начальство. Он был опытен во всех делах правления и знал себе цену.

– Ох, и упрямы же вы, Варфоломей Егорович!– покачал головой Генерал, явно уступая.

– Не я, Василий Васильевич, дух службы,– скромно отвечал тот.– Это сильнее – с человеческих чувствований.

– Ладно уж, идите,– махнул рукой Генерал.– Только чтобы без крайностей.

– А это уж по-человечеству, в наших силах.

Наклонив большую голову с крупными, словно медными завитками волос, Генерал читал составленную ими подробную бумагу о киргизских школах при степных укреплениях. Этот же человек, с очевидной добротой относящийся к нему, некогда приказал изгонять с вековых мест обитания казахские аулы. Как бы смотрел он на Генерала, если бы узнал о том прежде?

Ведь и господин Дыньков был когда-то непонятен ему. Однако сделался перелом и мир предстал перед

ним во всей сложности. Дух службы, сказал Варфоломей Егорович. Однако же есть тут другая половина, что противна этому духу. В самом Генерале содержится противоречивость. В том и глубина книги, подаренной ему учителем Алатырцевым. Никто не сделал ему большего подарка...

– Вот господин Алтынсарин изъявил желание сделаться учителем, – сказал Николай Иванович.

Брови Генерала удивленно поднялись, серые, с металлическим светом глаза остановились на нем. Впервые в них при взгляде на него было внимание. И все сразу заметил он в этих глазах – тайную усталость, тоску и еще некий интерес. Как бы пробудилось в них что-то спрятанное до поры.

– Ты хочешь быть учителем? – спросил Генерал по-казахски. Потом откинулся в кресле, помолчал и стал говорить по-русски. – Думалось, по службе вам предстоит идти, Алтынсарин. Аттестация у вас отличная и род хороший. Зачем же вам хочется в учителя?

Он молчал, и Николай Иванович сказал за него:

– Тут потребность внутренняя, святой огонь. Будущее народа своего видит в просвещении господин Алтынсарин.

Снова Генерал со вниманием посмотрел на него. Все от областного правления по школам было приготовлено. Но было это лишь началом дела. Он помнил лежащую в подвале переписку по одной только школе, где на полях шла война между духом службы и природным чувством. Хромой русский генерал один бился тогда за узунских кипчаков. Но вот пришло его время.

Как же надо начать учить кипчаков? Все, что шло из этого мира, было непонятно. Однако, попадая в круг узунской вечности, становилось вдруг посторонним и немыслимым. Даже лисица и ворона умолкали там, приходя в естественное свое состояние. Для тех, кто слушает сказки и смотрит рисованных зверей, они обретают душу. Но кто воочию видит их в своем окоёме, не понимает, как это они разговаривают

подобно людям. Звери имеют только повадку, натуру, свои извечные знаки. И всякий отход от природной правды становится ложью. Можно ли сказать кому-то из детей, которые с домуллой Рахматуллой лишь учат непонятные им стихи, что лисица говорит с вороной человеческим языком. По-русски оно и возможно, но у кипчаков такого не бывает. Иначе не выжили бы они.

Самые знаки природы там совсем другие. Смелость и благородство у волка, освобожденного от людских слабостей. Может быть, и русская сказка, где в единственном случае волк помогает людям, пришла отсюда?..

Нет, это придет закономерно, а надобно находить у самих кипчаков основания их выхода из круга. Николай Иванович не понимает до конца трудности дела. Впустую будет заучиваться то, что не найдет встречи со стороны ребенка. Объясняться же с ним ближе всего привычными формами, идя от простого, природного.

– Кто ж в Восточной части Орды сейчас наиболее почитаемый из певцов?

Он не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Генерал и Николай Иванович с ожиданием смотрели на него. Они уже полчаса говорили о том, что следует от Географического общества записать песни киргиз-кайсаков.

– Больше других нравятся киргизам песни акына Марабая, – сказал он, подумав. – Я уже говорил о том.

– Не очень ли он стар? – Генерал постукивал пальцами по столу. – Сможет ли быть вызван в Оренбург этот человек?

– Он мне курдас.

– Курдас?.. Разве ж бывают в столь юном возрасте акыны?

– Бывают, – подтвердил он.

– Но нам больше кстати аксакалы, так сказать, хранители мудрости.

– Нет, нужен Марабай! – твердо сказал он.

Они записали, что позовут Марабая. Подумалось, что и в нем раздвоение. По службе он уже тоже

именовал кипчаков киргизами. Голоса Генерала и Николая Ивановича опять уплыли из круга, в котором он сейчас находился. От чего же идти с детьми в самом первом положении?..

С того ли, что было у них в школе при Комиссии? Урочный расписание, умывальники, постели с первых же шагов. И конечно все от корней дуба при лукоморье до зеленой с черными углами книги в вершине. Однако нечто в этой школе затемняло природную часть. Миргалеи Бахтияров высчитывал, сколько лет предстоит служить до статского советника, маленький Айтокин ждал прибылей от кипчаков. Как же перевесит дух службы в пользу природной части?

А еще мало средств, даже не хватит на умывальники. Тут ведь не город на Тоболе, который, представлялось беспрепятственно строить в мыслях. Перед ним стояла цена всякому предмету. Если для него станет хватать сорока копеек в день, то как проживет на жалованье человек, имеющий лишь этот недостаток. Выхода не виделось. Каковы бы ни были эти школы, они тот путь, которым предстоит идти кипчакам.

Николай Иванович говорил с чувством:

– Христианство не посягает на народные особенности, не сглаживает их формальным или внешним уровнем, не обезличивает человека или народ, но соединяет народы и племена внутренним, искренним и прочным союзом любви. Она есть религия, в высшем и благороднейшем смысле общечеловеческая. Потому и стою за переводы писания не только на татарский, но на чувашский, алтайский, якутский, бурятотунгусский, гольдский, мордовский, киргизский, на все без остатка языки России. Только так придут люди к прочному, незлобному общежитию...

Помнилось, как дядька Жетыбай с солдатом Деминым везли бревна через Тобол для своего жилища. Потом они обращались к богу: Жетыбай на коврике, а солдат в углу перед свечкой...

Генерал слушал Николая Ивановича с терпением, только углы рта были опущены книзу. А он видел уже школу наяву: дом с пятью окнами по фасаду, чисто беленые стены и себя перед открытой книгой. С разных сторон смотрели на него дети. Впереди всех почему-то сидел мальчик, которому домужло Рахматулла как-то разминал в пальцах язык для лучшего произношения стихов.

Это было в сочельник, и Генерал вдруг позвал его к себе на рождественскую елку, как много лет назад.

Весь день потом сидел он у Николая Ивановича, переписывал начисто записи для справок по просвещению инородцев... «Мышление народа и все его мирозерцание выражается в его родном языке. Полицейская строгость не властна проникнуть во внутреннее святилище мысли и совести... Простой человек мыслит и чувствует цельно, в одном органически последовательном направлении, и дорожит своими, какими ни на есть, религиозными убеждениями, потому что он живет ими. Станем ли смотреть на инородцев свысока и попира́ть их понятия?..»

Хозяин кабинета сидел за своим большим столом с круглыми ножками, как всегда, заваленный книгами. Мягкие бакенбарды вздрагивали от резких движений головы, глаза светились вдохновением.

– Ибра́й, голубчик, есть ли у кайсаков такое понятие – прощение греха?

– Нет, – покачал он головой. – За все надо отвечать.

– Как в Старом Завете! – Николай Иванович встал, возбужденно заходил от стола к оконной приставке, где сидел он. – Возможно, что и переход сейчас идет от шатров и первоосновной морали к искуплению за всех!

Был в этом убежден Николай Иванович, словно бы и не понимая, что вовсе не от нарисованного человека на кресте шло его чувство. Живущий посреди степи Кожаулы Динахмет молился без свечи, стоя на коврике, а думал так же. Где-то в темной лесной сказке,

где и волк делается другом человека, сходились их чувства. Человек на кресте, как и строгий всеведущий бог, к которому обращался благородный кожа, лишь соответствовали природной их совести.

Некая притягательная сила находилась в голубых, всегда радостных глазах Николая Ивановича. Трудно стало бы ему в чем-нибудь отказать. И не от мысли, как у учителя Алатырцева, а от души шло это.

– Ты всем известный либерал, Николай Иванович! – говорил всякий раз Генерал.

Думалось, что либерал – что-то доброе, большое, выходящее из самой природы у русских людей. Вовсе не досадно это было. Он так и записал в свою тетрадь против слова либерал – «хороший, добрый человек».

Войдя, он сразу же нашел глазами стул у стены, где когда-то сидел. К удивлению его, там сидел теперь точно такой мальчик тринадцати лет в школьном кафтане с твердым коленкорovým воротником и даже в теплой шапке на голове. Будто и не угасала сияющая елка с подарками. Посредине залы ходили девочки в панталончиках, с оборками, тянулись и щелкали каблуками неплюевские кадеты с проборами среди приглаженных маслом волос. Младшая дочка Генерала одна играла теперь на фортепьянах, старшая жила в Петербурге. Так и не понимал он, почему позвал Василий Васильевич его на детский праздник. Самого хозяина еще не было. Он встал в стороне и взялся наблюдать.

Еще два воспитанника киргизской школы ходили среди детей. Сапожки их блестели, а волосы были даже длиннее, чем у кадетов. Они держались легко и свободно. Один – племянник султана Айчувакова открывал танец, взяв за руку девочку с лентой в волосах.

Мальчик все сидел, недвижно глядя на елку черными блестящими глазами. В них ясно отражались свечи, метались цветные огни. Было для него здесь удивительно и приятно. Совсем маленькая девочка с бантиками подошла, стала что-то говорить, и тот совсем по-кипчацки схватился руками за колени.

Он шагнул к мальчику, положил руку на плечо:

– Как зовут тебя и откуда ты?

Мальчик назвал.

– Он никак не хочет танцевать!– недовольно сказала девочка.

– А тебя как зовут?– улыбнулся он.

– Меня зовут Катя Толоконникова,– серьезно ответила девочка.

Он развел руками:

– Этот мальчик не умеет танцевать. Надо нам его научить.

– Почему же не умеет?– удивилась она.

– Потому что вырос он в степи, а там негде танцевать такие танцы. И фортепьянов нет.

– А что же там?

– Там есть хорошие лошади, и все умеют ездить на них. Этот мальчик – Таукель очень хорошо ездит верхом. И, наверно, хорошо стреляет.– Он повернулся к мальчику:– Ты умеешь стрелять?

– Умеешь стрелять,– быстро по-русски ответил мальчик.– Лук умеешь стрелять, ружье стрелять. Караторгай попадаем!..

Мальчик оживился и оттого еще больше путался в русских спряжениях.

– Вот видишь, Катя,– обратился он к девочке.– Я тоже ездить умею верхом на лошади, а танцевать так и не научился.

– А как вас зовут?– спросила девочка.

– Меня зовут...– он остановился на мгновение и чуть улыбнулся.– Иван Алексеевич.

Девочка подумала, потом протянула мальчику руку:

– Идемте, Таукель, я вас буду учить танцевать.

Мальчик с готовностью пошел за ней.

– Тогда и я буду с вами учиться,– предложил он, отбирая попутно шапку у Таукеля.

– Вы уже большой!– возразила девочка.

– Все равно я хочу научиться танцевать.

– Хорошо, идемте.

Посмотрев в зал, он заметил девочку с рыжими косичками – Оленьку, младшую дочку господина Дынькова. Она сидела и смотрела в пол. Как видно, из-за веснушек на лице не подходили к ней кадеты.

– Вот и будешь ты мне пара. Правда, Оленька?

Дочка господина Дынькова грустно посмотрела на него, кивнула головой. У него сжалось сердце от детского взгляда. Он знал, что ее отец совсем уже не встает с постели.

– Сегодня праздник, Оленька. Даст бог, все будет хорошо...

Они отделили себе часть зала за елкой и взялись там учиться танцевать.

– Не так, не так, Таукель, – командовала Катя Толоконникова. – Ногу извольте по третьему счету ставить. Раз-два-три. И вы, Иван Алексеевич, поспевайте за музыкой!..

Таукель старательно топтался, даже пот выступил у него на лбу. В глазах его было нескрываемое удовольствие. Мальчик громко повторял: «Раз-два-три» и с силой топал ногой.

Скоро к ним пришли еще маленькие и постарше, кто не умел танцевать. Взявшись в пары, как он их поставил, они принялись старательно делать все, что показывала девочка с бантами. Начался веселый шум, крик, взвизгивания. Со всех сторон звали его:

– Иван Алексеевич, а я уже хорошо умею. Смотрите!

– Иван Алексеевич, со мной, со мной встаньте!

– Иван Алексеевич, а Болтин Гриша снег с окна ест!

Все прыгали как могли и смеялись над своим неумением танцевать. Наверно, потому, что и сам он в том им признался. На одной ноге полагали они себя с ним и нисколько не теснили своих чувств. Таукель и вовсе оставил свой степной вид, прыгал и смеялся со всеми, восторженно крича:

– Иван Алексеевич!

И вдруг что-то волнующее коснулось сердца. Снизу теребили за ногу: «Иван Алексеевич!» Знакомые ямочки узнал он на щеках.

– Ты тоже здесь, Машенька?

Он взял девочку на руки и среди сидевших у елки родителей, приведших маленьких детей, увидел Дарью Михайловну. Тогда совсем уже просто почувствовал он себя здесь.

Умеющие танцевать теперь тоже переходили на их сторону. Его заставляли становиться в середину и ходили вокруг, приговаривая песню. Потом разделились на две партии и играли в гусей. Тот, кто оказывался серым волком, ловил громко кричащих разбегающихся птиц. Тут уж ловчее всех оказался Таукель.

Громким шепотом его звали из внутренних дверей:

– Ваше благородие... Иван Алексеевич!

Солдат-инвалид, прислуживающий в доме, делал ему знаки. Он вышел и увидел в задней комнате Генерала. Тот стоял в ватной шубе, с мешком в руке.

– У тебя, голубчик, прирожденное умение с детьми!

Что-то даже ревнивое послышалось ему в похвале Генерала. Но нет, тот всегда так говорил. И сейчас вдруг сказал по-кипчакски:

– Жарайсын... Молодец ты!

Он помог Генералу вынести мешок с подарками, вызывал к елке детей. Уходил он уже вместе с Николаем Ивановичем и Екатериной Степановной, захавшими на дрожках за Дарьей Михайловной с детьми. И он поместился на дрожках.

– Иван Алексеевич, приезжайте к нам!

– Иван Алексеевич...

С разных сторон кричали ему дети, разъезжаясь и расходясь по домам. Машенька крепко держала его за руку. Сбоку от крыльца стоял Таукель, прижав двумя руками к животу полученную в подарок книгу.

– Хош бол¹, джигит!– негромко сказал он, и мальчик радостно помахал книгой.

– Что тебя, Ибрай, все Иваном Алексеевичем кличут?– спросила Екатерина Степановна.

¹До свидания, прощай.

Он засмеялся, пожал плечами. С чего назвал себя так, он и сам не мог сказать.

Они отвезли Дарью Михайловну с детьми. Машенька уснула в дрожках, не выпуская его руки. Он отнес девочку в дом. Она открыла глаза, улыбнулась совсем как мать:

– Иван Алексевич... Иван...

Ильминские звали его к себе, но он пошел домой.

На круглом, без бровей, лице Досмухамеда читалось неодобрение. Все дни этот парень сидел в углу возле печки или спал. В обязанности его входило покупать продовольствие на базаре и варить супу. Однако же в мясном ряду его обсчитывали и давали плохое мясо, так что покупкой раз в неделю приходилось заниматься самому.

Зато Досмухамед аккуратно посещал пятничную молитву в мечети и приходил оттуда важный, полный веры, даже сапоги и русскую одежду старался не трогать руками. Они как бы не мешали друг другу, и порой забывалось, что есть еще кто-то в доме.

12

Опять чужие запахи исходят от уклоняющегося с пути родственника. Их несколько сразу. Так пахнет от служащих орысов с золотыми пуговицами – кожей, сукном и тем, чем мажут они головы. И другой запах вплетается – едва слышный, как от цветущей верблюжьей колючки, запах греха. От женщин орысских чувствуется он, когда идут, разряженные, в свою церковь или едут в санях с бубенчиками. Опять, значит, был среди них. Ахун Усман-ходжа сегодня сказал: рождение пророка Исы празднуют неверные, оттого и звонят их колокола.

Сурпа готова – теплая стоит у трубы, лепешки свежие, только взял от разносчика. Свое дело он сделал, пусть родственник ест. Ну вот, хоть «бисмилля»

сказал перед принятием еды и места бороды коснулся. В другой раз и простого не исполнит.

Дядя Рахматулла в присутствии самого бия ему сказал: «Ты воспитан в моем доме и не собьешься с пути, Досмухамед. Твой родственник молод и долго жил среди орысов. Следует, чтобы примером своим напоминал ты ему о правой вере, о всем нашем роде. Чтобы не ушел от нас, как случилось с некоторыми людьми». Все так он и делает, как поручено ему.

Отбившийся от табуна плохой трехлеток его родственник. Что находит тот у орысов? Сама суть их неправильна: они никак не сидят на месте, громко говорят, ходят и ездят вкось и вкривь, в одну и другую стороны. И в степь уже пришли, наполняя все шумом и беспокойством. От них сделался будто отравленный маковым соком внук бия.

Для того ли рождается человек, чтобы бессмысленно метаться из конца в конец. Все рассчитано для него и должен он не сбиваться на сторону. Ест он хлеб, сурпу, спит спокойно, и должен благодарить за это бога. Есть же такой человек, который ест предоставленное ему, а думает о втором, о третьем. И когда спит, продолжается его беспокойство, так что кричит и плачет во сне. Все потому, что считает возможным что-нибудь сделать самому, помимо бога.

Не вправе человек изменять сотворенное и наказываться за это желудочными болями и плохим сном. Лишь спокойствие позволяет познать истину. Не спать, а лишь дремать нужно при этом, сидя на холме посреди степи, пригреваемому солнцем.

Если все будут спокойны, то весьма хорошо сделается в мире. Лучше всего постигается это в степи. Человек там рождается, живет и умирает, никуда не отлучаясь. Посылаемые там ему несчастья понятны: голод, джут, бескормица. Сам он ничего не добавляет к этому.

Не случайно именно его послали с внуком бия для укрепления у того правильного понимания жизни. С самого детства он определен для исправления

людей. К семье домулло Рахматуллы он принадлежит, и не дело его пасти лошадей или стричь овец. При детях, которых учит домулло, состоит он в качестве примера. Помалу в медресе помогает, а главная его задача – жить по закону. Спокойно ест и спит он, не пропускает молитвы, и всем видно его душевное равновесие. Люди, глядя на него, тоже успокаиваются.

И здесь, в городе, не теряет он себя. Куда тут ни пойдешь – стена или ров, так что разрушается плавность жизни. Поэтому лишь одну постоянную дорогу определил он для себя – на пятничную молитву. Есть еще одно отвлечение от правильного течения жизни – приходится варить суппу и сходить с порога, чтобы купить лепешку у разносчика-татарина. В остальное время он все делает, как надлежит ему от рождения: молится пять раз в день, спокойно ест суппу и строго по закону исполняет все другие положенные человеку действия.

Постоянное присутствие его благотворно действует на внука бия. Когда приходит тот, наполненный суетой мира, и начинает говорить, то нужно молчать. Пусть видит его удовлетворенность в духе и плоти и сам убеждается в тщете своих намерений. Так оно и получается: родственник его замолкает и ложится спать...

13

Умер господин Дыньков. С неба сыпала мерзлая твердая крупа. Люди наполняли школьный двор, стояли молча на улице. Их так много пришло, что он даже удивился. Совсем разные они были: в горнице надзирательской квартиры стояли без шапок два неизвестных генерала – военный и статский, а в коридоре снаружи толпились какие-то купцы, мещане, солдаты. Среди них были башкиры, татары, даже кокандцы в цветастых халатах. Притихшие воспитанники школы теснились на казенной половине, и растерянные детские лица выглядывали из полутьмы.

Вдова сидела у гроба в черном платке, держа за руку Оленьку. Рядом стояли старшие дочери – одна уже большая, почти невеста. У Оленьки было совсем отцовское лицо: плосковатое, с выдавшимися скулами, и она все моргала короткими светлыми ресницами.

Господин Дыньков лежал в гробу маленький, с чистым спокойным лицом, словно отдыхающий. Священник Рымаревский из соборной церкви читал вполголоса заупокойную молитву. Люди крестились, негромко вздыхали.

В дверях он увидел Миргалея Бахтиярова, Кулубекова и Мунсызбаева. С ними были еще двое более позднего выпуска. О кивнул своим, и они четверо встали рядом, ближе к гробу. В глазах Миргалея увидел он слезы.

Вошел Генерал Василий Васильевич, поцеловал в лоб покойника, остановился у изголовья. Шептались между собой, что пора выносить гроб, да ждут представителя от губернатора. Наконец он приехал. То был Евграф Степанович Красовский.

Священник повысил голос, замахал кадилом. Вдова беззвучно задрожала под платком, заплакала и Оленька. Какие-то люди с разных сторон взяли гроб. Он тронул под руку Миргалея. Тот недоуменно посмотрел на него, потом понял. Вместе подошли они, подставили плечи. У дверей зашептались, заговорили. Советник областного правления Алексей Александрович Бобровников, распоряжавшийся похоронами, одобрительно кивнул им:

– Что ж, господа, как бывшие питомцы покойного Алексея Николаевича...

Они тоже несли гроб, и все нынешние воспитанники школы высыпали из коридора и шли, плотной кучкой держась рядом с ними. Среди негромких голосов явственно прозвучали слова:

– Допустимо ли участие магометанского элемента? В столь выпирающей форме...

– Это благодарные ученики, Ваше превосходительство!– объяснял Бобровников.

– Сему может быть дано превратное истолкование, – строго настаивал действительный статский советник Красовский. – И коль дело коснется синода...

Послышался медный голос Генерала:

– Стыдитесь, господин Красовский. При отверзтом гробе!..

Евграф Степанович Красовский вскинул головой, как взнузданная лошадь, и сжал побелевшие губы:

– Однако же тут делается кощунство. При виде иноверцев...

– Кощунствуете вы, Ваше превосходительство, со своими странными для русского слуха правилами!

Они говорили между собой негромко, но все их слышали.

Гроб поставили в крытые бухарскими коврами сани, впереди понесли на подушке ордена: Анны двух степеней и Владимира. Башкиры, татары, кокандцы шли отдельной группой. Они же с Миргалеем продолжали быть у самого гроба. Так с непокрытыми головами вошли они в церковь и слушали всю службу, скорбно глядя в лицо своему надзирателю господину Дынькову.

Когда уже присыпали могилу и ставили деревянный крест, отошел он к группе инородцев. Почтенные старики из слободки стояли там кружком и говорили между собой.

– Тот, что ушел из жизни, хоть и неверный, но понимал закон, – услышал он. – Даже в основах веры разбирался.

– Не просто хорошо, а досконально знал Книгу, и хадисы, и все правила веры!

К своему удивлению узнал он в говорившем Усман-ходжу Мусина, ахуна соборной мечети. Вечная вражда была у старика с покойником, и всякий раз он жаловался начальству на самоуправства господина Дынькова. Сейчас у ахуна были красные глаза, и он с вызовом оглядывал других знатоков учения. Но те были согласны с ним.

Тут же в стороне старики пошептали молитвы, словно как бы умер правоверный человек, и пошли с кладбища, осторожно обходя кресты. За ними шли прочие мусульмане, говоря, как полагается, о покойном.

– Вовсе удивительный был этот орыс. Денег не брал. Все брали в таможене, а он не брал!– говорил кокандец в дорогом зеленом халате с меховой подстежкой.

– Как же это, в таможене не брать денег?– удивился собеседник.

– Только что в бумаге значилось, брал. А для себя не брал. И подарки назад отдавал.

– Может быть, чем-нибудь болел этот человек?– выразил кто-то предположение.

– Нет, среди орысов встречаются такие непонятные люди.

У ворот кладбища, придерживаясь за толмача Фазылова, стоял совсем пьяный Варфоломей Егорович Воскобойников.

– Во, слышал, Фазылка: хабару Алешка не брал. А что, думаешь, Россия уж вовсе в твою поганую Азию перевернулась. Накося, выкуси!

– Э-э, пойдем!– тянул его Фазылов.

– Алешку жалко... Вишь, народы хоронят его, честь воздают. Потому подлинно русский был человек!..

У ворот стояли сани с коврами, привезенными для похорон с менового двора и из слободки. Кокандцы и торговые люди укладывали их вместе, носили в сани еще какие-то узлы. Чернобородый купец-сарт с умными глазами подошел к нему:

– Все это пусть от нас останется женщине и детям ее.

Вместе с Миргалеем сидел он в осиротелом доме, ел вареную пшеницу – кутью, слушал негромкие разговоры о господине Дынькове. У начала стола поместились Генерал, Николай Иванович, Алексей Александрович Бобровников, учитель Алатырцев. По подписке накануне были собраны для вдовы деньги: Генерал дал сто рублей, они с Миргалеем по двадцать

пять. Возле дверей на сундуке лежали свернутые ковры, подаренные мусульманскими знакомыми покойного. Варвара Семеновна, вдова, как села, так все и сидела со спокойным, словно недоумевающим лицом. До этих пор он не принимал ее никогда во внимание, такой она была незаметной. Видел только, как какая-то женщина в одной и той же кофте выходила кормить кур. И еще в черном салопе шла по воскресеньям с дочерьми в церковь. Две старшие дочери шли впереди, а она с Оленькой сзади. Обе эти дочки и женщины-соседки теперь переменяли на столе посуду, разливали бульон, а она все беспокоилась, спрашивала, не забыли ли чего-нибудь. Такой деловитый голос у нее был, что дрогнуло сердце. Это она себя так успокаивала.

С самого начала он позвал Оленьку, посадил возле себя. До боли захотелось ему погладить девочку по светло-желтым соломенным косичкам, но не стал он этого делать, а принялся подробно спрашивать, как она учится. Девочка ходила три раза в неделю к мадам Лещинской, содержавшей пансион, а также школу грамоты и музыки для приходящих девочек. Два месяца Оленька уже не ходила туда по болезни отца, а теперь и вовсе не пойдет, потому что нет денег для уплаты за уроки. Девочка рассказывала все обстоятельно и как будто забыла о беде. Только временами начинал дрожать у нее голос. А ему все виделся господин Дыньков на взбитых подушках и слышались слова: «На все воля божья. Вот сирот только жалко».

Все стали понемногу расходиться. Ушел и Миргалей. А он остался и сидел со вдовой и девочками при свече, льющей желтый расплывающийся свет. Нет, не все только ему. Надо было самому становиться ответственным за этот мир.

– Что ж, Варвара Семеновна, как говорится, бог взял, – заговорил он сам не зная откуда взявшимися словами. – Только Оленьке надо продолжать учиться. Алексей Николаевич того хотел. Никак нельзя оставлять этого дела.

Он узнал, что девяносто рублей в полгода, исключая летнее время и праздники, платят они мадам Лещинской за Оленькины уроки.

– Завтра же я и заплачу все, вы не беспокойтесь, – сказал он. – И впредь буду это делать, пока Оленька курса не окончит. Даже если и отъеду по службе из города.

Уходя, он теперь погладил по головке девочку, смотревшую на него серьезными глазами. И такое тепло почувствовал от своей руки, что даже горло у него перехватило.

Во тьме школьного двора ходили какие-то люди в форменных шинелях. Они открывали, замыкали хозяйственные помещения, вешали замки и пломбы. Воспитанники шли за ними с недоумевающими лицами. И в надзирательскую квартиру они прошли, стали молча пробовать окна и двери. Варвара Семеновна и девочки с испугом смотрели на них.

– Что это тут делают? – спросил он отставного унтера Валиева, ведавшего хозяйственной частью школы.

– Да так что по приказанию Их превосходительства советника Красовского от губернского надзора, – отвечал тот, приглушив голос. – Значит, какие есть тут нарушения и расхищения, так чтоб ревизию произвести...

Сначала он бегом побежал на квартиру к Генералу, но того не было дома. Взяв на углу Большой улицы извозчика с дрожками, он поскакал в середину города, где жил действительный статский советник Красовский. Все знали этот недавно купленный им на фамилию жены трехэтажный дом, один из немногих в городе. В ряду с Дворянским собранием стоял этот дом, и его тоже, вместе с фонарем при входе, переносил он когда-то в мечтах на низкий берег Тобола.

Фонарь горел, шестью углами отбрасывая свет на очищенный от снега тротуар. Взбежав с дрожек к парадной двери, он потянул ее к себе, толкнул другую,

внутреннюю дверь и остановился перед бородатым стариком с медалью на сером сюртуке.

– Чего изволите?– спросил старик важным густым голосом, отставив щетку для обметания пыли.

– Мне срочно требуется видеть Его превосходительство!– сказал он.

Старик недоуменно оглядел его от ног к голове.

– Ежели пакет, то извольте оставить.

– Нет, мне лично и немедленно. Доложите: чиновник из Областного правления оренбургскими киргизами!

Что-то необычное было в его лице и голосе. Старик пожевал губами и пошел в другую, расположенную напротив входа дверь. Где-то наверху музицировали и женский голос пел: «Ах, не смущайте души покоя...» Что-то не получалось с фортепьянами, и всякий раз пение начиналось снова.

Без звука раскрылась дверь, и встал там Евграф Степанович, строго глядя на него. Он знал этот остановленный взгляд, выражающий как бы неживую природу. Так все учились смотреть в службе. И хоть была на хозяине дома мягкая домашняя куртка с шелковой оторочкой, положение тела сохранялось отдельно от одежды, словно бы тело было не из костей и мяса.

– Я вынужден был прийти к вам, Ваше превосходительство,– начал говорить он, не дожидаясь вопроса.

– От кого же вы?

Было понятно, что действительный статский советник Красовский сразу узнал его, поскольку утром еще видел у гроба господина Дынькова.

– От себя, Ваше превосходительство, ибо Василия Васильевича не оказалось дома.

– От се-бя!– словно пробуя на слух, повторил это слово хозяин.– Позвольте полюбопытствовать о вашем чине и звании.

– Зауряд-хорунжий Алтынсарин, младший толмач правления, Ваше превосходительство.

– Но я ж тебя не звал,– возвысил голос Красовский.– Как посмели вы!..

Все сразу вдруг возникло перед ним в ответ на этот голос: лица людей за столом у учителя Алатырцева, книжки журнала в муаровой обложке, почему-то солдат Демин. Явственно зазвучали слова: «У лукоморья дуб зеленый...» Сделав шаг к хозяину дома, он заговорил ровно и спокойно.

– Я посчитал для себя уместным, Ваше превосходительство, явиться к вам, чтобы донести, что по всем человеческим законам, в их числе христианским, не принято нарушать покой вдовы и осиротелых детей. Тем более над еще не остывшим прахом. Прошу убедительно Ваше превосходительство – от лица киргизских воспитанников господина надворного советника Дынькова – отозвать чиновников из школы и самого дома покойного!..

Они смотрели в глаза друг другу. И взгляд стоящего перед ним человека начал вдруг терять остекленелость, становиться все водянистей, неопределенней, судорога пробежала через его лицо.

– Ладно, езжайте...

Он продолжал стоять, не сходя с места.

– Я... распоряжусь.

Действительный статский советник с трудом сказал это.

14

Однако ж какой это значительный чиновник из пограничного правления мог пожаловать к нему во внеурочные часы? Надеть вицмундир? Нет, не следует. Судя по всему – курьер: спешная депеша с линии. Хивинцы поразбойничали или где произошел пожар...

Но что ж это? Тот самый киргиз из правления стоит в передней, что в панихиду утром замешался, даже в храм божий ступил.

Сколько помнится, это внук войскового старшины Джанбучина, преданного киргиза. И все же нельзя в угоду магометанской лояльности приносить одну из

триединых основ народного духа. В непререкаемом православии первая его опора. А подрывающее авторитет высшей власти замечание Его превосходительства Василия Васильевича Григорьева, утверждающего в своем правлении дух пренебрежения к христианским святыням у инородцев, должно получить соответствующее освещение при особом донесении. Уж не случайно зовут сего умника «генералом от Московского университета». Много бед произошло от этого рассадника подрывающих общество идей, и покойный государь справедливо применял по отношению к нему строгость. Вот и здесь, вместо того чтобы всеми возможными мерами, включая экономические и административные, приводить инородцев к принятию православной истины, сам управляющий пограничной областью допускает умаление веры. Только через веру могут соединяться инородцы с Россией. В противном разе следует поддерживать присущую им азиатскую замкнутость. Намерение правления путем самоучителей и школ ввести туранских киргизов в русскую современность – несвоевременно и опасно. Тому лишь подтверждение – утренний случай на похоронах...

Что-то, однако, говорит киргизский визитер. Да так непринужденно, словно находится с ним на одной ноге. Впрочем, сей либерализм принят в местном офицерском собрании, как и в самом правлении. Надлежит сразу же поставить все в должные границы. Тон должен быть соответствующий.

– От кого же вы?

Говорит, что от себя. Вот они, плоды неверной внутренней политики, проводимой самомнительным человеком. И парик у киргиза вовсе на русский лад.

– От се-ебя!.. Позвольте полюбопытствовать о чине и звании.

Нисколько не поняв ироничности вопроса, представляется киргиз. Зауряд-хорунжий, по существу и должности настоящий не исполняющий!

– Но я же тебя не звал.– Сказано так, чтобы колени дрогнули у наглеца и на всю жизнь определил для себя место.– Ка-ак посмели вы!

Бронза зазвенела в лампе и даже вытянулся во фрунт привратник Семен. Именно этот тон надлежит с ними держать... Но что же это такое: киргиз не изменяется в лице и спокойное упорство в черных, источающих зеркальный блеск глазах. Даже шаг вперед делает.

Что же он говорит?... Это о чинах губернского надзора, посланных для запечатывания помещений киргизской школы. Пришлось распорядиться, дабы пресечь могущие произойти хищения. Тем более, что дух школы, как выявилось при похоронах способствует к этому. Но киргиз требует отменить распоряжение, ссылаясь прямо на христианский закон. И действует будто бы от лица всех воспитанников покойного. Такой все может предпринять вплоть до синода. Это бы ничего, да от войскового старшины Джанбурчина пришлось нечто получать, то как бы оно сюда не приплыло. Говорить нужно неопределенно, со снисхождением в тоне.

– Ладно, езжайте...

По-прежнему стоит киргиз и глаз даже не опускает. Какая-то в них уверенность, не свойственная азиатскому взгляду. Как бы не вышла история.

– Я... распоряжусь.

Поклонился теперь и пошел. Для вежливости хоть шага назад не сделал, прямо повернулся. Что ж такое произошло, отчего осталась неуверенность?..

Семен, старый дурак, этакую пыль тут развел, что и совсем дышать невозможно. Лампа горит во всю мочь: петроли¹ не напасешься. Сказано ведь было не пускать никого, кроме как от губернатора.

И лестница порядком не выметена, в кабинете шторы не спущены. Видно ли с улицы тебя, когда смотришь отсюда? Даже головы к окнам не поднял

¹Керосин.

этот киргиз в парике. Прямо сел в дрожки и уехал. Зауряд-хорунжий Алтынсарин, изволите видеть...

Да, с этим духом предстоит особливая борьба. Все постепенно становится на свое место, и правительство твердой, умудренной опытом рукой притягивает вожжи. Кто надеялся, что оздоровление России можно будет использовать для потрясения основ, получают исторический урок. Пусть не думают всякие умничающие господа, хоть бы и от Московского университета, что рядом с реформой можно разваливать краеугольные камни, на коих покоится здание. Все определенной становится видно, откуда сии ветры дуют. Каждый истинный патриот должен быть начеку в ответственное время. Нет-с, господа, не получится. Россия это... это Суворов!

Да что все одно и то же играет Надежда Евграфовна? Второй год француз к ней ходит. Деньги немалые, а все не приучится никак. Теперь вот такой же белый рояль, как у губернаторской дочки, из Самары от немца Кепмана выписал, так что снова расход. А только и предстоит до лета поступления, что от землевладельцев. Петр Федорович Звенигородский еще намеревается завод винный на картофели пустить, так губернский надзор имеет тут свое положение. В пятьдесят тысяч предвидится от него благодарность, но не все к месту. Пятнадцать тысяч к Пальчинскому отойдет, да на всякий мелкий расход полицейским чинам. Тридцать тысяч вкруг останется. К ним прибавить положение от землевладельцев, так и можно тот присмотренный дом в столице приобрести. Тут верное дело, и доход чистый. Есть, правда, предположение, что как реформа вступит в действие, то ни започем станут продаваться дворянские имения. Об этом тоже надлежит подумать для надежного помещения капитала.

Ну, да все это: винные заводы, землевладельцы – невысокое дело. К таможене бы умную руку приложить – вот они где, миллионы. Из Кашгарии, Бухары, из самой

Индии все проходит тут. Это тебе не фрисляндское мыло. Не говоря уже про обороты с лошадьми да с кожами от киргизов. Ну и российское купечество, что в Бухару тянется. Однако не подступишься, там этот ученый генерал. Даже от киргизов при нем опасно что по мелочи брать...

Теперь и по чину, не по одному послужному списку подходит он вместо Григорьева для занятия этой должности. Но вот извольте – ученость требуется. Мол, виды России в Азии предполагают особое знание нравов и глубинных течений у аборигенов. Поэтому сидит тут умник, киргизов да сартов развращает. Думается, у простого линейного урядника больше знания местной политики в нагайке, чем в какой бы ни было университетской голове. Впрочем, осведомлять о том нужно умно, не преступая государственных видов, а как бы в их оправдание. Тем не менее приуготовляя начальство к мысли, кому способней всего занять ответственный пост при границе. Поддержка тут ему будет не от одного губернатора. Не нужно говорить об этом, но есть в столице Лицо...

В самый разгар гонения это произошло, когда покойный государь в очередной раз почти как якобинцев преследовал неосторожных администраторов, даже Гоголя ставить на театре приказал. Однако же особая, не министерская ревизия, неожиданно наехавшая в ревельскую таможню, не могла ничего найти. Вот от прибыли вручалось Пальчинскому, а фрисляндское мыло и кружева выгружались на не подведомственной территории. Все же нашелся некий обиженный человек из складских смотрителей. На квартире у того ревизоры вышли из-за занавески, как раз когда Пальчинский отсчитывал ему в руки деньги. Так, с поличными, и повезли их на перекладных в столицу. Кандалов ждал он, потому что одной Сибирью кончались в то время такие дела. Странно только было, что нашли им помещение не в крепости, а на приватной квартире, и охрана была любезной. От того

еще тягостней становилось на душе. Когда все идет не по правилу, так оно хуже воздействует на мысли. Петля стала даже мерещиться. И вот тогда обозначилось Лицо...

Карета со шторами заехала с задней стороны ряда домов, проехала один и другой подъезд. В сопровождении принявшего его чиновника в статском платье поднялся он в третий этаж обычного кирпичного дома. В длинной, со столом и диваном комнате сидел в простом вицмундире без знаков и орденов человек. Все столь обычное было в нем, что даже трудно делалось что-нибудь выделить. Но когда человек заговорил негромким голосом, он сразу понял, что это и есть Лицо.

– Извольте садиться, господин коллежский советник, – сказали ему.

Он сел, ошеломленный, ибо считал уже себя вне таблицы о рангах. Но голос продолжал звучать: ровный, благожелательно-бесстрастный.

– Мы осведомлены о благонамеренном образе ваших мыслей. Достоинства вашего характера, умение сойтись со всякими людьми позволяют надеяться, что вы в силах приносить большую пользу престолу, нежели в настоящей вашей службе...

И словно бы не было пятнадцати тысяч рублей, изъятых прямо из рук его ревизорами. Не было помертвелою лица Пальчинского, дрожания красных волосатых рук ревельского негоцианта Кульберга, везущего пахучие ящики с мылом мимо таможни, а также плачущей жены с дочкой Наденькой при заставе. Представилось даже, что все это сон. Но Лицо говорило вещи осязаемые, доступные чувствам.

– О том не будет знать никто в губернии, даже высшая администрация. Состоять будете в губернском надзоре, что при вашей опытности позволит проникать в разные слои жизни, способствуя патриотическому направлению в мыслях общества. Ибо губерния эта разнородная, подверженная всяческим влияниям, не говоря уж о ссыльном элементе.

Вы подберете для себя десять-двенадцать человек... патриотов. Не сразу, а присмотревшись опытным глазом. Тут надлежит мыслить по-государственному. Лучше всего привлекать людей, застигнутых на чем-то вещественном, коим впереди мыслится острог. Такой человек непременно имеет живой, наблюдательный ум, и к тому же готов служить. В награду вы со снисхождением будете смотреть на некоторые слабости в службе, хоть бы на известные благодарности от обывателей. В допустимых, разумеется, пределах. Патриотизму это не мешает. Я бы сказал наоборот. Некий публицист, желая укорить нас, отметил: «Люди, берущие взятки, никогда не бунтуют». Согласившись с этим, мы идем дальше. Пусть человек имеет известную слабость, но если он активный патриот, то ближе нам заблуждающегося идеалиста...

Именно это он всегда и чувствовал. Да, патриотизм и... и умение обходиться в жизни, не пропускать даваемых ею возможностей. Всегда во всякую минуту он ощущал себя достойным сыном отечества.

– Ах, ваше высокопревосходительство!– в голосе своем он услышал слезы.

Лицо сделало легкое движение рукой:

– Не называйте меня... никак.

Он увидел уже, что нашел здесь понимание. И так как до конца представлял свою преданность, то счел возможным уже с этой минуты начать свою новую службу.

– Позвольте всемилостивейше вас просить...

– Что такое?– Лицо как бы замкнулось.

– О служащем при мне чиновнике – Антоне Станиславовиче Пальчинском. Весьма обстоятельный, необходимый человек и... патриот. Коль мыслить по-государственному...

– А, это который с вами...– Лицо благосклонно кивнуло.– Что ж, он придется там кстати.

Со дня, как прибыл в губернию, каждый месяц пишется и отправляется особой почтой его донесение,

а раз в году он выезжает для личного доклада. Всеми необходимыми данными об интересующих его людях снабжают его там. И на лучшем счету он, о чем свидетельствуют достигнутый им чин и очередной Владимир в петлицу.

Лишь накануне был он в столице, прошел, как водится, с задней стороны ставшие ему знакомыми подъезды и был встречен тем же, что десять лет назад, молчаливым чиновником. Лицо уже сменилось, но как-то и незаметно это было, настолько все сохранялось по-прежнему. Даже запах – восковый, с различной примесью духов и легкого мышиного присутствия от картотеки, наполнял воздух. У него было тонкое чутье еще по прошлой службе в таможне: приходилось различать подлинные французские парфюмерии от подделки. В вагоне Николаевской дороги или на улице он легко определял по этому запаху имеющих касательство к тайной службе лиц. Что удивительно – даже от подобранных им в губернии людей начинало пахнуть теми же духами.

Лицо излагало ближайшие задачи в службе, как бы поднимая его над мелкими делами, давая размах... В той губернии, где ведет он столь полезную отечеству работу, находится материальная и духовная основа для естественного движения России во внешнем направлении. Цивилизаторская миссия ее в Азии призывает к новым действиям. А посему надлежит быть готовым. Следует в преддверии колонизации огромного края до Гиндукуша и, можно прямо сказать, до самой Индии, определить единую русскую политику среди инородцев. Сей элемент требует пристальнейшего к себе внимания.

Здесь предстоит действовать твердо и решительно, не допуская либерализма, но и не доводя дело до скандала. Особая задача, наряду со всемерной христианизацией, всеми способами отделять инородцев от приливающей туда русской массы и прежде всего от образованного, вольномысленного слоя. Ни к чему

способствовать созданию возможностей письменного языка для инородцев, тем более переложению его на русский шрифт. Мысли по этому поводу, изложенные им в соответствующих донесениях, признаны правильными. Что ж касается генерала Григорьева, то сообщения о его действиях приняты к сведению...

Что ж, разве не подтверждает хоть этот случай с явившимся к нему сейчас киргизом правоту представленного им мнения. Следовало бы на гауптвахту мерзавца, в острог. Но не напрасно предупреждают его об осторожности. Тем более, тут и принятые через Пальчинского деньги у киргизов. Что-то было это в связи с мертвым телом. Там как будто и эта фамилия упоминалась – Алтынсарин...

Вся неприятность идет от ученого генерала, занимающего не свойственный ему пост. В государственных видах все делается, а посему надо ускорить дело. Присланы ему и выписки из генеральского формуляра. Вовсе не к Московскому университету имел тот отношение, ибо закончил университет в Санкт-Петербурге. А при Московском университете лишь защищал диссертацию «О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству». Накануне назначения в губернию выбран членом-корреспондентом Российской Академии наук. Во всем чисто. Правда, с увлечением занимался работой «Еврейские религиозные секты в России». Уж не в связи ли Генерал с жидами?

Есть еще некая тайность в генеральском послужном списке, совпадающая с молодыми годами в Одессе. Что-то произошло там в Ришельевском лицее. Однако, когда заговорил он об этом, имеющее власть Лицо сделало рукой запретительный знак. Неужели что-нибудь вроде его дела с ревельской таможней, и генерал Василий Васильевич тоже... в патриотическом направлении? Не может того быть. По всему видно, что денег не берет. Разве что четверку лошадей взял в

подарок, так оно в видах политики и принято. За ту четверку Григорьев в ответ одарил бая Джанбурчина ружьем с серебряной насечкой, что не меньше по цене. Это проверено после письма, поступившего из узунского киргизского рода...

Значит, придется строить все на вредящих отечеству действиях генерала Григорьева в отношении киргизской эмансипации. Здесь уж, исходя из последней инструкции, можно привести дерзость служащих в областном правлении чиновников-киргизов и осквернение ими православных святынь. Пусть сам генерал поглубже впутается в это дело.

Но почему ж уступил он сегодня этому мальчишке-киргизу? Даже во рту остается какой-то нехороший вкус...

15

Марабая он даже сразу не узнал. Тонкий, высокий, с узкими скулами на нервном, подвижном лице, тот быстро переводил взгляд с предмета на предмет, и ноздри его вздрагивали. Черные небольшие усы оттеняли бледность кожи. Как будто видел в людях Марабай нечто скрытое и тут же принимал или отвергал их по своему какому-то счету.

И на него посмотрел Марабай пытливым, быстрым взглядов и вдруг стал совсем тем же мальчиком, который играл в асыки и рассказывал о коне, перепрыгивающем реки. Разговор у него был о пустяках: про то, как ехали сюда и как хорошо угощали их в кочевьях. Бешмет новый с серебряной оторочкой подарили ему ишимские аргыны, а алшины дали за его игру иомудского коня, на каких ездят хивинцы. Все разворачивал Марабай подарки, и чуткие пальцы его перебирали украшения со стеклом и камнями, гладили узорную вышивку.

Вместе с дядькой своим Ерназаром-ага поселился у него Марабай. Из киргизской школы принесли плотные аульные кошмы, и гости спали на них, укрываясь

одеялами. По приезду Досмухамед повел почтенного Ерназар-ага в мечеть. Марабай же не захотел с ними и сразу же пожелал видеть самого «Жанарала».

Пришлось идти с ним в присутствии. Марабай ничему не удивлялся и смотрел на проезжающие экипажи, на людей, на идущих строем солдат, словно много раз уже это видел. На нем был вышитый по груди и рукавам казахский полушубок и синяя с меховой оторочкой шапка.

Генерал оказался в правлении и нужно было предварительно доложить о приезде акына, но Марабай вдруг зашел вперед него и быстро подошел к самому столу Василия Васильевича. Вглядевшись пристально в него, даже наклонившись для этого чуть вперед, Марабай удовлетворенно кивнул:

– Хороший Генерал!..

Василий Васильевич и не улыбнулся даже.

– Это я тебя позвал сюда, Марабай.

То, что Генерал говорит по-казахски, несколько не удивило акына. Марабай отвечал на все вопросы и обещал, когда нужно, спеть известные ему песни. Несколько не церемонясь, выбирал он с принесенного из школы блюда баурсаки¹, запивал чаем с молоком. Они с Генералом явно понравились друг другу.

В кабинет вошел с бумагами советник правления от штаба корпуса капитан Андриевский, удивленно посмотрел на расположившегося как дома молодого киргиза. И тут опять Марабай, бросив есть, наклонился вперед, не отводя взгляда от вошедшего. Какое-то напряжение было в его лице, даже пот проступил на лбу. Лишь мгновение продолжалось это. Повернувшись уже к Генералу, Марабай сказал:

– Это хороший человек.

– Наш гость из степи, Иван Матвеевич, – пояснил Генерал. – Аттестует вас в положительном смысле.

– Я немного понимаю киргизов, – сказал капитан.

¹Запеченные в масле шарики из теста.

Уходя, Андриевский еще раз обернулся к акыну, но тот уже не обращал ни на что внимания.

Когда вышли от Генерала, Марабай, не слушая его, пошел по коридору, заходя во все двери правления. На него смотрели с недоумением, а он оглядывал шкафы, столы, людей. Иногда даже подходил и трогал что-нибудь руками.

Варфоломей Егорович Воскобойников сразу ожил, когда вошел к нему акын, но ничего не говорил.

– Кто это, Ибрагим? – наконец обратился к нему делопроизводитель.

– Певец из степи, что Василий Васильевич приглашал.

Марабай между тем с интересом вертел в руках бронзового льва из письменного прибора. Варфоломей Егорович все наблюдал за ним.

– Пальцы-то у него. Сразу понятно – музыкант.

Марабай и на делопроизводителя взглянул было внимательно и тут же улыбнулся. Варфоломей Егорович тоже почему-то не пустился в свой язвительный тон. Непонятное происходило между Марабаем и другими людьми.

Больше другого беспокоился он за эту встречу. Но Марабай, как увидел Николая Ивановича, так будто все сразу узнал про него. Переведя взгляд с благодушного лица хозяина на висящую в углу икону, он спросил:

– Это русский бог?

Глаза на иконе и вправду были совсем русские. Николай Иванович, ни слова не говоря, притянул Марабая к себе.

Как в своей, стал ходить тот в комнате, разглядывая на шкафах и стульях казахские седла, уздечки, праздничные саукеле¹. Потом пошел в спальную, осмотрел другие комнаты.

¹Девичий головной убор.

И на Екатерину Степановну Марабай смотрел, словно она ему аульная тетушка, даже послал ее заваривать для себя чай.

– Говорит, чтобы ты чай ему заварила!– перевел ей Николай Иванович, в восхищении наблюдавший за гостем.

Екатерина Степановна улыбнулась и даже чуть покраснела. Никогда он ее такой не видел. Принеся чай в кабинет, чего не позволяла Николаю Ивановичу, она осталась и слушала непонятный разговор, не сводя с Марабая глаз.

У него забилося сердце. За окном слышались детские голоса, застучали в уличную дверь. Екатерина Степановна поспешила туда. В гостиной разговаривали. Марабай вдруг начал прислушиваться. Екатерина Степановна позвала их к обеду.

– Иван Алексевич!– побежала к нему Машенька.– Иван Алексевич, а дед Мороз тоже пришел?

Неожиданно Марабай повернулся к нему. Что-то было во взгляде одноклассника, от чего даже сделалось жарко. Неужто тот может все угадывать о человеке? Говорят, среди казахов есть такие люди. Дарья Михайловна смотрела, как обычно, ясно и ласково.

– В то Рождество придет дед Мороз, как станет Машеньке четыре года,– сказала она девочке, по-своему растягивая слова.

Марабай беспокойно слушал ее. Всякий раз, как она говорила, акын удивленно вытягивал шею.

Нисколько не потерялся Марабай за городским столом. Даже вилку держал, выгнув тонкую руку. Как бы от природы получалось это у него.

– Ибрагим, голубчик,– обратилась к нему Екатерина Степановна с видимым смущением.– Ты уж в нашем доме, так мы и знаем, что ты ешь. Будет ли твой товарищ кушать свиную котлету? Как бы не вышло неприятности для него.

– Что говорит апай?– спросил Марабай.

– Орысы едят свинью,– объяснил он.

– Скажи: казахи тоже едят. Когда на охоте убивают. Уже вечером ушли они от Ильминских. Марабай вдруг остановился и произнес по-русски, совсем так, как она говорила:

– Дед Ма-ароз... Ма-ашенька...

Он, как пойманный на месте, смущенно опустил голову. Акын засмеялся и дернул его за рукав:

– Э-э, курдас, куда еще ты тут ходишь?

Марабай словно угадывал его мысли. Для чего-то ему было необходимо показать акыну всех людей, с которыми знается в городе.

У учителя Алатырцева, как всегда в субботний вечер, сидели гости: Дальцев, доктор Майдель, Андриевский, еще офицеры. Марабай из сеней быстро прошел вперед и принялся переводить взгляд с одного лица на другое. Осмотрев всех, он потянулся к висевшей на стене гитаре. Все замолчали, не понимая, откуда взялся неизвестный киргиз.

– Мой родственник, господа, – сказал он. – Музыкант, что Василий Васильевич позвал из степи.

Учитель Алатырцев пожал ему руку.

– Все еще, Алтынсарин, стоите за натуральность отношений?

Опять все заговорили, лишь временами поглядывая на Марабая, который возился со снятой со стены гитарой. Прежде всего акын недоуменно повертел повязанный на нее бант, развязал и бросил в сторону. Потом, мягко проведя три-четыре раза пальцами по струнам, прислушался и толкнул гитару в руки капитану Андриевскому:

– Скажи, пусть поиграет!

– А и правда, только капитан умеет из нас играть, – удивился учитель Алатырцев, когда произнес он просьбу акына.

Капитан Андриевский подстроил струны, подумал и заиграл что-то, видно, испанское. Марабай остановившимся взглядом смотрел на его руки. Потом, когда

тот закончил играть, потянул к себе гитару и вдруг заиграл то же самое.

Совершенно точно повторял акын серенаду, лишь удары тонких пальцев по струнам были легкими, невидимыми, как при игре на домбре. От этого серенада звучала как-то странно, волнующе, и почему-то стало казаться, что так и игралась когда-то у мавров в Гренаде такая музыка...

Снова – уже русскую песню – играл Андриевский, и Марабай тут же повторял все на свой лад. Офицеры с интересом смотрели на акына. А тот невозмутимо пил чай и играл теперь степную мелодию, бесконечную и печальную. Притихшие гости как в седле покачивались телом, не замечая этого.

– Как же определил он, что именно капитан из нас умеет играть? – поинтересовался поручик Дальцев.

Марабай удивленно посмотрел на него, пожал плечами:

– Я знаю.

Утром он открыл глаза и сел на кровати, не понимая, что случилось. Досмухамед и Ерназар-ага спали, зарывшись в одеяла, а Марабая не было. Ручка домбры торчала из прислоненного к стене коржуна. Подождав немного, он принялся быстро одеваться.

На улице было оживленно, ехали сани с сеном, мукой, мороженой рыбой, шли люди к заутрене. Звон плыл в синем утреннем небе. Он пошел на губернскую площадь. И вдруг где-то в середине улицы увидел знакомую фигуру. Закинув голову, Марабай смотрел на белое здание Дворянского собрания. Увидев его, акын не сказал ничего, будто так и нужно было им здесь встретиться.

Они пришли на базар, и Марабай ходил из лавки в лавку, трогая одежды, ковры, самовары. В этот день они побыли на рынке, на меновом дворе, в саду у реки, где скатывались в санках с горы взрослые и дети.

Марабай вдруг останавливался на улице и смотрел на кого-нибудь своим непонятным взглядом.

Три дня ходили они так с утра до позднего вечера. Даже во дворы заходил акын, если были открыты ворота, и смотрел внимательно, как там рубили дрова, поили коров, занимались кузнечным или столярным делом. В одном дворе, куда они зашли, кто-то крикнул из флигеля:

– Эй, любезный, смотри, собака порвет!

Акын шел, не обращая никакого внимания на громадного черного пса, позванивающего тяжелой цепью.

– Барбос, а ну покажь ему! – раздался тот же голос.

Пес, зарычавший было, вдруг лег и положил голову на лапы. Марабай даже задел его штаниной, проходя в глубь двора. Из того же флигеля вышла старушка, стала близоруко приглядываться к молча стоявшему акыну. Потом вернулась и вынесла серебряный гривенник. Марабай взял монету, не отводя глаз от старого сморщенного лица.

– На калачик тебе, – сказала старушка. – Небось, чужой здесь ты. Вишь, и не смыслишь по-нашему...

В другом дворе кухарка дала Марабаю кусок пирога с начинкой. Тот взял и съел, подав и ему половину. Пирог был свежий, с мясом. Он тоже съел свою часть, однако все ж боялся, не увидят ли какие-нибудь знакомые.

Сколько ни упрашивал он дома Марабая поиграть что-нибудь, тот равнодушно отмахивался. Домбра лежала, забытая в коржуне. Только в день, когда нужно было идти к Генералу, акын не глядя вытащил ее, взял под мышку...

На кожаном диване были разложены подушки. Деревянная чаша с привезенным из слободки кумысом стояла на генеральском столе. Марабай сидел посредине дивана с серьезным, сосредоточенным лицом. Николай Иванович раскладывал на приставке листы, готовясь писать. Кроме того, у Генерала сидели еще Алексей Александрович Бобровников, капитан Анд-

риевский и бий Нуралы Токашев. К удивлению, в углу примостился и делопроизводитель Воскобойников.

И тут случилось неожиданное. В приемной раздались шаги, послышался уверенный голос. Марабай сразу весь напрягся, вытянул шею по направлению к двери. Она открылась, и вошел Евграф Степанович Красовский.

– Желаю здравствовать, господа.– Красовский прошел, уселся в кресло, стоявшее у стола.– Услыхал я приватно, что тут некое народное представление намечается. Что ж, думаю, не предупредили? Как советник правления над Областью оренбургских киргизов решил все же принять участие...

Едва вошел Красовский, Марабай уставился в лицо ему недвижным пристальным взглядом. Тот беспокойно перебрал плечами, оглянулся, но акын уже отвернулся и сидел с опущенными руками. Глаза у него были закрыты.

Генерал молчал. Чувствовалось некое неудобство. В городе говорили о расстройстве отношений между управляющим Областью оренбургских киргизов Генералом Григорьевым и новым губернатором. Знали, что Евграф Степанович Красовский особо враждебно настраивает губернатора против Генерала. В последний раз стычка произошла в день похорон надзиравшего за киргизской школой надворного советника Дынькова. Даже от Синода пришло замечание, а от губернатора последовал Генералу прямой выговор.

Молчание все тянулось. Беспокойно подвигавшись, Николай Иванович сделал знак приступить.

Он дотронулся до локтя Марабая:

– Э, курдас...

Акын открыл глаза и протянул руку к Красовскому:

– Пусть он уйдет... Не буду петь!

Евграф Степанович Красовский выпрямился, дернул ногой:

– Что он сказал?

Действительный статский советник спрашивал это у него, ожидая перевода. Но он даже не сделал вида, что вопрос обращен к нему.

– Что... что он сказал?– Красовский, потерявшись, вертел головой от него к Генералу и вдруг остановил взгляд на бие Нуралы.– Извольте перевести, господин Токашев!

Бий испуганно застыл на своем месте, глаза его сделались совсем круглыми.

– Ай, не знаю, что он сказал. Совсем темный киргиз.

– Говорите же!– настаивал Евграф Степанович.

– Пошел вон, тебе сказал,– выпалил бий Нуралы Токашев.– Песню не хочет при тебе петь!

У Красовского открылся рот, и он никак не мог его закрыть. Всем телом наконец повернувшись к Генералу, Евграф Степанович крикнул срывающимся голосом:

– Извольте распорядиться сейчас же, Ваше превосходительство... Сейчас же!

Генерал сидел, глядя перед собой ничего не выражающим взглядом. Медью отливали тяжелые завитки волос вкруг лба. Действительный статский советник рванулся со стула и, все убыстряя движение, пошел к двери. В приемной, потом в коридоре еще слышались его бегущие шаги. На улице закричал кучер, скрипнули, удаляясь, полозья...

Когда совсем все стихло, Марабай невидимым движением пальцев ударил по струнам. И будто отмело сразу все злое, мелочное, случайное в жизни. У Николая Ивановича сошло с лица мучительное выражение, глаза стали совсем голубыми. Что-то дрогнуло даже в лице Генерала, мягче сделались складки у рта. Со вниманием слушал игру акына капитан Андриевский. И не сводил глаз с тонких, как бы не касавшихся струн пальцев акына делопроизводитель Воскобойников. Лишь Нуралы Токашев, незаметно посмотрев по сторонам, потянулся к баурсаку.

А Марабай все играл стремительно, безостановочно, меняя временами тембр – как бы трогая всякий

раз другую струну в душах людей. Акын и не собирался петь. Но и без слов исчез куда-то молодой человек в бешмете и синей аульной шапке. Кто-то другой, владеющий некой горестной тайной, что важна всем людям на земле, рассказывал ее неприкрыто, будто кожу срывал с раны. Бесчисленное количество лет было этому человеку.

Неизвестно уже стало, сколько времени играет акын, все подчинилось обнаженному, имеющему глубокий смысл ритму. Казалось, вот-вот откроется что-то недоступное человеческому пониманию и придет тогда успокоение в людские души.

С силой оторвав себя от этого наваждения, он оглянулся и понял, что и другие люди чувствуют то же самое. Мятущаяся в окоёме музыка рождала ясновидение. Только в том месте, где сидел Нуралы Токашев, виделась темнота. Служащий бий мерно жевал крутое, пропитанное маслом тесто.

Акын все играл. Никогда, казалось, не вырваться уже никому из этого завораживающего ритма. И вдруг словно из бездны времен обрушилось что-то огромное, трагическое, разрушая гармонию вечности. Почти зримо ворвались в замкнутый окоём ширококостые приземистые всадники, заходили в небе черные и красные полосы. Холодный, безжизненный звон раздался в мире. Там, где должно было взойти солнце, встал многорукий бронзовый идол с рубиновыми глазами. «Зарзаман» – время Великой Скорби пел акын Марабай.

Теперь не из одной песни знал он про Нашествие, когда из каждых пяти казахов были убиты трое на земле. Далеко за Поднебесными горами был свой окоём, бесконечной каменной стеной огороженный от остального мира. Оттуда исходили мертвящие излучения на все другие окоёмы вблизи и вдали, парализуя и не давая вырваться из замкнутого круга. Давно умер, превратился в гниющий труп идол, но пустое бронзовое обрамление его сияло, убивая все

живое еще в материнском чреве. Дерево набивали там на живое тело, не позволяя ему расти.

И на весь прочий мир упорно, из века в век, протягивались полые бронзовые руки, выдавливая живую кровь. Лишь недавно повторилось это, о чем помнят столетние люди из аргынов, найманов, кереев, кипчаков. Теснимые и направляемые желтым идолом, пронеслись из края в край степи джунгарские хунтайчи¹, превращая тысячи малых окоёмов в единый окоём смерти.

Кровь сочилась из туч. Оскалившие зубы лошади рвали живое тело. Руки акына бились в неразличимые струны, и голос приносил в комнату со стенами и потолком сразу все умолкнувшие некогда стоны:

О, что за время пришло – время скорби великой!
И нет просвета в безбрежности времен...

Внизу под этой комнатой лежали в шкафах сшитые и пронумерованные бумаги о джунгарском нашествии. Среди холодных четких строк о выгоде от того империи живыми разрозненными всплесками прорывались донесения из линейных крепостей; «а тако ж устроили при фортеции девяносто семейств киргизов-кайсаков с малолетками, не разрешив джунгарцам лишить их живота», «И еще послан был в ставку к хунтайчи подъесаул Зыков с десятью казаками, дабы предупредить того о недопущении воровства и разбоя оных джунгарцев противу мирных киргизов, изъявивших прийти в российское подданство. Для того усилены караулы на постах, а для удержания джунгарцев в отдалении на валы выкачены пушки».

Одинаково, как и сто лет назад в неизвестной линейной фортеции, воспринимали человеческое горе эти люди. Но ничего не понимал бий Нуралы, как ничего не услышал бы в песне акына действительный

¹Владыки.

статский советник Красовский. Мир расслаивался совсем в другой плоскости.

Приготовленная бумага лежала нетронутой перед Николаем Ивановичем. Закончив песню скорби, Марабай долго еще держал одну и ту же ноту, словно никак не отпускали его бесчисленные тени. И вдруг властно переменял тембр: понесся сквозь время, могучими взмахами перепрыгивая реки, конь Тайбурыл. Копыта коня оставляли следы-озера, и ехал на нем связанный с ним воедино, с каждой травинкой в степи батыр Кобланды. Потом мерно и неумоимо скакали сорок батыров в помощь осажденной капырами Казани, шли вдоль поросшего камышом моря в Крым ногай-линские дружины. И нисколько не беспокоился Генерал, что это с русскими, осаждавшими Казань, ехали когда-то мериться силами степные батыры.

Безостановочно, лишь провожая всякий сюжет установленной для него музыкой, играл акын. В одном лице шло теперь присущее степи состязание двух сторон. Айтыс следовал за айтысом: с прямой, не уклоняющейся от назначенной мысли образностью говорили друг с другом сказители-жырау, ханы, батыры, акыны. Реальный спор, происходивший сто и тысячу лет назад, не прекращался, и до предела напряжено было действие. Слушатель попеременно становился на ту и другую сторону, как бы копьём разя противника в самое незащищенное место. В том была естественная справедливость. Никакого прикрытия не полагалось в таком поединке, и победа в нем становилась на века правилом жизни.

Синяя ночь пришла в окна комнаты, расширились стены, уплыл потолок, и оттого еще резче и обнаженной звучала музыка. Едва угадываемые тени людей были недвижны, только где-то посередине билась, словно от ударов крови, тонкая синяя полоска. Вдруг наставшая тишина представилась концом жизни. Как в уходящем сознании, продолжали еще слышаться голоса, обрывки мелодии, запевные кличи.

– Сейчас внесут свет, Ваше превосходительство!

Голос Варфоломея Егоровича Воскобойникова выражал тревогу. От принесенной свечи зажгли большую висячую лампу под потолком. В побелевшем лице акына не было жизни. Ахнув, бросился к дивану Николай Иванович, стал щупать руки, голову Марабая. Все толпились, не зная, что делать.

– Может, Майделя позвать?– спросил Варфоломей Егорович.

Но тут шевельнулся акын Марабай. Глаза его открылись, с серьезным вниманием оглядел комнату, стоящих вокруг людей. Варфоломей Егорович налил в пиалку кумыса, подал ему, но Марабай отрицательно покачал головой. Когда-то, много лет назад, мальчик-курдас тоже не стал ни есть ни пить после своего пения...

Дома Марабай тихо лежал на спине, с закрытыми глазами, и непонятно было, спит ли он. Варфоломей Егорович проводил их до самого дома. С недоверчивым удивлением разглядывал делопроизводитель домбру, хотел даже тронуть струны. Не решившись на то, положил ее рядом с изголовьем акына.

Заслонив от Марабая лампу, он придвинул лист бумаги. Некая мысль явилась ему. Еще когда пел Марабай, стала она выступать из тумана. Теперь же, в тишине ночи, мысль сделалась очевидной.

Узнав от Николая Ивановича, что есть особые книги про то, как обходиться с детьми, он уже с осени отыскивал их. Они были переводные с немецкого языка, имелась и русская книга. Ему интересно было читать, как надлежит объяснить ребенку явления природы, развивать его ум, приучать к благородным движениям души. Отдельные имелись наставления по арифметике – каким путем способнее научить дитя быстро считать в уме; по пению, где говорилось, сколь полезна человеку музыкальность. Даже у эллинских мудрецов вычитал он, что относилось к искусству педагогики.

Однако же все было не то. В книгах говорилось про детей, которые росли в одном со взрослыми состоянии, лишь переходя из возраста в возраст. Это тоже было необходимо. Но ни в одной книге не объяснялось про детей, которым предстояло из-за окоёма прийти в новый, неизвестный им мир. Как сделать, чтобы обошлось это с наибольшей натуральностью, а не искривило и оттолкнуло их души? Какие способы есть для того, чтобы соединить устоявшуюся вечность с движением остального мира? Никто, сам Генерал и Николай Иванович, при всей их душевной готовности, не могли этого сделать. Предстояло приступить к делу одному. Первый и единственный пока он был.

Сегодня, слушая Марабая, увидел он, от чего надо исходить в начале этого пути. Только так, как бы продолжая вечность, можно привлечь внимание детей в окоёме. Если прямо обратиться к ним с призывом, то будет это явным нарушением правила. Но айтыс с его соревнованием сторон войдет закономерным элементом в устойчивую линию мышления.

И обязательно должны участвовать известные всем лица. Первым таким лицом у узунских кипчаков является бий Балгожа, определяющий единство степи на стыке двух жузов¹. Пусть же от него происходит начало. Другой стороной станет он сам, усыновленный внук бия. Так же, как в айтысе, должен звучать родительский монолог – обращение:

Свет очей моих! Сын мой! Надежда моя!

Я пишу тебе, мыслей своих не тая...

«К тебе обращаюсь, дочка, чтобы золовка услышала». Такова мудрость окоёма. Он не заметил, как исписал до конца лист. Ничего тут не было постороннего, уводящего в сторону от принятой мысли. Содержание, враждебное окоёму, укладывалось в привычную ему форму поучения:

¹Племенные объединения казахов – Младший, Средний и Старший.

Ты, наверно, скучаешь и рвешься домой...
Поприлежней учись, грусть пройдет стороной,
Станешь грамотным – будешь опорой нам,
Нам, к закату идущим седым старикам.
Если неучем ты возвратишься в свой дом,
Упрекать себя с горечью будешь потом...¹

Что же, все правильно. Мудрый бий Балгожа некогда сам предвосхитил свое участие в началах этой педагоги, отправив его в оренбургскую школу. Мать его Айман никак не хотела отпускать его к капирам и жаловалась на бия старшему в семье Кангоже. Через прочих кипчаков и через неисчислимых родичей матери – аргынов вся степь знала про такое противостояние. О нем и рассказывали в лицах: пелись речитативом отдельные послышки Айман-апы и Кангожи, и ответы на них деда. Существовала даже версия, что потому отпущен был он Балгожей к русским, что вовсе и не родным внуком приходится бию. Тут уж дядя Кулубай с дядей Хасеном постарались. Теперь же письмо бия точно ложилось в принятую схему. Как тысячелетней давности айтыс, оно становилось правилом.

Буквы, которыми записал он все, были русские. Так делал он для себя уже давно, со школьных времен. Но как же поступить пока с написанным поучением? Он засунул его в бумаги, сохраняемые все до одной с первого дня, как научился писать. Это было в нем от кипчакской вечности, где всякая исписанная бумага приобретала некое таинственное значение. С незапамятных хазарских времен хранились в кочевьях книги с непонятными уже письменами, и никогда еще не было случая, чтобы в самые тяжелые времена хоть листок был выброшен из особого сундучка, имевшегося в каждом роде. Отдельный свежий конь всегда полагался для него.

¹Алтынсарин И. «Письмо Балгожи к сыну». Здесь и далее подлинники.

Пришел день отъезда Марабая. Как-то быстро и естественно сделался акын своим в городе. Не только в правлении, куда вызвали его, но даже на улице, на базаре и меновом дворе у него появились знакомые, с которыми тот здоровался и находил какой-то свой, особенный язык.

Вместе с Николаем Ивановичем полмесяца записывали они песни и айтысы. Акын терпеливо наговаривал их, а потом убегал куда-то по своим делам. В доме Ильминских он вел себя как бы кипчакским родичем, и Екатерина Степановна, совсем как аульная апай, исполняла его прихоти. Дарью Михайловну он заставлял играть и не отходил от фортепьяно, точно повторяя элегии и романсы. От ударов его тонких, нервных пальцев по клавишам все получалось как-то иначе, музыке передавалась кипчакская порывистость. Она особым образом соединялась с русской мелодией и получалось нечто новое, необычное.

Ему пришлось уехать по поручению Генерала на десять дней в ставку султана Западной части Орды, и тогда Кулубеков помогал Николаю Ивановичу записывать песни Марабая. Акын уже начал скучать.

В последний день они поехали по знакомым. Учитель Алатырцев, отвязав бант, дал акыну гитару:

– Мне она без нужды. Пусть будет памятью об удовольствии общения.

У Ильминских Марабай, не спрашиваясь, сам снял со стены часы с кукушкой. Николай Иванович еще дал ему немецкую музыкальную шкатулку, а Екатерина Степановна – расшитую петухами рубашку. От областного правления акыну подарили самовар с серебряной подставкой. Даже Варфоломей Егорович отдал ему бронзового льва со своей чернильницы. Подарков получилось столько, что пришлось выючить еще одну лошадь.

– Буду каждую осень приезжать, – пообещал Марабай.

Он провожал курдаса верхом до первых линейных постов и долго стоял, пока не скрылась из виду тонкая

фигура всадника в круглой, опушенной мехом шапке. Только эта шапка и осталась на акыне из одежды, в которой тот приехал. На ногах у него были оренбургской моды сапоги. А еще суконные городские штаны, сшитое на заказ пальто на меху, и под ним – рубашка с веселыми красными петухами.

А он ехал назад и все думал, почему так легко случилось у Марабая то, на что самому ему понадобилось десять лет жизни. И вдруг остановил коня посреди дороги, уставившись в точку перед собой. И в нем самом что-то изменил приезд акына. Он понял, что впервые не отделяется в мыслях у него этот мир от мира узунских кипчаков.

Он оглянулся, посмотрел туда, где линия окоёма полукружьем отделяла небо от земли. Тот же мир продолжался там, за линией, куда скрылся Марабай.

16

Когда отпускает он поводья, радостный күй¹ начинает звучать громче. Будто вырвавшаяся из пальцев птица, музыка взмывает вверх, обгоняет скачущего коня, и поет уже потеплевшая, с проталинами земля, дрожит пропитанный паром воздух, стремительно несутся в небе белые хлопья облаков. Однако, не пропадают и иные мелодии. Их бесчисленное множество – новых, неожиданных для него, и они теснятся, звучат сразу все, вплетаясь время от времени в күй, живущий в нем от рождения.

Не только мелодии, но запахи из города остались с ним. По-особому пахнет черная глянцевая кожа сапог, сукно орысского чапана-пальто, петушиная рубашка, даже самовар имеет другой запах. Медь, плавленная в степи, пахнет резче, и кисловатый привкус остается от нее на губах.

¹Жанр казахской музыки.

Въехав на пригорок, оборачивается он назад. Провожавшего его курдаса уже не видно. Все боялся чего-то внук узунского бия и смотрел на него с настороженным вниманием. Но как только увидели они друг друга, то вспомнили, как играли в асыки на берегу Алтын-коля. До сих пор должен тот ему двенадцать проигранных костей...

Сразу понял он, отчего волнуется курдас. И пройдя в дом, побыстрее посмотрел в лицо человека с большим лбом и закрученными возле ушей волосами. Какая-то тяжесть значилась в серых спокойных глазах, но лицо было светлое. И күй продолжал звучать, не прерываясь.

От рождения это было в нем. В пять лет начал он беспокоиться и кричать, показывая руками в сторону. И когда поехали туда, увидели за холмами раненого джигита. В день, когда умер его отец, он вместе с дядькой Ерназаром находился на тое у танабугинцев, в девяти днях пути от своего кочевья. И вдруг бросил играть, закрыл лицо руками. Как раз в это время дня умер отец. Если пропадала лошадь, приходили к нему, и он рассказывал, где она сейчас. Как это получалось у него, он сам не знал. Просто думал, не видя и не слыша ничего вокруг, а потом начинал говорить.

С людьми не приходилось даже думать. Тоже пять лет было ему, когда в кочевье заехал длиннорукий человек с редкой бородкой и тихим, журчащим голосом. Едва гость повернул лицо в его сторону, он громко закричал:

– Кара-бет... Кара-бет!¹

Длиннорукий дернулся, стал спиной отступать к нерасседланному коню. За ним погнались и сшибли соилом на землю где-то за озером. Оказался это известный хивинский разбойник Девлетбай, который в ту ночь зарезал трех людей, едущих на ярмарку.

¹Черное лицо.

Так оно и было. Когда смотрел он на нехорошего человека, лицо у того начинало чернеть. Никто, кроме него, не видел этого. И еще игравшая всегда в нем музыка вдруг прерывалась, нарушался такт, слышался какой-то скрежет.

Он удивился, увидев курдаса в темной, с блестящими пуговицами одежде и чужими волосами на голове. Что-то еще переменилось в лице внука узунского бия. Но было оно, как вода в Золотом озере, когда играли они в асыки. Музыка зазвучала громче. Лишь некое волнение прочитал он в глазах друга.

И лицо человека с широким лбом не потемнело. Чуть-чуть улыгнулись серые холодные глаза. Только ему дано было это увидеть, и повернувшись к курдасу, он сказал:

– Жаксы Жанарал!¹

Он сразу понял, что внук узунского бия показывал ему людей и ждал оценки. Как только вошел крепким шагом еще один русский человек – высокий, с резкими движениями рук, он и на него начал смотреть. Тот удивленно оглянулся. Открытым было твердое скуластое лицо. Даже места там не было, чтобы таиться чему-то недоброму.

– Жаксы адам!²– сказал он уверенно.

За спиной у Генерала висел нарисованный краской человек с усами и тоже закрученными по краям лба волосами. Расшитые золотом шнуры тянулись через всю грудь, кругами укладывались на плечах. На шее и груди было навешано у него много золота, только лица у этого человека совсем не было. Он пожал плечами.

Из этого большого, сложенного из камней дома, как сказал курдас, управляли казаками в степи. Он пошел, заглядывая во все комнаты. Там сидели люди в темных с пуговицами одеждах, но лиц у них не было. Будто и они были нарисованы, так что ничего нельзя было разглядеть. Пахло деревом и чем-то едким, знакомым. Так пахнет весной от сурчиных нор.

¹Хороший генерал.

²Хороший человек.

Лишь в одной комнате сразу увидел он старика с большим синим носом и опущенными книзу краями рта. В худом, подвижном лице была застарелая злость, но он засмеялся, потому что понятен был ему этот человек. Нисколько не был тот злым, а лишь вид такой напускал на себя. Старик даже растерялся, застигнутый его взглядом. Он подошел, погладил рукой заляпанного синими пятнами медного льва-ширгазы на столе.

Кюй продолжал непрерывно звучать. У хозяина дома, в который они потом пришли, глаза были как теплые голубые камни, которые оберегают от злых духов. А между стенами в углу висел русский бог, про которого рассказывали ему. Не бог это был, а пророк Иса, признаваемый правоверными. Ясно виделась снизу темная доска, лицо и руки казались ненастоящими, но был это совсем живой человек. Зачем же сделали орысы из него бога?

Какая-то связь была между хозяином и нарисованным на доске богом. Он сразу ее увидел и когда спросил об этом, хозяин дома привлек его к груди. Потом явилась апай с таким же ясным лицом и стала смотреть на него, как все другие женщины в аулах.

Здесь ему все было понятно. Он осмотрел дом: как живут и где спят русские, какие у них подушки, одеяла. В комнате у хозяина все было казахское: седла, уздечки, даже курук¹ стоял в углу. Он понял, что человек с голубыми глазами собирает это, чтобы показать другим русским, как живут казахи. Это ему больше всего понравилось.

На улице послышался звучный женский голос, сразу выделившийся из других голосов. Он все прислушивался к нему, и когда апай позвала их в комнату для гостей, увидел круглолицую, с чуть вздернутым носом женщину с приглаженными на две стороны светлыми волосами. Ему даже захотелось подойти и потрогать ее шею, откуда выходили такие певучие звуки.

¹Шест с петлей для отлова лошадей из табуна.

Он перестал вдруг слышать дыхание курдаса, оглянулся, потом посмотрел на женщину, которая возилась с детьми, и рассмеялся. Ничего не сказал он сыну узунского бия. Лишь когда вышли на улицу, остановился и протянул:

– Дед Ма-ароз... Ма-ашенька.

Курдас смешно втянул голову в плечи.

В следующем доме, куда они пришли, сидели за столом семь человек. Одного – с резким движением рук, он уже видел у Генерала. Ни у кого из них не было плохого лица.

На стене висела орысская домбра и почему-то ленточка была привязана к ней, как над могилой святого человека. Он отвязал ленточку и дал домбру в руки сидящему напротив орысу. Еще тогда, у Генерала, различил он, что этот человек занимается музыкой. Не на уши для этого надо смотреть, а чуть повыше глаз.

Русский, медленно трогая струны тяжелыми пальцами, начал играть. Хоть никогда не слышал он такой музыки, все было понятно. Кто-то звал девушку прийти к нему. Взяв назад орысскую домбру, он сыграл то же самое. Струн было больше, но это не мешало ему.

Опять и опять играл он вслед за орысом, и все понятней делались эти люди. Потом он заиграл кюй. Они слушали сначала с недоумением, но лица оставались светлыми. Совсем как казахи закачались они из стороны в сторону. А он вдруг включил в кюй мотив услышанной только что русской песни. Совсем ошеломленные сидели они, не догадываясь ни о чем. Курдас тоже так ничего и не понял. Это была уже его тайна музыканта...

Сначала вместе с внуком узунского бия ходили они по городу. Что-то произошло с курдасом, и не такой он стал, каким был у озера. В домах, куда они заходили, давали им деньги или хлеб, а внук бия отворачивался или опускал глаза. Орысы, особенно старые люди и женщины, делали это так же, как и казахи. Между тем

в ауле курдас взял бы еду из руки любого человека. Это происходило, наверно, от одежды с блестящими пуговицами, и он стал ходить по городу один.

Теперь он знал все на базаре, на меновом дворе, на конном рынке, все дома и улицы. Нисколько не чувствовал он себя стесненным среди орысов. Были они обыкновенные, и злость, жадность, хитрость, доброта виделись сразу. В разговор вступали они, даже не спрашивая предварительно, как здоровье и как идут дела.

На второй день он подрался на конном рынке с приказчиком. Тот сорвал у него с головы шапку и бросил в сторону. Тогда ногой сделал он палуанскую¹ подсечку. Приказчик вскочил на ноги и схватил деревянный кол, но другие орысы не позволили драться дальше.

– Он тебя по-честному, Егор Васильевич. Сам малого зацепил, – говорили вокруг и смеялись. – Вон какой щуплый, а самого Гундарева повалил!

Он все понимал. А через день приказчик подошел к нему, похлопал по плечу:

– Ну, ты не серчай. Давай по-новой!

Они опять боролись, и он показал орысу, как, приседая вдруг, делать такую подсечку. Даже верблюда можно так свалить на землю. С того времени он совсем свой сделался на рынке. Да и в других местах его знали. Был он в слободской мечети, ходил в русскую церковь. На него смотрели благожелательно. Орысы пели хором плавные, успокаивающие песни. Бог Иса и женщина с ребенком печально смотрели на людей.

Даже на большой двор к солдатам он заходил. Его не хотели пускать, но потом вышел старший из них, с седыми усами:

– Да это ж киргиз странной, что ходит кругом. Пусти его, Вальчук, нехай посмотрит.

Он понимал, не зная слов. Солдаты учились длинными ружьями колоть травяные чучела. Точно так

¹Силач, борец.

джигиты в кочевьях кололи пиками подвешенные к шестам камышовые жгуты. На солдат кричали, подталкивали в спину. У них были усталые лица, и без злости втыкали они в траву отточенное железо.

Он не знал, о чем будет петь Генералу. Может быть, праздничные песни или айтысы, где перепируются между собой известные в степи люди. Так объяснил ему курдас, но было видно, что тот чего-то не договаривает. Настоящий акын сам видит, о чем следует петь людям, которые собрались его слушать. Внук узунского бия понимал это и ни о чем не просил.

Почти все собравшиеся у Генерала были ему знакомы. Из новых людей сидел в углу грузный казах в малиновых штанах, с важностью приветствовавший его. Принесли блюдо с баурсаками и кумыс. Он без всякого чувства взял в руки домбру, ощутил холодное гладкое дерево. Все еще не знал он, что будет играть.

И вдруг будто лопнули невидимые струны. Непрерывно звучащий в нем кюй оборвался на лету, послышался жесткий звук. Чей-то недобрый голос появился за стеной. Весь охваченный тревогой, не отводил он глаз от двери.

Вошел орыс в такой же точно одежде, как у Генерала. Даже серебряный крест на шее у них был одинаковый. Ничего нельзя было разглядеть в лице вошедшего. Орыс сел с правой стороны, начал говорить, и тут лицо его стало быстро чернеть, превращаться в сухой холодный уголь. Никто, кроме него, не видел этого. И тогда, показав рукой на вошедшего Кара-бета, он крикнул, что не будет петь.

Потом он закрыл глаза, но все видел. Лицо у Генерала сделалось совсем светлым, и такие же твердые светлые лица были у других орысов. Они молчали, а Кара-бет кричал, пока не рассыпался в прах. Бегущие шаги его слышались за стеной, скрипело железо о снег. И когда все стихло, опять в нем заиграл кюй. Он схватил

горячую ручку домбры, дрожь в пальцах передалась струнам.

Он уже знал, что им все можно петь. Самый тайный разговор с предками, который игрался лишь наедине, беспрепятственно звучал в каменном орысском доме. В лице курдаса он увидел радость.

Песню горя – «Зарзаман» он пел, которую лишь раз в году полагалось исполнять акыну. И еще любимую свою песню – о Кобланды. Потом он пел, не останавливаясь, айтысы известных акынов, послания живших в разные времена жырау¹, праздничные песни...

Привстав на стременах, он пытался разглядеть что-нибудь за полукруглой линией, где небо сходится с землей. Но курдаса уже не было видно. Однако линия не мешала ему. И он видел за ней внука узунского бия, едущего назад на серой лошадке. Различал он дома, улицы, лица людей. Там, где однажды он пел, считалась его земля. Такое было правило среди акынов.

17

– Вот, кстати, господин Алтынсарин!

Учитель Алатырцев называл его по-разному, но всегда на «вы», с первого класса школы. Это нравилось ему. Только в коротких случаях, между очень близкими людьми, говорилось «ты». В доме Ильминских так его звали – Ибрай...

Здесь, как во всем городе, говорили о курдасе его – акыне Марабае. Вчера только слышал он, что озверелый киргиз не одним словом, но и действием оскорбил действительного статского советника Красовского. Евграф Степанович едва спасся, тот приступил к нему с кривым ножом. А генерал Григорьев укрыв разбойника, желающего по методу Шамиля объявить России священную войну.

¹Сказители.

– Все это, надо полагать, досужая болтовня, господа,– сказал сосед учителя Алатырцева коллежский советник Куров.– Однако же достоверно известно, что призванный из степи киргиз с потворствования и даже одобрения генерала Григорьева исполнял в его присутствии превратные песни. Так, в одной из них говорилось о призыве к защите Казани против русских, когда осадил ее государь Иоанн Васильевич. Перечислялись в поименно киргизские батыры, поспешившие туда на этот призыв. Согласитесь, господа, что в сей ответственный момент, когда России предстоит продвинуть свои границы в глубь Азии...

– Кто ж это так подробно доложил?– спросил капитан Андриевский, хмуро почесывая щеку.– Вовсе немного нас там присутствовало.

– Имеется свидетельство члена пограничного правления господина Токашева. К тому еще Евграф Степанович обратился с письменным вердиктом об оскорблении и неприятии должных мер со стороны Василия Васильевича в защиту русской чести.

– Сожрать Василия Васильевича этот мухомор давно желает и место прибыльное при том приобрести,– резким, простуженным голосом сказал командир топографической роты майор Яковлев.

– Что ж там прибыльного, в управлении киргизами?– удивился поручик Дальцев.

– Наивная душа ты, Владимир Андреевич. Да одни таможни сколько дадут ловкому человеку. Не говоря про киргизов, что друг с другом никак мира не поймут. Уж Красовский на сей счет промаху не даст. А сила за ним определенная имеется. Все про то знают.

– Какая такая сила?

Яковлев промолчал и еще больше нахмурился. Другие за столом под недоуменным взглядом Дальцева тоже отводили глаза. Знакомая тень прошла по лицам.

Капитан Андриевский сцепил перед собой на столе пальцы рук, так что они хрустнули:

– Только не представляю, к чему же тут Казань. Обычная, как понял я, историческая песня о батырской лихости. Вроде наших казачьих былей. Коль думаем принудить татар с собой вместе взятие Казани праздновать, то пустое это дело. Естественно, татары поют про это свои песни. Главная задача – дать понять им, что все то прошлое, бывшем поросло, и вместе идти нам в грядущую цивилизацию. Но ежели запрещать им свои естественные былины петь да еще про Мамаево побоище всякий день напоминать, то как раз другого результата достигнем.

– Думаете, капитан, того Евграфу Степановичу хочется, чтобы истинная русская честь соблюдалась?– Яковлев с привычной для него строгостью смотрел на Андриевского.– Нет, тут именно удобный момент бесчестному человеку воду замутить. Вот, мол, она, крамола – лови, хватай! Легче всего на русском чувстве общество остервенить. При этом так и смотри: кто больше об отечестве кричит, тот, значит, из кормушки больший кусок своровать хочет. Навидались мы тут на границе таких патриотов. Мы, старожилы, почему-то и с башкирами, и с киргизами, и с татарами хорошо живем. Ну бывает кое-что, так то между соседями. А тут явится этакий чистеблуститель, и давай зудить. Нет, господа, я так думаю, что отечество, как и женщину, порядочные люди молча любят. На всех углах о том не кричат.

– Отечество... Понятие скорей духовное, чем политическое.– Учитель Алатырцев в задумчивости развел руки по столу.– Незабвенный гений наш, провидя свою роль в сем будущем процессе, сказал: «и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Думается, господа, будущая нация русская продолжает еще складываться, природно приближая к себе исторически близкие народности. Вне зависимости от расы или сходства в корнях. В том сила русская. А славянофилы наши, особенно их крайняя, московская часть, все в колокола звонят: даже слова татарские

хотят из русского языка выбросить. Впрочем, также и малороссийские. Можно ли тащить Россию назад, в Московское княжество. Да и так ли там все благостно было? Дыба – она ведь не из Испании привезена.

Куров, который все ерзал по стулу, начал возражать:

– Почему же так однозначно мыслите, Арсений Михайлович. Славянофильское мировоззрение суть движение русской души.

– Ну какой же вы, господин Куров, славянофил? – Андриевский, не терпевший соседа учителя Алатырцева, с откровенной насмешкой смотрел ему в лицо.

– Почему же... Мое мнение определенное в этом вопросе.

– Вы просто-напросто коллежский советник Куров, и все этим сказано. А начальство хоть и журит порой старомосковских патриотов за излишнее галдение, все ж благоволит к ним. Как-никак дыба – вещь основательная, не то что превратные мечтания об общей сытости. Как-то так и случается, что славяфилы обычно у естественного пирога обретаются. Почему-то движение души всегда совпадает у них с видами начальства. Придут завтра какой ни есть породы якобинцы к власти, так вы опять при них славянофилами станете. От пирога вы не отойдете, это уж точно.

– Помилуйте, какой такой пирог... Извольте объяснить, господин Андриевский!

– Что тут объясняться. Слышно, вас в статские готовят. Именно вас, а не кого другого. И орден во благовремение. Всякие пироги имеются в благоустроенном государстве. Да сами вы между собой особливые привилегии для себя корытом именуете. Значит, понимаете, кто вы есть в глазах отечества.

– Это беспорочная служба, сударь. Служить надо без всяких замечаний. Да-с!

У Курова побагровела шея, он откинулся на спинку стула. Такие споры всякий раз происходили здесь. Но сегодня все кружилось вокруг дела с Марабаем. В день, когда произошла история, действительный статский

советник Красовский потребовал ареста акына, будто бы оскорбившего его. Потом прибавился донос бия Токашева о подстрекательских песнях, тоже по инициативе Красовского. Управляющий Областью оренбургских киргизов генерал Григорьев категорически воспротивился применению каких-либо мер к призванному им акыну. Потому и послал Алтынсарина сопровождать Марабая до линейных постов, чтобы не вышло какой провокации.

Учитель Алатырцев развивал свою мысль:

– Можно ли созидать будущую Россию идеями Калиты? Мономахова шапка ведь не просто предмет одежды. Двухголовый имперский орел подразумевает слияние в одно целое самых широких и разнородных элементов Востока и Запада. Увидев, что демонстрационно вычеркивают их слова из языка русского, не станут ли те же татары замыкаться в свое казанское прошлое. И коль придавать современную политическую оценку к их поведению в туманах истории, то значит самих их провоцировать к подобной оценке. Тот молодой киргиз и в помине не имел нас, сегодняшних русских, когда пел о своих батырах, едущих в помощь Казани. Уж одно то следует сообразить, что нам он это и пел. А вот как посадить его в острог за эту песню, то сразу всю степь подтолкнуть на лукавый взгляд в сторону прошлого. Какой еще больший вред можно причинить России, предназначенной ей историей функции соединения народов. В ответ на старомосковские крики о Мамаевом побоище они тут же Калку представляют.

– Так за душой больше ничего нет, оттого и кричат, – мрачно пояснил Андриевский. – Весь капитал-то у них – любовь к отечеству. Как у женщин известного поведения. Построчно берут за эту любовь. Хуже не то, а что тема святая. Тут и честный человек слушает-слушает, да очумеет от их криков, туда же бросится. Что лучше для вора, когда все кричат и никто ничего не понимает.

– Вот, может быть, господин Алтынсарин скажет что-нибудь по этому поводу,– предложил поручик Дальцев.

На него смотрели с интересом. Учитель Алатырцев положил перед собой на стол руки, как всегда это делал в школе. Капитан Андриевский, еще не остывший от спора, по-казацки держал тело чуть боком, будто готовясь к рубке лозы. Коллежский советник Куров, в общем неплохой-то человек, обиженно моргал ресницами. Майор Яковлев, с седыми висками, строго, в упор смотрел на него. Да, он скажет все, что думает. Им он должен сказать. Уставившись в точку по своему обыкновению, он помолчал и поднял голову:

– Думаю, господа, все пойдет натуральным путем. Киргизы, как и все прочие народы, сами по себе лишены чувства исторической злобы. Такое чувство обычно навязывается, вынуждается сторонними действиями. Единственный возможный путь у киргизов в будущее соединен с Россией. Сама природа русского характера такова, что способствует этому приближению. При том важно лишь одно обстоятельство. Пока у России есть вот такие книжки и журналы, как у вас в ящике, Арсений Михайлович, пока Гоголь есть, все прочие народы, включая киргиз, с доверием приходят к вам. И еще пока все вы, господа, говорите с неудовлетворением о себе, видите себя с различных сторон. Покуда есть это, и порыв исторический России в помощь другим народам оправдан... Если же вот такие, как Евграф Степанович, возьмут верх... Не его только имею в виду. Такие люди, как вы знаете, и в обществе, и в литературе есть. В одних лишь превосходительных степенях про Россию пишут, да волком при том во все стороны глядят... Вот если они возьмут верх, да вас всех заставят молчать, то естественно начнут отходить от России народы...

У нас таких людей называют «Кара-бет» – человек с черным лицом. Что же может дать киргизам такой Кара-бет? Взятки, лизоблюдничанье, ползание на животе с обязательным возвеличиванием того, кто на

троне, без малейшего права наблюдать недостатки и даже говорить о том. Да еще патриотическим делом считать столь несвойственное человеку поведение. Так у нас самих от времен Чингисхана такого наследства предостаточно. Зачем на стороне учиться... В том же, чем живет подлинная Россия, господа, киргизы всегда будут с ней вместе.

Сыроватый, пахнущий весной ветер обдувал разгоряченное лицо. Глаза быстро привыкли к сумраку. В соседнем офицерском доме громко стукнула дверь, матерная ругань выплеснулась в пустую, грязную от стаявшего снега улицу. Плакала как всегда, женщина.

– Безобразничают-то ингульцы!– сказал в темноте простуженный голос.

Он обернулся и увидел майора Яковлева, по-видимому, вслед за ним ушедшего от учителя Алатырцева. Тот стоял чуть в стороне, и табачный запах от трубки доносило ветром. В доме учителя, страдающего грудью, курить воздерживались.

– Тоже жизнь пехотная у них.– Яковлев хотел что-то объяснить.– С седьмого часу утра на плацу. Кричит весь день, руками машет. Затемно вернется, примет очищенной – и до ночи в карты. Собачья, можно сказать, жизнь. Какой может быть у него человеческий разговор. С солдатом и с женщиной – одинаково он...

В офицерском доме утихомирились, в окнах погас свет. Командир топографов медленно пошел по краю сухой дорожки, уступая ему другую половину.

– Вы, Иван Алексеевич, давеча правильно говорили. Природа русская не злая. Самая простая и душевная она, можно сказать. Только лихости, беззастенчивости порой в ней слишком уж достаточно. Многие за хорошее это принимают, гордятся даже буйством своим. А выходит одна только беспорядочность. Думает: вот, мол, любо-хорошо все от природы как получится, а дело беспрерывно слезами кончается. Я, например, думаю, что великий наш государь Петр

правильно сделал, надев узду на эту природную лихость. Однако и сам он той же лихостью был обуреваем. И под уздой, под законным мундиром все та же безоглядная натура у нас играет. Нет, тут человека надлежит взять во внимание, в нем самом следует божий вид находить. Основа-то хорошая. А тогда, от человека, и к правде можно приступать. У нас же все норовят от правды к человеку. Любому эскадронному командиру все тут ясно представляется. Это еще недоброй памяти граф Алексей Андреевич Аракчеев инженерным гением человеческого счастья в этом смысле выступил...

С рождественской елки у Генерала многие и взрослые, кто мало знал его раньше, стали звать его Иваном Алексеевичем. Майора Яковлева в городе уважали, и ему приятно было слышать, как тот принял его слова. Они вышли на Большую улицу, встали на углу. Командир топографов смотрел в южную сторону, откуда ветер порывами приносил тепло.

– В позапрошлогоднее лето, если изволите знать, был я в Бухаре. С миссией полковника Игнатьева¹. – Яковлев разжег потухшую было трубку, попыхал ею. – Примечательная история как раз при нас там произошла. Я-то по службе своей не впервой там. Еще в сорок первом с Николаем Владимировичем Ханьковым², в посольстве Бутенева³ участвовал, так что бухарское общественное устройство было мне отчасти известно. Почти при мне там двух англичан освежевали и на стену вывесили. А вот командир мой Николай Павлович Игнатьев, человек вовсе молодой, только Академию Генерального штаба закончил. Да и веяния последние годы пошли у нас такие, что все больше закон во главу угла ставят. Так оно и несколько необычно для него показалось...

¹Игнатьев Н.П.(1832-1908) – русский дипломат и государственный деятель.

²Ханьков Н.В.(1819-1878) – русский ученый-востоковед.

³Бутенев К.Ф. – горный инженер и дипломат.

Обитали мы там как раз возле дворца тамошнего мирзы – губернатора, на подворье. Вельможа перво-степенный по бухарской табели. Ну, вроде петербургского генерал-губернатора. К тому ж заслуги большие. Однако ж не угодил вдруг чем-то Насрулле-эмиру. Писари их стороной сказывали, что взгляд того утром не понравился. Это на Востоке принято. «А ну-ка, посмотри мне в глаза!» – сказал эмир, а тот возьми и моргни не ко времени. Взяли любезного, халат сорвали, и палками. После чего – в волчью яму.

Едва позавтракали мы, слышим шум, вопли. Выходим на подворье, а со стены дворца мирзы отрубленные головы как арбузы катятся. Всех родичей его, охрану и прислугу порешили. В доме же у мирзы поселили другого вельможу, показавшегося Насрулле лучше прежнего. И двух часов дело не заняло. Вот Николай Павлович и расстроился. Да как же с ними, говорит, какой-нибудь договор подписывать, если внутри у них полная свобода перед законом. Они и договор ни за что посчитают.

Даже у законника ихнего – факиха – полковник справился: как, мол, так, без суда и расследования важного человека жизни лишили. «Наш эмир, – отвечал факих, – не просто государь, а еще блюститель веры. Какой человеческий закон может считаться крепким перед верой. Слово эмира потому выше всякого суда».

Он не знал, где живет майор Яковлев, и шел с ним медленно по Большой улице, потом вместе с ним повернул обратно. По-видимому, тому не спалось.

– И про бахвальство правильно вы изволили сказать. Есть то в простоте души... Да и пословица русская о том: «Дурак сам себя хвалит». Только, доложу я вам, совсем не простое это дело. Был в Торжке, откуда родом я, когда-то Елисей блажененький. На паперти, как всякий божий дурачок, обретался. Так вот, мерзавцы тамошние, из нищей братии, слабость его использовали. «Ах, какой ты умный, красивый, лучше всех в целом свете!» – говорили ему. И повторять

принуждали: «Я, мол, самый умный, самый великий, любуйтесь на меня!» Дурак и рад. А пока он говорил, закрыв глаза в самозабвении, те суму его очищали, что по крохам добыл.

Так и с народом поступают. Как, говорили вы, таких людей среди киргизов называют: кара-бет? Вот они самые у нас этим и занимаются. А дурак себя хвалит, да-с!

У майора Яковлева к концу всякой речи слышалась раздражительная строгость в голосе, будто спор какой опровергал. Несмотря на ворчливый характер, подчиненные уважали его. Знали еще, что ни грамма от солдатского довольствия не уходило в сторону в топографической роте. Между тем, несмотря на выслугу лет, только недавно получил тот майорский чин.

Они подошли, наконец, к дому при палисаднике в боковой улице.

– Благодарствую за то, что проводили, Иван Алексеевич. – Майор Яковлев спрятал потухшую уже трубку, сказал отрывисто: – А про то не сомневайтесь. Русская душевность не позволит себе исчезнуть. Уж кто ни старался...

С улицы видно было, как зажглась свеча за ставней крыльца. Наверно, проснулся денщик. Командир топографов жил один. Жена его уже несколько лет как умерла, сыновья находились в кадетском корпусе.

Что же сказал ему в конце Яковлев?.. Да, действительно. «У лукоморья дуб зеленый...» Какая же сила таится в этом?

Опять Семенов натопил, хоть хлебы пеки. В сенях уже жарко. В который раз дураку говорил, чтоб не топил до помрачения. Одно отвечает: «Так что, Ваше высокоблагородье, все в пустынях службу проводите – к человечьему жилью сделались непривычны». Грубит, каналья. Впрочем, от доброго ко мне отношения. Грех на него жаловаться. За десять лет при мне совсем

освоился. Хуже было бы, когда б искательно объяснялся и воровал при том. Искательные люди обязательно воры. Для чего же и искать им тогда у другого человека...

Знаменательный сей молодой киргиз. Уж двадцать лет среди них обретаюсь, да и подальше ездил, а тут нечто выходящее из ряда. Вот и мундир статский на нем, чисто по-русски изъясняется, даже и Иван Алексеевич, а до самого дому довел. И выслушивал все беспрекословно. Подлинные киргизы с трогающей предупредительностью к старшим людям относятся. Именно не по службе, но от истинного воспитания души.

А то сколько ни видал их в службе: в статской или в военной, так в сторону своих уж и не смотрят. Даже говорить о том не хотят. Этот же, напротив, все к киргизам свел. Сразу видна истинная частность. И к России в высоком смысле хочет быть привержен, а не... в карабетовском. Вот уж точное слово, лучше не определишь.

Эти все, что у учителя Арсения Михайловича собираются, философию разводят. Славянофилы там, немецкое влияние, эмансипация. Отсюда и на Россию смотрят. А вот скажи дураку Семенову такие слова, так он и рот откроет. Еще в ухо съездит, ежели кто со стороны произнесет. А вместе с тем в нем, Семенове, и коренится, быть может, подлинное русское чувство, про которое разговор был. Для нас оно привычное, само собой разумеющееся, а киргиз его глубже увидел. Он и с недостатками принимает его, не в идеальном виде. Готов в одном строю за то сражаться. Тем более, что недостатки и темные углы, как видно, родственные, что касается карабетов. С достоинством киргиз. Это лучше, чем другой какой, который прямо так-таки Иваном себя назовет и ждет от того похвалы от исправника.

Покуда господа начинают удивляться, Семеновы уж двести лет с инородцами язык находят. В том и состоит его чувство, что своим карабетам не поддается. Сколько ни будут они искушать его, что, мол, самый великий он из прочих людей, ничего у них не выйдет.

Все одно в Семенове правда перед богом о всех людях одна живет. Он и кричит, может быть, как его учат, а внутри твердо лукавство от правды различает. Вот и киргизы это тонко чувствуют.

Там, куда Россия сейчас вступает, все наглядно. Бухарским карабетам и лукавить-то ни к чему. Раз вера над законом, то темным людям раздолье. Всякий мирза, каждый будочник у ворот закон преступает. В пользу веры объясняет он такое поведение. Какой последний злодей и душегуб не считает себя правым в своих действиях. Вера-то – вещь эфирная, ее для себя куда захочешь можно повернуть.

Вовсе от людского образа отучает таких жизненная практика. Даже вида не делается – прямо лицом в пыль бросается человек. Никаких других человеческих чувств, только деньги и кнут имеют силу. В России-то хоть вера над законом не стоит. Это уж бухарское достижение. Самое тяжелое положение, коли так случается. Вовсе конец приходит тогда стране и людям.

В том и состоит предназначение России, чтобы законность ввести в азиатский обиход. Хорошее там или плохое Российское государство, а все ж государство. Нельзя ни с того ни с сего человека зарезать со всеми близкими, как того мирзу. Случались, правда, и в нем всякие истории, так то в минувшие времена. Бухарство к нам уж никак не вернется.

А люди, что ж, везде они люди...

Словно от далекого детства явилась уходящая к горам долина, даже сладким дымом запахло. С возвышения виден было, как женщины во дворах затапливали очаги. Солнце уже ушло, и дым вместе с пылью от стад вплетался в теплый, все больше синеющий воздух. Явственно доносился за много верст скрип запоздавшей арбы да козьи колокольцы. Мир был на земле. Матушка читала про это из детских лет Спасителя...

Когда молодым еще офицером, стоя на рукотворном холме под Самаркандом, увидел он сады, глиняные

переплетения заборов, кизячный дым с пылью в темнеющем воздухе, то сразу узнал все. И люди в узких улицах и на базарах будто бы явились из божьей книги.

А потом приходил он к синему Гур-Эмиру, где посредине этой мирной долины, среди садов и звуков козьих колокольцев успокоился буйный Тамерлан. Детские голоса звенели совсем рядом. Босоногие мальчишки и девочки в ситцевых шароварчиках с тысячами косичек на голове бегали за большим домашним бараном. Видно, выросший вместе с ними, тот бежал то в одни, то в другие ворота, убежал за поставленную вверх дышлами арбу с огромными колесами или вдруг оставался, делая угрожающий маневр рогами в их сторону. Они с визгом отступали и снова со всех ног принимались бегать за ним, поднимая теплую пыль. Седобородые старики в белых одеждах молча смотрели за их играми. Казалось, стоит войти в одни из этих ворот, и в полутьме двора увидишь в яслях младенца...

Потом после кокандского набега увидел он сгоревшие и порубленные сады. Черный прах вился над долиной, и одичалые псы бродили стаями, выискивая что живое. Лишь Гур-Эмир сиял посредине нетронутой голубизной...

Но больше от Авраамовых времен стоит в глазах вид ровной степи с теряющейся в камыше речкой и круглой войлочной юртой при ней. Старик с дубленным на солнце лицом несет ягненка. Верблюды невядалеке мерно жуят что-то, глядя в плывущую волнами даль.

Тут провел он свою жизнь, принеся с собой измерение в бесконечность божьего покоя. По всей степи стоят теперь его трехногие знаки, уже почернелые за двадцать лет. Когда сидел он у киргизского костра и лишь небо с землей были вокруг, то казалось нет никакого другого мира. Только снились ему рубленные избы хвойный дух от подступившего леса и видные надо всем маковки церквей. Он и понимал киргизов, хоть по-ихнему редко говорил. Да и они привыкли к нему, считая таким же атрибутом степи, как ближай-

ший курган со стоящим при нем балбалом¹. Еще много лет назад разбойники от Кенесары не тронули ни одного поставленного им знака. Да и его с солдатами не трогали, хоть проезжали мимо...

Трудновато стало в поле работать. Пока молод, то только к радости выездка в степь. Теперь что-то и солнце невыносимей палит. Ноги уставать стали. В топографической службе у офицера, что у солдата, одинаково должны в порядке находиться ноги. Видать, полевой сезон впереди для него последний.

Только что же предстоит потом делать? В отставку уходить да уезжать в Торжок? Так там, почитай, не осталось ничего. Сестра-девица при доме живет, но прошлым летом писала, что валиться все начало. Ей, бедняжке, тоже при ком-то жить надо. Да и Гришу с Левушкой на первый случай придется содержать, как выйдут в офицеры. Чтобы Лизаньке на небесах было за них спокойно.

И от России он вовсе отвык. Как бы и родился тут, в кайсацкой степи. Что же, одно остается – подавать рапорт о переводе из топографов в отдельный корпус. За выслугой лет приищут ему место. Пусть на линии, не в Оренбурге. Оно еще и лучше – подальше от начальства...

19

Они ничего еще не говорили, а он все понял. Слезы вдруг подступили к глазам. Но плакать ему было нельзя. Азербай и еще два аксакала от узунских кипчаков сидели с замкнутыми скорбными лицами. Было тихо, и лишь кони, на которых они приехали, всхрапывали на городской улице, привязанные к дереву. Два сопровождающих стариков джигита сидели на корточках у порога. Одного из них он узнал – это был сын погибшего в барымте Нурлана Каирбаева. Тогда тот был маль-

¹Древнее каменное изваяние.

чиком, а теперь раздался в плечах и со сросшимися бровями на широком лице стал похож на отца...

Бий Балгожа умер к вечеру от всю жизнь мучившей его водянки. В последние дни он и говорить не мог. Со всей степи съехались люди на поминальный той. Были также родичи-аргыны. Лишь добром поминали покойного. Внуку узунского бия, которого тот держал у своего колена, следует возвратиться в родной дом. Как там дальше будет – знает бог, но место ему обозначено. Тем более, что, как и старый бий, носит он царскую одежду с серебряными пуговицами и знает все оренбургское начальство...

Вместе с аксакалами ходил он в соборную мечеть, молился в память покойного деда, соблюдал траур. Генерал выказал ему соболезнование. Видя, как уважительно говорит с ним сам Генерал, старики со значительностью переглядывались, еще больше укрепляясь в своем мнении. Надо было прямо сказать им обо всем.

Нет, не может он сейчас поселиться среди своих родичей – узунских кипчаков, тем более претендовать в будущем на место бия. Нет в нем особых качеств, необходимых для управления людьми. К тому же выбрал он для себя другой путь. Предстой ему учить детей в одной из школ, что должны открыться осенью. Будет эта школа в русском укреплении на Тургае, та, что ближе всего, расположена от летнего местонахождения узунских кипчаков. Пусть же выделяют от себя пять мальчиков не старше десяти лет и отправят, когда позовет он, в эту школу. Мальчики будут жить при нем и кушать с ним. Простой и крепкой одеждой пусть снабдят их родственники.

Теперь ему нельзя еще ехать, чтобы побывать на могиле бия Балгожи, а также распорядиться домом и оставленной ему частью скота. Приедет он, как только решит здесь все дела. Мать и бабушку заберет с собой на Тургай.

Аксакалы молча слушали. Не принято было в чем-то разубеждать или уговаривать взрослого человека.

Вместе с ними Генерал отправил на Tobол двух чиновников для присутствия при избрании нового бия – управляющего родом узунских кипчаков.

Дело с утверждением его и трех других учителей в киргизские школы рассматривалось, а он не хотел уж возвращаться назад с Тобола и ждал договоренного с Генералом назначения. Николай Иванович, так и не знающий об его скором отъезде, был где-то на Уральской пойме по делам службы.

Все усложнялось. Еще месяц назад, перед тем как ехать на линию, горел он мечтой увидеть Петербург. Всякий год ездила туда депутация биев и значительных людей от разных казахских родов, смотрела столичные диковины, представлялась царю и министрам. Вполне и он мог поехать при ней толмачом. Прежде всего почему-то виделось ему лукоморье и громадный зеленый дуб. Он понимал, что все не так, но никак не мог избежать этой впитанной им еще в школе мысли.

Николай Иванович научил его просить Генерала о рекомендательном письме в Петербург к другу того – Вельяминову-Зернову, изучавшему кайсаков. Тот покажет все ему и сведет с такими людьми, от которых многому можно поучиться. Теперь же дело менялось. Нужно было ехать на Tobол, а оттуда к Тургаю. Николая Ивановича он обязательно должен был повидать перед своим отъездом.

К Генералу он пришел, не зная что говорить. Тот был строг в отношении службы. И когда спросил, зачем ему нужно вдруг ехать в Западную часть Орды, он сказал невнятно, что по испортившемуся здоровью, чтобы попить кумысу. Никак не мог он поднять глаза, но Генерал, видно, все понял.

– Ладно, езжай на Жаик¹, раз тебе надо.

На другой же день и выехал он, сопровождаемый Досмухамедом. Перед отъездом в правлении, отдавая

¹Казахское название реки Урал.

ему подписанную Генералом подорожную, Варфоломеем Егорович сказал:

– Смотри, Ибрагим, не очень там свободно разговаривай у Айбасова. Дело политическое.

Он удивился, но расспрашивать не стал. Было известно с начала года, что тысячи киргизских юрт из Букеевской орды за Уралом разрешено перейти на левый берег реки и поселиться на землях Западной части. Всякий год от канцелярии Уральского казачьего войска приходили жалобы, что кочующие между Волгой и Уралом букеевцы травят посевы и угоняют скот, так что надо их выселить оттуда. Дело, как всегда, было в вольных выпасах, споры о которых улаживала обычно смешанная комиссия от областного правления и войска. Теперь же киргизы сами просились перейти на этот берег. Говорили даже, что уже две тысячи юрт просятся сюда. Однако все дело с самого начала было почему-то изъято из ведения правления Областью оренбургских киргизов и по предписанию из Петербурга, а также с санкции генерал-губернатора Катенина, поручено особой комиссии под председательством действительного статского советника Красовского. Областному правлению лишь предписывалось выделить чиновников в комиссию по расселению прибывающих с того берега киргизов. Для того и поехали туда Николай Иванович с бием Токашевым и еще одним заседателем.

По наезженной дороге через Илецкий городок и Затонную станицу он на шестой день добрался до ставки султана-правителя Западной части Тяукина. Здесь ему сказали, что киргизская комиссия под председательством помощника султана Чулака Айбасова заседает в его ауле, определяя, как расселить прибывающих букеевцев.

– Э-э, все казахи бегут от Жаика к нам... Зачем так? – полувопросительно, но с пониманием в голосе сказал ему по-русски старший писарь при ставке Магзомов. И добавил невинно: – Что-то Генерал совсем не хочет этим заниматься.

Магзомов, которого он знал, был умный человек и явно чего-то не договаривал.

– Почему же вдруг поднялись букеевцы? Все годы не хотели, а теперь решились?– спросил он.

– Совсем пустой народ эти букеевцы,– отвечал писарь.– Округ-мокруг, чего тут бояться?

Букеевская орда была недавно поделена на округа и там шла перепись. Ничего плохого в этом не было. Что-то другое случилось там, на берегах Урала.

В ауле Айбасова тоже никого не оказалось. Сказали, что помощник султана с комиссией поехал к Уралу. Еще три дня разыскивал он Николая Ивановича. Наконец к вечеру приехал к переправе, где ходил паром. Здесь в ауле старшины Байбактинского рода Казыева обосновалась комиссия. Ему показали на большую юрту с флажком, как видно, недавно разбитую на пригорке. Странная мысль пришла ему в голову. Он снял с Досмухамеда чапан и малахай, надел их на себя поверх служебного платья. Сейчас войдет он в юрту и сядет у порога, как делают это просители-казахи. По закону старший должен заговорить первым. Узнает или нет его Николай Иванович?

Но едва вошел он в юрту и увидел склонившиеся над книгой пушистые бакенбарды, как словно что-то обрушилось в нем.

– Никола-а-ай Ива-а-анович!– бросился он вперед, закрыв глаза. Все вылилось в этом крике: долгая дорога, одиночество последних дней, смерть деда. Как всегда, прижал его к груди Николай Иванович, и долго сдерживаемые слезы полились из глаз.

– Ничего, ничего, Ибрай. Будет тебе, голубчик!..

Николай Иванович гладил его плечи, и совсем вдруг легко стало ему.

– Что ж ты так вдруг. И не ожидал тебя вовсе здесь увидеть!– говорил Николай Иванович, а он, торопливо перебивая сам себя, рассказывал обо всем, вынимал из саквояжа и раскладывал гостинцы и вещи, отправленные через него Екатериной Степановной, передавал приветы.

Видно, и Николай Иванович здесь соскучился. Как и в городе, весь вечер говорили и говорили они при свете петрольной лампы, и лишь Досмухамед сладко спал на кошме.

– Суть первые маяки цивилизации в азиатской степи эти школы, и счастлив тот, кто стоит у начала пути к свету собственного народа!– возвышенно говорил Николай Иванович, а тени от его рук летали в светлом потолке юрты.– От них зажгутся другие маяки, от тех – третьи, и вся древняя эта страна озарится огнями. Как же назовем мы с тобой эту страну, голубчик Ибрай? Видать, наверно, Киргизляндия.

Они смеялись вместе этой шутке. Так всегда бывало в их разговорах, что один ораторствовал, видя полное согласие в душе другого. И Николай Иванович продолжал говорить о будущем его поприще:

– Учительская должность, как я докладывал уж тебе, есть не служба, а богом данное призвание. Кто лишь служить желает, тот не приобретает богатства морального, ни тем более материального. Во все времена ходили учителя в рубище. Высокую душу для того следует иметь, способную отдавать свой пламень другим людям, ничего не требуя взамен. Великий подарок это от бога!

Только однажды словно запинка произошла в их разговоре.

– Идее спасения близка душа твоя, Ибрай. За грехи всех людей на земле пошел на крестную муку великий Учитель.– Николай Иванович в волнении остановился перед ним.– Не думал ты о том, чтобы в сердце свое принять Христа?

Он знал, что когда-нибудь будет у него этот разговор с Николаем Ивановичем. Однако теперь даже растерялся, не зная, как ответить. В хороших русских людях вдруг проявлялась убежденность в единственной правоте их жизнеощущения. В правильности даже самой малой своей привычки несколько не сомневались они. Такие качества, как прочел он в книгах по педагогике, присущи детям. Как же Николай Иванович, умнейший и

добрейший человек из всех, кого знал он в своей жизни, не чувствует тут нравственной двусмыслицы?

– Ты ж совсем как будто не привержен магометанским правилам. Хоть бы тот раз с пельменями, – говорил Николай Иванович.

Да, со смехом рассказывал он как-то у Ильминских, что виноват остался в уразу перед набожным Досмухамедом. Пришел домой он голодный и услышал запах пельменей. Поискавши, нашел их в горшочке за кроватью, где поставил их Досмухамед, надеясь разговестись после дневного поста. Он и решил тогда взять себе немного, да не заметил, как умял их все. Уж больно растерянная была потом физиономия у его родича: и на потолок тот глядел, и в пустой горшочек, и в сени выглядывал, не догадываясь, кто бы мог унести столь надежно спрятанные пельмени. Он же делал вид, что не известно ему ни о чем...

Нет, здесь следует все объяснить. В глубине степи благородный Динахмет с высокой и чистой верой протягивал перед собой руки. Совесть естественно сочеталась с формой служения богу. Определил это бесчисленный ряд поколений. Господин Дыньков понимал все в ясности своей души. В одном доме молились дядька Жетыбай и солдат Демин, никак не мешая друг другу. И мысли не приходили к ним предлагать один другому своего бога.

Это было совсем другое, чем заученная суетность лукавого душой Досмухамеда. Извечная человеческая совесть особый вид принимала в каждом народе. Можно ли вдруг переменить ее?

Как-то Николай Иванович расспрашивал про то, как по закону Востока человек берет в жены от умершего брата вдову. В кочевании по пустыне, как водилось то у арабов, движением совести было не бросить на произвол диких зверей беспомощную женщину с детьми. Кому, кроме брата, надлежало принять их в свой шатер. Благодеянием было то. В каждом слове веры являлось понимание реальной жизни. К суровой сдержанности

шло оно здесь. Так же, как от Христа, приходило к покойному и щедрому лукоморью. Не значит ли глядеть назад, изменяя зачем-то веру?..

Он смотрел, как слушает его объяснение Николай Иванович и боялся увидеть разочарование на его лице. Но нет, тот как само собой разумеющееся принял его ответ и продолжал говорить, будто и не важно все это было. Не от расчетливости ума делалось ему предложение.

В том была русская особенность. Вспомнились проводы топографами немца-генерала. Старый унтер говорил речь: «Каждый из нас считает, что истинно русский вы человек». Обязательно им хотелось, чтобы каждый хороший человек был русским. Они и числили его таким, будь он хоть арап. Потому и русское отчество обязательно приставляли. Для того, собственно, и хочет Николай Иванович всех христианами видеть...

Утром разбудил его многоголосый шум. Блеяли овцы, ржали лошади, человеческие крики раздавались вблизи и вдали. Николая Ивановича не было в юрте.

Он вышел наружу и посмотрел вверх по реке. В полуверсте от паромной переправы стоял почти утонувший в воде мост, не замеченный им вчера. На связанных между собой лодках настланы были доски, укрепленные по краям надутыми скотскими шкурами. По мосту, раскачивая его и втапывая в воду, сплошной массой текли овцы. Между ними, словно влекомые этой живой рекой, двигались лошади и верблюды со сложенными юртами. Порой какая-то овца оступалась и жалобно кричала, уносимая водой, но никто не ловил ее. Пыль до горизонта стояла на другой, высокой стороне Урала.

Он увидел Николая Ивановича и пошел к нему. Тот широко открытыми глазами смотрел на эту картину. Подъехал высокий рябой человек в чекмене – помощник султана, правителя Западной части, Айбасов, соскочил с коня:

– Эй, советник, что будем делать? У нас уже только две тысячи прошло!..

– Надо уговорить, объяснить букеевским киргизам, что ничего не грозит им от нового закона!– Николай Иванович был непохож на себя, говорил нервно, громким голосом.

– Э, как объяснишь, все идут и идут.– Айбасов махнул камчой.– Совсем не знаю, где им место давать. Колодцев мало, своим не хватает.

Лишь теперь увидев его, Николай Иванович повернулся в его сторону:

– Кто-то подлый слух распространяет среди букеевских киргизов. Будто закон об округах имеет в виду в военную службу их брать.

Люди Айбасова на лошадях принимали по эту сторону приходящее стадо. Не давая оседать на берегу, с гиканьем и свистом гнали они лошадей и овец далеко в степь. За ними, ругаясь, скакали букеевцы. Люди, как видно, сильно устали. Один старик, как переехал на эту сторону, так слез с коня и сел неподвижно на песок. Другой человек помоложе, как видно, сын, встал рядом, бесстрастно глядя в пыльное облако на том берегу.

Он подошел к ним, поздоровался:

– Хочу узнать, агай, почему букеевские люди уходят со своей земли?

Старик не отвечал. Его сын вздохнул:

– Орысы всех детей к попу будут забирать, кресты на шею вешать.

– Кто вам сказал об этом?– спросил он.

– Люди знают.

Он опять обратился к старику:

– Неправда это, агай. Я у самого Генерала служу. Нет у него такой бумаги!

– Орысами всех делать будут и в солдаты забирать. Люди знают!– твердо повторял другой букеевец.

Николай Иванович, слушавший разговор, беспомощно развел руками. Старик поднялся, посаженный сыном, влез в седло и ехал дальше, даже не посмотрев в их сторону. С того берега напирала все сильнее, и

мост уже вовсе ушел под воду. Овцы поднимали вверх из воды морды. Запах спекшегося пота шел от помутневшей реки.

Со стороны дороги подъехала черная лаковая коляска. Ее сопровождали казаки. Кто-то в статском мундире сошел, встал на берегу, глядя на поспешно убегающих с того берега букеевцев. То был действительный статский советник Красовский. Все вдруг сделалось ясно.

Между тем людей на том берегу прибавлялось. Казалось, вся Букеевская Орда тронулась в путь. Лошадей уже просто загоняли в реку, и они плыли, оставляя в воде длинные темные полосы. «Ой-бой!» – причитали женщины. Плакали дети. Красовский, постояв, сел опять в коляску и поехал вдоль реки, как видно, к другой переправе. Ссора его с Генералом обострилась до крайности. Евграф Степанович словно бы и не увидел их.

Всю дорогу от Урала стоял в ушах этот крик «Ой-бой!» и Евграф Степанович все находился перед глазами. Понятно было, откуда шли панические разговоры среди букеевцев. Для того и забрали дело от Генерала. В правлении тихо говорили, что от особой службы состоит в доверенности действительный статский советник Красовский. Даже и к слухам эта служба имеет отношение...

Генерал, когда пришел он прощаться, встал. Недолго постоял так, молча пожал ему руку. У Варфоломея Егоровича, который был при том, брови удивленно полезли вверх.

– Ведь то высшая милость в российском обиходе, коли старший в виду младшего с места встает, – сказал уже в коридоре делопроизводитель, задумчиво качая головой. – Я же тебе, Ибрагим... Одним словом, давай поцелую тебя!

Голос у старика дрогнул. И он тоже, упираясь щекой в вытертое, знакомо пахнущее пылью и чернилами сукно на груди Варфоломея Егоровича, почувствовал

в глазах влажность. Каким-то образом стал близким ему и этот человек...

У учителя Алатырцева сидел лишь сосед Куров и капитан Андриевский. Видно, опять перессорились они. Капитан саркастически кривил губы, а коллежский советник мелко постукивал пальцами по столу.

– Что ж, желаю вам, Ибрагим э-э... Алексеевич, полезной службы отечеству.– Иван Анемподистович Куров прощался, как и говорил всегда, официально, как бы не от себя, а от некоей невидимой множественности.– Надеемся, что не посрамите доверия в новом поприще.

Капитан Андриевский ограничился лишь крепким пожатием, так что рука на миг занемела:

– Всего доброго вам, господин Алтынсарин. Думаю, что свидимся. По службе бываю в линейных укреплениях.

– Вот мы и товарищи с вами, Алтынсарин.– Арсений Михайлович Алатырцев вздохнул.– Не знаю, дает ли полное удовлетворение роль учителя в жизни. Не о том я думал, когда вступал в нее. И сейчас сомневаюсь, достиг ли чего замечательного в сей роли.

Он молчал, слишком взволнованный, чтобы говорить. Некий неизвестный, кто «оказывает ему доверие», а этот слабый грудью человек с тонким красивым лицом ждал от него чего-то необычного.

Еще два дня прощался он со всеми знакомыми. Усман-ходжа Мусин из соборной мечети, тоже бывший его учитель, погладил ему щеки в знак доброго напутствия. Командир топографической роты Яковлев потянулся, приставив вместе каблуки: «Желаю счастливой дороги, Иван Алексеевич!» Неожиданно сосед Тимофей Ильич Толкунов пришел к нему: «Вот, пирог вам в дорогу, хозяйка испекла... Слыхал, в Оренбургское укрепление получили направление, ваше благородие. Там зять мой Федька торговлишку по малому делу открыл. Федор Ксенофонович Ермолаев, стало быть...»

На краю города пришел он в небольшой дом с мезонином. Белые куры ходили по мокрому от дождя

двору, доставали в первый раз появившихся червяков. В чистой, недавно побеленной горнице госпожа Дынькова говорила тихим голосом:

– Что ж, кое-что было у нас. Вот и пенсия за Алексея Николаевича с учетом малолетства детей. Снимаем недорого квартиру. Две комнаты да сени. И сараюшка со двором – за все сто рублей в год. Ну и мясом помогают киргизы, что по службе его знали, да и от учеников...

В прихожей перед оконцем висело вяленое мясо. Он знал, что если кто из бывших учеников господина Дынькова приезжал по делам в город, то обязательно привозил для них мясной гостинец. Даже когда сами не ехали, то передавали через знакомых. Это было уж чисто казахское правило.

– А Оленька очень благодарна вам за музыку. И сейчас вот на занятии у госпожи Лещинской. Играет все уже, что барышне нужно...

Пришла Оленька. Вовсе вытянулась девочка в этот год и еще больше посерьезнела после смерти отца. Она говорила «Иван Алексеевич». Он, как всегда, погладил ее и поцеловал в голову.

– Раздумываю вот, что делать, – рассказывала Варвара Семеновна Дынькова. – Письмо от сестры получила. В Новониколаевское жить зовет. Там и народу больше наезжего из России. Старшие-то у меня уж невесты. Да и жизнь дешевле, чем в городе.

Новониколаевское было как раз напротив родового зимовья узунских кипчаков. Солдат Демин с дядькой Жетыбаем через замерзший Тобол волокли оттуда бревна для дома. И он заходил туда как-то в ясный морозный день.

С Екатериной Степановной на извозчике поехал он к Дальцевым. Дарья Михайловна и не предполагала об его скором отъезде.

– Ибрай, родной вы мой! – Она держала его руки в своих. – Вы уж помните нас, не забывайте.

Машенька все тянула его за полу: «Иван Алексеевич!» Стоял Дальцев, чуть смущенно улыбаясь, большой,

крепкий. В открытое окно ломилась из палисадника сирень.

Дарья Михайловна обняла его и трижды с ним поцеловалась по-русски.

В самом углу хозяйственного ряда на базаре была эта лавка. На полке стояли и висели на шнурах различные звонки и колокольчики. Он долго, со вниманием рассматривал их. Выбрал самый большой – медный, с полустертой вязью на боку. Непонятно даже, для чего предназначался этот колокол: для конской дуги или верблюду под шею был он слишком тяжел. Велик он также был для служебного или школьного звонка и в то же время не был и церковным атрибутом. Тем не менее, именно такой ему показался нужен. Видя это, хозяин лавки, маленький человек с хитроватыми глазами, спросил с него пять рублей. Он дал, не торгуясь, хоть денег на дорогу почти не оставалось.

20

Уезжавший с Евграфом Степановичем Айбасов вернулся лишь вечером. Николай Иванович Ильминский сидел при лампе, читая привезенную из Оренбурга почту. Помощник султана повесил камчу, снял и повесил ремень, взялся пить чай из разогретого стражником самовара. И все поглядывал на занятого чтением советника правления. Когда тот на минуту оторвался от писем, спросил:

– Что это Балгожин внук приезжал?

– Уезжает совсем из Оренбурга, так прощаться наведалься, – объяснил Ильминский, не придавая вопросу значения.

– Приехал, посмотрел, опять уехал, – с сомнением в голосе продолжал говорить Айбасов.

Ильминский поднял голову:

– Вас кто-то спрашивал о том?

– Красовский спрашивал... С Нуралышкой Токашевым что-то еще говорил.

– Что же Его превосходительство сам у Алтынсарина не осведомился?

– Ай, не знаю.– Айбасов выплеснул остатки чая из пиалы на глиняный пол.– Только спрашивал: зачем, мол, чиновник-киргиз из правления приезжал...

В кабинете у Генерала делопроизводитель Воскобойников подвигал одну за другой бумаги на подпись.

– Вот еще что, Ваше превосходительство. Кого-то надлежит принять к Фазылову на место Алтынсарина. Или остается тот в службе.

– Санкции на открытие киргизских школ пока еще не получено,– с сомнением сказал Генерал.

– В таком случае зауряд-хорунжий Алтынсарин лишь передвигается в распоряжение коменданта укрепления. С оставлением при должности толмача.

Генерал кивнул, подписал бумагу:

– Все?

– Все.– Воскобойников почему-то задержался и стоял у стола, держа у груди папку с исходящими.– Думаю, Василий Васильевич, не приживется там Алтынсарин.

– Это почему ж?

– Там барон этот вовсе несостоятельный человек. Сказывают, даже коров, что при их хозяйстве, строим велит перед собой проводить. А киргизам так лишь в дневное время разрешает к укреплению приближаться. Ну, а Алтынсарин, сами изволите его хорошо понимать...

Когда ушел приходявший прощаться Алтынсарин, капитан Андриевский с привычной неприязненностью посмотрел через стол на соседа:

– Что вы, господин коллежский советник, так неловко с человеком обошлись?

– Это почему же?– отозвался тот.

– Ну, как же, Ибрагимом Алексеевичем почему-то называли. С юных лет сюда он заходит, могли бы и запомнить имя.

– Так я как будто правильно. Алексеевичем называют его.

– Ну и называйте тогда совсем по-русски – Иваном Алексеевичем. А коль Ибрагимом, так Алтынсарычем, что ли, как татары городские поступают. У киргиз принято: Ибрагим, мол, сын такого-то, улы.

– Что уж там принято, не знаю, но только ничего, по-моему, обидного в том нет. Они и сами любят себя по-русски называть.

– Сами, господин коллежский советник. Это вы точно заметили. И вы бы того за них не делали.

– И гордый внук славян, и финн... и друг степей калмык, – в задумчивости проговорил учитель Алатырцев.

– Что же мадам Лещинская сказала на то, что ты уже и концерты играешь? – спросила у младшей дочери Варвара Семеновна Дынькова, чтобы развлечь ее. Та все смотрела в дверь и не отвечала.

Мать подошла, взяла от нее сумку с нотами, поставила в этажерку:

– Ничего, Оленька: бог даст, свидимся. Иван Алексеевич сказывал, что родня у него в Новониколаевском. Мы вот туда собираемся...

Когда остались они одни с Екатериной Степановной, Дарья Михайловна вдруг сказала:

– А ведь Ибрай мне в чувствах объяснился.

– Как так? – спросила Екатерина Степановна, не сильно, впрочем, удивившись.

– Да вот дома у вас, после того, как дети болели.

– Ну и что же?

– Да нет, ничего более: сказал, что любит, и все... И не это точно даже, а что без того не может, чтобы не видеть меня и голосу не слышать... Я и Володиньке про то сказала.

– Что же он?

– Все понял как нужно. Вы ж знаете Володиньку.

И Дарья Михайловна почему-то заплакала.

КОЛОКОЛ

1

С утра немец расстраивался. В укреплении никогда не говорили, что комендант сердится, – гневается или делает нагоняй. Все это почему-то не подходило к тому, что случалось без исключения всякое утро.

Подполковник фон Менгден кричал высоким сухим голосом, выкатив светло-синие глаза и держа по швам руки. Кадык его дергался в жестком воротнике, и светлые ровные волосы, опущенные на лоб, слегка шевелились. Крик этот был слышен во всех углах укрепления, так что даже невоенные люди поднимали плечи. С еще не замерзшей промоины на Тургае испуганно поднимались утки.

– В роте вашей, господин поручик, упало чувство дисциплины. Русский солдат всегда есть бравый молодец. Они же при сдаче дежурства стояли в строю со слипшимися глазами, чуть не зевали при этом... Не извольте возражать, что ночь они провели в карауле. Пусть пять, пусть десять ночей в карауле, а строй есть как церковь для солдата!..

Барон закалял себя, и потому все окна в его служебной комнате были открыты настежь. Находящиеся здесь люди постукивали ногами, незаметно дули в посинелые руки. Но тот как бы не замечал этого.

– Снова обед нижним чинам подавался не по форме, господин Кушнарев, – пронзительным голосом обращался он к следующему подчиненному. – Считаю необходимым напомнить, что проживающие в линейном укреплении обыватели, имеющие отношение к службе, подчиняются военным правилам. За упущение судить их должно военным судом. Ничего нет более святого, чем забота о солдате. Поданный не по форме суп есть нарушение устава. Что?.. Молчать!

– Так ежели миски все покрали, Ваше высокоблагородие,– лениво отвечал служащий от интендантской части по вольному найму мещанин Кушнарев.– Как, значит, привезут заявленные от штаба миски, так и будет все по форме.

– Воду, что солдатам льют вместо супа, из манерки хлебать достаточно!– вполголоса заметил прапорщик Горбунов.

Приземистый, с бабьим лицом Кушнарев обкрадывал солдат и ничего не боялся. Во всякий приход обоза в укрепление специально для коменданта привозились любимые им сардины в коробках и шоколад. Что нужно, отвозилось и на городскую квартиру барона в Оренбурге, так как жил тот здесь без семьи.

– Было строго размечено, в каком расстоянии разрешено находиться от редутов!– кричал между тем комендант на лохматого мужика из приречного поселка.

– Так она же корова, Ваше высокое благородие. И трава при валах не вся еще пожухла,– оправдывался мужик.– Уж сделайте милость – выпустите. Третий день скотина не доена.

Со двора при гауптвахте слышалось истошное мычание. Туда загоняли скот, перешедший размеченную колышками линию, и держали от трех до семи суток в зависимости от личного приказа коменданта. На утреннюю поверку коров выгоняли на плац вместе с арестованными солдатами.

Следующая очередь была отца Василия. Барон фон Менгден в прапорщиках принял православие и с радостью следил за исполнением церковной службы. В храме он своим резким голосом делал замечания солдатам и обывателям, строго смотрел на священника. Отец Василий Бирюков, тихий, теряющийся от крика человек, беспомощно моргал ресницами и не знал, куда девать руки, вылезающие из короткой, севшей от времени рясы.

– Православный русский воин обязан неукоснительно исполнять положенные праздники. Так же и

люди прочего чина, живущие при крепости. Вы же, отец Василий, позволили себе как-то пропустить Варвару-великомученицу!..

– Ежели во благовремение, господин фон Менгден, тогда только богу потребно, – пытался оправдаться священник. – Не имеется поименованной Варвары среди нижних чинов и господ офицеров. Также и среди мирян, имеющих ко храму принадлежность. Все больше староверы да молоканы к нам в степь оседают.

Все с нетерпением поглядывали на стоящего у двери зауряд-хорунжего Алтынсарина, прибывшего летом в Оренбургское укрепление¹. Тогда же и начались его пререкания с комендантом. Удивительно было то, что как раз от зауряд-хорунжего, по существу статского чина, исходила инициатива. Комендант начинал заранее беспокоиться, видя у двери подтянутую фигуру в мундире с начищенными пуговицами и аккуратно подшитым коленкорovým воротником. Интендантский офицер, квартирмейстер Краманенков настораживался и доставал из кармана черную клеенчатую тетрадь.

– Вынужден снова беспокоить вас, господин подполковник, ввиду отсутствия должных распоряжений по поводу киргизской школы. – Алтынсарин, сделав шаг вперед, говорил с ровным спокойствием. – Идет шестой месяц моего бесполезного пребывания здесь, между тем как решение предусматривает именно в текущем году открыть означенную школу. Почтительнейше прошу со своей стороны напомнить командованию о создавшемся положении. Надлежит, как я имел честь уже информировать вас, заранее принять меры к приобретению школьного дома с хозяйственным помещением, а также к вызову киргизских детей по представленному мной списку.

Подполковник фон Менгден начинал быстро двигать кадыком, но слова почему-то выговаривались у него разрозненно, без очевидной связи друг с другом.

¹Потом г. Тургай.

Связно он умел только кричать, и потому речь его делалась беспомощной и не подходящей к начальственному виду:

– Как имел уже честь объяснить... Никак нет... точного распоряжения... О чем ставил в известность...

Именно этого момента все ожидали. Чиновник киргиз имел непонятную способность выбивать коменданта из зудливого тона. Барон как будто даже боялся зауряд-хорунжего, с настойчивостью предлагавшего свои резоны. В такие дни он больше уже не кричал ни на кого и до вечера запирался в своей служебной комнате.

У Алтынсарина тоже белело лицо, но нисколько не переменялся вид. Сегодня оно у него было даже белее обычного. Выслушав до конца коменданта, зауряд-хорунжий поклонился и вышел.

Холодное буйство нашло на него. Раз за разом стрелял он между маленьких злобных глаз, и последний кабан упал у самой ноги, коснувшись длинным желтым клыком сапога. Тугай шевелились от свиней, поедавших опавшие к зиме орехи и корни. То здесь, то там поднималась среди кустов бурая волосатая спина и слышалось сытое чавканье. Говорили тургайские кипчаки, что по весне сюда от Сырдарьи приходят тигры.

Он посмотрел назад. Гребнев и родич его Мамажан волокли по тонкому снегу убитую им у входа в рощу свинью. Кенес – сосед Мамажана нес за задние ноги связанных поросят. Восемь свиней, среди них секач да три поросенка – пожалуй, и не вывезут всего лошади. Он не стал больше заряжать ружье, и сразу пропал интерес к охоте.

Мамажан звал его остаться на Акколе, где жил еще с двумя семействами, но он теперь торопился домой, в укрепление. Сорок верст туда они сделали с Гребневым за день и к вечеру въехали мимо военного поста на

широкую, спускающуюся к реке улицу. Как и в прошлый раз, он развез битых свиней по знакомым домам.

– Вас Алтынсарин, зачем-то барон спрашивал, – сказал ему прапорщик Горбунов, наиболее симпатичный из здешних офицеров.

– Не знаете причины?

– Как будто бумага некоторая пришла.

Оставив Гребнева с лошадьми на улице, он подошел к комендантскому дому, но так и не стал стучать. Серыми прямоугольниками виднелись во тьме глухие ставни. Поземкой обдувало ему ноги, и скоро носки ушли в быстро прибывающий снег. Необходимо было ожидать завтрашнего дня.

Все трое мальчиков, среди них Черкеш, младший сын Мамажана, выбежали во двор помогать распрягать лошадей. Они радовались его возвращению. Еще с осени приехали в укрепление двое из них, кого родители по его настоянию записали в школу: один с верхнего Тургая, другой от кочевавших к Сырдарье кипчакских семейств. Три месяца объезжал он кочевья на двести верст вокруг, объясняя, в чем будет состоять учеба в школе. Расчет был на двадцать пять учеников. Родичи должны были привезти их, когда даст он знать об открытии школы.

То ли не поняли его, то ли не хотели ехать в зиму, но этих двух привезли еще в октябре. Потом к ним добавился младший сын Мамажана. Хорошо, что по приезде сюда на вырученные от тобольского имущества деньги он сразу купил себе дом в укреплении. Дети жили теперь у него, ожидая открытия школы...

Мать и тетюшка Фатима забеспокоились, стали разогревать ужин. До сих пор они, особенно мать, были недовольны своим отъездом от тобольских родственников. Даже бабушка меньше их говорила об оставленных местах. Прямо не показывали ему своей тоски, но он все знал.

– Эй, солдат приходил к тебе, спрашивал, где находишься! – сказала Фатима.

Он молча кивнул головой. Со двора пахло паленым. Мишар¹ Нигмат, служащий при доме по хозяйству, смолил привезенную с охоты свинью. Местные татары, как и казахи в кочевьях, ели при случае такое мясо.

Окна во двор не задвигались ставнями. На стене в его комнате бегали блики от костра. Нигмат переговаривался с помогавшим ему Гребневым. Тот рассказывал об охоте. Мишар все удивлялся, что так много кабанов на Акколе.

– Тыща никак их там ходит! – подтверждал Гребнев.

Никто, да и сам Гребнев, не знал, как его звать. Был это сирота, оставшийся от умерших в оспу родителей-поселенцев. Кормился он при солдатах, помогал кашеварам. Там его и звали все – Гребнев...

Ночью вдруг пришел к нему Человек с саблей, но не подходил, а стоял невдалеке, чего-то ожидая. Давно уже не повторялся этот сон. До утра лежал он с открытыми глазами. Перекликались на постах часовые, играли зорю...

Происходила еще передача караула, когда пришел он к комендантскому правлению. Барон шел от плаца подпрыгивающей походкой, и длинные, тонкие ноги в высоких сапогах скользили по утоптанному снегу. Увидев его, барон дернулся и быстро побежал вверх по деревянным ступеням.

Никак не боялся он таких людей. Они казались ему словно бы пустыми внутри. От всего настоящего эти люди начинали терять свою искусственную уверенность, и ничего не оставалось на ее месте. В день похорон господина Дынькова статский генерал Красовский уступил его справедливому настоянию и отозвал чиновников из киргизской школы. Они сами всегда чего-то боялись. Нужно было только знать, что делаешь правильно.

¹Оренбургский татарин.

Подполковник фон Менгден теребил в руках бумагу с подклеенным книзу конвертом:

– Вот... Без губернаторского решения... Нельзя... Также по Министерству просвещения... Пока в должности переводчика...

Несмотря на тот же неровный тон по отношению к нему, во всем виде коменданта читалась ликующая удовлетворенность.

– Пообождать надлежит с киргизской школой, господин Алтынсарин, – увещевательно поддержал коменданта сидящий тут же интендантский офицер Краманенков. – Министерство изучит этот вопрос, после того департамент скажет свое слово. Средства же пока не предусмотрены: как от правления, так по части кибиточного сбора. Извольте убедиться...

Он взял от барона бумагу с губернаторским титулом, внимательно прочитал. Комендант с Краманенковым молча ждали. Присутствующие офицеры и обыватели также ожидали, чем все закончится.

– Значит, и от кибиточного сбора что-либо нельзя отчислить? – спросил он все так же спокойно.

– Извольте сами видеть! – подтвердил Краманенков, нехорошо кривя губы.

Даже на узком лице у коменданта появилось нечто вроде улыбки.

Он поклонился и ушел.

Нигмат и все умеющий Гребнев строгали доски, сбивали вместе, прибивали накрест ножки. Получился длинный стол и отдельно скамья при нем. Их покрасили серой краской, которую взял он на рубль в лавочке у татарина Файзуллы. Другого цвета не было, и той же краской пришлось красить наглядную доску со стояком.

К вечеру за домом, на высоком месте, вкопали два столба, соединили перекладиной. Он сам подвязал посредине купленный им в Оренбурге колокол.

Утром он поднял детей тут же после солдатской зори. Они умылись теплой водой под умывальником,

поели. Пришел еще четвертый – Ринат, сын Нигмата. Стало светать. Он прошел на пригорок за домом, вынул серебряные часы с крышкой, подаренные некогда деду Балгоже генералом Ладыженским. До девяти оставалось еще десять минут.

Все укрепление было видно отсюда – от кирпичной казармы наверху до находящихся уже за валом домов и землянок обывательского поселка. На самом краю его стояла юрта. Тургай, петляя между холмами, терялся в побелевшей дали. Вокруг было пусто, и неясная линия окоёма очерчивала круг.

Большая, с фигурным вырезом стрелка придвинулась к девяти. Он взялся рукой за веревочку, и чистый высокий звон покатился во все стороны. В ту же минуту все изменилось. Идущий к себе комендант остался на ступенях с поднятой ногой, солдаты на постах все повернулись в его сторону, из домов на горе и у самой речки стали появляться люди. Двигающийся у самого окоёма всадник тоже остановился на месте. И он вдруг ясностью понял, что это первый школьный звонок в степи...

Когда переступил он свой порог, ему подумалось, что не напрасно купил он чуть не самый большой дом в укреплениях. Ему такой не был нужен, и почти все наличные деньги пошли на него. Все же что-то подсказывало ему, что это нужно сделать.

В большой комнате пахло краской. Четверо мальчиков сидели в ряд за столом, положив перед собой розданные им тетради. Большая медная чернильница стояла посредине. Гребнев, топивший печку, опустил руки и встал в стороне.

Он прошел, остановился с другой стороны стола, еще не зная, что будет делать. Дети ждали, глядя на него. Рука его потянулась к книге, открыла ее, хоть ему и не надо было туда смотреть.

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Он читал, зная, что не понимают они слов. Четыре пары черных блестящих глаз смотрели на него, и далеко вверх были вытянуты тонкие детские шеи.

Там русский дух... там Русью пахнет!

Он задержался на мгновение, глядя через головы детей на что-то ясно видимое ему.

В последний урок, поручив детям списывать в тетради нарисованные на доске палочки и оставив Гребневу часы, он уехал за пять верст в степь. Вовсе и не видно уже стало укрепления. Пустая степь, ограниченная линией окоёма, была вокруг. И вдруг звон раздался в воздухе. Слышалось так, как будто и не было никакого расстояния. Он правильно выбрал этот колокол в оренбургской лавке...

«18 ноября 1860 года. Укрепление Оренбургское. Доброжелательнейший Николай Иванович... С мыслью, нет ли каких писем из Оренбурга от моих товарищей и от вас, поспешно протянул руку казаку, который тотчас вручил мне книгу, в которой вижу, к негодованию моему, конверт казенный. С каким-то стесненным и отвлеченным сердцем бросил пакет на стол и, подписавшись в книгу о получении, преравнодушно принялся опять слушать пение. На другой уже день распечатал конверт – и боже, какое диво!– вижу Ваш почерк, и первыми бросились в глаза начальные слова: «Душа моя Ибраш». Я был тут, поверьте, вне себя от радости...»¹

Да, как раз находились у него султан Сейдалин, второй Мамажан и еще казахи из степи. С ними приехал местный акын. Весь вечер слушали они казахское пение. Рассказывали, что раньше комендант не пускал в укрепление казахов. С его же поселением здесь люди говорили, что едут к нему...

Что еще можно написать Николаю Ивановичу? Про то, как Краманенков всякий раз ходит вокруг его дома,

¹Письма И. Алтынсарина.

стремясь что-то увидеть. Особая клеенчатая тетрадь имеется у квартирмейстера, куда пишет тот замечаемые у других провинности. Все боятся этой тетради, и офицеры тут не ходят друг к другу в гости. Разговор у них лишь о том, кому предстоит повышение в чине. И еще что при разводе пьяный сотник Носков упал посреди плаца с лошади.

Тот же Краманенков подошел к нему осенью со своей медовой улыбкой:

– Не замечали вы, господин Алтынсарин, некую странность в прапорщике Горбунове? На девке своей женился и в Оренбург привез. Граф Перовский его сюда и прислал подальше от глаз.

В Оренбурге он слышал эту историю и сейчас пожал плечами.

– И подпоручик Петлин, доложу я вам.– Краманенков придвинулся к самому его уху, зашептал:– Держитесь подальше от него. В клинике лечился от расстройства сознания. Мало что ему в голову попадет!..

Он отодвинулся, а интендантский офицер взял его мягко за рукав:

– Извольте заходить ко мне на огонек. Чайку попить, то да се...

«С самого приезда моего в укрепление я был зрителем одних неприятностей, подлостей, кляуз. Но меня, сколько бы ни втирали в них, бог до сих пор спасает. Училища здесь нет, его не будет до следующей весны. Я формально просил Барона, чтобы он отвел квартиру какую-нибудь для обучающихся до осуществления школы, чтобы не остудить на первое время горячих желаний здешних киргизов отдавать мне для обучения детей своих. Но, к сожалению, просьба моя не имела от Барона хорошего результата... Впрочем, у меня теперь трое учеников, которые живут со мною вместе...

Екатерине Степановне мое нижайшее почтение и поклон. Товарищам моим не кланяйтесь, они не люди, а скоты. Это им передайте...»

Что же, могли бы Миргалей Бахтияров или Кулубеков написать ему хоть короткое письмо. Он представил, как обиженно хлопает Бахтияров своими красивыми глазами, услышав это мнение от Николая Ивановича, и улыбнулся.

Ночью ему снилось лукоморье и огромный зеленый дуб с цепью, перекинутой с одной ветки на другую. Он и не знал, что это такое – лукоморье, и только много чистой светлой воды было кругом...

2

Люди стояли кучкой напротив дома: перевязанные платками бабы из поселка и отдельно офицерские жены. Жена прапорщика Горбунова стояла несколько в стороне. Проходящие мимо солдаты и обыватели останавливались, смотрели с удивлением в окна. Там, как в церкви, горели свечи и видна была елка, увешанная всякими игрушками. Слышалась гармонь и детское пение: «Станьте, детки, станьте в круг».

Мужик в сурчиной шапке и чистом праздничном полушубке задержался, покрутил головой:

– Чтой-то киргиз напридумал!

– Загодя ходил: у кого, мол, дети есть, на елку звал, – объясняла словоохотливая баба.

– Какое же у кыргызов рождество? Татарская у них вера.

– Не рождество, а так, мол, для детишек забава...

– Гляди, и елку вроде раздобыл!

– Так то арча, на взгорье за Алаколем ее целый лес...

На крытое железом крыльцо вышел хозяин дома без шапки, в мундирном пальто с отворотами:

– Заходите в дом, господа, чьи тут дети. Милости просим!..

Жена лекаря Кульчевского неуверенно шагнула к крыльцу.

– Идите, идите, Ксения Сергеевна. – Алтынсарин подал ей руку, повернулся к жене прапорщика. – И вы, Евдокия Матвеевна, прошу покорно...

Обе вошли в дом. Лишь третья – жена квартирмейстера Краманенкова – осталась стоять на крыльце.
– Прошу и вас, что же вы!

Алтынсарин, отступив в сторону, звал в дом толпившихся баб. Те, чьи дети были внутри, стали робко входить на крыльцо. За ними потянулись и другие. Некоторые смотрели в окна, прижавшись лицами к оттаявшему стеклу.

В большой, занимающей половину дома комнате было тепло. С подоконников бежала стаявшая со стекол вода. Укрепленная в кресте елка стояла как раз посередине, упираясь золоченой звездой в беленый потолок. На стуле у стены сидел приказчик Кухнер, из бывших кантонистов, выполняющий в укреплении также роль парикмахера, и играл на саратовской гармонии. Человек пятнадцать детей разного возраста, взявшись за руки, ходили вокруг елки.

– Меня, дети, называйте Иван Алексеевич, – объявил Алтынсарин. – Теперь станем учиться танцевать!

Сбросив пальто, он принялся расставлять пары. Девочек было четыре. В первой паре он поставил двенадцатилетнего сына Краманенкова в гимназической куртке и дочку сотника Чернова – совсем уже барышню. За ними встал мальчик из поселка в армячке и больших, не по росту, сапогах. В паре с ним была бойкая девочка в цветастых шароварчиках и со множеством косичек на голове – дочка лавочника Файзуллы. Черкеша – сына Мамажана он поставил с другой девочкой из поселка, в валенках и сарафане, надетом прямо поверх теплой, как видно, материнской, кофты. Остальные разобрались сами и стояли в ожидании, глядя на него с открытыми ртами. Кухнер заиграл кадрили. Алтынсарин вдруг повернулся к жене лекаря Кульчевского:

– Вы бы руководили мной, Ксения Сергеевна. Я ведь не совсем ловок в танцах.

Кульчевская – средних лет высокая, строгая дама – опустила глаза, потом вдруг решительно сняла шубку,

бросила на стол у стены. И сразу помолодела, сделалась стройной, на щеках взялся румянец. Протянув руку хозяину дома, она уверенно повела его в ригурнели. Потом деловито показывала детям, как надлежит ставить ногу, на каком счете возвращаться. Все, как могли, повторяли за ней. Скоро сделалось шумно и весело.

Потом устроили игру для маленьких. Те бегали и ловили друг друга. Взявшись за бока, ходили под музыку цепочкой. Раздавался сигнал, и все поспешно бросались к своим стульям. Оставшийся без места должен был ловить других с завязанными глазами.

Вовсе уж все освоились, когда началась борьба. Хозяин дома показывал, как борются киргизы, берясь за пояса. Сильнее оказался самый невидный из киргизских мальчиков – Кабыл. На голову ниже других, он ловко валил на пол рослого, здорового Черкеша и поселкового Егорку в больших сапогах. Лишь с сыном Краманенкова никак не мог он управиться. Тот сам знал какой-то гимнастический секрет и никак не уступал. С улицы напирала зрители. Задержавшийся накануне возле дома мужик в полушубке притоптывал в дверях:

– Так, под стегно его теперь бери... Ну, и ты, слышь, не поддавайся, коленом делай упор!

Но сын Краманенкова, серьезный лобастый мальчик, почему-то опустил руки и отошел в сторону. Все притихли. Сам Краманенков стоял на пороге, глядя каким-то темным, болезненным взглядом на происходящее. Жена его, развеселившаяся со всеми, как-то потухла, торопливо стала доставать с вешалки гимназическое пальтишко с башлыком.

– Изволите рождеству радоваться? – мягко, как всегда, заговорил интендантский офицер. Рот у него дергался. Быстро взглянул он на елку, на Кухнера, задержался на придвинутой к стене учебной доске. Там мелом были размечены линии и написано разбитое на слоги слово «адам». Краманенков поднял брови. – Это кто же, позвольте вас спросить? Прародитель?

– У киргизов, Виталий Никифорович, таким образом значается слово «человек», – сказал ему Алтынсарин.

– Так-с... Весьма, весьма любопытно!

Краманенков повернулся и пошел. Жена взяла уже одетого мальчика за руку и пошла следом. В дверях мальчик виновато оглянулся.

– Ты еще приходи, Алексей! – сказал ему Алтынсарин.

Праздник продолжался. Хозяин дома ушел, а вместо него пришел Дед Мороз с мешком. Каждого он вызывал громким голосом и давал из мешка кулек с подарком. Маленькие грызли орехи и курагу, играли бумажными мячиками на резинке, дули в глиняные свистульки. Старшим вдобавок дали книжки с картинками.

Потом танцевали с Дедом Морозом, и дети громко кричали:

– Иван Алексеевич, я уже умею!

– Смотрите, Иван Алексеевич...

Под конец Алтынсарин сказал, подавая шубку жене лекаря Кульчевского:

– Благодарю вас от лица детей, Ксения Сергеевна, за помощь!

Вид у него был строгий и торжественный. Она удивленно посмотрела на него, поклонилась:

– Это вас надо благодарить за доброе сердце.

Маленький сын прапорщицы Горбуновой все не хотел уходить и тянул мать назад, к елке.

– Спасибо вам, Иван Алексеевич, – чуть слышно сказала и та, покраснев от смущения.

– Идемте, Евдокия Матвеевна! – позвала ее Кульчевская, надевая башлык на голову доверенной ей дочери сотника Чернова. Держа детей за руки, они вместе пошли к офицерским квартирам.

«19 января 1861 года. Укрепление Оренбургское... Краманенков вывез с собой на обратный путь немалое количество возов кляуз и нечистот для представления их к главам...»

Вспомнился взгляд мальчика в гимназической куртке перед тем, как пошел тот от елки за отцом. И жена словно бы дышать перестает при муже. Еще когда пришел он звать на елку, она всплеснула руками:

– Нет, не надо это, господин Алтынсарин. Уж поверьте, не надо!

Но тут сын с какой-то взрослой тоской посмотрел на нее, и она опустила глаза:

– Да может быть, придем, Виталий Никифорович как будто уезжает...

Уже к концу первого урока, когда открыл он при своем доме школу, Краманенков стоял напротив и заглядывал в окно. Совсем никакого касательства не имело это к его прямой службе, и служба интендатского офицера была обеспечивать квартирами, продовольствием и фуражом укрепление и принадлежащие к нему линейные посты. Всякий раз, когда звонил он с урока и на урок, то видел Краманенкова то через дорогу от школы, то на комендантском крыльце.

Через два дня после того, как открыл он у себя на дому школу, солдат позвал его к коменданту.

– Поскольку... Отсутствие распоряжения... Надлежащий порядок...

– Господин барон изволит высказать свое недоумение по поводу непредусмотренных в гарнизоне звонков, – пояснил слова коменданта сидящий там всегда Краманенков. – Ввиду того, что указание по школе не поступило... Неизвестно также, какие там преподаются науки и внушаются мысли.

– Господин барон в любой час может посетить нашу школу, – твердо ответил он. – Что касается звонков, то они производятся строго с регламентацией Министерства просвещения, принятой как для казенных, так и частных гимназий и училищ.

– Есть еще ваша служба переводчика, – напомнил Краманенков.

– Согласно формуляру, служба моя делится на две части. – Он говорил в сторону барона фон Менгдена,

как бы не видя интендантского офицера.— Вторая часть по переводу с языка киргизского на встречах с населением мной выполняется в каждом необходимом случае. Впрочем, по вашему желанию могу освободить себя от исполнения этой части, оставшись только при учительской должности...

Каждый день в точно назначенное время звенел звонок при школе. Даже часы в гарнизоне сверяли по нему. Поручая Гребневу звонить, он уезжал еще несколько раз далеко в степь. Звонок слышался, где бы он ни находился.

В один из дней Гребнев прибежал к нему взволнованный и положил на стол новенький двугривенный:

— Виталий Никифорович дали... Смотри, говорит, Гребнев, как и что там у киргиза. Мол, не все чисто это, со школой. Так ты слушай, что он говорит киргизятам, и мне приноси. Тем более язык ихний разбираешь...

— Ну и что ты?— спросил он у подростка.

Гребнев засмеялся, и острый природный ум вдруг выступил в простодушном лице:

— Все ему повысказал. Что, значит, цепь на дубе золотая, и ученый кот вместо сторожа туда-сюда ходит. Уж не фармазон ли, говорю, Ваше благородие, этот самый Алтынсарин. Ну, вроде капитана Копейкина¹. Так и остались в раздумье Виталий Никифорович...

Все знали про клеенчатую тетрадь у Краманенкова, и что тот заносит туда замечания о поведении офицеров и обывателей. Какое-то особое начальство, помимо интендантского, было у него. Говорили, под судом состоял квартирмейстер в Саратове по казенному делу и грозила ему каторга. Но только где-то вступились за него и ограничились переводом и степь. Сейчас Краманенков с зимним обозом поехал в Оренбург...

Про что еще писать Николаю Ивановичу? Коль речь о Краманенкове, то нисколько он того не боится. Так или иначе, а открытая правда на его стороне, как и в

¹Странствующий сюжет о знаменитом разбойнике.

случае с Красовским. Даже здесь разве имеет подлинную силу Краманенков. Потому и принужден скрываться от дневного света с каким-то своим тайным начальством. Вот и Гребнев это точно чувствует. Так, прямо, не могут эти люди выступить против школы для казахов.

Другое дело, как на самих казахов станут влиять они. Еще в Оренбурге ощущалось это противоречие. Корни уходили глубоко, еще к хромому генералу, вступившему в спор с генерал-губернатором и министром.

«Спрашивается, какая из того польза, если я выучу их переписать что-нибудь, сам не умея сочинять, читать, не понимая... Научу наизусть формальным фразам, как, например: по предписанию Областного правления за № таким-то... Не вынеся с собой из учения в школе ни порядочного образования, ни хорошего понятия, они гордо выступают в степь, и, показывая себя многознающим человеком, больше законщиком, в тем не будут сомневаться киргизы, они употребят во зло свое маленькое знание, станут безжалостными обидчиками киргизов же...»

Некому, кроме Николая Ивановича, написать про обиходную жизнь, что запуталась у него. Мать, и бабушка, да тетушка Фатима здесь с ним. А хозяйство все на Тоболе. И не смотря хорошо за скотом нанятые со стороны люди. Из лучшего табуна оставленного дедом, уже пало, как сообщили ему, семьдесят голов. Сюда переводить – так нужны зимовье и выпаса. Полсотни его лошадей пасет тут со своими конями родич и друг Мамажан, больше не сможет. Хоть знал он, что нелегко вести хозяйство, да все равно голова кругом идет.

И не все ли одно, на Тургае или в другом месте будет его домашняя школа, раз не думают ее открывать от правительства. Накануне рождества шел он от коменданта и остановился, удивленный. Несмотря на мороз, солдаты сметали снег с комендантского дома и офицерских казарм, красили крыши теплой маслянистой краской. Другие старательно белили стены. Только

осенью тут производили ремонт, и дома стояли как новые. К чему было это повторное крашение?

– Средства, господин Алтынсарин, неиспользованные оставались, – мягко заговорил появившийся рядом Краманенков. – Изволите видеть, школа все одно не открывается. А средства надо куда-то девать.

Квартирмейстер улыбался, глядя прямо ему в глаза.

Он написал попечителю Плотникову о своем желании перевести укрепления в степь, ближе к Золотому озеру. Там и с хозяйством можно будет лучше распорядиться. Пусть же, коль не оставил еще Оренбурга Николай Иванович, поспешествует за него перед Плотниковым, да еще с попечителем Алексеем Александровичем Бобровниковым поговорит...

Неужто и взаправду, как писал ему, уедет Николай Иванович? Как же тогда будет все остальное?..

3

Все стояли на плацу. Бабы и дети из поселка пришли от речки и глядели, защищаясь руками от слепящего глаза горячего ветра. Солдаты в долгом ожидании нарушили ровность рядов. Унтер Цыбин ругался подлыми словами, выстраивая их заново. Лошади мотали мордами, и казаки сидели в седлах с ленивым, скучным видом, как принято у них в линейной службе. Отдельно стояли статские чиновники в мокрых от жары полотняных мундирах и с ними отец Василий Бирюков с пономарем Гришкой.

Линейный с вышки замахал флажком.

– Едет! – выдохнули в толпе.

Отличающийся звучным голосом сотник Носков, выделяемый обычно в торжественное дежурство, привстал в строменах:

– Гар-ни-зон!..

Пропела труба, пробил барабан. Три коляски, одна за другой, съехали с дороги, покатили по взбрызнутому

водой песку. Полусотня конвоя по трое в ряд выехала следом из пыли, стала устраиваться на краю плаца.

Генерал с чуть косящим глазом принял рапорт коменданта Оренбургского укрепления барона фон Менгдена, повернулся к строю:

– Здорово, братцы!

– Здравия желаем, Ваше превосходительство!– с точностью ответили солдаты.

– Здорово, казаки!– сказал генерал, пройдя и встав напротив линейного эскадрона.

Те ответили, как водилось у них, вразнобой.

– Здравь... лай... ва... ва... ства!

Все было известно: и генерал, много раз до того приезжавший в укрепление, и прибывшие с ним офицеры, и даже то, что приехал новый комендант.

– Гляди, так и верно Яков Петрович,– заговорили среди обывателей.– Он, значит, и будет начальник.

– А ты почему знаешь?

– Так писарь комендантский говорил.

С рождества шли разговоры о новом коменданте и говорили по-всякому. Называли майора Худякова, бывшего комендантом в соседнем Уральском укреплении на Иргизе, потом какого-то вовсе незнакомого офицера из штаба корпуса. С десятков их сменилось за пятнадцать лет, что стоит укрепление.

Генерал с офицерами и бароном прошли между тем в комендантское правление. Конвойные казаки по команде спешились, повели поить лошадей. То же сделали и ездовые с колясок. Остальные стояли по-прежнему, обдуваемые сухим ветром из степи.

Минут через тридцать генерал и офицеры вышли на крыльцо. Сотник Носков скомандовал «смирно», запела труба. Генерал шагнул к строю, расставил ноги:

– Представляю вам, братцы, нового вашего командира, капитана, э... капитана...– Генерал запнулся и как бы в недоумении развел руками.– Впрочем, так или иначе, уже майора Яковлева.

Новый комендант смотрел ровно, лишь чуть дернулась у него бровь.

– Ура новому командиру!– скомандовал сотник Носков.

– Ур-ра-а!– протяжно закричали солдаты и казаки. Кричали и обыватели. Яковлева знали тут, поскольку он всякий год приезжал с топографами. Да и наемных рабочих брал для своей роты из поселка, так что тоже многих знал в лицо.

Тем не менее Яковлев вместе с генералом подходил к каждой роте и представлялся офицерам. Последними рекомендовались ему статские чины и вольнонаемный состав.

– Весьма доволен... Весьма доволен!– повторял новый комендант, резко протягивая руку.

Напротив зауряд-хорунжего Алтынсарина он задержался:

– А вы здесь... Очень рад тому, Иван Алексеевич!

Говорил Яковлев громко, со строгим видом, но никто не впадал от того в растерянность. Знали его такую манеру. Однако же хмур был Яковлев всерьез. Когда генерал ушел на отдых, он принялся распекать ездового с последней, нагруженной вещами коляски:

– Говорил тебе, мерзавцу: не тыкать узлы как попало. Вон лампу разбил!

Посреди узлов в коляске терпеливо сидела лет тридцати женщина с добрым широким лицом, очень похожая на майора. В толпе уже знали, что это сестра его Дарья Петровна, приехавшая из Тверской губернии.

– В девках задержалась!– пояснил кто-то.

– Это почему же?

– Да кто ведает?

Знали также причину плохого расположения духа нового коменданта. Два года уже носил он майорские погоны, а все числился в капитанах. Где-то не утверждали представление отдельного Оренбургского корпуса. Связано это было, как говорили, с послаблением,

что делал он ссыльным солдатам. История с Шевченко попала даже в газеты.

Толпа продолжала стоять, наблюдая, как солдаты вносят в комендантскую квартиру узлы и корзины с коляски. Вещи прежнего коменданта стояли уже уложенные. Там и был-то всего один чемодан и вешалка для шинели. Гребнев по указанию Дарьи Петровны раскладывал вещи, помогал развешивать картины и иконы.

– Где же ты обитаешь сейчас? Все у солдат?– спросил у подростка Яковлев.

– При школе мы теперь, Яков Петрович.

– Так разве есть тут школа?– удивился новый комендант. В этот момент зазвенел резкий, высокий звонок. Никто не обратил на это внимания, лишь новый комендант повернул голову. Сразу после развода он мерным, расчетливым шагом, какой держат старые топографы, пошел вдоль улицы. Дойдя до дома с крыльцом в начале порядка, комендант поднялся по ступеням, толкнул дверь.

В правой стороне дома слышались голоса.

– Аким ушел на реку ку-па-ца...

Это говорил, стоя с мелком в руке возле серой почему-то доски, киргизенок в широких штанах и выпущенной поверх штанов рубашке. В усердии мальчик тарачил черные глаза, и было видно, как трудно дается ему последнее слово. За длинным и таким же серым столом сидели трое других детей. А в стороне боком стоял другой стол, при котором находились Гребнев и громадный великовозрастный киргиз с плечами в добрую сажень. Так же, как и мальчики, держали они в пальцах перья, выводя что-то в тетрадах.

– Купать-ся... так оно пишется, уктын ба¹? А также производить другие действия.– Зауряд-хорунжий Алтынсарин протянул руку к другому ученику.– Скажи, Черкеш, какие ты знаешь действия?

¹Понимаешь?

Тот подскочил, заговорил быстро, упирая всякий раз на следний слог.

– Одевать-ся, умывать-ся...

Алтынсарин чуть наклонил голову в сторону нового коменданта и продолжал говорить – медленно, выделяя каждое слово:

– Теперь мы запишем. Я буду диктовать: «А-ким пошел на ре-ку ку-па-ца...»

Яковлев сделал шаг назад и остался в сених. Минут через десять Гребнев взял со стола большие серебряные часы, вышел из дома. На коменданта он и не поглядел при этом. Какой-то особенный, высокий и чистый звонок раздался на улице.

– Доброе утро, Яков Петрович!

Алтынсарин смотрел на коменданта с серьезностью.

– Что же, и Гребнев у вас учится? – спросил Яковлев.

– Это так, отдельно от детей. У них свои задания...

Они вышли на крыльцо. Ровно дул степной ветер. Где-то хрипло и нестройно пели солдаты. Баба несла от реки полные ведра с водой. Корова посреди улицы выедала проросшие между колями жесткие бодылья.

– Да-с, со школой не решается дело. – Майор Яковлев говорил все с той же отрывистой строгостью в голосе. – Имел честь перед отъездом беседовать о сем предмете с Их превосходительством Василием Васильевичем. Только не в генерале Григорьеве суть. Он, видите, желает, чтобы в школах инородческих практические науки преподавались. Не обращать их в рассадники чиновничества. От того ведь и в России пошла беда. Да некоторые люди при губернаторе хотят как раз одних писарей получить из киргизов. К тому примешивается и давняя неприятность Василия Васильевича с этими людьми. Помните: кара беты. Не в одних только школах дело.

Несвойственная ожесточенность послышалась в голосе Яковлева. У него дернулась бровь, как на плацу, когда приехавший генерал назвал вдруг его капитаном.

«26 января 1862 года. Укрепление Оренбургское... Дорогой наш Николай Иванович!.. Четыре ученика имею у себя, ими и занимаюсь. «Самоучитель русского языка для киргизов» – их наставник, вполне достигающий той доброй цели, которую Вы имели при сочинении его. В «Самоучителе» в особенности порядок постепенного учения детей русскому языку изложен превосходно. Мы, понимающие, по крайней мере, всю выгоду знания киргизами русского языка, воссылаем Вам искреннее спасибо. Правда, есть некоторые ошибки в киргизском переводе, но они ничего не значат при толковом разъяснении детям преподавателя. Присланные Вами ко мне для продажи восемь книг я распродал давно...»

Беспокоить или нет Николая Ивановича всем, что происходит вокруг него? Да и до него ли тому в Казани, когда сам только усваивается. О Василии Васильевиче он и там, верно, знает. При прошлом губернаторе уже было неладно. А уж при новом – Безаке всю власть забрал Красовский. Одним из противоречий его с Генералом как раз и состоят киргизские школы. Приезжавший капитан Андриевский говорил, что и формально Василий Васильевич уже отстранен от должности.

Ему-то здесь, на Тургае, думалось, что и вовсе не имеет это к нему прямого отношения, кроме задержки с открытием школы. Однако же лишь вчера вызвал его к себе Яков Петрович. Не глядя ему в глаза, заговорил:

– Имею необходимость формально выяснить у вас, Иван Алексеевич, при каких обстоятельствах был принуждаем вами к магометанской вере живущий при укреплении недоросль?

У него дух перехватило:

– Извольте объясниться, Яков Петрович!

Яковлев молча придвинул к нему бумагу. Он взялся читать, но четко написанные слова прыгали перед глазами. Отстранившись, он посмотрел на все так же ровно стоящего коменданта и снова возвратился к чтению... «По донесению осведомленных лиц упомя-

нутый недоросль по имени Гребнев, родом из поселенцев, проходит в означенной школе магометанский уклад и, как видно, принуждается к обрядам. Также и прочие ученики незаконной школы воспитываются в духе превратного вольномыслия, никак не ограниченные утвержденными правительством правилами. Зауряд-хорунжий Ибрагим Алтынсарин, и в предыдущей службе отличившийся строптивостью...» Подпись была прямая: Действительный статский советник Красовский.

Упершись взглядом в одну точку, сидел он у коменданта, и мысли, как лошади в скачке, обгоняли друг друга... Николай Иванович зовет его к себе в Казань, где тот теперь профессором в университете. Продолжить образование можно с помощью друзей, да и есть кому на Тоболе присмотреть за матерью. Семинария для инородцев должна также открыться. Только как же тогда купленный им колокол?..

Еще в прошлый год писал он через барона просьбу об откомандировании его в степь, подальше от укрепления. И при этом коменданте, когда опять отдалось открытие школы, подтвердил он свой рапорт. Даже Алексея Александровича Бобровникова просил о поддержке. Что еще, кроме школы, держит его здесь?..

Комендант сделал шаг к столу, дал ему линованный лист бумаги с печатью укрепления в левом углу:

– Пишите!

Он взял перо, обдумывая объяснение. Следовало только найти нужный тон. Ясно, что бумагу из губернского присутствия ему никак не должны были показывать. Здесь уж доверительность к нему Якова Петровича. Отвечать приходилось по форме лишь на устный вопрос командира укрепления, которому по службе он подчиняется. «В связи с устным представлением Вашего высокоблагородия о якобы имеющем место принуждении недоросля Гребнева...»

– Что вы там пишете?!

Он удивленно поднял голову. Холодное, всеотмечающее бешенство было в светло-голубых, выкаченных глазах майора Яковлева. Руки держались строго по швам.

– ...Я русский офицер, милостивый государь, а не исполнитель интриг. Извольте раз и навсегда это запомнить!

Стекло дрожало в окне. Рука с жестким мундирным обшлагом сорвала со стола исписанный им лист, бросила вместо него другой:

– Извольте помнить также о вашем ко мне подчинении в службе. Пишите не свое, а что я вам скажу...– Яковлев диктовал, словно выкрикивал команду:– «Начальнику штаба Отдельного Оренбургского корпуса от коменданта Оренбургского укрепления. Рапорт... Ввиду получения мной письма от Его преосходительства действительного статского советника господина Красовского по делу находящейся во вверенном мне укреплении киргизской школы, считаю себя обязанным сообщить Вам следующее. Школа, ныне действующая в пределах укрепления при бескорыстном и доброхотном участии зауряд-хорунжего Алтынсарина, является как бы приготовительной к имеющей открыться здесь одной из четырех киргизских школ, предусмотренных Министерством народного просвещения. Зауряд-хорунжий Алтынсарин формально утвержден в должности учителя лишь с попутным исполнением переводческой службы. Мной лично проверено состояние дела в школе, каковое ведется гоподином Алтынсариным достойно и с похвальными намерениями. Что касается обучения грамоте при школе великовозрастных поселенца Гребнева и киргиза Дауранбека Смагулова, то не вижу в том проступка, как и в совместном их учении. Все касающееся якобы имевшего место принуждения Гребнева к магометанству со стороны Алтынсарина является злостным наветом на благородного человека, имеющим цель остановить его в полезной и необходимой для Отечества деятельности...»

Ему даже жарко стало от своего минутного сомнения в человеке. Совсем как мальчик в школе поднял он глаза.

– А вашему рапорту тогдашнему, Иван Алексеевич, касательно оставления службы, я не дал ходу, – уже спокойно сказал Яковлев. – А терпение тут русское нужно иметь...

«Печатные слова некоторых умнейших, что киргиз – колотырник, киргиз кровожаден, останутся навсегда только безжизненным нечетным словом. А Вы, Николай Иванович, три года скитавшийся по Ордынской степи, я уверен, что скажете: киргизы – народ сметливый, умный, способный, но необразованный. Об образовании киргизов начальство так заботится, что предпочитает лучше красить крыши и без того красные, белить стены и без того белые, нежели приступить к постройке училищ при укреплениях. Но бог с ними, мне ли критиковать начальство...

Яков Петрович, мой начальник, Вам кланяется, а также Дарья Петровна Яковлева просит меня передавать Вам и Екатерине Степановне их нижайшее почтение... Весь Ваш Алтынсарин».

4

Труба играла большой сбор. Вольно сидя в седлах, ехали казаки с флажками на пиках. Солдаты стояли на плацу без оружия, в свободном построении. А за верхними постами и по ту сторону Тургая скакали киргизы. Видимо-невидимо наехало их в одну ночь. По своей манере они носились кругами, не приближаясь и не отдаляясь от укрепления.

Комендант Яков Петрович с офицерами и статскими чинами прошли к новому, в шесть окон по фасаду, дому посредине укрепления. Зауряд-хорунжий Алтынсарин со строгим лицом показывал там солдатам, куда относить загромождавшие проход доски. Был третий день рождества, и празднично одетые люди со всего поселка находились на улице.

По знаку коменданта поднялись шлагбаумы. В ту же минуту киргизы со всей степи устремились в укрепление. Улица наполнилась скачущими с разных сторон всадниками. Потом сбились в плотную массу, вперед выехали почтенные старики. Поддерживая под руки, помогали им слезать с лошадей. Такого еще не видывали в укреплении.

По команде дежурного офицера сюда привели солдат, поставили фронтом к новому делу. Сзади выстроились в линию казаки. Опять заиграла труба. Комендант встал на приступку дома. Рядом находился Алтынсарин.

– Якуб Петрович... Жилистый Якуб, – заговорили между собой киргизы, называвшие так Яковлева. – И внук Балгожи с ним из узунского рода...

Несмотря на холод, Яковлев снял шапку. Густые седеющие волосы с короткой офицерской стрижкой были зачесаны ровно без помощи помады.

– Господа киргизские аксакалы. И вы, господа офицеры и обыватели...

Все знали, что Яковлев может объясняться с киргизами, но он говорил по-русски. Алтынсарин же повторял его речь по-киргизски.

– Перед вашим лицом, перед лицом сих солдат и перед лицом всего народа казахского, обитающего в этой степи, мы формально открываем первую школу...

Старики и почетные люди задвигались. Комендант назвал киргизов, как сами они себя считали, – казахами, с особым горловым звуком в конце.

– Сегодня Россия приходит сюда с новым знаком. – Яковлев говорил громко, и голос его слышался за валами. – Сей знак будут не прошлые битвы и победы, сколь бы блистательны ни были они, сей знак будут школы...

Почетные люди и офицеры зашли в школу. Смотрели со вниманием на стоящие в ряд свежевыкрашенные столы, привешенную к стене доску, на учительский стол со сложенными на нем книгами. В другой

стороне дома стояли вдоль стены лавки, на полу лежала кошма. Толстые солдатские одеяла и суровое постельное белье были сложены кипами. В сенях висел умывальник с пятью кольцами и шла дверь в пристройку со стороны двора, где стояли вмазанный в печь казан и большой полутора-ведерный самовар. Жестяные миски были сложены одна в другую на полке, ложки лежали в ряд.

Заходили еще разные люди, киргизы и обыватели, с интересом все осматривали. Потом Алтынсарин позвал всех опять на улицу. Встав на приступку, он заговорил по-киргизски обыденным голосом:

– Как водится среди казахов, у нас сегодня праздник. Будут той и скачки, о чем была договоренность. Пусть готовятся к нему в надлежащем месте. Детям же казахским нужно учиться. Мы слишком много потеряли времени...

Дети выходили из толпы, становились перед школой. Делали они это по-разному. Одни прямо шли к двери, другие – неуверенно, оглядывались на родичей. И одеты были разно: кто в расшитом лисьем малахае, кто попроще – в обычной круглой шапке с мехом. В руках держали коржуны, торбы, просто узелки. Алтынсарин пересчитал: их было четырнадцать. Он посмотрел на молча стоящих людей: больше никто не выходил из толпы.

Раздался звонок, громкий, требовательный. О нем знали уже во всей степи. Дети, теснясь, пошли за Алтынсариным в дом...

Солдаты нестройно закричали «ура».

– Прекратить... Не видите: школа! – прикрикнул Яковлев.

Солдатам приказали разойтись, но некоторые остались, продолжали стоять возле школы с киргизами и обывателями.

Каждый час дважды звенел звонок. Дети выходили, шли к своим родичам. Но как только раздавался он вторично, спешили назад. Совсем уже не было в них

страха или смущения. В школу они бежали теперь не оглядываясь.

Любопытствующие привставали на носки, смотрели в окна. Была видна доска, и палочки, что рисовал на ней учитель.

– Пишет чевой-то...

– Что ж пишет-то?

– А кто его знает!..

В поселке, да и среди солдат, немного было грамотных.

С полудня до вечера проходил той, на выгоне за шлагбаумом состоялись скачки. На валу палила пушка. Детей Алтынсарин не пустил на праздник: они делали уроки.

Он посмотрел на себя в зеркало, стоящее в углу его комнаты, слегка отодвинулся. Так же, как у учителя Алатырцева, были у него небольшая борода с усами, расчесанные в стороны волосы. И простой форменный сюртук был такой же. Не специально он это сделал, все само по себе произошло. С такой прической и в сюртуке с отворотами ходили земские чины, лекари, учителя, – все, не находящиеся в административной службе. И писатели в журнальных портретах были такого же вида, как бы мужицкого, без бакенбардов и с достоинством в лице...

Что же, третий месяц уже работала школа. А все определилось лишь в конце лета. Был возвращен к должности в Оренбурге Василий Васильевич, а исполнять дела губернатора вместо уехавшего Безака стал вдруг старый хромой генерал, тот самый, что двадцать лет назад писал на полях свое мнение по просвещению. И быстро решилось дело с киргизскими школами...

Летом ездил он по устройству своих дел на Tobol. Гребнев управлялся с лошадьми и дедовским тарантасом. У Золотого озера гостил он у родственников. Аксакал Азербай сидел на могиле деда Балгожи. Все так же боком к нему и друг к другу дядя Хасен и дядя Кулубай. Оба чуть ссутулились, цвели сыновья их – молодые

джигиты Жунус и Жумагул. Вежливо приветствовали они его, как старшего брата, но в глазах обоих была скрытая настороженность. Он специально уселся в круте как бы отдельно от всех, там, где надлежит сидеть только гостю. И сразу разгладились при обращении к нему лица родичей. Наперебой старались они заслужить его расположение. Он сделался для них посторонней силой и следовало иметь его в друзьях.

На кыстау стало многолюдно не по времени года. Раньше лишь больные и сторожа оставались здесь, когда уходило в свой путь кочевье. Теперь полосами до реки здесь темнела перекопанная земля. Поверху стояло шесть или семь одинаковых изб – из тесаных бревен с резными наличниками на окнах и воротах. Как раз там это было, где думал он когда-то проводить главную городскую улицу.

В огородах росли репа, огурцы, капуста, за сараями зеленела рожь. При каждом доме были посажены деревья, и ягода краснела между редких листочков. По памяти он вошел в дом, где стояла раньше шошала дядьки Жетыбая. Замызганный мальчуган возился во дворе с щенком. Увидев чужого человека, мальчик уставился на него, положив палец в рот.

– Ты чей?– спросил он по-казахски.

– Жетыбай мой отец.

Он удивился. Мальчику было года четыре. Как-то не узнавал он о жизни дядьки Жетыбая у приезжавших навещать его родственников.

– А мамка в доме уху варит. Дядя Гриша во какого сома вчера поймал!..

Малыш разводил руки и таращил глаза. Из дома вышла немолодая женщина, по виду мерещачка, но в русском сарафане.

– Сейчас в степи они. Там у нас и просо, и пшеница,– сказала она певуче, совсем по-русски.

Вечером он пришел к дядьке Жетыбаю. Тот сидел на лавке, все такой же, как и раньше: то ли сорок лет ему было, то ли пятьдесят. Лишь в глазах стало больше

движения, особенно когда придвинул к колену сына. Салима – жена его – была из-за Тобола, нанималась там у людей при огородах. Жетыбай приглядел ее на ярмарке, что устраивалась теперь в Николаевской, и привел жить к себе.

Окна были открыты. Заходящее солнце красило край неба за излучиной Тобола. Пришли солдат Демин, Нурлан, еще какой-то мужик в казахских меховых штанах. Нурлан, прошлым летом освободившийся из острога, не стал уходить с кочевьем. Сейчас он строил дом, и дядька Жетыбай с Деминым помогали ему. К солдату Демину приехала родня из России: сестры, двоюродные братья. Двое их тоже поставили здесь избы.

Салима выхватывала из большой печи чугуны, разливала уху по мискам. Ели деревянными ложками, какие продавались на ярмарке.

– Знатных сомов Григорий Петрович приносит. Видно, место для них такое!– говорил мужик в козьих штанах.

Демина называли по имени-отчеству. Это он вчера отловил десятка полтора сомов и другой рыбы.

– Места тут изобильные,– продолжал говорить мужик.– Потому и народ сюда тронулся. Как манифест вышел царский, так все и произошло. Год-второй протянул мужик, что полагалось по реформе, глядь, а земли у него с гулькины нос, суглинок али болото... Страсть сколько народу сюда валит!

Так оно и было. На другой стороне реки, в Николаевской, стояли возы. Большие, послушливые лошади, махая хвостами, паслись у дороги, мычали привязанные к возам коровы. На возах сидели ребяташки, прикрытые от дождя армяками и попонами. Они любопытно смотрели на казаха, ведущего в поводу большого двугорбого верблюда. Десятки таких возов останавливались тут на ночлег и утром трогались дальше. Кто оседал при постах и укреплениях, начинал сеять хлеб. Другие, как родичи солдата Демина, нанимались работать на кыстау у казахов.

Николаевский поселок сделался шире и выше. Большая каменная церковь стояла на площади. Три улицы тянулись уже от нее к реке. Дома строились как в городе, ровными порядками.

Жители не говорили Николаевская или Новониколаевск, а как и первые поселенцы – Кустанай. Когда двадцать лет назад стали селиться здесь, было это просто урочище.

В парадном крыльце большого каменного дома повернул он рукоятку звонка.

– Господин Алтынсарин!..

Знакомая женщина с чуть расплывшимся лицом отступила в радостном изумлении. Другая женщина, молодая, дебелая, смотрела из-за плеча:

– Иван Алексеевич!

Он смотрел и никак не мог представить, что это и есть Оленька с веснушками и соломенными косичками, которую он знал. И сюда, куда переехали Дыньковы, всякие полгода посылал он через ведущего счета Алим-ага деньги. Только на второй год он получил от Варвары Семеновны письмо с великой благодарностью и сообщением, что они устроены и не имеют больше нужды. Потом, еще через год, получил он Оленькино письмо, что она собирается замуж...

Он сидел за праздничным столом и слушал, что говорил Оленькин муж, молодой представительный негодичант:

– Мы, Курылевы, старая торговая фамилия. Батюшка меня в Англию посылал, и даже работал я там несколько времени от фирмы. Шерстяное дело у англичан находится в большом развитии. Даже в парламенте председатель у них на мешке с шерстью сидит. На стекляшки да зеркальца продукт у туземцев обменивать – давно у них в прошлое отошло. Все на твердой, разумной основе. Не от обмера или обвеса также идет прибыль, а от научной системы. Гниль всучить или обмануть в чем-либо покупателя, так ни в коем разе. Самому невыгодно, так как не возьмут в

другой раз его товара. За работу ума, за экономический труд берет предприниматель свой законный процент. И не беспокоиться делать лучше никак не может, вмиг его другие обойдут.

Теперь возьмите нашу российскую, азиатскую торговлю. Впрочем, может быть, и от варягов она к нам пришла. Даже и слово такое у купцов есть – варяжить. Это означает в самом прямом смысле поставщика ободрать и покупателя объегорить. В обмане ищет свой процент коренной российский прибыльщик. Ума тут много не надо, да и трудов больших не требуется. Условился и за работу что следует не заплатил. А то и прямо отобрал принадлежащее человеку. Дураков, мол, учат. Тоже и с покупателями: сукно гнилое продаст или сапоги на картоне. В Севастопольскую войну все сразу себя показало.

Нет, в новом осмыслении следует жизнь строить. Вон в степи овца полтинник стоит. Можно, конечно, по темному делу враз ободрать киргиза и процент бешеный от того получить. Только серьезный негоциант никогда так не сделает. На промышленную почву он все поставит. Изучали мы это дело. По всему выходит именно тут, в Кустанае, удобный выход скоту из степи. Так чтобы не гнать его живьем дальше, а на месте обрабатывать. То есть капитал вложить, умение свое проявить. А в таком разе и киргиза нельзя диким порядком обдирать. Самому выгодно где и поддержать его в трудное время. Тут такой случай, что обеим сторонам от того получателя польза. Взаимно зависимы в экономическом деле становятся они, а что может быть крепче этого...

Оленька была в положении. По тому, как смотрел на нее Василий Анисимович Курылев, было видно, что муж ее любит. Она играла на фортепьяно, а они слушали.

За обедом положили ему на тарелку вяленое казахское мясо.

– Айтокин прислал, – сказала Варвара Семеновна. – И здесь все шлют, не забывают Алексея Николаевича,

царство ему небесное. И не брать невозможно – обидятся...

По делам он еще съездил в Троицк. На обратном пути снова остановились на кыстау. Ночевал он в каменном доме у Азербая, опять ходил к дядьке Жетыбаю и солдату Демину. Жена Демина, из его же деревни, крепкая, уверенная в себе женщина, как ни отказывались, постирала ему и Гребневу исподнее и рубашки. Когда он уезжал, солдат Демин сидел на коньке крыши дома Нурлана, прилаживал деревянные кружева с петухом, как на других домах. Внизу с подоткнутыми платьями ходили женщины, носили глину в ташилках, дядька Жетыбай и Нурлан лепили из серых кирпичей сарай во дворе.

Так и не сказал Нурлан за это время ни одного слова, только шрам на лице становился белее всякий раз, когда спрашивали его что-нибудь о прошлом...

Не так все было просто со школой. Опять приходила бумага из губернии о том, что он противодействует распространению слова божьего среди учеников. Потом вдруг перед самым открытием школы пришло отношение о согласии с его рапортом о переводе на службу в степь, написанным два года назад. Это случилось, когда и хозяйство все уже перевел он сюда с Тобола. Даже новый учитель назначался – Мангысов, только что окончивший Оренбургскую киргизскую школу. Яков Петрович собственноручно писал возражение.

Было видно, откуда все идет. Краманенков, несмотря на двухкратные представления майора Яковлева, оставался в гарнизоне. На квартиру к интендантскому офицеру ходили сотник Носков и Федор Ксенофонович Ермолаев.

Уже вскоре после его переезда в укрепление пришел к нему Ермолаев.

– Так что свидетельствуем свое почтение. Как земляку, можно сказать...

Он с недоумением смотрел на работника Федора, бывшего в Оренбурге на хлебах у торгующего мясом соседа Толкунова. Вовсе рассудительный вид сделался у того. Как и тесть его Тимофей Ильич, благостно щурил Ермолаев глаза, только голос был резче.

– Чем могу служить?– спросил он.

– Как, значит, промышленники мы по мясному делу. Ну и шерсть так, кожа... А вы как близкий человек киргизам. Так можно в договорчик нам с вами учинить. Чтобы скот подешевле с них брать, Вам-то они запросто поверят...

В подобных случаях неожиданное спокойствие приходило к нему.

– Извольте оставить мой дом!

– Как знаете-с... Наше дело предложить.

Ермолаев тоже был спокоен. Лишь уходя, метнул взгляд куда-то в пол, и сразу встал перед глазами оренбургский день, старик с джигитом перед высокими воротами и размахнувшийся для удара кулак. Господин Дыньков тогда его укоротил...

Однако этого всего, в том числе доносительных писем, так и следовало ожидать. Другое беспокоило его при взгляде на детей. Только сегодня остановился он среди урока и стал вдруг смотреть им в глаза. Как будто одинаковые были они: пытливые, чистые. И вместе с тем знал он, что большая половина их родителей – дистаночные старшины, казенные бии, даже родичи обедневших султанов. С одной только целью послали их сюда отцы – выучиться, чтобы сесть посредине круга в роде. Помнилось значение мундира с начищенными пуговицами при сидении у колена бия Балгожи. Жадность к власти дяди Хасена и дяди Кулубая, умноженная в тысячу раз, представилась ему. Не надо будет нанимать приказных. Все сами научатся писать, и тысячи заявительных писем потекут со всех сторон, ядовитой массой устилая степь.

Открывая этому дорогу, лежала перед ним тусклая бумага. За два года до школы пришла она, и было на ней

личное утверждение оренбургского и самарского генерал-губернатора генерал-адъютанта Безака в споре того с «генералом от Московского университета» Григорьевым. Василий Васильевич желал, чтобы не администрации учились киргизские дети, а практическим наукам. Железную дорогу начинали строить через Волгу к Оренбургу. Так с чем встречать ее узунским кипчакам?

«Курс учения в степных школах полагается следующий: а) чтение и письмо на киргизском и русском языках; б) первые четыре правила арифметики и в) переводы с киргизского на русский и обратно с объяснением при этом грамматических форм обоих языков». И ничего больше – даже того, что есть город Оренбург. Все должно было оставаться в окоёме.

Зато в остальном «Правила о школах, учрежденных при Оренбургском и Уральском укреплениях и при фортах №1 и Перовском» составляли полных четыре части в тридцать один параграф. Забор рос по окоёму, вылуцывая содержание... «Классная и спальная мебель каждой школы должна заключаться в нарах (с матрацами из грубого холста, набиваемыми соломой или сеном), столах, скамейках и большой учебной доске – все плотнической работы; а кухонная посуда – в железных ведрах и чайниках... Ножи для резания мяса воспитанники должны иметь свои... подсвечники и щипцы для свеч употребляются железные...»¹ Природное буйство порывов дяди Хасена и дяди Кулубая укладывалось в строгие административные рамки, обретало государственный смысл.

Ведомость по предметам, необходимым в школе, лежала перед ним... «Аспидные доски – 3... Счеты большие – 2... Доска с козлами для арифметических упражнений – 1... Чернила – 2... Перочинные ножи – 3...

¹Алтынсарин И. Том II. Алма-Ата, АН Казахской ССР, 1976.

Карандаши – 1/2 дюжины... Мел комовой – 10 фунтов». И шнуровая книга, в которую записывается по каждому пункту расход. Ежемесячно составляется о том обязательный отчет, где каждый параграф получает обстоятельное освещение. В свою очередь, от лица коменданта укрепления идет в областное правление соответствующее донесение о деятельности школы, составляемое, естественно, тем же смотрителем и учителем школы в одном лице, только уже с контрольной позиции.

Имеется в том особый смысл, чтобы не оставалось учителю времени для широкого дела. Сам воздух школы должен быть пропитан встречным духом к дяде Хасену и дяде Кулубаю. Фигура Евграфа Степановича Красовского вставала во всей значимости. Только ведь был еще русский язык, которого никак им невозможно было отменить.

Он сознательно не стал собирать детей в школу поодиночке. В таких случаях есть обычай везти подарки и устраивать особо своего человека. В один и тот же час прямо из толпы позвал он их в школу, чтобы не имели никаких преимуществ друг перед другом.

И не отпустил он их также на той, что происходил в день открытия школы. Не с праздника надлежало начинать дело, и узунским кипчакам следовало впитать это с первого школьного звонка. Он вырывал их из окоёма сразу, с первого дня...

«16 марта 1864 года. Укрепление Оренбургское... Добрейший Николай Иванович!.. 8 января совершилось давно ожидаемое мной открытие школы, и поступили в нее 14 киргизских мальчиков, мальчиков славных, смыслящих. Как голодный волк за барана, взялся я горячо за учение детей, к крайнему моему удовольствию, мальчики эти в течение каких-нибудь трех месяцев выучились читать и даже писать по-русски и по-татарски. Методу учения я занял у Вас; даю им сперва названия предметов, исключительно слова,

относящиеся к имени существительному; потом названия качества предметов – имени прилагательному; потом соединения названий предметов с их качествами, далее – глаголы, а потом спряжения и склонения слов, род и число, далее – примерными тому разговорными переводами из «Самоучителя». Два воспитанника прежние еще мои питомцы, почти выучили уже эти правила: занимаются разговорными переводами и читают «Детский мир», из которого так же делают переводы. Когда воспитанники мои начнут немножко говорить по-русски, я смешаю с ними и русских мальчиков, детей здешних поселян, на что имею законное уже право... Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками. Посмейтесь надо мною, я иногда являюсь к детям в пустое от занятий время официально муллой и рассказываю, что знаю, из духовной истории, прибавляя к тому и другие полезные удобопонятные рассказы.

Если Вас не затруднит, то просил бы выслать мне пять или шесть «Самоучителей» и еще других таких книг, которые почтете для детей полезными... Мое постоянное стремление душевное клонилось к тому, чтобы непременно быть полезным человеком, а теперь мысль, что достигаю этого, – утешение мне во всем... Я прошу Вас как прежнего доброго Николая Ивановича, не забывайте только меня... Весь, весь, весь Ваш Ибраш...»

5

Теперь все соседи скажут:
«Кот Васька плут! Кот Васька вор!..»

Маленький и ширококостный мальчик-киргиз читал без книги с необычной серьезностью: расставлял руки, представляя добродушного пьяного повара, хитровато шурился и урчал, показывая блудливого кота, убираю-

щего курчонка. Вовсе чисто по-русски изъяснялся он. Сидящие за экзаменаторским столом офицеры смотрели с удивлением. Только подполковник Яковлев с новыми двухпросветными погонами на плечах был официален и невомутим.

– Так как, говорите, имя этого молодца?– комендант от дальнесторкости откидывал все голову назад от лежащего перед ним листа.

– Это, как я уже докладывал вам, из тех двух, что учились при мне раньше.– Алтынсарин говорил негромко.– Потому отсутствуют в формулярном списке. Полагаю их готовыми по всей программе. Вы ж о том знаете, Яков Петрович.

Яковлев крикнул. Ставши подполковником, он сделался еще больше придирчивым. Однако к школе был у него особенный интерес. Весь гарнизон был выстроен на ее открытие. Теперь вот на проходной экзамен учредил он комиссию, хоть и не предписывалось то правилами. По бокам от коменданта сидели у крытого сукном стола скоро уж тридцатилетний прапорщик Горбунов, подпоручик Петлин второй, сотник Чернов, лекарь Кульчевский, есаул Краснов. В стороне, как бы свидетельствуя в чем-то, расположился отец Василий Бирюков.

– Значит, в общем списке они обозначаться не станут?

– Так точно, Яков Петрович,– Алтынсарину одному позволялось в службе называть не по чину начальника укрепления.– Однако же свидетельства дадим им как кончившим учение.

– Ну-с, тогда приступим к дальнейшему экзамену.– Яковлев на минуту как бы задумался.– Скажем так. Коли вам, Ержанов, предстоит произвести измерение поля в горизонтальном счислении, то какой инструмент употребляется в таком деле?..

Маленький Ержанов, ни секунды не думая, умножал и делил данные ему числа, производил триангуляцию¹.

¹Метод измерений при геодезических работах.

Яковлев со скрытой снисходительностью посматривал на подчиненных. Он самолично водил киргизских воспитанников на съемку местности.

Лекарь Кульчевский, болезненный худой человек, расспрашивал по своей части. По содействию коменданта он объяснял в школе, как распознавать болезни и что делать в первой поре при их обнаружении.

Петлин второй покраснел и, щипая пробившийся ус, спросил:

– Позвольте узнать у вас, господин... воспитанник, каковы вам известны города и страны помимо России.

Ержанов отвечал бойко и не смущаясь:

– Ежели называть сопредельные с кайсацкой степью, то на юге это Хива, Бухара и Коканд с расположенными позади них Персией да Кашгарией, а дальше еще Индией. На востоке же Китайская империя с завоеванными ойратами и прочими племенами. Большое государство в мире еще Великобританское королевство. Кроме него в части света Европа состоит также Французская империя, где главный город Париж...

Все спрашивали по очереди, что хотели. Отец Василий со всегдашней своей робостью неслышно двигал по стулу своим большим телом. Знали, что из-за каких-то писем, посланных в Оренбург из укрепления, пригласили также его на испытания в киргизскую школу.

– Дозвольте и мне осведомиться, – покашляв, решился спросить он наконец. – Как вы, молодой человек, предполагаете понимать веру? В общем смысле, ежели сказать...

Наступила тишина. Но воспитанник не смутился вопросом.

– Хотя праотец общий у всех, земные народы имеют различные верования. Так, иудеи чтят одного только, единого бога, христианские народы, кроме того, чтят как сына божьего пророка Ису и мать его Мариам, народы же магометанские считают, что божье откровение открылось людям через пророка Мухаммеда. Есть еще индийская и китайская веры. Всякая вера в

своим народе учит не лгать, почитать родителей, быть добрым к людям. Так что благодаря ей общежительствуют они. В вере выражают люди свою совесть и дают в наследство детям.

– Так... Все так, – соглашался отец Василий, поглядывая на других и словно бы призывая порадоваться с ним вместе. Офицеры переглядывались.

Четверо или пятеро воспитанников из поступивших в школу ко дню ее открытия тоже изрядно разговаривали по-русски, читали на память истории, спрягали и склоняли. Другие путались, но смысл понимали. Яковлев говорил с ними по-киргизски, и они бойко отвечали ему. У начальника укрепления был победный вид, словно это он их всему выучил.

К концу предложено было свободное чтение. Вызывались теперь по собственной воле. Тонкошей мальчик со смуглым красивым лицом читал, прикрыв глаза:

«Ни зашелохнет, ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величаявая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла...»

Проверяя себя, слушал он ответы на экзамене. С маленьким Кабылом Ержановым все было ясно с самого начала. Когда он еще в первый год приехал к управляющему дистанций служащему бию Ержану Есмагамбетову, тот сказал:

– Ладно, Кабыл пойдет к тебе. Он у меня одиннадцатый. Пусть этот по-русски учится.

– Учеба принесет пользу вашему сыну, агай, – объяснял он.

– Да, один сын – Абдильда у меня в Бухаре постигает истинную веру в медресе. А этот пусть дистанцией правит. Русские бумаги станет читать. А то мне их все писарь-мишар читает, а проверить не могу.

– Есть и другие у вас дети, агай, – заметил он.

– Пусть казахским делом занимаются, от скота прибыль получают, – отрезал бий.

Пока они говорили, совсем маленький кругло-головый мальчик с большими ушами сидел у входа в юрту, и только черные глаза не отрывались от гостя. Когда собирался он уезжать, тот у стремени. И потом все смотрел ему вслед.

Через неделю в ворота постучали ручкой камчи. Большой добродушный казах, не слезая с лошади, заглядывал во двор. На другой лошади сидел этот самый Кабыл Ержанов, придерживая руками мешок с казы¹, больше его самого.

– Ай, не ест, не пьет совсем, учиться хочет, – объяснил словоохотливый казах. – Ержан-ага сказал: отвези его к мугалиму, который приезжал. Покоя с ним никакого нет...

Тут сразу было видно, что не думает о приготовленном ему месте Кабыл Ержанов. Домой на вакацию мальчик не поехал, и в первый год прошел все, чему мог выучиться в школе. С одинаковой серьезностью относился Ержанов ко всему: к счету или к словесности – и прочитал все, что было в доме и в комендантском шкафу.

– Кабылу надлежит дальше учиться, – объяснял он приехавшему весной бию Ержану. – В Оренбурге есть кадетское училище, имеются и другие...

– Зачем это ему? – спросил Ержан-ага.

Как было ответить? Он отвел глаза и заговорил о том, что вот ученые люди становятся большими начальниками, даже генералами. Должность султана-правителя тоже может в будущем исполнять такой человек.

Ержан-бий остро посмотрел на него:

– Ладно, пусть учится!

С Черкешем Мамажановым было проще. Тот принадлежал к числу семейств, пострадавших от Кенесары Касымова, и мог быть принят на казенный кошт в любое заведение. Два года уже Черкеш не отходил от

¹Особо приготовленное конское мясо.

Яковлева, даже на съемки с солдатами ездил по его ходатайству. Яков Петрович уж и письмо написал своему товарищу в Топографическую школу прапорщиков с рекомендацией. И на Кабыла Ержанова готово было представление...

Когда Кабыл Ержанов стал рассказывать о вере, офицеры задвигались. Есаул Краснов даже оглянулся два раза на отца Василия. Тот согласно кивал головой.

Что ж, ему и вправду, как писал о том Николаю Ивановичу, необходимо было исполнять роль муллы в школе. В кочевье на Акколе, откуда хотел он позвать муллу для знакомства детей с сунной, тот оказался неграмотным человеком: где-то в Туркестане прислуживал раньше при мазаре и арабского языка вовсе не понимал. Тогда сам он взялся разъяснять смысл поучения пророка – о сиротах, путешествующих, об отношении людей друг к другу. При этом рассказал о других верованиях, их смысле и значении для разных народов.

Как раз тогда это было, когда приехал благородный кожа Динахмет...

Уже второй месяц шли занятия, как вдруг утром увидел он в школе постороннего человека. Тот стоял и смотрел, как умывались дети, с шумом хватали миски, куда Нигмат, служивший теперь в кухне, накладывал им каши с мясом, пили молоко от содержавшейся при школе коровы. Что-то знакомое показалось ему в стоящем у порога человеке, но лишь когда гость заговорил, узнал он агай-кожу.

– Ассалямалейкум... Все ли в порядке у вас?

Почтенный Кожаулы Динахмет говорил с ним так, словно вчера только расстались они на далеком степном урочище, где вместе выстрелили в одного фазана. Все такая же скромная одежда была на агае-кожа, и рукав у ношеного, но чистого полушубка был аккуратно подштопан. И никаких вещей почему-то при госте не было.

– Как вы доехали? Где устроились? Пойдемте в дом ко мне, многоуважаемый Ахмет-ага!..

Он услышал, что собственный голос его дрожит от волнения. Мало кому обрадовался бы он так в это время.

– Я живу здесь у одного знакомого, а к вам обязательно приду домой, – говорил агай-кожа. – Делайте свое дело, учитель Ибраим. Я лишь немного побуду у вас.

Давно еще где-то в глубине души соизмерял он свои действия с тем, что сказал бы о них этот человек. По часам звенел звонок, он объяснял детям правила сложения и вычитания, заставлял рассказывать быль о двух людях, которые вместе строили себе дом и вели хозяйство, писал на доске и произносил с ними вслух обиходные русские слова. Ни в чем не изменил он распорядка учебы, только в конце прочитал на память «У лукоморья дуб зеленый».

Кожа Динахмет сидел в сторонке у двери все четыре урока. Потом пошли к нему домой, вместе обедали. К вечеру он пошел проводить гостя, так и не решившись спросить, у кого тот остановился. Очевидно, у живущих неподалеку казахов или у кого-нибудь из имеющих лавки при укреплении татар. Но агай-кожа попрощался и пошел в крепостную часть, к офицерским домам. Ничего не понимая, смотрел он вслед.

Вечером, проходя мимо комендантского дома, увидел он через окно, что кожа Динахмет сидит вместе с Яковлевым. Комендантский денщик Семенов бегал во двор, сапогом раздувал самовар. Тут он вспомнил, как Яков Петрович говорил как-то, что с Сырдарьинской линии есть у него старинный знакомец.

Дней через десять снова появился в школе кожа Динахмет. С ним был мальчик – смуглый, с умными глазами, тонкая шея высоко поднималась из жесткого кожушка.

– Это мой сын, учитель Ибраим, – сказал агай-кожа. – Пусть учится у вас.

Весь вечер потом они разговаривали. Благородный агай-кожа задумчиво смотрел в огонь лампы:

– Так получилось, что у правоверных народов кожа служит примером в понимании жизни. В деле мира он

является мостом между врагами, потому что кожа есть в каждом народе, а между собой они родственники. Так что среди людей кожа должен быть источником рассудительности. Когда круто меняется жизнь, ему первому приходится думать о том...

Мальчик сидел на скамеечке в стороне и внимательно слушал. У него были отцовские глаза: достоинство и какая-то особенная мягкость души отражались в них. Мухамеджан Ахметжанов, как оказалось, понимал по-русски. Уже двадцать лет в их урочище разбивали лагерь военные топографы. Потому, наверно, особое отношение было у окрестных казахов именно к топографам.

Сегодня в экзамен мальчик прочитал отрывок из черной с зелеными углами книги. Не в пример другим тот был равнодушен к счету или естествознанию. Зато в три месяца выучился писать по-русски и читал на память. По Ланкастерской системе¹ он прикреплял этого мальчика к тем, кому плохо давался язык. Мухамеджан Ахметжанов с необыкновенным старанием относился к своей обязанности. Это тоже, наверно, было от кожи – способность к учительству..

Весь день наблюдал он сидящих за столом людей. В комендантском клубе, за картами, даже в рождественскую елку, куда ходили и взрослые, нельзя было сразу увидеть человека. Разве только если, как акын Марабай, уметь распознавать людей.

Прапорщик Горбунов задавал вопросы строго, и в замкнутом лице его читалась подчеркнутая независимость. Собственно, и не прапорщиком он был к своим двадцати восьми годам, а уже полгода подпоручиком, но не подтвержденным еще годовым высочайшим повелением. В таком случае офицеры надевали присвоенные по чину погоны, да и жалованье

¹Педагогический метод, по которому более сильные ученики занимаются со слабыми. Был распространен в XIX веке.

получали соответствующее. Горбунов из гордости не хотел того делать. Еще безусым мальчишкой, не спросив разрешения начальства, женился он на своей крепостной. Два раза обошли его чином и послали в службу сюда, на Тургай.

Лишь однажды по лицу Горбунова прошла улыбка.

– Какие недостатки замечаете вы в людях?– спросил он у Абдибека Беримжанова второго, не в пример своему брат Беримжанову первому не очень успевающего в учебе.

– Недостатки... Что такое?– переспросил Абдибек.

– В себе, например, вам все нравится?

Абдибеку пересказали вопрос по-казахски.

– Я хороший!– твердо заявил тот.

– Каждый из нас, господа, думает о себе то же самое,– усмехнулся Горбунов.

Петлин второй увлекся ролью учителя и сбросил свою застенчивость. Размахивая руками, подходил он к доске и показывал, как надо правильно писать и считать. Когда его понимали, глаза подпоручика радостно вспыхивали. Лекарь Кульчевский, человек самомнительный, подпускал иронию в вопросы, однако же знаниям, им самим сообщенным ученикам, несомненно, тоже радовался. Есаул Краснов задавал вопросы по уходу за лошадьми и вдруг заспорил с тем же Абдибеком Беримжановым вторым, надо или не надо коня подковывать.

– Не надо!– говорил Абдибек.

– А коль по камням случится вам ехать?– строго спрашивал есаул, раздраженно отирая лоб платком.

– Не надо ехать по камням!– упрямо твердил Абдибв.

Отец Василий, услышав ответ Кабыла о значении веры в народной жизни, повеселел. Еще накануне прибежал священник к коменданту. Лицо у него было растерянное, руки дрожали.

– Вот, опять письмо из епархии, Яков Петрович, извольте посмотреть.

Яковлев взял письмо с лиловыми сургучными печатями, молча прочитал, и на лбу у него сдвинулись морщины:

– Ну и что?

– Так в том мне опять пеняют, что новообращенных в приходе у нас не имеется. Акромя Кубреевой, что за унтера русского замуж пошла. Особо, видите, за школу киргизскую укоряют. Будто бы не допускают меня туда господин Алтынсарин.

– Извольте, батюшка, твердо ответить им, что никакого принуждения в вере на подотчетной мне территории допущено не будет. Не христианское то дело, да и не к чести государственной. Вот в экзамен школьный вы пойдете!

Как ни удивительно, но больше всех волновался на экзамене Яковлев. Внешне это было не видно, но при каждом выходе ученика у старика краснела шея и начинала подрагивать нога. Чем-то на господина Дынькова похож был начальник укрепления, когда тот волновался за всех них на экзамене в Оренбурге. Но господин Дыньков был школьный надзиратель, а подполковник Яков Петрович имел лишь общее касательство к этому делу. Что-то более важное как будто бы сошлось для него на киргизской школе...

Пожалуй, из всех здесь только с сотником Черновым определилась у него личная дружба. На того, как и на него, находили часы меланхолии и вместе тогда ходили они за Тургай в степь. Просто шли рядом, рассеивая мысли. Чернов тяготился службой и не знал, что ему в жизни делать.

– У вас, Алтынсарин, хоть дело есть, которому служите, а у меня... – и сотник махал рукой.

Однако образован Чернов был хорошо, с чувством читал стихи и все переписывался с какой-то девицей в Симбирске. О том сотник говорил лишь намеком, что есть у него единственно понимающая его душа, да обстоятельства враждебны их счастью.

Чернов как будто ожил на экзамене: с живым интересом слушал ответы по всем дисциплинам, но сам вопросы не задавал – только вглядывался в лица учеников. Когда ответ был удачным, сотник утвердительно кивал головой.

Лишь в самом конце экзамена Чернов вдруг задал общий вопрос:

– Как думаете вы поступать в жизни, если мнение ваше правильное, но идет наперекор мнению окружающих вас людей?

Чтобы понятно было для тех, кто еще не понимал хорошо по-русски, он растолковал им вопрос Чернова по-казахски. Мальчики притихли, сразу ушли в себя.

– Когда люди боятся, они всегда говорят одинаково.

Круг сломался. Это сказал Нургали Авезов. Так и должно было произойти...

Не все в порядке было со школой с самого начала. Еще осенью, объезжая причисленные к укреплению дистанции, ощутил он некий посторонний холод. Ему смотрели в глаза, соглашались со всем, но он-то знал, что это означает. В окоёме исключалось прямое отрицание.

В ауле правящего султана Джангера, дальнего его родича, стояла знакомая бричка-двуколка. Федор Ксенофонович Ермолаев, тургайский скотопромышленник, сидел в тени за дастарханом. Дела были у того с ага-султаном. Несколько человек в дырявых чапанах и вовсе в каких-то лохмотьях сидели на солнце невдалеке.

– Эй, чего сидите. Деньги, что дал Ермолла, берите!

Ага-султан даже не смотрел на землю, где сидели люди. И те тоже не поднимали головы. По очереди, согнувшись, подходили они и подбирали с земли брошенные им деньги. Здесь не было крика или драки, как на оренбургской улице. Было светло и тихо. Федька Ермолаев сидел в тени, ровно прихлебывая из пиалки чай с молоком.

Это был самый центр окоёма. Но его это не касалось. С первого дня дал он себе зарок не вмешиваться в дела родичей. Его дело – школа, и через нее проложен будет выход из круга.

Султан Джангер увидел его, пошел навстречу:

– Э-э, как доехал, как твои дела, уважаемый родственник!..

– Желаю здравствовать, господин Алтынсарин! – с холодной насмешкой в тоне приветствовал его Ермолаев.

Потом, когда Ермолаев уехал в своей бричке, подошли Аманжол, управляющий всеми делами у ага-султана, и какой-то благообразный аксакал в плюшевой тубе на голове и с четками в руках. Вчетвером сидели и разговаривали они, попивая кумыс.

Он приехал, чтобы окончательно договориться об учениках. Пока что из шести аулов, принадлежащих роду султана Джангера, лишь один человек дал согласие отправить своего сына в школу. Что-то было не так, и не мог уловить он причину.

Султан Джангер, один из многих тюре¹, в последние два года приобрел большой вес в Орде. Говорили, что десятками тысяч продает он скот, и числили его миллионщиком. В укреплении на Тургае стояли два каменных дома и конюшня, принадлежащие ага-султану. Совсем открыто забирал он себе половину за проданный скот в своих аулах и у соседей. Его боялись и молчали. Ни одной жалобы не приходило на него.

– Так, говоришь, не хотят детей отпускать в твою школу, племянник. Ай-ай, какой нехороший народ. Учености не желают знать, – султан Джангер сокрушенно качал головой. – Совсем непутевые люди!..

– Да, ага-султан, лишь один Авес Бердибаев обещал прислать в школу сына, – подтвердил он.

– Авес Бердибай, говоришь... Что же, позовем его, похвалим!

¹Наследственная знать, потомки чингизидов.

Пришел Бердибаев, рослый крепкий табунщик, который месяц назад пообещал учить в школе сына своего Нургали.

– Вот, уважаемый внук бия Балгожи говорит, что ты решил отдать сына в школу к орысам, – султан Джангер пристально смотрел на табунщика. – Это хорошее дело...

Авез Бердибаев стоял молча, как бы не слыша слов султана.

– Хорошее, говорю, это дело! – со значением в голосе повторил ага-султан.

Аксакал перебирал четки, управляющий Аманжол почему-то усмехался. Молчание затянулось, и он посчитал нужным вмешаться:

– Вы, Авез-ага, сами сказали мне об этом.

Табунщик повернулся к нему, спокойно подтвердил:

– Нургали приедет к тебе в школу, мугалим!

Будто ручка от камчи хрустнула в кулаке у султана Джангера, и в тот же миг уловил он ненавидящий взгляд, брошенный в его сторону. Он не мог понять, чем же вызвал эту неприязнь. Но уже доброжелательная улыбка появилась на породистом лице ага-султана:

– Видишь, как хорошо решил все наш человек Авез!

Табунщик повернулся и, не сказав ни слова, пошел от дома.

За неделю до открытия школы чья-то юрта появилась в трех верстах от укрепления, вниз по Тургаю. Зимой не принято было кочевать, и он поехал посмотреть, кто же это приехал из степи. В юрте горел огонь, десятка полтора лошадей ходили в тугаях. Войдя, он увидел Авеза Бердибаева. Жена возилась с едой, пятеро детей сидели рядышком у котла. Самый старший – Нургали встал, освобождая ему место.

– Здесь буду жить! – сказал Авез Бердибаев.

И сколько он ни пытался узнать, почему тот ушел от родичей из аула, табунщик ничего не говорил. Так или иначе это было связано со школой.

Нургали Авезов учился хорошо: по двенадцати баллов за все предметы поставила ему комиссия. Таких

было еще трое: Беримжанов первый, Жальмухамед Жангожин и Мухамеджан Ахметжанов. О том, что люди всегда говорят одинаково, если боятся, Нургали Аvezов сказал по-русски.

Он задержался после экзамена в школе: наставлял детей, что собирались уезжать на вакацию в свои кочевья. Когда шел он к комендантскому управлению, то увидел пьяного сотника Носкова. Пошатываясь, тот загромождал ему дорогу:

– Экзаменат, значит... Хор-рошо!

В голосе сотника была злоба. Что-то важное сходя-лось на его школе.

6

– В наличии имеется двадцать семь офицерских в штаб-офицерских чинов... Двести сорок два нижних чина при тридцати четырех унтер-офицерах. Также в отдельном казачьем эскадроне состоит... Двое больных в лазаретном содержании... Никаких происшествий на постах не случилось!..

Есаул Краснов опустил шашку. Яков Петрович утренние и вечерние доклады дежурного офицера принимал с неукоснительностью. Разве что двойное гарнизонное построение отменил, которое было при бароне. Лекарь Кульчевский сидел при комендантском столе, и Алтынсарин что-то делал возле шкафов.

Золотой с синим портрет государя висел на побеленной стене, а в углу икона победоносного Георгия. Через дверь видны были плуги, косилки, веялка, сложенные в передней. Их привезли с осенним обозом для ознакомления инородцев с европейскими методами хлебопашества.

– Рапорт принял комендант Оренбургского укрепления подполковник Яковлев...

Есаул вложил шашку в ножны, зевнул и, сев на скамью, стал смотреть, как Алтынсарин складывает на

полку в шкафу книги. С приездом Яковлева, на манер топографов в Оренбурге, офицеры вскладчину выписывали журнальные книжки, а также газеты из Петербурга и Казани. Алтынсарин наблюдал за ними, выдавая по очереди. Только квартирмейстер Краманенков по скупости да сотник Носков по темноте души не участвовали в подписке.

– Не могу что-то я понять, Иван Алексеевич... – Краснов всякий разговор на книжную тему начинал такими словами. – В достойных журналах ругают графа Толстого, что про казаков больно гладко все описал. Я ведь сам ставропольский казак, сюда за историю перевели. Так очень даже проникновенно он про нашу жизнь пишет. Можно сказать, сокровенное увидел.

– Господа, не желаете ли в карты?.. Эй, Семенов, подать колоду!

Есаул пошел к столу. Алтынсарин будто не слышал слов коменданта и продолжал возиться у шкафа.

– Ладно, мирза, уж не обижайтесь на старое! – настаивал Яковлев. – Садитесь ко мне в пару!

Алтынсарин нехотя сел за стол. Первую партию выиграл, и Яковлев удовлетворенно тер руки. То была старая болезнь топографов – карты. Все начиналось со второго робера.

– Ну куда... куда вы валета крестового несете, садовая голова! – начинал ворчать комендант.

– Я докладывал вам, Яков Петрович, что не талантлив в игре, – спокойно отвечал Алтынсарин.

– Да кой черт тебе талант... Ворон считаете! – взорвался Яковлев.

Алтынсарин вдруг опустил карты, сильно побледнел.

– Чего... Что это с вами, Иван Алексеевич?

Яковлев озадаченно опустил карты. Алтынсарин всегда с полным спокойствием относился к карточным разностям коменданта. Однако теперь он даже отвернулся к окну. И вдруг все услышали дальнее металлическое звяканье. Оно приближалось, и ясно обозначился звук колокольца.

– Кто бы мог в эту пору?

Все встали из-за стола. Лишь Алтынсарин все сидел, не отводя от окна взгляда. Ржанье и звон оружия раздавались на улице. Дверь распахнулась и вошли сразу три человека. Один, в сизо-голубой шинели, шагнул к коменданту:

– По-видимому, честь имею видеть перед собой подполковника Яковлева?

Тот молча наклонил голову.

– Подполковник Пальчинский с особым поручением... Надеюсь, господа поймут...

В худом тонкогубом лице приезжего была значительность. Тем не менее, было видно, что он не из строевых офицеров. Даже руки держал в постоянном движении, не прижимая к бокам.

– Дозвольте представить офицеров и чинов укрепления. – Яковлев явно не замечал высказанного приезжим желанья остаться наедине. – Лекарь Кульчевский... Есаул Краснов... Учитель здешней киргизской школы Алтынсарин...

– Весьма рад. – Пальчевский скользнул взглядом только по Алтынсарину и махнул рукой на приехавших с ним ротмистра и другого – в статском платье. – Это мои люди.

В следующий день уже с утра все трое сидели в комендантском правлении, а на улице, рядом с постом, стоял еще солдат из их сопровождения. Всякий раз бежал туда к ним интендантский офицер Краманенков, вызывались разные люди. Подполковник Яковлев ушел на весь день с солдатами на учения.

Потом на три дня подполковник по особым делам Пальчинский уезжал в степь, возвратился с каким-то киргизом, которого казахи везли под конвоем. Остановился он в доме султана Джангера, и туда тоже приезжали какие-то киргизы.

Во второй день пребывания в укреплении Пальчинский собрал к себе четырех старших офицеров гарнизона. Говорил он, сняв перчатку с одной руки и слегка ею играя:

– В это время, господа, когда Россия двинулась в Азию, с особенной бдительностью следует наблюдать за состоянием патриотического духа в войсках, а также за направлением умов в инородческой массе. Тут надлежит опереться на благонамеренные, традиционные элементы. И в таком случае недальновидно будет разрушать вековой уклад киргизской жизни. Наши цели здесь совпадают с патриотическими желаниями главенствующего в степи слоя. Тем более с учетом того, что с продвижением наших войск к Ташкенту мы становимся внутренней губернией... Следует знать, господа, также урок известных казанских событий. Там начиналось, можно сказать, с безобидных вещей, с библиотеки...¹

Вызывались некоторые люди из укрепления. При этом случилась неловкость с зауряд-хорунжим Алтынсариним. Когда тот пришел по вызову, приехавший с Пальчинским ротмистру перебирал как раз вынутые из шкафа журналы. Алтынсарин встал на пороге, не понимая:

– А как же... ключ?

– Ничего, мы обошлись.– Подполковник Пальчинский, сидевший за комендантским столом, указал ему на стул.– Вам, господин Алтынсарин, надлежит написать объяснение.

– В чем... объяснение?

Алтынсарин говорил, будто деревянный, не отводя взгляда от перебирающего книги офицера. Пальчинский внимательно смотрел на него, взял из лежащего на столе дела лист, стал читать, четко выговаривая слова:

«От 28 сентября, года 1864-го... Я, Айгелев Сандыбай, на заданный мне Вашим высокоблагородием вопрос показываю, что прошение, порочащее доброе имя и преданность престолу султана Омара Мухамедова, меня подтолкнули написать братья Казбек и Беримжан

¹Казанские волнения 1863 года среди студентов и в войсках («Казанский заговор»).

Чегеневы, а также учитель киргизской школы Ибрагим Алтынсарин, внук узунского бия Балгожи. Он же составил означенное прошение...»

Алтынсарин продолжал сидеть с прежним видом, словно глухой. Кончив читать, Пальчинский тихим движением передвинул папку:

– У нас имеются некоторые старые дела, господин Алтынсарин. Например, об укрывательстве мертвого тела. Также о незаконной справке, касающейся краденых лошадей. Угадывается некое направление...

Пальчинский, давая ему подумать, встал, подошел к шкафу, где занимался ротмистр, не снимая перчатки, взял журнальную книгу. Пальцы его медленно поворачивали страницы. Потом он взял другую книжку, третью, будто ощупывая их. Осторожно положив потом их на окно, он возвратился к столу.

– Все может быть оставлено без внимания, господин Алтынсарин. Лишь небольшая справка нужна от вас о том, что читают с наибольшим одушевлением в гарнизоне, какие мысли одобряют, – на тонких губах Пальчинского теперь была улыбка. – Опять же и среди киргизов известно ваше влияние...

Алтынсарин молчал. Подполковник Пальчинский перегнулся через стол, заглянул ему в лицо и вдруг сразу потерял свой уверенный тон.

– Что ж, идите!

Через двор в школе кричали дети.

Он лежал одетый и смотрел в потолок, лишенный всяких сил. Такое случалось с ним от давней детской болезни. Человек с саблей тогда приходил к нему...

Виделись все пальцы в перчатке, щупающие книги. С такой же цепкостью ощупывали они когда-то пачку денег в Троицке. Но там это было естественно.

Все определялось в круге. Лишь несколько слов сказал он как-то на улице в укреплении с человеком, назвавшим себя сыном Айгеля. Тот говорил что-то сумбурное о своих врагах. Потом этот человек зашел с

задней стороны в дом ага-султана. Сам Айгель арестован был за перепродажу краденого скота.

И опять приходил этот Айгелев к султану Джангеру, когда в доме у того находился офицер по особым делам Пальчинский. А Беримжан Чегенов, упоминаемый в доносе, первый записал двух своих детей в школу, и Беримжанов первый – лучший ученик.

С другой стороны, интендант Краманенков ходит все к Пальчинскому. И еще Федька Ермолаев, приятель Краманенкова, имеет дела с ага-султаном. Может быть, кажется ему, что все кружится вокруг школы?..

Черные и красные полосы заходили по потолку. В висках стучало, и горло уже перехватывало криком. Вот-вот должен был явиться Человек с саблей.

– Эй, отступи, моя очередь.

– Нет, моя...

– Отступи!

Послышался шум драки, плач. С усилием встал он, пошел во двор.

– Ай, учитель, Клычбай первый ударил!

– Нет, это Конуркульджа...

В голове все кружилось, поташнивало. Он принялся разбирать ссору, строго выговаривал виновному. Потом повел всех в класс, велел клеить фонарики к елке. Сам нарезал полосы красной и желтой бумаги, разводил клей из муки. Два мальчика из поселка уже ходили в школу. Один из них – Клягин Иван имел способность к рисованию. Крейдовой краской разрисовывал тот зверей на стене: лису, медведя, зайца с барабаном. До ночи занимался он с детьми и еле доволок ноги до кровати.

Стоял у ножки кровати кувшинчик с молоком, как всегда приготовленный матерью, лежал хлеб на столе, что брали они из военной пекарни. К хлебу он не притронулся, жадно выпил молоко и повалился спать. Даже забыл он, что говорил сегодня о чем-то с приезжим офицером. Лишь помнил пальцы, щупающие книжки. Не имело это отношения к жизни. Человек с саблей тоже не приходил, отодвинутый делом.

На второй и третий день продолжала стоять посредине класса елка-арча, обвитая бумажными лентами. Дети приходили со всего поселка. Во дворе с шумом и криками лепили снежного балбала: даже глиняную плошку прилаживали на животе. Старая аксакальская шуба бия Балгожи, в которую рядился он накануне, лежала в углу. Четвертый раз устраивал он детский бал...

Звон раздавался с колокольни, хрустел снег под ногами гуляющих в праздник людей. Но хруст сделался ближе, застучали на пороге ногами, сбивая снег. Слышался женский разговор. Он встал со стула, шагнул к двери.

– Как хотите, а принимайте визит!

Яков Петрович был в праздничном виде, даже офицерский пояс расслабил. И Дарья Петровна, сестра коменданта, расцвела сразу: румянец играл на ее широком лице. С ними вошли еще лекарь Кульчевский с женой Ксенией Сергеевной. Позавчера она опять помогала налаживать на елке детские танцы.

– По-русскому обычаю у всякого обязан быть свой именинный день. Так что принимайте наше поздравление!..

Яковлев широко расставил руки. Не понимая всего до конца, он трижды расцеловался с комендантом и Дарьей Петровной, потом с Кульчевскими.

– Входите, входите, господа. Весьма рад!

Он растерянно принимал шубки от женщин, вешал их на узкую деревянную вешалку.

– Так вот, Иван Алексеевич, ваш святой день выходят как раз сегодня. Поскольку годовщина школы, так и ваши именины надлежит на нее праздновать. У нас с собой шампанское... Эй, Семенов!

Денщик коменданта Семенов вносил корзину с бутылками. С зимним обозом всегда привозили шампанское. Он поспешил к Нигмату сказать, чтобы зарезали барана...

Пришел Чернов, потом Краснов с супругой – огромной женщиной, рядом с которой рослый, увесистый

есаул гляделся малюткой. Явились еще офицеры. Дети таскали стулья из школы.

После службы в церкви зашел и отец Василий Бирюков.

– Мир дому сему, хозяину с чады и домочадцы. А также как и пастырю молодых умов...

Весь гарнизон сидел за составленным столом, помимо только Краманенкова да сотника Носкова. Женщины говорили о своем.

– Представьте, граф еще издали увидел меня. Какая приятная для меня неожиданность, говорит. Позвольте, Поликсена Авдеевна, вас ангажировать. И весь вечер все возле себя держал, как не пыталась я избежать того. Даже удивлялись все тогда, зная неприступность Василия Алексеевича. Но особое его ко мне отношение... антр ну суади¹. Между нами говоря...

Жена военного ветеринара Куницына рассказывала о покойном губернаторе Перовском, шурила глаза, играла улыбкой. Другие женщины ахали, поднимали брови, понимающе переглядываясь между собой.

Между мужчинами тоже шли знакомые разговоры.

– Извольте по такому случаю, говорю, выйти со мной на два слова, – рассказывал в какой уж раз свою историю Краснов. – Ежели вы тотчас же не принесете по всей форме извинения за облитое вином платье...

– В отряде у Черняева², сказывают, так пушки на верблюдов ставят: прямо промеж горбов. Так и в Ташкент въехал. Знаю по оренбургскому штабу Михаила Григорьевича: на выдумки горазд. Однако же, коли до серьезного дела дойдет...

– Оно положено к очередному чину представлять в пять лет. Да с учетом льготы по линейной службе и ежели без замечаний...

Все было старое и не очень мудрое: дамы со своими ужимками, недалекий Краснов, другого разговора не

¹Между нами (франц.).

²Черняев М.Г. – русский генерал.

знающий, как о лошадях да своей дуэли, за которую переведен был на линию. И еще постоянный офицерский разговор о присвоении очередного звания. При этом обязательные «Никак нет!» и «Почту за честь!» при каждом слове. Но все они пришли сегодня к нему, понимая какую-то его правоту. То самое это было, что витало вокруг дуба при лукоморье...

7

Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит...

Пятеро учеников из шестнадцати отлично говорили и писали по-русски, все знали арифметику, решали задачи, бойко рассказывали из истории и географии. Вопреки учителю школы, не щедрому на похвалы, комиссия единодушно выставила большинству двенадцатибалльные отметки. В конце предлагалось свободное чтение. Неулыбчивый подросток с черными, запавшими глазами читал с каким-то особенным выражением. В третий раз уж принимающие экзамен офицеры вдруг затихли, перестали двигаться. Алтынсарин сидел со всегдашним своим спокойным учительским видом.

За окнами видны были речной косогор и степь, уходящая на тысячи верст. И в другую сторону она также тянулась на тысячи верст. Никак не соотносилось это с железной дорогой, да и в содержании не было соответствия. Тем не менее, убедительное чувство слышалось в отчетливом чтении подростка-киргиза.

Не все и из офицеров еще сами видели железную дорогу. Теперь она вдруг возникла вплотную с болотами, голодом, смертной стужей. Слышен был в словах даже воющий звук от невыносимого горя. И удивительно было, что в киргизской школе они слышат это.

Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...

Являлись сразу дыра в земле под снегом, где люди с выеденными дымом глазами живут вместе с овцами, бурые жилы на женских руках, покорность увозимого в острог Нурлана. Нургали Аvezов громко читал, и выражение лица у него было такое же, как у отца, когда тот повернулся и пошел прочь от ага-султана Джангера...

Пальцы в перчатках щупали журнальную книжку в обыденной серой обложке. Теперь он понял, какое выражали они чувство. То был страх. Сам этот язык, на котором писались журналы, был смертельным их врагом. Не обязательно про железную дорогу, пусть про лукоморье, даже про кота Ваську, но это противоречило самому присутствию в жизни этих людей. Даже другой, особый язык придумали они вопреки тому, живому: «Имею честь довести до сведения Вашего превосходительства», «Благодаря неустанной заботе правительства и лично Его Императорского Величества», «Согласно с постановлением правительствующего Сената от числа такого-то». И книжки на этом бескровном языке стали уже писать для читающих Петрушек. Грамотный лакей у скупщика мертвых душ читал не ради смысла, но для самого процесса чтения. Весь мир хотели бы превратить в петрушек для своей безопасности.

Только был язык, который не позволял им этого. Не имело значения звучание имен, в мокром ли болоте или в горячем песке лежали кости. Нургали Аvezов широко повел рукой в воздухе:

С разных концов государства великого –
Это все братья твои...

Нет, даже не плуги и сеялки, что складывались в передней у коменданта, а нечто высшее, идеальное размывало окоём. Оно таилось в языке. Не случайно было противодействие школе султана Джангера.

Незаметно взглянул он на офицеров. Лица у них были просветленные, сурово-торжественные. Сотник Чернов даже привстал от волнения. У Якова Петро-

вича повлажнели глаза, и с каким-то вызовом поглядывал тот в стороны.

Но тут увидел он, что у большинства учеников такие же лица, и подумал, какое же лицо сейчас у него самого.

8

Дом был как бы приватный, и караульный чин находился внутри, при входе. Его превосходительство Евграф Степанович Красовский проходил сюда из губернаторского присутствия через задний двор. Каждодневно в десять часов утра принимался им конфиденциальный доклад. Полковник Пальчинский держался в рамках формы, однако же чувствовалось старинное их знакомство с шефом.

– Так же из находящихся под особым наблюдением ста тридцати семи лиц, из них по казанским делам шестьдесят девятого года – сорок один, ссыльных из Западного края по делам Шестьдесят третьего года – тридцать четыре, офицеров и рядовых – двадцать семь, лиц прочих чинов и званий – тридцать пять, все находятся в наличии. Среди офицерских чинов, посещающих общественные чтения при публичной библиотеке, прибавились инженерный поручик Жаворонков и штабс-капитан Рокассовский, сын прежнего начальника штаба. Оба имеют вхождение в дом подполковника Андриевского... Агент от поляков докладывает, что намечается бегство одного из них. Для того приехала из Лодзи жена его с крупной суммой денег... Из Уральска с делом тяжбы по промыслованию рыбы прибыл письмоводитель войсковой канцелярии Матвеев, из Тургая явился с отчетом помощник начальника уезда Алтынсарин...

Его превосходительство при этом имени чуть шевельнул плечом. Маленькие ручки его были, как обычно, спрятаны под столом. Пальчинский уловил это движение.

– Ежели помните, Алтынсарин сразу и смотритель киргизской школы на Тургае. Я доносил как-то о подписной библиотеке у тамошних офицеров...

Подробный отчет сделал также полковник Пальчинский по таможенному контролю, о большом пожаре, случившемся в пределах Иргизского уезда, отчего сгорело до трех тысяч закупленного в казну скота, о действиях приверженного к расколу купца Перстнева, переправляющего на Сырдарью своих одноверцев.

Его превосходительство молча выслушал доклад, сделал распоряжение о поляках, долго разбирался с пожаром и староверами. Полковник Пальчинский даже несколько погорячился, два раза вставал с места и громко убеждал своего начальника. Но тот лишь делал твердый знак маленькой ручкой.

– Там этот киргиз, про которого вы говорили, Антон Станиславович...

– Алтынсарина имеете в виду?

– Вы это... приставьте к нему агента. На время, пока он тут, в Оренбурге.

Оставшись один, Евграф Степанович Красовский встал из-за стола, поджав за спиной руки, медленно подошел к стоявшим у стены деловым шкафам... Как будто где-то недавно видел он эту фамилию. Достав копию переписки учебного ведомства в последний год, он взялся листать. Заинтересовавшись, отошел с папкой, сел назад к столу. Коротенькие пальцы крепко зажимали листы... «С тех пор прошло три года, в течение которых, по распоряжению г-на Министра Народного Просвещения шла деятельная работа по вопросу об образовании инородцев, в том числе магометан, в Казанском учебном округе и в Крыму; само Министерство, кроме того, собирало точные и подробные сведения об английских и французских заведениях для образования туземцев Индии и Алжирии. В тех же годах, в Оренбургском ведомстве, вводилось новое положение об управлении киргизами на началах русских, возбуждавшее в степи недоразумения и волнения,

улаженные не без употребления военной силы. Само собой понятно, что этих работ и этих опытов Оренбургское Начальство не могло иметь в виду в 1866 году, когда составляло свои соображения. И однако же основная мысль их – верна, это именно ясно поставленный русский элемент для народного образования...»¹

Что же, господин профессор Казанского университета Ильминский действует из лучших побуждений. Когда жил тут он, то состоял в окружении честолюбца Григорьева. Правительственное влияние полагали они вводить в Азию посредством внедрения всего без исключения русского. По первому впечатлению весьма похвальная цель. Однако государственный взгляд на дело рисует все с иной стороны.

Что Индия и Алжирия? Они через море от метрополии, да и отношения там происходят преимущественно на деловой основе. Декабристов-то в Англии и даже в Париже не случилось. Вон профессор, статский советник, всех инородцев хочет поднять до себя. Вечное русское благодушие!

Да и рядом у нас все: степь никак не огородишь. Так пусть бы и была внутренней оградой для тех же киргизов их вековая старина. Тем более, что сами они цепко держатся за нее. Пятнадцать лет внедряет он надлежащему начальству правильность этой политики, и ответственные лица склоняются к тому же мнению. Только непреодолимый русский идеализм от генерала до черного мужика, устраивающегося жить в степи, выпустит в конце концов орду из ее границ.

Нет, и в правительстве не чувствуется твердой руки. Что же, мало им польского бунта и даже каракозовского² выстрела? К тому же последнее известие из Франции: парижская чернь у власти, а Бисмарк молчит. Ему на руку окончательно обескровить векового врага. Покойный государь Николай Павлович, когда в Европе что нарушалось, говорил: «Господа, пора седлать коней!»

¹Из материалов *Ильминского Н.И.*

²*Каракозов Д. В.* 4 апреля 1866 года неудачно стрелял в Александра II.

А как еще придется французская коммуна на распущенные умы. Петрольщиц¹ и у нас достаточно. Циркулярами, что идут из Министерства, тут не защитишься. Вожжи ослаблены, и только отдельные государственные люди понимают положение. А здесь еще инородцев предлагают впустить в эту кашу.

Это ж не просто, а на всю русскую Азию придумали распространить опыт. Слава богу, киргизские школы приказали долго жить. А то и полы деревянные намеревался им сооружать учнейший Василий Васильевич. Одна лишь осталась школа на Тургае, и там этот киргиз...

С каким, однако, упорством стоит на своем господин Ильминский. «Если я настаиваю на киргизском языке для киргизских школ, как и вообще я стою за родные языки для обучения инородцев, то не как за образовательное средство, а как за орудие самое естественное и удобное для сообщения инородцам новых понятий и научных фактов».

Если уж учить по-русски, то пусть бы и забыли все тогда киргизское. С таким направлением можно бы и согласиться. Так нет, предлагается при русском образовании оставить их еще и природными киргизами. Называется прямо и имя подходящего для того человека. «Из них особенно отличался даровитостью, здравомыслием, любознательностью и самым живым сочувствием к русским книгам и к русскому образованию, а к киргизскому языку питал уважение и предпочитал его... Ибрагим Алттынсарин».

За образование особой учительской школы для киргизов даже ратует господин Ильминский. Все грозит, что иначе благодушные ныне к делам веры киргизы к татарским муллам на выучку пойдут, фанатиками сделаются. Так и пусть себе. Это покойней для правительства, чем если рядом с Каракозовым пистолет возьмут в руку.

¹Поджигательниц.

И как на подбор: только образовалась по положению Тургайская область, как ее губернатор с истинно русским упрямством берется за просвещение киргиз, а в советники зовет казанского профессора. Будто и делать больше нечего генералу в степи. А тут уж прямое лукавство господина Ильминского, когда в мыслях по сему поводу успокаивает в одном и пугает в другом... «Русский народ по природе несовратимо благонадежен, хотя, быть может, прост или неразвит, и потому сельские русские школы хотя бы были бедно и плохо поставлены, не могли бы принести положительного, существенного вреда... Совсем другое дело быть в чуждом и притом пограничном населении киргизском». Как же, школы здесь, видите ли, орудие, флаг русского правительства. «Безуспешность правительственных школ в таких деликатных обстоятельствах и с такими трудными запросами – почти будет равняться упадку русского влияния».

Нет, господа, мыслить следует по-государственному, а не в угоду русскому слабодушию. В том состоит наш патриотический долг. К тому же и для самих киргизов это лучше. Природное их дело – пасти скот, и вовсе не стремятся они куда-нибудь уйти от того. К чему же и принуждать их...

Тут все было ясно, однако же не проходило почему-то неприятное чувство. Любезный Антон Станиславович опять зарвался. Это в департамент можно писать, что три тысячи скота за один раз в степи сгорело. При том скот все купленный в казну, для войскового довольствия. Зачем же так прямо в глаза про то говорить. Уговор с Пальчинским был с Ревеля – половина ему. Век благодарить должен Антошка-фармазон, что вытащил тогда его из острога, в настоящую службу определил. Будто неизвестно мне, какие в скрытности от меня дела в степи обделывает с тем же Джангеркой да с этим, как его... Ермолаевым. Половина киргиз от них уже с Тургая убежала. А по степи за тот год от Пальчинского и пятнадцати тысяч не пришлось увидеть, и те частями.

С таможенной тоже начал мудрить Антон Станиславович. Вовсе уже беспардонно ведет себя. Что с бухарца Абдурахманова тридцать тысяч сорвал, о том мне ни слова. И с раскольников сорок тысяч взял, мне же сказал, что двадцать пять. Не приличествует так вести себя между благородными людьми...

Но не проходит неприятный привкус во рту. Так было когда-то, когда мальчишка-киргиз принудил его распорядиться об отмене приказа. С тех пор и помнит его. Даже Пальчинскому давал распоряжение, когда ездил тот в Тургай. Так, может, личное то у него?

Нет, взгляд тогда такой был у этого Алтынсарина, что никак не соотносится с принятым порядком вещей. Будто силу какую-то за собой знал.

И Пальчинскому он из служебного интереса сказал последить за киргизом. Фигура невелика, да что-то много всяких линий тут сошлось. К месту здесь и присмотреться. Только почему все же уступил он, когда десять лет назад приехал этот киргиз без вызова к нему в дом?..

– Извольте сесть, господин Алтынсарин!

В том самом кресле, где сидел когда-то Василий Васильевич, теперь находился человек с усами и подусниками, как на военных портретах. Шпоры звякали под столом, а при входе встречал адъютант с зеркально начищенными сапогами.

– Мне похвально говорил о вашем усердии начальник уезда Яковлев. Особенно в части помощи в спокойном переходе киргизов к новому положению...

– Роль моя, Ваше превосходительство, заключалась в деловом и внятном объяснении людям новой формы организации жизни в степи.

– Однако в других уездах происходили волнения, – в генеральском баритоне отразилось искреннее недоумение. – Команду случалось направлять.

– Смею думать, кому-то даже были положительно нужны такие волнения.

– По чьей-то инициативе всякий раз распространяются среди киргизов не имеющие почвы слухи. Часть их бросает тогда все уходит в глубину степи. Скот падает в цене, и кто-то получает барыш...

Генерал знал про это:

– В Иргизе и в Актюбе ловили подстрекателей. Твердят одно: ничего, мол, не знаем, ни о чем не ведаем. На базаре слышали.

– Следовало, как думаю, ближе около себя посмотреть Ваше превосходительство...

Все повторялось. Слухи появились еще до того, как высочайше было утверждено новое «Положение». Вместо трех частей с султанами-правителями Орда делилась на области с уездами. Опять приезжал Пальчинский, остановился у султана Джангера, и в тот же день пошли слухи. Даже и в частностях повторялись они: детей станут крестить, а джигитов поголовно возьмут в солдаты. Мелкий скот продавался за бесценок, и ага-султан выделил туленгутов в помощь Ермолаеву для отгона овец.

Целыми родами собирались уходить люди на Улытау. Бросив в первый раз за пять лет занятия в школе, два месяца ездил он с Мамажаном и другом своим Тлеу Сейдалиным по дистанциям, объяснял аксакалам неразумность такого шага.

Военный губернатор новой Тургайской области был не лучше и не хуже других. Он знал таких русских людей. В пределах своей службы они со всей энергией приступают делать добро. Став начальником над каким-то делом, всецело отдаются ему и защищают своих людей, как когда-то вверенных им солдат. И на казахов так же смотрит этот генерал. Даже школы в каждой волости в один день думает открыть.

Господин профессор Ильминский писал мне про вас, что преданы делу просвещения. – Генерал, позвякивая шпорами, сделал несколько шагов по кабинету. – Со своей стороны рассчитываю на ваше деятельнейшее участие...

В коридоре и комнатах были переставлены столы, но он узнавал их. На папках и на бумагах в верхнем левом углу стояло: «Тургайское областное правление». Люди в большинстве сидели за столами новые, однако это не имело значения. Из-под пола все так же пахло бумажной прелью.

Он долго сидел потом в бывшей комнате Варфоломея Егоровича, уточняя общий доклад от уезда. Простуженный секретарь с важным выражением на лице значительно поднимал перо:

– На основании «Положения» и согласно инструкции военного губернатора уездному правлению надлежит информировать по каждому пункту в полном объеме. И слог у вас в некотором роде простодушный. Извольте видеть: «Во всех волостях Тургайского уезда люди совершенно здоровы; скотина перезимовала благополучно и болезней никаких не имеет, хотя часть ее в худом теле... Ордынцы, выкочевавши из зимовых стойбищ, направляются на обычные свои летние кочевья, а земледельцы, при совершенном спокойствии в уезде, свободно принимаются за свои работы, надеясь труд свой вознаградить урожаем хлеба, несмотря на свои недостаточные земледельческие инструменты».

– Что же, это не так говорится по-русски?– спросил он.

– Так разве же можно тут чувства допускать?– секретарь в волнении обтер платком нос.– Бумагу надлежит писать государственным языком. Ежели господин подполковник Яковлев того не знает, так вы, господин Алтынсарин, человек ученый. Сколько помню, в казенной школе науку проходили...

Так и сидел он еще два дня, исправляя и уточняя пункты отчета. Третий год уж переписывал он из старой бумаги в новую: «Кроме кочевого населения в Тургайском уезде числится поселенных казаков Оренбургского казачьего войска 20 семейств, живущих в городе Тургае. О числе душ этого населения прилагается особая ведомость №1. Кроме того, проживает в городе Тургае отставных один писарь, один унтер-офицер, один

рядовой временного отпуска, и в Наурзумской волости – один бессрочно отпущенный писарь. Все поименованные чины к обществам приписаны. Кроме них временно проживают в городе Тургае с торговой целью: почетный гражданин – один, мещан – трое и отставной канцелярский служитель – один...»

Чем только не пришлось ему заниматься в эти десять лет. Всю гражданскую часть взвалил на него Яков Петрович... «Урожай хлебов, орошаемых водой, был весьма удовлетворительным... Единственное богатство и лучший из промыслов ордынцев Тургайского уезда есть скотоводство. О количестве скота хотя нет положительных сведений, но эта единственная отрасль ордынского благосостояния в Тургайском уезде находится в цветущем состоянии... Фабрик и заводов в Тургайском уезде не имеется... Выданы на право торговли в Тургайском уезде следующие свидетельства: на табачные лавки – пять купеческих по второй гильдии...

Всего при городе Тургае имеется постоянных торговых заведений шесть, а со спиртными напитками – три...»

Еще и судебным следователем определил его Яков Петрович. Когда он от всего было отказался, старик невероятно раскричался:

– Что же, извольте, тогда я мерзавца Краманенкова пошлю киргизов ваших судить между собой. Уж он покажет им кузькину мать. К тому же вторая часть вашей службы – администраторская. Так и выполняйте ее без разговору!

Он выезжал уже в степь по случаю обнаружения мертвого тела, по пожарам и наводнениям. Остальное решали аксакальские суды... «Народная нравственность. В истекшем году в Тургайском уезде преступлений, подсудных уголовным законам, случилось 20. К 1 января арестантов под стражей состоял один человек... Арестанты содержатся на гауптвахте города Тургая, где имеется одно только отделение, общее для военных и гражданских арестантов. Для пересылки арестантов в зимнее время имеются при уездном управлении два овчинных тулупа...»

Благо еще, можно слово в слово переписывать доклады. Лишь цифры менять в случае надобности. Что ж, наверно, и пригодится когда-нибудь узнать, что два овчинных тулупа было при тургайской гауптвахте. Отчет клеился и укладывался по годам, как и донесения прошлого века из безвестной фортеции.

«Народное просвещение. В Тургайском уезде состоит одно учебное заведение, а именно школа для киргизских мальчиков... К текущему году состоит воспитанников девять киргизских мальчиков, исключены по домашним обстоятельствам трое. Успехи их следующие: большая часть из мальчиков порядочно читают, пишут по-татарски и по-русски, изучают первоначальные правила арифметики и грамматики...

Хотя масса населения Тургайского уезда, находясь еще в грубом состоянии, относится весьма равнодушно к образованию, но у некоторых существуют убеждения и сознание пользы науки и охотно жаждут просвещения юному поколению...

Прикусив зубами перо, сидел он один в комнате. Царапина на белой стене была перед глазами, куда смотрел он. Все та же оставалась школа, и девять учеников в ней. Одна она была только на всю степь. Начатый тут десятилетний круг замкнулся. Ему уже тоже тридцать лет...

Неужто и со школой происходит то, что с причудливым городом на берегу Тобола, который думал он строить пятнадцать лет назад? Всякий раз надвигалось что-то, бросая невидимую тень. Живая вода из сказки замерзала и делалась льдом.

Когда пять лет назад захотел он бросить школу в укреплении и уехать от всего к себе на Тобол, Яковлев вдруг оставил свой крикливый тон. Даже рот тогда у старика стянулся от ядовитости.

– Эка вы, киргизы, ненадежный народ. Чуть что: пиф-паф. А там, где осаду по всем правилам требуется выдержать, вас и не хватает.

Как-то плечи опустились у коменданта и постарел тогда сразу на десять лет. Все и раньше он понимал, но только тут сделалось ему ясно, что киргизская школа для старика-топографа не просто каприз. Все свое мироощущение утверждал тот на ней. И теперь даже прибегнул к оскорбительной ноте, чтобы принудить его продолжать дело. Ему сделалось стыдно, и никогда больше не говорил он о своей тоске...

Царапина на стене стала теряться из вида. За окном совсем уже стемнело. Да, всего девять учеников осталось в школе. Но и в этом году будет звенеть в степи колокол. К нему уж привыкли. И на тысячу верст вокруг знают, зачем он звонит.

Как будто даже тут слышался ему звон. Завтра надо отдать отдельный отчет по школе: за пятьсот рублей годового расхода на учеников и триста пятьдесят рублей учительского жалованья. Еще и нужных книг здесь нет. О «Детском мире» Ушинского да о Паульсоне¹ придется просить Николая Ивановича в Казани. Вот ему-то можно поплакаться на судьбу...

Когда вышел он из правления, какой-то человек в ополченке едва не задел его плечом.

Будто и всегда он знал Юрия Николаевича Померанцева. Высокий чистый лоб, худое лицо и красивые тонкие руки, вылезавшие из потертых до невозможности рукавов. Сразу делалось ясно, что еда, питье, одежда вовсе ничего не значат для этого человека.

– Тут прямо-таки чудо, Иван Алексеевич. Ведь кто в Европе знает что-то жизненное про наш Оренбургский край. Так, есть какая-то дикая земля меж Китаем и Россией, по которой гоги и магоги мечутся. Даже и умные, знающие люди все одно лишь сверху смотрят. И город какой-то там на краю стоит, где Пугачев бунтовал. А тут вдруг есть, оказывается, Оренбургский отдел Императорского Русского Географического

¹Ушинский К.Д., Паульсон И.И. – известные русские педагоги XIX века.

Общества, и в первом выпуске записок выступает с научными статьями природный киргиз. Пишет он про сватовство и похороны, про простую человеческую жизнь, такую же, что идет у всех народов земли. А самодовольные люди, думающие с высока своей расы, приходят в растерянность...

Под лестницей в старом присутствии находилось место для Юрия Николаевича. Сверху скрипели ступени, и все до потолка загромождено было книгами, атласами, картинами. Висели по стенам седла и уздечки, как когда-то в доме у Николая Ивановича, стоял прислоненный к половинке двери натуральный балбал. Тут же, на деревянной лежанке, и спал секретарь Общества.

Обычная, с серым переплетом, книга лежала на шатком столе, в ней были печатными буквами расположены слова, которые писал он в долгие зимние вечера у себя в Тургае. Потом он приворачивал фитиль петрольной лампы и долго не мог спать. Все думалось, серьезная или нет эта работа и надо ли кому-нибудь знать про узунских кипчаков. Также загадки и меткие слова записывал он в тетрадку, делая по возможности точный их перевод.

– Три года назад еще отправили мы ваши очерки в Петербург. А тут как раз и свои записки решили издавать. Так Лев Николаевич настоял в первом томе их представить. Даже и вступление написал...

В который уже раз он удивился. Давний день сидел в памяти, когда попечитель Оренбургской школы говорил перед ними казенные, возвышенные слова. Даже лицо у советника Плотникова было как бы из глины. С Евграфом Степановичем Красовским сидел однажды тот в одном доме и вместе со всеми не видел его, хоть прямо глядели они в его сторону. А тут, в комнате под лестницей, явился другой человек, служебная плавность пропала в движениях, рука быстро и точно черкала в тетради с загадками.

– Вы, господин Алтынсарин, имеете обязанность перед наукой писать о своем народе. Мне и Николай Иванович говорил о таком направлении ваших мыслей...

Рука в мундирном рукаве перестала вдруг двигаться:

– «Среди многих баурсаков один калач...» Доподлинная ли это киргизская загадка, господин Алтынсарин? Сколько мне помнится, киргизы русский хлеб не пекут.

– Пекут уже некоторые. Записана мной на Тоболе, среди узунского рода.

– Что ж, звезды и месяц. Придется лишь примечание делать для читателя.

– Так оренбургские казаки всегда в дорогу жарят баурсаки, – возразил он.

– Не для одних только оренбургских казаков ваш труд, молодой человек.

Словно просвет для себя находил этот чиновник в географических занятиях. И язык у него становился другой.

– Какая истинно философская классификация огня: «Бездушное у бездушного душу берет».

Лев Николаевич Плотников задумался, опустив перо.

Когда с секретарем Общества Юрием Николаевичем Померанцевым пошел он обедать в кухмистерскую, то вслед за ними явился и сел за стол человек в ополченке: тот самый, что попался ему вчера по выходу из правления. Дворянский картуз с околышком был на том совсем новый, но ополченка лоснилась от пятен. Такие полувоенные куртки с карманами носили еще с Крымской войны, когда покойный государь решил двинуть на выручку к Севастополю всенародное войско. Только уж на втором переходе у них стали отваливаться покрашенные под кожу подметки сапог.

– Василий Петрович Ильюнин, смею рекомендовать, – тихо сказал Померанцев. – Знаменательный экземпляр пореформенного русского человека. Выгнан из полка за нечестную игру. Проявлял свои способ-

ности семь лет назад в Польше. Теперь вот хлеб патриотической службой добывает.

– Как это?– не понял он.

Померанцев усмехнулся:

– Патриотическое направление у нас в городе идет от господина Пальчинского.

За другим столом Ильюнин, не глядя в их сторону, проглотил рюмку водки и стал жадно есть селянку.

– Господин Алтынсарин!..

Розовые круги были на щеках у учителя Алатырцева. Что-то знакомое, много раз виденное четко проступало в потемневшем лице. В остальном ничего не изменилось. Радость и боль отдались в груди, когда пожал он сухую холодную руку. Несколько человек обязательно сидели за столом. Лишь одного он помнил из них – Мятлина с белым лицом и пухлыми руками. На месте соседа Курова тот сидел. Да еще географ Померанцев был из знакомых.

– Я, господа, не отношусь, как знаете вы, к филистерам, но так... нельзя.– Мятлин даже белые кулаки поднял в воздух.– Да, господа, есть то, перед чем следует остановиться самому язвительному человеку. Это святое для всех нас Отечество. И как только до этой черты доходит дело, я говорю: так... нельзя!

– Но почему же, позвольте вас спросить, Аскольд Родионович, нельзя касаться до национальной болезни?– спрашивал молодой инженерный поручик.– Даже если и оставила на народе свои жесткие следы история. Что ж, думаете, и не отразились вовсе в нашем характере татарское иго или двести лет всеобщего рабства? Собакевичи да Ноздревы не от одной природы рождаются, а от самого течения жизни. Так уж и не называть их по имени? Вот если бы писатель утверждал, что от одной природы мы таковы, можно было бы и протестовать. Нет, чтобы лечить болезнь, нужно прежде всего назвать ее. А замалчиванием да заговариванием лишь одни шаманы якутские лечат!

На столе лежали журнальные книжки. Спорили о недавней сатире господина Щедрина, где история некоего сказочного города перекликалась в характерах с событиями русской истории. Уродливейшей карикатурой на отечество определил ее сразу по выходе скрытый за сокращением букв критик. В обществе все не охладевали разговоры об этом.

Мятлин всплескивал руками:

– Но позвольте, какие монстры ходят в сем городе: тупые, блудливые, с фаршированной головой. И это... Россия. Нет, так нельзя-с!

– Не Россия то, а шрамы на ее нравственном теле.– Инженер говорил с молодой, спокойной убежденностью.– Как же не чувствуете вы кровоточащей боли в каждом слове господина Щедрина! Да возьмите хоть пожар в городе, когда даже сам литератор уходит от сатиры. Как безудержный всхлип сочувствия, вырвавшийся из наболевшего сердца. И она делит по отношению к ней людей: на тех, кто хотел бы оставить отечество в старом состоянии, и тех, кто не желает этого.

Учитель Алатырцев, как всегда, смотрел на всех с задумчивостью, словно поверяя высказываемую мысль:

– В России литература на особом положении. Неумное правительство видит в ней врага, потому и жертв столько в ее рядах. Что ни говорите, а второй ногой мы в Азии. Шах персидский, сказывают, до сих пор убивает вестника какого-нибудь несчастья или недостатка. Великий наш писатель, так и поставил эпиграфом к своей пьесе русскую мудрость: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!»

– Как раз то по-глуповски – бить доктора, объявляющего болезнь, – засмеялся поручик.

– Булку и чаю господину Ержанову!..

Он и не удивился, увидев, как Кабыл Ержанов прошел, сел рядом с инженерным поручиком. Усы пробивались у юноши и шеврон выпускного кадета был на рукаве. К учителю Алатырцеву он писал пять лет

назад о своем ученике. Шаркая ногами, Тимофей прошел и поставил перед кадетом хлеб и чашку.

– Лада, моя лада... Никак не приживается слово, значит срок ему отошел. Лишь в стихах иронических... Язык русский сам по себе умнее нас...

На другом конце стола спорили о словах, насильно притягиваемых от прошлого. Здесь продолжался тот же разговор.

– Литературу с погонями и со звездами хочет противопоставить правительство подлинно живому слову. Только невозможно уже читать эти полуграмотные, блудливые славословия. Да никак не хотел царь реформы, и если бы не народ, доведенный до отчаяния.

– Великий народ не боится смотреть на себя сатирическим взглядом. Пышность и славословие – признак рабства. Неужто станем похожи на дикаря с перьями...

Мятлин продолжал все твердить:

– Мы от патриотической, так сказать, части общества и протест в редакцию составили. Извольте, бичуйте смело, вскрывайте недостатки. Но так... нельзя!

Кабыл Ержанов провожал его с казахской почтительностью к старшему. От юноши, намеревавшегося идти в инженерное училище, веяло уверенностью. На углу, сдвинув каблуки, кадет по-русски сказал:

– Позвольте, агай, мне попрощаться с вами. В ночное время надлежит находиться в корпусе!

– Конечно... Иди, голубчик, – разрешил он дрогнувшим голосом.

Потом долго ходил по теплой, с шестиугольными фонарями, оренбургской улице, думал... Оттиснутые печатью казахские слова, наверно, и есть литература. Что же, будет она когда-то лишь славословить окоём или станет беспощадным народным зеркалом? За хорошую весть суюнши – подарок ведь дают. Так как сделать, чтобы не перешел тот закон в литературу. «Шрамы на нравственном теле народа». Не меньше их история оставила в узунских кипчаках...

Кто-то все ходил по другой стороне улицы, не приближаясь к фонарям. Он повернулся и пошел в гостиный двор, где остановился.

Коляска мягко катила по камню, приседала на рессорах. Подполковник Дальцев подвез их к городскому саду и поехал в топографический отряд, которым теперь командовал. В белой каменной беседке с колоннами играла военная музыка. Парами и группами в такт ее плавно шли навстречу друг другу гуляющие. Знакомые дамы, отнимая вееры от лица, говорили любезности, офицеры галантно наклоняли головы.

Это было неслыханное наслаждение идти так рядом по чистому теплему песку, слушая музыку и не имея дум в голове. Дарья Михайловна смотрела прямо перед собой, и радостно-удивленное выражение было на ее помолодевшем лице. Оно вдруг явилось, когда увидела она его. Теперь уже не из сказки о сером волке, а волнующе-прекрасная женщина шла рядом с ним теплым летним днем.

– Иван Алексеевич, а в Тургае есть городской сад?

Машенька, почти уж барышня, помнила это его имя. Всякий раз она заходила вперед, заговаривая с ним или с матерью.

– Ой, маменька, какой смешной вид у офицера!..

Девочка прыснула, но по взгляду матери сделала строгое лицо и опять пошла рядом, стараясь не двигать плечами. Так учила ходить девочек в своей школе мадам Лещинская. Интендантский капитан, с театральной сидящий в одиночестве на скамейке, недоуменно посмотрел в их сторону.

Лишь на четвертый день, когда готово было у портного Шильмана его новое платье, пошел он к Дальцевым. Каждый день с тех пор гулял он с ними здесь. Дальцев приезжал опять за ними, звал его к ним домой, но он отказывался службой.

Всякий раз здесь в саду он видел Ильюнина. Тот садился на скамью у входа и все сидел в своей ополченке, пока они гуляли.

Коротко стриженная барышня в застегнутом под шею платье с белым воротничком как-то странно посмотрела на него. Она помогала пожилому, с седыми длинными волосами библиотекарю выдавать книги. Чиновник с серьезным лицом, пожилая дама, несколько молодых людей, сидя на стульях, ожидали своей очереди. Он прошел мимо них дальше.

В читальной комнате было много людей. Среди них он увидел инженерного поручика Жаворонкова, который ходил к учителю Алатырцеву. Было еще двое офицеров: высокий красивый штабс-капитан артиллерии и пехотный подпоручик. В большинстве здесь были молодые люди в мундирах, сюртуках, даже в рубашках с пояском, какие носят приказчики на ярмарках. Пришла стриженная барышня, села возле стола. Он встречал уже трех или четырех подстриженных так девиц в городе. На них смотрели с неодобрением. Молодые люди, наоборот, почти все были длинноволосые. Они громко говорили между собой. Один из них, в студенческой тужурке, с удивительно открытым выражением в серых глазах, прошел к стоящему отдельно столу, положил на него тетрадь:

– Сегодня мы, господа, продолжим общественное чтение писем господина Миртова¹...

«Березовский... Это Березовский из Казани!» зашептали в комнате. Стриженная барышня не отрываясь смотрела в лицо говорившему. На столах и на коленях некоторые держали раскрытые тетради, что-то помечали в них.

– «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, воплощение в общественных формах истины и справедливости». Таков постулат. С доисторических еще времен, господа, наблюдаем мы среди людей критически мыслящую личность, поднимающую голову к небу. Ставшая обы-

¹Миртов – псевдоним Лаврова П.Л. – теоретик революционного народничества.

чаем необходимость, будничное течение жизни не являются для нее неизменными. Человек же так устроен в отличие от животного мира, что возвысившись по уму над средой, чувствует обязательную потребность поднять эту среду до себя, сделать необходимым ее движение к цивилизации. Этот долг перед другими заложен в человеке, составляет главную, определяющую его сущность. Подлинно мыслящий человек ощущает вину перед бесчисленным рядом поколений, которые трудились и умирали, чтобы он появился... Мы, образованный слой России, не станем исключением в этом ряду. Разве не трудились в веках бесчисленные тьмы нашего народа, чтобы появился даже один из нас. То не батюшка с матушкой, благодушествовавшие в имениях, отправляющие требу в церквях или пишущие бумаги по департаментам, то они, безвестные труженики, кормили и растили нас, дав своим святым трудом возможность прийти вам к нынешнему состоянию. Станем ли задерживать путь вперед Отечеству или, протянув друг другу руки, пойдем отдавать себя народу...

Однако не прельщайтесь легкостью пути, господа, так как враги ваши тоже знают, в чем сила народа. Она именно в нравственности того образованного класса, который вы представляете. При отсутствии отдельной нравственной личности народ не может продолжительный срок существовать в истории. Это тот плодотворяющий слой, что накапливается тысячелетиями, и развеяв который по ветру, самый тучный чернозем можно превратить в пустыню. Атиллы и Чингисханы не случайно прежде всего уничтожали в захваченной стране образованных людей, верхний почвенный слой народа. Но в прах рассыпались они, ибо прежде всего в собственном народе убили эту нравственную личность. Так бойтесь же больше всего своих Атилл и Чингисханов, ибо, обещая мишурный блеск державного величия, они на наших глазах ударяют по всему, где может таиться такая личность: по литературе, по университетам, по любому движению мысли...

Оглянувшись, он вдруг заметил, что в углу сидит Кабыл Ержанов. Вместе со всеми тот делал пометки в тетради. Однако, когда чтения закончились, он нигде не увидел кадета.

Стриженная барышня прямо подошла к нему:

– Здравствуйте, Иван Алексеевич!

Нечто знакомое было в ее серьезном, даже как бы учительском виде. Тем не менее, он потерялся, не зная что говорить.

– Я Катя Толоконникова...

Так сказала она это, что сразу вспомнил он елку у Генерала и маленькую девочку в панталончиках, покрикивающую на него, когда допускал неправильность в танце.

– Позвольте познакомить вас с моим другом!

Читавший реферат студент протянул ему руку:

– Иван Березовский.

– Вы будете из Казани?– спросил он.

– Да, сюда я высланный под надзор,– умные серые глаза смотрели на него в упор.– Вы же, судя по всему, киргизский учитель.

– Как же это видно?– удивился он.

– Так о вас все знают в Оренбурге. Впрочем, и в Казани я слыхал о вашей школе. От Гребнева...

Гребнев жил в Казани. Ильминский помогал ему, а студенты приняли на свой кошт, как делалось в университетах с вольными слушателями из народа.

Он пожал плечами. В Оренбурге его как будто действительно многие знали, хоть десять лет не было его здесь. На улице различные люди здоровались с ним, и он удивлялся этому.

Березовский усмехнулся:

– Если уж господин Пальчинский проявляет к вам интерес, значит, вы фигура общественно значительная.

Студент пальцем открыто показал на ожидающего у двери господина Ильюнина.

Первую могилу он сразу нашел. Постоял перед деревянной оградкой, густо поросшей вьюном. Пчелы

летали вокруг маленьких белых цветочков. Стояла табличка при кресте: «Раб божий Дыньков Алексей Николаевич, надворный советник». В середине было прибрано и аккуратно посыпано песком. Кто-то ходил сюда, хоть вдова с дочерью жила на Тоболе.

Другую могилу пришлось ему долго искать. Лишь с трудом смог различить он нацарапанные на кресте буквы: «Р. б. Варфоломей Воскобойников». Расчистив могилу от бурьяна, постоял он и здесь.

Потом зашел в церковь при кладбище, купил две свечи, зажег и поставил в притворе.

– Про кого же поминовение?– спросил старенький батюшка, принимая пять рублей.

– Рабы божии Алексей и Варфоломей,– сказал он.

Впервые в глазах господина Ильюнина увидел он какое-то чувство. Тот стоял при паперти, недоуменно расставив руки. Даже и в сторону не стал отходить, как делал это всегда.

Остановившись возле агента, он помолчал, вздохнул:

– Так-то... Все там будем.

– Совершенно точно, господин Алтынсарин!– надорванным голосом отозвался тот.

Как повезло ему! Султан Сейдалин второй, хороший его друг, же приезжал по делам в Оренбург, и вместе сейчас они ехали к Тоболу.

Не в пример родичу своему Джангеру совсем другие люди были братья Сейдалины. Младший, Тлеу, закончил Неплюевский корпус и не остался в военной службе. Не имея богатства, тоже сделался помощником начальника Николаевского уезда. Всякое лето тюре наезжал к нему в Тургай и они охотились, ездили по гостям. Веселый, умный, Тлеу Сейдалин одним своим видом разгонял его болезненную тоску.

То в его тарантасе, то пересаживаясь в коляску Тлеу, по хорошо накатанной дороге в семь дней доехали они до родных мест.

Два ряда домов стояло теперь вдоль Тобола, и у всех были резные ворота. Их так и стали называть здесь: деминские. И поселок назывался – Деминский. Даже и возле старого балгожинского скотного двора стояла изба. Люди теперь жили наверху и лишь спускались под землю к овцам. Деревья высоко выросли возле первых домов и закрывали ветками маленькие окна.

Он зашел в дом к Нурлану. По стенам стояли лавки, маленький образок висел в углу. Анастасия, жена Нурлана, с хозяйской твердостью ходила по горнице: ставила на стол хлеб, миски, принесла из погреба айран¹.

– Как же вы поженились?– спросил он.

– Ай, к Демину пришел: сестра, говорю, есть у тебя, дядя Гриша. А у меня дом есть, деньги тоже заработал...

Нурлан неплохо говорил по-русски. Да и вообще сделался разговорчивей.

– Ну, а дальше что?

– К Рахматулле пошли, подарки понесли... Потом к николаевскому попу пошли, тоже деньги дали... Ай, ладно, говорит, живите!

Покосившись на него, Нурлан перед едой сделал руками «Бисмилля». Видно было, что это для ученого гостя. И Анастасия оглянулась на иконку. Он же стал сразу есть, и они успокоились...

В Тургай он уже ехал один по пути древнего кочевья. Нигмат, полулежа на облучке, подергивал вожжи, тарантас мягко уходил колесами в проросшую корнями землю. Серые от времени кости валялись по краям дороги и вся степь в окоёме была изрыта миллионами копыт.

Словно какой-то перевал осилил он в жизни. Это хорошее было решение – поехать в город, к началу своей судьбы. Как бы проверилось то, чем жил он эти десять лет.

¹Кислое молоко.

Да, все делалось правильно. Заново повторял он для себя свои недавние оренбургские действия, мысли, чувства. Ничего не изменилось в людях, в движении жизни. словно живой ветер приносил откуда-то неудовлетворенность и нетерпение. Этому можно было верить...

В последний день играла в беседке музыка, и все шли мимо гуляющие. Они сидели на скамейке, и Машенька стояла в стороне у розовой клумбы.

– Ибрай, голубчик... Вам надобно жениться. Отыщите себе славную душевную девицу. Я знаю, ей хорошо будет с вами!

Он серьезно кивнул головой. У Дарьи Михайловны стояли в глазах непонятные слезы...

9

Первый раз в жизни ощутил он полный покой. Ничего не надо было делать, ни о чем не думать. Просыпаясь ночью, он видел над собой черную глубину неба с близкими звездами. И ни одного постороннего звука не было на земле. Утром, не поднимая головы от прохладной подушки, он видел, как всходит солнце. Потом смотрел, как женщины доят скот, сливают молоко в большой кувшин. Или брал ружье и уходил на малую охоту, чтобы обязательно вернуться к вечеру. Айганым с каким-то удивлением смотрела на него, совсем по-детски наклоняя к плечу голову...

Второй месяц после свадьбы жил он у Динахмета Кожаяулы. Тот сказал, когда закончились торжества: «Ваш дом далеко отсюда, учитель Ибраим, а в такой момент жизни следует быть на земле отцов». Вечерами, придя с поля и помолившись, агай-кожа говорил с ним о мудрости мира. Мухамеджан Ахметжанов, кадет с шевроном, сидел в полной форме и слушал отца. Тонкая, как и в детстве, шея высоко поднималась у него из жесткого стоячего воротника. По окончании корпуса юноша хотел идти в университет. Отец соглашался с этим.

Айганым все никак не могла прийти в себя, так быстро все произошло. Не было долгих самолюбивых переговоров, как писал он о том в очерке обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства. Просто, когда ехал он как-то в Перовск улаживать неподсудные биям дела между двумя уездами, то по дороге остановился в ауле Анет-бия, у старых друзей своего деда Балгожи. Когда-то ему намеревались сватать невесту из этого дома, но дело расстроилось, и в тот же год Айсара утонула в большое наводнение.

Жил он там три дня и видел, как стройная, с пугливым блеском в глазах девушка помогала в доме по хозяйству. Всякий раз проходила она по двору, так что он удивлялся какой-то особенной легкости ее шага. На правах почетного гостя он заговорил с ней. Айганым остановилась и вдруг смело, даже с каким-то задором посмотрела на него. Наверняка знала она, что когда-то он считался женихом ее сестры. И на вопросы его Айганым отвечала просто, не опуская глаз.

На обратном пути он уже больше времени провел в ауле Анет-бия: делал заметки о быте сырдарьинских казахов с приходом русских войск, оседающих на приречные земли. Девушка теперь краснела всякий раз при виде его, но по-прежнему смело смотрела в глаза. Когда он уезжал, то увидел, что она стоит на пригорке в стороне от дома.

Он поехал тогда же к Динахмету Кожалу и все ему рассказал. В следующую весну от Золотого озера приезжал сам аксакал Азербай, вел переговоры. Агай-кожа ездил вместе с ним на Сырдарью, договаривался об упрощении обычая. Так и случилось, что не нужно было подолгу обмениваться подарками, соблюдать утомительные правила. В кудачах¹ у него помимо приехавших от узунского рода гостей были начальник уезда Яковлев и молодой прапорщик-топограф с наблюдательного поста, что находился возле дома

¹Сваты.

агай-кожи. С ним-то и случилась история. Уж больно хорош был прапорщик: высокий, статный, с вьющимися темными волосами. Хотя и уславливались, что не станут трогать кудачей, аульные девушки все же с разных сторон намазали прапорщика кашей, а увидев, что тот смеется, надели на него ремни, напялили, как водится, женский платок и втянули на верх юрты. Тот отбивался как мог, только девушки не отставали...

На той к нему приехал из степи Марабай. По правилам проходил айтыс со скачками и другие забавы, только все закончилось в три дня. Агай-кожа прочитал венчальную молитву и на другой уже день они поехали в урочище Кожаулы.

В аулах говорили, что не совсем по обычаю прошла свадьба, такие дела совершаются основательно, в год или два, с многократными поездками от жениха в дом к невесте и обратно. Здесь же ограничились тем, что лишь растопленное масло вылила на очаг будущая жена. Динахмет Кожаулы был негласным устройтелем свадьбы, и никто не мог говорить что-нибудь против. Все же Айганым, наверно, ожидала, что свадьба продолжится дольше. И то, что остались они сразу после свадьбы одни, в тихом доме агай-кожи, тоже удивляло ее...

Возвратился уехавший после свадьбы в сырдарьинские аулы акын Марабай, и он теперь изо дня в день записывал новые песни. Все таким же неугомонным остался курдас и больше двух недель никак не мог находиться на одном месте. Но и тот как-то успокаивался, когда сидели они втроем на тахте перед домом агай-кожи и слушали, как тихо движется вода в текущем рядом арыке.

Юноша-кадет уехал назад в город, соседи-топографы на лето к Туркестану, и никого, кроме них, не осталось вокруг. Едва слышно шелестел ветер верхушками деревьев, посаженных посередине степи многие столетия назад предками кожи, принесшими сюда семена со своей далекой родины. Где-то за домом тихо переговаривались между собой женщины, и это больше усиливало чувство покоя.

– Доброе дело есть само по себе служение богу, – говорил агай-кожа.

Марабай брал домбру и начинал играть негромко, безостановочно, и резкая морщина появлялась у него поперек лба...

Уже перед концом его пребывания у агай-кожи произошел случай, сразу вернувший его к действительности. Древняя караванная тропа проходила здесь, срезая путь к Оренбургу. Для путешествующих людей было в урочище Кожаулы особое помещение, тоже построенное в давние времена. В один из дней там остановился едущий от эмирской службы раис¹ из Бухары. Его провожали полтора десятка слуг и восемь казаков, приданных для охраны в Перовске. Бухарцы вели с собой лошадей на подарки русским сановникам – тонконогих, поджарых ахалтекинцев. Один конь захромал, и раис принялся разбирать, чья в этом вина.

Более глупого и злобного лица, чем у этого раиса, он не встречал еще в жизни. Пятеро взрослых бородатых мужчин сидели на пятках коленями к земле, а тот в тяжелом, расшитом халате по очереди ставил ногу в грязной кожаной галоше каждому на лицо. Человек что-то говорил в свое оправдание. Раис, все так же, держа ногу на лице, выслушивал его и пинал с силой, так что тот скатывался к арыку. Всякий раз, не произнеся ни звука, люди подползали и принимали прежнее положение.

Выяснив, наконец, виновника, раис что-то резко крикнул. Человека повалили, сорвали с него халат и сапоги и принялись бить палками по голым ступням. Человек плакал, кричал, возя по земле вымазанной в грязи бородой...

Вбежав в дом, он надел мундир и направился к раису:

– Я требую прекратить эту расправу, господин посланник!

¹Начальник.

Он понимал бухарцев и они бы его поняли. Но тут он говорил по-русски, и щербатый, с бабьим лицом переводчик пересказывал его слова раису. Тот стоял, выпучив глаза, и не понимал, что это за человек вмешивается в его распоряжения.

Казаки вместе с пожилым вахмистром сидели в стороне под деревом и хмуρο наблюдали за происходящим.

– Эй, вахмистр, сейчас же остановите истязание!

Вахмистр подошел, посмотрел с полминуты:

– Слушаюсь, ваше благородие... Эй, Шабрин, Буханцев, а ну!..

Двое казаков подошли вразвалку, отстранили палочников, подняли избитого.

– Извольте перевести господину эмирскому посланнику, что по русским законам воспрещено наказание без суда, тем более изуверское действие, – он холодно смотрел в желтоватые глаза раиса. – Ежели это будет повторено на российской территории, то по закону виновный подлежит русскому суду, кто бы такой он ни был...

Совсем как когда-то у действительного статского советника Красовского, у раиса стала вдруг пропадать остекленелость во взгляде, растерянные складки явились по краям рта. А он повернулся к вахмистру:

– Проследите за этим на пути, а я донесу о том начальству!

– Так точно, последим, ваше благородие! – сказал вахмистр.

Он вдруг вспомнил темную оренбургскую улицу. «Хорошее или плохое, а все ж государство». Так сказал ему когда-то Яков Петрович на темной оренбургской улице, когда вышли вместе от учителя Алатырцева. О бухарских нравах шла как раз речь...

«20 марта 1873 года. Тургай. Милостливый государь, добрейший Николай Иванович!.. К решимости беспокоить Вас этим посланием побудило недавно полученное сведение, что по предложению министра

народного просвещения я командировываюсь вашим военным губернатором быть участником при составлении в Казани русского алфавитного учебника для киргизов. Зная из писем Ваших, что об этом хлопотали Вы, я полагаю, что и означенное предложение министра о назначении меня Вам небезызвестно. Таким образом, если это состоится, то я был бы очень счастлив и мог бы надеяться на то, что давнишнее желание мое – побывать в Казани, увидеть добрых людей, послушать их и поучиться – наконец-то осуществится; равно пользуясь этим временем, привести в порядок и издать свои киргизские песни с переводом и примечаниями, что уже у меня наготове...

Я нахожусь все еще в Тургае делопроизводителем уездного управления, но по изменяющимся обстоятельствам, почти не занимаюсь по этой должности, занимая должности то старшего помощника начальника уезда, то уездного судьи... Службой моей начальство весьма довольно, но мне же обязательная служба начинает сильненько надоедать, и во мне во всей силе возбуждается старая любовь моя к наукам и обществу вне круга официальностей...

Не откажитесь передать мое искреннее почтение Екатерине Степановне. Душою преданный и покорнейший слуга Ваш И. Алтынсарин.

Адрес мне: через Оренбург в г. Тургай. Знакомый Вам старик, наш добрейший уездный начальник полковник Яковлев, узнав, что я пишу к Вам письмо, просил написать Вам от него искреннейший коп салям»¹.

10

Так всякий раз происходило. То приезжал флигель-адъютант самого государя, известный светский лев, то иомудский принц проездом выходил гулять – в европейском платье и белоснежной, с длинными космами,

¹Письма И. Алтынсарина. Коп салям – огромный привет.

папахе. И тогда гуляющие в городском саду обязательно проходили мимо скамейки, где в небрежной позе сидел гвардеец с аксельбантом, или обтекали беседку, откуда принц черными живыми глазами глядел на публику. Не так на него смотрели, как на телохранителя – громадного, свирепого вида янычарина в краснополосатом халате.

В этот раз все обязательно прошли мимо полковницы Дальцевой. С ней и дочерью сидела рядом в русском платье натуральная киргизка – даже и браслеты с рук не снимала, какие носят они в аулах. Два-три офицера из киргизов тоже смотрели с удивлением. Да еще такая интересная была киргизка: как будто и внимания не обращала на то, что пользуется успехом. На дам даже не глядела, а все говорила о чем-то с Дарьей Михайловной. На другой день рядом с ней явился знакомый здесь многим господин Алтынсарин – помощник начальника уезда из Тургая, и поняли все, что та его жена. Тогда и перестали на них смотреть.

В тот же миг, как вошли к Дальцевым, Айганым отвела взгляд от Дарьи Михайловны и прямо посмотрела на него...

За полгода в Тургае стала она свободно говорить по-русски, а через год свободно читала и писала. И платья начала носить, что шила на жен офицеров в укреплении вдова-советница Шишмарева. Вдруг сделалось ясно, что женщины живее чувствуют новую необходимость во всем. И с особенной настойчивостью хотела она ехать в Оренбург. А он обязательно должен был повезти ее туда.

Никогда не говорил он ей про Дарью Михайловну, но как будто что-то знала она. По приближению к Оренбургу начал он волноваться и все замечал на себе ее внимательный взгляд. Теперь он это прочел в ее глазах. Неужто у женщин, как у акына Марабая, способность все угадывать?

И вдруг, к его удивлению, женщины сразу начали говорить между собой, будто много лет были знакомы.

Про него словно даже забыли. Чего-то он не понимал тут. Дарья Михайловна уводила к себе Айганым, и целыми днями занимались они известными лишь им делами.

Когда ненадолго остались они одни, Дарья Михайловна сказала ему с улыбкой:

– У вас ой какая умная жена, Ибрай...

Когда подошло время уезжать ему в Петербург, Дальцевы, будто это так разумелось, взяли Айганым к себе.

В Казани словно распахнулось что-то в нем. Молодые серьезные лица сплошь и рядом встречались на улице. Люди двигались быстрее, чем в Оренбурге. В доме у Николая Ивановича толпился всякий народ: рядом с молодыми людьми в студенческих тужурках приходили долговолосые священники с мягкими покойными движениями – миссионеры из общества святого Гурия. В учительской семинарии, где был теперь ректором Николай Иванович, стояли вольные нравы. Не все из инородцев, поступая туда, принимали православие, и Николай Иванович обосновывал перед духовными властями их право на то.

Лишь волосы сделались белые у Николая Ивановича, но так же раздувались они на щеках при ходьбе. Даже еще быстрее, пожалуй, стал он бегать по квартире. Благо, было в ней здесь шесть комнат. Екатерина Степановна осталась вовсе прежней, хоть целых шестнадцать лет не видались они. Николай Иванович прижал его к теплой груди, и слезы выступили на глазах у старика. Екатерина Степановна не знала где его посадить, потом выбрали главный диван в гостиной комнате. Все те же вещи были в доме, те же иконы висели в углу. Как в молодости, пил он чай из знакомого самовара и разговаривал ночь напролет. Все же нигде он так себя хорошо не чувствовал, как среди людей, и еще в доме благородного кожи Динахмета. Некая нравственная сила была в них.

Екатерина Степановна, вспоминая про оренбургскую жизнь, спросила:

– А что же ваш друг, Ибрай... который песни пел?– И почему-то зарделась при том.

Всю неделю, что пробыл он в Казани, они с Николаем Ивановичем обсуждали привезенные им записи по удобному усвоению казахами русского строя языка. Пятнадцать лет он их вел и скопил целую корзину. Отдельно были у него составлены наподобие «Детского мира» Ушинского и «Книги для чтения» Паульсона казахские рассказы, что сочинял он для своих учеников. Все больше это были истории из жизни или понятные детям переложения из русского языка. Он взял с собой наиболее интересные из них. Как и было оговорено в учебном округе с попечителем Лавровским, из того должна была произойти первая часть «Киргизской хрестоматии». Во второй части он думал собрать статьи серьезного содержания из географии, истории технических предметов, естественных и прочих наук. Что же относится к быстрейшему усвоению русского языка взрослыми и детьми, то думал он издать особую книжку.

Николай Иванович затихал, слушая казахское чтение. Простая сюжетная игра, как для городских детей, здесь не подходила. Все бралось из жизни, и тогда дети делались внимательными, как объезжающий лошадь табунщик. Всем опытом окоёма знали они, что промахиваться нельзя... Кипчак Сеиткул с бедными людьми оседал на землю и начинал сеять пшеницу, от чего приходили достаток и уважение. В то же время брат его, продолжавший заниматься барымтой, погибал где-то в чуждых пределах... Два мальчика оставались одни в пустыне: избалованный сын богатого человека Асан и сын бедняка Усен. И второй оказывался во всем умнее: добывал огонь, охотился, ловил рыбу не хуже, чем английский Робинзон и в конце концов находил путь к своему кочевью... Человек выбегал ночью из дома, крича по невежеству, что сам

черт упал на него с неба: с рогами и бородой. Оказалось, коза провалилась через гнилую крышу...

Совсем по-новому слушали дети в школе известные с детства истории про хитроумного мальчика со шрамами на голове от тазовой болезни, сумевшего провести злого человека; про доброго мудреца Байаулы, ставшего основателем могучего рода; про красноречивого Шешена и хлебопашца Каракылыша¹. И как только добавлялись знакомые приметы: такыр, речка в тугаях, еремшик², как лисица начинала совершенно естественно говорить человеческим языком и никто не удивлялся этому. Когда-то был он не совсем прав, считая, что степные дети не поймут басни. Однако в начальную книгу их, по-видимому, вставлять не годилось. Это придет потом...

Каждый год писали они под его диктовку: «Заботливые и покровительствующие мне папа и мама, шлю Вам от всей души свой привет. Благодаря Вашим молитвам, я пребываю в полном благополучии и здравии... Вы, отец, писали, что Хасен болел оспой. Я очень рад тому, что он выздоровел. Нам учитель говорил, что если ребенку прививалась оспа, то он оспой не болеет, а если заболит, то легко переносит. Если представится возможность, то, памятуя эти слова, хорошо было бы повести к ближайшему лекарю моих братишек и привить им оспу...» «Друг мой, Муратбай, ведь я уже перешел в следующий класс и теперь через одну-две недели собираюсь ехать в аул. Надеюсь, в непродолжительном времени увидеть всех вас. Уже сейчас перед моими глазами встает картина, как аул расположился на зеленом лугу и кругом колышется высокая трава, в которой бродят многочисленные стада...»³ Потом по этой форме они сами писали домой первые казахские письма.

¹Герои народных сказок.

²Сухое молоко.

³Алтынсарин И. Том I, 1975.

И обязательно войдет в хрестоматию то начальное письмо, что будто бы направлялось к нему от лица мудрого деда:

Ты, наверное, скучаешь и рвешься домой
Поприлежней учись, грусть пройдет стороной,
Станешь грамотным – будешь опорой нам,
Нам, к закату идущим седым старикам.

Отдельно записанные песни Марабая, пословицы и меткие слова составят свою часть книги...

Николай Иванович крепко брал его руку:

– Все, что надо, вы сделали, голубчик... И никто бы больше этого не сделал. Никто, кроме вас одного!

В Казани ждали одного из видных сановников России, графа Дмитрия Андреевича Толстого. Как член государственного совета и министр народного просвещения, тот намеревался обозреть Оренбургский учебный округ. В городе чистили улицы, на пути от пристани красили дома.

Николай Иванович, ездивший встречать графа, вернулся возбужденный и счастливый. По приказанию министра, после того как тот посетит Пермскую губернию, ему надлежало присоединиться к поездке и сопровождать графа до Уфы и, возможно, до Оренбурга.

– Ибрай, душа моя... – Николай Иванович словно бы смутился чем-то. – Если Его сиятельство наведет разговор на киргизов... Ну, коль спросит, знаю ли подходящих людей для руководства просвещением в степи, то можно ли назвать тебя? Как-никак, теперь ты уездное начальство, а обеспеченность, знаешь, какая в школьном деле...

Никак не мог добрейший Николай Иванович скрывать своих чувств. Не просто дело было в уходе с уездной службы. Сама личность графа ставила людей в особое положение. Свирепейшим гонителем всего нового выступал министр народного просвещения, и господин Щедрин даже особо вывел его в своей сатире. Считалось неприличным в чем-то иметь к нему отношение...

– Вы же знаете, Николай Иванович, сколь не подхожу я для административной деятельности, – ответил он, не раздумывая. – И вся моя жизнь состоит в просвещении для киргизов. Если Его сиятельство найдет меня подходящим для такого дела, то с охотой примусь за него. Но в том только направлении, которое вам известно.

Последние слова он сказал с твердостью, и Николай Иванович согласно закивал головой:

– Так вы уж скорей возвращайтесь из Петербурга, голубчик!

Удивительно радостное чувство не уходило от него. То была не просто приподнятость от незнакомого места, от красивых четырех и пятиэтажных домов или невиданного им до сих пор уличного движения. Наоборот, он все тут как будто хорошо знал: Невский проспект с клодтовыми конями на мосту, Дворцовую площадь, памятники, медленно текущую Неву с береговым гранитом. Но даже и не там, а заходя в узкие каменные дворы на боковых улицах, он узнавал чахлую зелень в газонах, темные, ведущие до чердаков лестницы, чиновников, женщин в капотах, идущих с корзинками за провизией. Только потом он сообразил, что читал уже про все это.

Однако чувство было шире. На Невском ли, перед Исаакием или на площади перед вздыбленным конем, он ощущал некое гордое состояние духа. Какими-то путями он сам и все узунские кипчаки имели сюда прямое отношение. Здесь все устремлялось вперед, из окоёма. В Москве, когда стоял он у Лобного места или ходил по Охотному ряду, такое чувство к нему не приходило, но здесь проявилось вдруг со всей ясностью. Наверно, это и было то, что в спорах у учителя Алатырцева или тургайских застольях называлось словом Отечество...

По широкой, белого мрамора лестнице прошел он во второй этаж, в большой квадратной приемной сказал молодому, с поджатыми губами чиновнику:

– Член-сотрудник Императорского общества Алтынсарин из Оренбурга.

Чиновник вернулся, поклонился слегка: «Извольте подождать!» В высокую двойную дверь заходили люди с длинными волосами, еще чиновники. Вышел оттуда раскрасневшийся полный человек с бородкой на знакомом лице. В руке были растрепанные журнальные листы без обложки.

– Это уж прямое скудоумство, господа!..

Сказав это как бы в воздух и обведя невидящим взглядом его и секретаря, человек почти выбежал на лестницу. А он вспомнил и привстал от волнения. То был известный в России литератор.

Через некоторое время звякнул звонок, и его позвали за дверь. Он сразу устремил взгляд на сидящего в высоком кресле человека. Когда-то бронзовые завитки волос по краям лба сделались у того совсем серыми, и глаза были такого же ровного цвета.

– Рад весьма старинному, можно сказать, знакомцу... В конгрессе о киргизах имеется сообщение... Попрошу господина Беринга озаботиться вами для лучшего ознакомления со столицей. Питаю надежду, что будете посещать меня в период пребывания...

– Посчитаю долгом своим, Ваше высокопревосходительство...– у него сдавило горло.– Василий Васильевич...

Генерал как будто ничего не слышал. Поданная ему рука была неосязаемая. Корректирные листы стопами лежали на огромном, с зеленым сукном столе...

Господин Беринг, секретарь Третьего международного конгресса востоковедов, принял его тепло. Так здесь все говорили в Петербурге, с какой-то особой воспитанностью:

– Имел честь быть знакомым с вашим земляком Валихановым. Человек высокого долга!

Он не раз слышал о султани Валиханове, служившем некогда при Западно-Сибирском генерал-губерна-

торстве. Во всех трудах о киргизах обязательно упоминалось его имя. Умер тот совсем молодым.

Беринг внес его в одну из групп, что после заседаний ездили смотреть Петербург и окрестности. Даже в Лицейском саду он был, который воспел поэт. На конгрессе он сидел в относящейся к российской части ложе между почтенным генералом и молодым моряком-исследователем южных островов.

– Так вы, как доложили мне, из Оренбурга?– заговорил с ним в перерыве генерал.

– Да, Ваше превосходительство, и помню даже, как провожали вас оттуда подчиненные вам военные топографы. Один из них, полковник Яковлев, ныне начальствует в нашем уезде.

– Как же, Яков Петрович, исправнейший офицер. Подлинно русская честность души!– Немец-генерал растроганно вытирал глаза.– Так вы с ним в Тургае служите... Ведь я их закладывал, Тургай и Иргиз. Помню, место выбирал, чтобы удобней жить было... Искренний мой поклон передайте старому товарищу. А я вот сейчас в Симферополе обитаю, в имении жены. На склоне лет воспоминания написал: как в Персии и Оренбурге служил отечеству.

– Вас помнят с благодарностью и киргизы, Ваше превосходительство. Особливо сырдарьинские, поскольку от кокандских поборов их избавили.

Посреди авансцены, на председательском месте Третьего мирового конгресса востоковедов, сидел Василий Васильевич с орденами во всю грудь – российскими и иностранными. Как бы жизнь остановилась в широколобом породистом лице. Накануне купил он книжку Генерала «Россия и Азия». Все там было на месте: факты, события, отточенный стиль. Одного не было: той улыбки, с которой когда-то подошел к нему этот человек на устроенной им елке...

Петр Николаевич Беринг предупредил его, что назавтра всех гостей повезут на Излеровские мине-

ральные воды¹. Как-то не решался он спросить у обходительного секретаря, не потомок ли тот знаменитого мореплавателя. К Излеру на воды он не поехал. У него в этот день было другое дело.

Рано утром уйдя из номеров, он нанял извозчика и поехал на ту сторону Невы. Когда называл он адрес, извозчик в суконной синей поддевке покосился на него, однако ничего не сказал. У длинной высокой стены даже и лошадь как-то притихла, перестала звякать бубенцами.

Расплатившись с извозчиком, с корзинкой в руке, прошел он в ворота и стал ждать в кордегардии. На второй уже день приезда договорился он об этом свидании.

Еще в Оренбурге к нему пришла Катя Толоконникова:

– Вы, как я знаю, едете в Петербург. Следует передать Ивану Никитичу посылку...

Иван Березовский, сосланный под надзор на родину, самовольно возвратился в Казань и был арестован по какому-то тайному делу. Содержался студент в Петербурге.

– Тут тетради, свечи, все, про что писал он в письме. И фунтов пять от матери его Матрены Павловны Березовской. Ваня ведь из казаков...

Девушка резким сухим движением поправляла стриженные волосы и говорила с ним так, словно и не могло быть, чтобы не взял он посылку. Как будто в том была его обязанность.

– И еще, Иван Алексеевич, как увидите его, то скажите... скажите...

Другую, совсем маленькую девочку на елке увидел он. Прогоняя детскую слабость, передернула она плечами:

– Я ведь тут под надзором, сама не могу поехать!

Всю дорогу до Самары, качаясь в тарантасе, думал он, почему же они числят его в сообщниках. Не только

¹Увеселительное заведение.

эти молодые люди, но и другие в Оренбурге. Каким-то образом, все это было связано с небольшим домом посредине затерянного в степи Тургая, где всего лишь пять мальчиков учились грамоте. Да, только пять в этом году...

Иван Березовский даже и не удивился нисколько, увидев его:

– А, Иван Алексеевич... что же там в посылке: тетради, свечи? Теперь можно будет серьезно заниматься. А то время зря проходит!..

Как будто не было на нем арестантского халата, Березовский радовался присланным вещам. Приведший его смотритель, пожилой уже человек с медалями, даже улыбался в усы. Тетради все же пересмотрел.

– А это, Финагеич, толокно матушка изготавила, – объяснял студент смотрителю, показывая мешочек. – Мука пополам с маслом жарится. Казачья еда в походе. Заварил кипятком, и скачи весь день... Ну, а Катя как там?

Такое чистое молодое чувство прозвучало в голосе вдруг повернувшегося к нему студента, что он не знал, что говорить:

– Она любит вас, Иван Никитич, – сказал он серьезно.

– Да, это так, – просто согласился Березовский. – Я тоже ее люблю.

Березовский и попрощался, словно на оренбургской улице, до ближайшей встречи. Рука заболела от сильного пожатия.

– Важное их дело: в каторгу, видать, пойдут! – равнодушно сказал сидевший у входа унтер.

Опять пришлось ехать мимо Зимнего дворца. Здесь дважды был он уже в Публичном музее. Человек с саблей, который приходил к нему по ночам, имел сюда отношение. В степи неясно говорили, что представленная манапами¹ голова его находится где-то здесь в подвалах. И написано, что это известный центрально-

¹Киргизские феодалы.

азиатский разбойник. Только не стал он спрашивать об этом у эрмитажных служителей...

И все же заставил он себя опять зайти в дом с мраморной лестницей. Не приходил он сюда ни разу за время пребывания в столице, хоть и звал его к себе начальник Главного управления по делам печати действительный тайный советник Григорьев. Как бы его лично касались слепые белые полосы в журналах, незаконченные печатанием романы, пропущенные номера газет. Неким убийством пахло в этом доме, и сразу вспомнилась здесь о смерти того слова, что уводило из окоёма.

Показалось, что даже не уходит никуда отсюда сидящий Генерал, и в конгрессе был другой человек. Ему вдруг сделалось жутко. Серое лицо и грудь с орденами как в гробу писались в темной высокой спинке кресла.

– Господин Беринг похвально докладывал в отношении вас... Рад был присутствию... Полезность участия...

Совсем как механическая кукла у господина Щедрина, говорил слова Генерал. Неживая ладонь опять коснулась его ладони.

– Жолын болсын, жигитим!¹

Он подумал, что ослышался. Глаза у Василия Васильевича моргнули два раза, и старческая слеза показалась в них. На лестнице он заметил за собой, что даже до перил не хочет здесь прикасаться.

Выйдя на улицу, как можно быстрее прошел он к памятнику, где медный человек на вздыбленном коне протянул вперед руку, и долго стоял там, овеваемый свежим ветром.

В день отъезда взял он коляску и поехал на берег моря. Открылась серая свинцовая даль, но он все не останавливал кучера. Где-то здесь должно было нахо-

¹Доброго пути, джигит!

даться то, к чему он ехал. И вправду, из-за поворота показался мысок с одиноким деревом на краю. То был дуб.

Сойдя на сырой песок, он прошел к самому берегу. В рваной серой мгле вода смешивалась с небом, и не видно было окоёма. Волны равномерно ударяли в каменные валуны. Необычный тугой ветер нес с собой холодные брызги. Дуб стоял, раздвинув корнями камни, и ветки от вершины до самой земли несколько не сгибались в сторону. Так и должно было быть у лукоморья...

Была тут невидимая цепь, и ходил по ней кот ученый. Он улыбнулся...

В поезде, как и по дороге сюда, он не спал и все смотрел, придвинув лоб к окну. Брызги секли с другой стороны темное стекло, стучали колеса:

С разных концов государства великого...

11

Пароход Бельской компании «Михаил» второй день задерживался в Набережных Челнах. Публика не роптала и, сидя на веранде трактира, с ожиданием поглядывала на идущий от Мензелинска тракт. Еще в Казани всех предупредили, что пароходом до самой Уфы поедет обер-прокурор святейшего Синода граф Дмитрий Андреевич Толстой. Как член Государственного совета и Министр народного просвещения, он обозревал учебные заведения Пермской губернии. Рассказывали, что двое градоначальников были уже отстранены им от должности за медлительность при устройстве классических гимназий, поставленных графом в основу российского просвещения. Сам воспитанник Царскосельского лицея, министр во всем следовал римской неуклонности. Даже и либерализм его в прошлом, питаемый в окружении великого князя Константина Николаевича, носил классический характер.

Конечно, для государственного сановника предпочтительней было бы взять отдельный пароход, но сам граф был категорически против такого выделения себя из публики. Тут тоже, очевидно, играли роль античные примеры, где лишь выскочки из рабов предпочитали особливую пышность и славословие. В Казани помнили прошлую поездку графа, когда десять лет назад проплыл тот от самой Астрахани вверх по Волге, никак не заботясь о достойных его удобствах в пути. Лишь отдельная каюта и тишина во время работы, которой обязательно занимался он и в пути, были необходимым условием. Поэтому в Казани сняли с парохода купеческого сына Хромова, невоздержанного в питье, и еще двух ненадежных пассажиров.

Среди ожидавшей публики был известный своими статьями в «Православном обозрении» и деятельностью в «Братстве святителя Гурия» по просвещению инородцев, профессор университета и директор Казанской семинарии Ильминский. В крытом от дождя английской резиновой тканью пальто и резиновых галошах он все прохаживался по берегу, нетерпеливо щурясь близорукими голубыми глазами в сторону дороги. Свежий ветер с реки трепал его необыкновенно пышные бакенбарды, и он всякий раз приглаживал их к месту. Когда показался, наконец, экипаж министра, Ильминский быстрыми шагами прошел к пароходному трапу и встал возле капитана. Граф протянул ему руку и даже слегка приобнял за плечи. С другими он поздоровался коротким кивком головы и таким же кивком распрощался с провожавшими его от Мензелинска полицейскими чинами. После этого сразу ушел к себе в каюту, и пароход отвалил от берега.

Вместе с министром ехали сопровождавшие его чиновники и попечитель Оренбургского учебного округа Лавровский. С Ильминским тот был знаком только по переписке, и теперь они с увлечением беседовали, стоя на крытой от дождя пароходной

палубе. Граф так и не показывался наружу, лишь камердинер его Григорий Савельевич все ходил в салун и обратно. Любопытная публика постепенно разошлась по каютам.

С утра засияло солнце и словно потеплевшая вода весело играла на колесных плитах. Все население парохода высыпало наверх, разглядывая лесные обрывистые берега, но министр не показывался. Шесть утренних часов неукоснительно посвящалось им работе. Только молодой чиновник со строгим непроницаемым лицом заходил в салун и выносил оттуда листы для переписки. Во всем ощущалось присутствие государственного человека. Лишь после обеда чиновник пригласил к графу Ильминского с Лавровским.

– Особенность России состоит в том, господа, что болотисто-лесные и степные просторы ее предрасполагают к лени, сей матери пороков. Отсюда происходит тяготение в нигилизм, в анархию и разбой. Не свидетельствуют ли о том и отечественные песни наши. По щучьему велению предполагает всего достичь для себя наш русский человек, и коль позволить ему, то и будет спать беспробудно. Даже и за водой на печи захочет ездить. Такова сказочная мечта нашего народа в отличие от народов, достигших высшей ступени цивилизации. Лишь твердое администраторское внедрение государственного элемента придает историческую форму такому расхлябанному состоянию духа. Должна утвердиться античная стройность жизни, переходящая в поколения, а для того выбрана соответствующая задаче образовательная система...

Граф Дмитрий Андреевич говорил смело и ощущалась крупность масштабов его мышления. С державной скалы виднее горизонты. Как и в прошлый его приезд, разговор происходил вокруг исторически предначертанного для России пути.

– Плох тот администратор, который судит по докладам. Все надо увидеть самому, выслушать мнения

и тогда уже распорядиться... Да, господа, я беру на себя смелость сказать, что истинно знаю положение. Тут прежде всего личный опыт, полученный в известную мою поездку. Каких племен не видел я в продолжение кратковременного моего путешествия: и калмыков, и киргизов, и мордву, и черемис, и татар; все это дико и множественно, все это еще не тронут просвещением, все это непочатый материал для науки и цивилизации. Я знаю, что скорых успехов здесь ждать невозможно, но была бы большая заслуга положить начало просвещения этих восточных племен, а за ними и дальнейшего Востока. Вот достойные России завоевания на Востоке, завоевания цивилизации, самые прочные и притом самые дешевые из всех завоеваний. Пусть православная церковь проложит путь евангелием, а за ним последует наука со своим светом. Это совокупное действие веры и науки несомненно рассеет восточную тьму. Конечно, не нам, а нашим преемникам возможно будет разрешить эту нелегкую задачу; по крайней мере, положим ей начало...

Николай Иванович Ильминский почему-то забеспокоился. В прошлый свой приезд граф Дмитрий Андреевич говорил как будто то же самое. Дело даже не в смысле, а в тех же точно словах. И, кажется, печаталось это в «Православном вестнике». Что же, оно так, очевидно, и соответствует государственной линии поведения: с упорством твердить раз и навсегда сказанные истины, пока не укрепятся в сознании общества.

Извинительная слабость чувствовалась еще у Дмитрия Андреевича: обязательно сказать о личном и всегда правильном участии в каком-нибудь деле. В таком-то городе пять лет никак гимназия не строилась за отсутствием средств. А как приехал министр, то сразу все и разрешилось. Получалось, что от одной лишь графской мудрости сделалось дело. Как будто градоначальник полный дурак и совсем ничего в том не

понимал... Этак не трудно быть умным с полномочиями министра. А вон в семинарии дров не хватает, и половину зимы мерзнут студенты. Сколько тут ни умничай, а дров не изобретешь...

Так ли уж видит все реально граф Дмитрий Андреевич, когда с сопровождением из шести экипажей ездит по градам и весям. Там уж за месяц, небось, заборы ставят и ненадежных к ногтю прибирают. И все остается по-прежнему, будто и не существовало на свете никакого графа. Вряд ли имеет отношение к действительной жизни такой правительственный стиль...

В наступившей тишине Николай Иванович увидел немного удивленный взгляд министра. Тот кончил говорить и уже две минуты ждал его мнения по доводу просвещения инородцев, в чем считал себя авторитетом.

– В данном вопросе, Дмитрий Андреевич, направление нашей семинарии, как и общества, совпадает с высочайше утвержденным положением о прочном сближении инородцев путем просвещения с коренным русским населением. Также принимаются во внимание и мнения Ученого комитета министерства, в какой мере допустимы при образовании инородцев их родные языки. Я, как то известно Вашему сиятельству, решительный их сторонник, о чем неоднократно высказывался как в печати, так и в комитете.

– Однако же не перестают присутствовать и противоположные мнения, причем со стороны политически опытных людей.

– Все то, я считаю, недостойно российского имени, не говоря уж о вреде иметь внутри себя консолидированное фанатичное магометанство. Оно, как я уже не раз говорил, явилось и усилилось в степи с приходом русских войск именно потому, что с первых же шагов не было поддержано там свое, природное просвещение. Нелишне вспомнить, с каким трудом при покойном государе Николае Павловиче церковная служба для старокрещенных татар была переве-

дена на народный татарский язык. А живостью и образностью, уж поверьте мне, он ни в чем не уступает всем другим языкам. То же могу сказать о языках башкирском, киргизском и прочих, на которых говорят многочисленные племена Туркестана. Восприняв на своем родном языке из наших рук основные понятия культуры и цивилизации, инородцы естественным путем отдалятся от магометанского понимания вещей. Ни в коем случае нельзя тут действовать администраторски, ибо только усилит это противоположный элемент. Что же касается хитроумных теорий, чтобы оставить эти народы во тьме магометанского средневековья и даже по-русски их не учить, то не подходит то иезуитство нашему народному характеру. Все равно, не спрашиваясь ни у кого, идет историческое их приближение к России.

– Что ж тогда предпринять с алфавитом?– спросил граф.

– Здесь я, Дмитрий Андреевич, сам долгое время придерживался мнения, что следует оставить общевосточную его форму. Ведь и в Европе взяли арабские цифры. Однако с течением времени и под влиянием опыта мнение мое переменилось. Тем более, что сами передовые люди из инородцев, хоть бы заезжавший на прошлой неделе ко мне в Казань киргизский учитель, предпочитают алфавит линейный, русский. Этот учитель, по согласованию вот с Петром Алексеевичем, даже приступил к составлению «Киргизской хрестоматии» русским шрифтом, притом на живом киргизском языке. Еще пособие по изучению русской грамоты думает он издать.

– Его фамилия – Алтынсарин, Ваше сиятельство, чиновник в Тургае и одновременно смотритель школы,– подсказал Лавровский.

– Как я слышал, просвещенные люди в Турции тоже предлагают ввести линейный шрифт,– продолжал Ильминский. – Это дверь к новейшей цивилизации. У нас еще в сороковых годах Лебедев в Астрахани

проектировал издание татарских книг русским шрифтом. Затем Казем-Бек, Саблуков¹ и прочие. Мы в Казани, как известно, издали так букварь и книжки со статьями христианского содержания. Однако Алтынсарин для киргизов предполагает более широкую книгу с использованием чисто народных элементов. Естественно входит туда и переводный русский материал. Во второй же части будут статьи по основам различных наук.

– Вы сказали, что и администраторский опыт есть у этого Алтынсарина?– переспросил министр.

– Я предполагал сам заговорить с Вами о нем, Ваше сиятельство.– Ильминский говорил с вежливой доверительностью.– Ибрагим Алтынсарин – питомец оренбургской киргизской школы, открытой в царствование Николая Павловича. Как вы знаете, туда брали детей чем-то отличившихся киргиз. Отец и родичи его пострадали в набег Кенесары Касымова. Весьма честный и достойный человек, с особой способностью к русскому языку. Знаю это по собственному опыту и многолетней с ним переписке. Очень дружен с начальником уезда полковником Яковлевым и много лет исполняет должность первого помощника, замещая порой его самого. Думаю, Ваше сиятельство, что в той стройной системе общего российского просвещения, которую предполагается распространить на инородцев, такой человек окажется полезным. Предвидя направление Вашего разговора со мной, я позволил себе спросить у Алтынсарина, согласится ли тот при необходимости оставить уездную службу и полностью отдать себя народному просвещению.

– Так что же он?– спросил министр.

– Принял это с большой радостью, Ваше сиятельство.

Николай Иванович взялся рассказывать об Оренбурге пятидесятых годов и том же Алтынсарине, как поначалу стеснялся в его доме и не хотел даже ничего там есть, но дальше сделался совсем своим человеком.

¹Ученые-востоковеды.

И очень рассмешила графа история про то, как юноша в уразу съел пельмени, приготовленные на разговленье его квартирантом – правоверным мусульманином.

– Так в коридор, говорите, выходил и в небо смотрел: кто мог прибрать эти пельмени!– повторял, вытирая от смеха слезы, граф Дмитрий Андреевич.

– Совершенно так, Ваше сиятельство,– подтверждал Ильминский.

Приняв опять свой постоянный вид, министр говорил в обоснование своего просветительского плана:

– Строгое единообразие в науке – само по себе воспитательно, господа. В том мы полностью согласны с Победоносцевым¹. Лишь останавливает у Константина Петровича враждебное его отношение к европеизму как разлагающему примеру. Так с водой можно выплеснуть ребенка. Тот же пароход, на котором мы плывем, не построишь одной лишь православной молитвой. Но мы оставили нетронутыми великие русские народные начала: послушание, христианское терпение, спасительную благонадежность, лишь стянем все это римскими обручами, не допустив щелей для вытекания сих драгоценных качеств.

Наше дело – это юношество и дети, господа, то есть само будущее России. От Финляндии до Туркестана должна быть утверждена единая школа с точным перечислением преподаваемых дисциплин и под строгим наблюдением инспекторов. Таковы училища начальные, волостные, включая всех без исключения инородцев, затем уездные и, наконец, высшая форма – классические гимназии, куда, естественно, будут приходить выходцы из благородных и наиболее деятельных слоев общества. Затем в университетах вместе с формой одежды для студентов следует предписать обязательное единообразие в преподавании наук, с

¹Победоносцев К.П. – реакционнейший деятель, воспитатель Александра III и Николая II.

рассмотрением циклов лекций в особых комитетах при министерстве. Не так, как ныне, когда каждый профессор говорит что захочет.

Но то, господа, пока в идеальном будущем. Слишком много есть противников у такого плана. Сегодняшняя наша забота ввести – дисциплинирующее начало в детское образование. Согласитесь, что заучиваемые, так сказать, с младых ногтей языки латинский и греческий воспитывают особую, величественную систему мышления. Там никак уже нельзя изменить глагола или переставить слово. Все рационально и лишено мелкого личного чувствования...

– Также и русский язык, Ваше сиятельство, надлежит ввести в классические рамки. Не во всем еще присутствуют твердые правила, – заметил в тон министру Петр Алексеевич Лавровский.

– Да, действительно, русский язык...

Министр народного просвещения задумался, глядя на бегущую за окном воду. Лесистые берега с мысами и уступами все не кончались, и Кама-река с плавной мощью текла между ними куда-то в Волгу...

Всякий день собирались они в салуне у министра для таких бесед. Медленно проплывали мимо берега уже Белой реки с русскими, татарскими, удмуртскими, башкирскими селениями по берегам. В Уфе граф Дмитрий Андреевич нашел непорядок. Пристройка к гимназии делалась красным кирпичом, в то время как здание имело желтый вид. Собрав сюда чиновников вплоть до губернатора, он строго ворошил палкой застывающую в корыте известку, объясняя, что следует добавить песку. Строительный артельщик, здоровенный малый с густой бородой, опутив перепачканный мастерок, слушал с ошалелым видом. Когда министр уехал, каменщики снова взялись за свою работу, и никто им больше ничего не говорил.

Граф предложил Ильминскому ехать с ним дальше до Оренбурга. Выпадали осенние дожди, и дорога была тяжелой. Однако доехали все же быстро.

В Оренбурге министр с присущей ему энергией принялся за разрешение вопросов просвещения. Уже в первый день он спросил у Ильминского:

– Где же этот киргизский чиновник, про которого вы рассказывали?

Память у графа была превосходная. Николай Иванович тут же бросился разыскивать Алтынсарина, но оказалось, что тот еще не вернулся из Петербурга. Лишь молодая жена Ибрая жила у родственников Екатерины Степановны – Дальцевых. Всякий день теперь граф Дмитрий Андреевич с нетерпением спрашивал:

– Не приехал еще Алтынсарин?..

Министр устроил даже особое совещание у генерал-губернатора по киргизскому алфавиту, и там уже с требовательным укором смотрел в его сторону.

Едва не потеряв сапоги в самарской осенней грязи, нашел он в слободке на постоялом дворе Нигмата с тарантасом, оставленного им тут полтора месяца назад. Тарантас здесь починили, и на новых рессорах покатил он по знакомому тракту. Слева, то отдаляясь, то приближаясь, виделась насыпь железной дороги. Она была почти закончена и только на станциях кое-где достраивали путевые сараи и башни для воды. В ста верстах от Оренбурга тарантас сломался, и пришлось ехать на перекладных.

Отбив с последней станции ночью, он уже к десяти утра был в Оренбурге. Дарья Михайловна с Айганым взволнованно встретили его, так как вот уже три дня звали его к самому министру. Едва переодевшись, поехал он разыскивать Николая Ивановича. Тот ухватив его за рукав, повел в губернаторскую приемную. Однако назавтра граф Дмитрий Андреевич уезжал и назначил ему прийти к семи часам вечера на квартиру, где остановился.

В условленное время они были там вместе с Николаем Ивановичем. За десять минут до семи в большую,

с хрустальной люстрой под потолком, комнату, где они сидели, вошел граф при ленте и орденах в сопровождении Петра Алексеевича Лавровского. Они прибыли прямо с обеда, что давал в честь министра генерал-губернатор в Дворянском собрании.

Николай Иванович чуть наклонил голову:

– Имею честь представить Вашему сиятельству помощника начальника Тургайского уезда господина Алтынсарина...

Без всякого волнения смотрел он на дородного, с энергичным лицом и строгими глазами человека, что остановился перед ним. Нисколько не замечалось настроение обеда, с которого тот только что приехал. Некое недоумение лишь проявилось в сдержанном движении руки, когда министр посмотрел на него.

– Прошу подождать меня, господа!

Куранты на улице сделали последний удар, и граф снова вышел к ним уже в сером непарадном сюртуке. И опять бросил на него удивленный взгляд, даже оглянулся зачем-то на Николая Ивановича. Видимо, министр предполагал увидеть какого-то другого человека. Может быть, даже с киргизским малахом на голове.

– Как мне доложили, господин Алтынсарин, вы составили хрестоматию для обучения киргиз.

Он почтительно наклонил голову:

– Да, Ваше сиятельство, я сторонник просвещения киргизов.

– Почему же кажется вам удобным русский шрифт для киргизского письма?

– Потому что киргизы хотят войти в систему полноправного образования, Ваше сиятельство!

Он отвечал, ни минуты не задумываясь.

– Пусть молитвы наши остаются в том языке, на каком они составлены, но общая жизнь в одном отечестве предполагает и общность цивилизирующих начал. Киргизы и свое нечто доброе принесут в общий дом. У народов России перед глазами пример Петра,

что не боялся привлекать и делать своим все полезное от Европы.

У графа Дмитрия Андреевича самодовольно осветилось лицо. Как видно, все тому казалось соответственным его мыслям. Что есть независящая от них жизнь, стоящий перед ним человек и представить не мог. От неоправданной власти вырабатывается такое состояние души...

Все споры шли в журналах, что правительство и отечество – различные в природе своей понятия. Так и государство вовсе не одно и то же, что правительство. С ясностью понял он это, когда стоял на площадке у вздыбленного коня.

Нет, не станет он говорить этому человеку о дубе у лукоморья. Так же, как о господине Дынькове или солдате Демине. Те имели прямое отношение к отечеству и государству. И студент Березовский закономерная их часть. Не может быть ни государства, ни отечества без таких людей...

От слова «система» был перекинут мост. Граф Дмитрий Андреевич говорил с очевидной к нему благосклонностью:

– Как только утверждено будет положение, мы призовем вас, господин Алтынсарин!..

Утром вместе с Дальцевым и Айганым он на краю города провожал Николая Ивановича. Тот уезжал с министром. Ни подъездного пути, ни вокзала еще не стояло здесь, но строители железной дороги составили специально для графа поезд из двух вагонов первого и второго класса, а также багажных вагонов, где ехали вещи министра и разогревался самовар. Граф Дмитрий Андреевич прощался с генерал-губернатором, военными и статскими чинами. Потом, проходя уже в свой вагон мимо места, где они стояли с Николаем Ивановичем, вдруг остановился и сказал с чувством:

– Надеюсь на вашу преданность делу, господин Алтынсарин!

Розовые пятна на щеках у учителя Алатырцева сделались больше, и скулы остро выпирали из-под истончавшей кожи. Почему-то, раскрыв шкафы и ящики, все показывал ему свои книги учитель. Журналы за двадцать пять лет с муаровыми и серыми обложками аккуратными связками лежали в темноте ящиков.

– Вы же тут все знаете, Ибрагим!

Опять, как в детстве, называл тот его. Потом он долго рассказывал учителю Алатырцеву про свою поездку. Хозяин дома жадно слушал, интересуясь самыми незначительными петербургскими подробностями. Когда он передавал свидание с Березовским, учитель опустил голову:

– Там все стоит в углу ведро в кордегардии?

– Да, стоит, – подтвердил он.

Учитель Алатырцев долго и глухо кашлял:

– Нева там близко, у самой стены...

Пришел Андриевский в штатском платье, так как вышел в отставку, потом поручик Жаворонков и один из тех длинноволосых молодых людей, которых видел он на общественных чтениях в публичной библиотеке. Учитель все никак не хотел ложиться в постель, и совсем уже согнутый от старости Тимофей смотрел из угла страдательным взглядом.

– Почему же хорошие люди в России долго не живут? – с болью сказал Андриевский, когда прощались на улице. – Да возьмите одних писателей. Век начался с того, что Радищев взял себе яду. Потом Рылеев и десяток еще пошли по декабризму. Пушкин и Лермонтов от подлых рук, Белинский с Добролюбовым – от чахотки. Кто в больнице, кто в бегах, кто в желтом доме. Неужто и вперед все так будет?!

– Язык русский не терпит неправды. Оттого и писатели первые жертвы.

– Как же это: язык? – не понял отставной артиллерист.

– Ведь язык несет в себе народную душу, всякий язык, – пробовал он объяснить.

Наверно, ему, который пришел из круга кипчакской вечности, это было видней.

Что-то будто бы раскрылось в Айганым – резко и ярко. Плавнее сделались движения, и так непринужденно села она, войдя в комнату, что сам он невольно подобрался и развел плечи. Двое молодых офицеров и какой-то статский знакомый, находившиеся в гостях у Дальцевых, тоже сделали общее движение. Топографический поручик незаметно поправил ус и ровно прижал по швам руки. Что-то даже тревожное почувствовалось в груди...

Теперь и говорила она как-то иначе.

– Машенька выйдет сейчас, просила ее извинить.

Айганым обращалась к младшему из офицеров, который считался женихом дочери Дальцевых. Не совсем еще четко все было, но так протянула она «Машенька», что еще большее волнение охватило его. Какая-то другая, будто незнакомая ему женщина сидела в кресле. Дарья Михайловна улыбалась ласково, глядя на Айганым.

И когда прибыл его сломавшийся в дороге тарантас, и прощались перед отъездом, то больше с ней шепталась про что-то Дарья Михайловна, с ним лишь поцеловалась по-русски.

«3 декабря 1876 года. Тургай. Добрейший Николай Иванович! Я в Тургае уже с 11 ноября. Путь из Оренбурга был для меня не совсем приятный; выпал там снег, дни были холодные; и я, отправившись сначала в тарантасе, с трудом доехал по снегу до Орска, где и оставил свой многострадальный тарантас. Отсюда поехал уже на санях; около Верхнеуральска не стало снега, а с Троицка опять начался снег; ближе к Тургаю вновь пришлось ехать по тележному пути. Таким образом, то на санях, то на тележках едва-едва добрался до своего Тургая. Быстрые переходы от тепла к холоду и обратно действовали-таки на мое здоровье, несмотря на мою киргизскую натуру, незна-

комую до сих пор с простудными болезнями. Только теперь поправляюсь и, чувствуя себя лучше, первым своим долгом счел дать Вам весть о себе...

Для первой книжки думаю придерживаться того порядка, по которому составлена книга Паульсона, с приспособлениями для киргизских мальчиков. Басен не желаю вносить, так как киргизская натура, развивающаяся посреди суровой жизни, требует вообще предметов посерьезнее. Я по опыту знаю, с какою насмешкою и неохотно читают киргизские мальчики басни, а родители их бывали даже недовольны тем, что детей их учат, например, таким нелепостям, что будто бы сорока говорит с вороного и т.п. Для киргизских мальчиков, по мнению моему, более идут остроумные анекдоты, загадки, рассказы наставительного характера или о чем-нибудь таком, которое возбудило бы любопытство, например, вроде превращений шелко-вичных червей, бабочек, устройства себе жилищ бобрами и т.п. Песни я буду брать, если можно будет, из киргизских...

Свидетельствую глубокое почтение Екатерине Степановне... Вам преданный всею душою И. Алтынсарин».

12

В приемном зале перед кабинетом генерал-губернатора чувствовалась обстановка важного дела. Ни минуты не проходило напрасно. Трое находящихся тут людей: военный адъютант, статский чиновник за особым столом и у третьего стола за барьером начальник экспедиции – со строгими, непроницаемыми лицами сидели с записями и бумагами. В назначенное время кто-то из них вставал, приносил в кабинет необходимые сведения или приглашал вызванных на прием чинов. Присутствовала особая тишина, и лишь время от времени сквозь высокую двойную дверь доносился густой, рокочущий голос. Часто проходили совещания,

и тогда в приемной вовсе прекращалось движение. Сегодня как раз и был такой день.

Его высокопревосходительство, тайный советник Петр Алексеевич Лавровский, попечительствующий над учебным округом, кивнув по дороге адъютанту, неспешно прошел в губернаторский кабинет. В его чине позволялось заходить без доклада. Прибывший с ним правитель канцелярии Орлов остался сидеть на жестком диване для ожидающих, придерживая на коленях коленкорovou папку.

Также и генерал-майор Константинович, тургайский военный губернатор, твердо прошел прямо в кабинет, а областной советник Давыдов да делопроизводитель Гадзевич остались в приемной. У них тоже были на коленях одинаковые папки. Явились еще какие-то люди. Только инспектор киргизских школ Алтынсарин пришел вовсе без папки. Чиновники сидели молча, с достоинством глядя перед собой. Орлов все вытягивал длинную шею и поворачивал голову ухом к двери, пытаясь по привычке услышать что-нибудь из кабинета. Но там было тихо.

Минут через двадцать за дверью звякнул колокольчик. Статский секретарь генерал-губернатора, который сейчас находился в кабинете, вышел и позвал шепотом:

– Ваше высокоблагородие, господин советник Давыдов, и вас, господин Орлов!

Однако вскоре советник Давыдов и Орлов снова вышли, уже без папок, и сели на прежнее место. Чиновники время от времени двигались, разминая руки и ноги. Лишь школьный инспектор сидел прямо, с киргизской невозмутимостью глядя перед собой.

Внутри, в громадном кабинете с отделанными дубом панелями и портретом в рост от потолка до пола государя Александра второго, сидел начальник губернии генерал-адъютант Крыжановский. К массивному дубовому столу с императорскими вензелями при-

мыкал поперек другой, необъятных размеров стол, и с двух сторон его в креслах находились Лавровский и Константинович. Тяжелые гардины на окнах закрывали кабинет от солнечного света и уличного шума.

Лавровский негромко и размеренно читал из взятой в папке бумаги:

– Исполняющий дела инспектора инородческих школ Оренбургского учебного округа статский советник Катаринский по возбужденному вопросу об устройстве киргизских школ в упомянутой области донес мне, что, находя устройство предполагаемых волостных киргизских школ пока преждевременным, он признает необходимым предварительно иметь по одному двухклассному русско-киргизскому училищу в каждом уезде области: в Иргизе, Тургае, Актюбе и Урдабай-Тугае с ремесленными классами при них и обучением оспопрививанию, с тем, чтобы после этих училищ выходили хорошие учителя для волостных школ...

Для двухклассных училищ на 50 человек пансионеров-киргизов при двух учителях необходимы довольно большие здания, состоящие приблизительно из следующих комнат: двух классных, комнаты для спальни 50 ученикам, кухни, столовой, комнаты для склада вещей и библиотеки, двух квартир для учителей – по две комнаты каждому, а также нужны погреб и надворные строения...

Массивный, склонный к полноте Крыжановский хмурил густые сарматские брови. Черный как смоль Константинович, из русских сербов, нетерпеливо постукивал пальцами.

Потом сам Константинович читал свое мнение:

– По соображениям обстоятельств переписки по вопросу об устройстве в области четырех двухклассных училищ я нахожу, что для ежегодного содержания каждой школы исчислять 4500 рублей, часть которых, а именно 2000 рублей, может быть покрыта из сметы

народного просвещения, а следовательно, местные средства для этой цели должны заключаться – 2500 рублей...

Долго и обстоятельно говорили о наличии кирпича и необходимого леса на возведение учебных зданий, о русских шрифтах для киргизского просвещения и о преподавании религиозных начал в названных училищах. Здесь генерал-майор Константинович вступил даже в спор с попечителем Лавровским, прямо предложившим не позволять муллам преподавать киргизским детям магометанский закон.

– Помилуйте, Ваше высокопревосходительство, – с военной резкостью Константинович слегка стучал ребром ладони в такт словам. – Как же это: уходить всякий раз куда-то на молитву из школы. Непорядок! К тому же подобное запрещение очень дурно отразилось бы в нравственном отношении на киргизах, возбуждают в них подозрение о желании правительства отстранить детей от изучения их религии. Это не только не содействовало бы распространению просвещения среди киргизов, но скорее отвратило бы их от посылки детей в школу!

Генерал-губернатор Крыжановский заключил совещание:

– Обозревая в семьдесят шестом году Оренбургский учебный округ, граф Дмитрий Андреевич лично интересовался киргизским просвещением. Общее направление правительственной политики в этом вопросе и присланный им циркуляр свидетельствуют о том, что Его сиятельство внимательно следит за проведением в жизнь предложенной им системы. Однако же имеется ряд неясностей, о коих следует запросить разъяснений. По высказанной графом мысли русско-киргизские училища должны как бы составить единство с российскими уездными училищами. Однако же строительные средства, да и содержание выделяются, как вы видите, половинные. Не прояснен статус выпущенных из таких

школ учеников. Посему надлежит обратиться к товарищу министра...

Чиновник за своим столом в стороне неслышно записывал.

Теперь, когда двадцать лет службы находилось за спиной, в полном спокойствии сидел он, глядя на верх фонаря за окном на площади. Там за дверью, да и здесь, в приемном зале, ему нечего было делать. Ведь это он с инспектором всех инородческих школ губернии и другом своим Катаринским составлял подробную бумагу для попечителя Лавровского. Петр Алексеевич с этой бумагой обратился к губернатору Константиновичу. И тогда он опять, уже по просьбе генерал-майора, также являющегося его начальством, писал ответные соображения на первую свою бумагу. Там, в кабинете, теперь и читали их друг другу. Василий Владимирович Катаринский с милой и любезной Евпраксией Васильевной конечно же гуляют себе где-то в родном имении, и потому тут приходится сидеть ему.

Между тем сто забот еще у него в оставшиеся до отъезда дни. Согласие свое на службу инспектором он обусловил постоянным жительством в степи, что и в смысле работы полезнее. Зная личное участие графа Дмитрия Андреевича в его назначении, с этим невольно согласились. Вот и надо всякий раз в приезд свой сюда все успевать сделать.

Главная забота идет к концу. Хрестоматия сверстана, остается только переплести. Руководство к обучению русскому языку тоже набрано и считано. С трудом, благодаря доверию старых знакомых, заказано двадцать пять железных кроватей для Иргизского училища, да у общества Красного креста по случаю куплены холщовые и полотняные вещи на белье и постели. Их хватит на Актюбе, да еще надо дополнить тургайское школьное хозяйство. Столовую и кухонную мебель

кругом надо новую: простую и удобную. Так же ложки, вилки и ножи. Так что написать еще нужно в Иргиз, чтобы поспешили с высылкой семисот рублей от местных средств на училище. Подполковник тамошний тянет, как бы растраты не сделалось. В географическое отделение к Померанцеву нужно зайти и навестить еще в госпитале учителя Алатырцева перед отъездом...

А это совещание меж военными и попечителем – что ж, тем закончится оно, что новый запрос к министру его же заставят писать как от лица губернатора, так и от попечителя, благо он в двойном подчинении. Еще и общий проект от генерал-губернатора тоже ему в конце концов придется составлять. Да ничего, у него на все уже есть заготовка. Они ведь не замечают, что дословно повторяют друг друга. И не сомневаются, что это они делают все дело. Как и граф Дмитрий Андреевич убежден, что, как лошадью, управляет государством.

Только не так это. Все большое и главное идет помимо них, от того рвущегося из окоёма всадника, что стоит перед Невой. Он разглядел эту разницу. Они, даже не желая, исполняют государственное предназначение, тормозя, упираясь, арканами удерживая того медного коня, пока не сбросит их. С их ли стареющей силой сидеть в таком седле.

Вот и училища сейчас в каждом из четырех уездов, о которых уже три года идет разговор. Они будут все же построены, хоть нет сейчас ничего на том месте. Есть только сохраненная им почти двадцать лет школа в Тургае, и звонит каждый день там колокол. Надо уметь быть крепким в осаде...

Вышли, беседуя между собой, Лавровский с Константиновичем. Встали, уходя за начальством, позванные для справок чиновники. Статский советник, коллежский да два надворных советника, не считая полдесятка секретарей, пробыли тут с утра до обеда, и будто бы надо это для дела.

А к смене им готовятся войти новые люди: хмурый, с поджатыми губами действительный статский советник из губернского надзора, тюремный попечитель, жан-дармский полковник с аксельбантом, заместивший Пальчинского. Того забрал с собой на работу в Петербург тайный советник Евграф Степанович Красовский. В приемном зале остаются ждать пять секретарей да ротмистров. Тут уж дело более близкое, нежели школы...

В складе у купца Забалуева смотрел он доски, что могли пойти на школьные столы. Ходил в общество Красного креста, где сидела Катя Толоконникова, заверял распорядителей, что деньги из Иргиза вскорости придут. Потом у Юрия Николаевича Померанцева читал очередные ученые записки, доставленные из Петербурга. Среди них был перевод с английского с отчетом известного путешественника, что проехал шестьсот верст через малолюдную пустыню. Померанцев внимательно стал смотреть на карту, висящую между решетчатым окном и лестницей.

– Вы же сколько верст, Алтынсарин, проехали сюда от Тургая да через Троицк? – спросил вдруг секретарь общества.

– Да тысячу верст будет, однако.

– Так и напишите про свое путешествие книгу. Тот англичанин в пампасах, верно, лучшие удобства имел!

Он подумал, что в этом году приезжает в Оренбург уже в третий раз, и засмеялся. Пожалуй, всякий узунский кипчак, только родившись, мог бы уже претендовать на должность путешественника.

Вместе с Померанцевым пошли через дорогу в «Оренбургский листок». Редактор в пенсне и крылатке-размахайке, так как в комнате было холодно, все уговаривал его написать к нему о быте и нуждах кочующих киргизов. Он пообещал, думая, что неоткуда брать времени.

Ходил он еще в гимназию, где учились жившие на хлебах в татарской слободке двое его питомцев из Тургая. Трое находились в Неплюевском училище, один – Мухамеджан Ахметжанов, сын агай-кожи, занимался в Казанском университете. И еще инженерный подпоручик Кабыл Ержанов, раненный под Шипкой, писал ему письма из Киева. Другие, закончившие его школу, состояли кто письмоводителем в волости, кто при торговых домах. Сотник Султан Бабин, из неплюевских кадетов, был сейчас вместо него в Тургае учителем...

С Дарьей Михайловной ездил он по модным магазинам, выбирал ленты и кружева по поручению Айганым. Это забрало весь почти день. Дарья Михайловна одну лишь шляпку у немца Кригеля выбирала два часа с самым серьезным выражением на лице. Потом с удовлетворением подала ему картонку:

– У вашей жены, Ибрай, лицо овальное и с матовым отливом. К нему как раз пойдет итальянский вид...

А он в этот момент думал, как уладить дело с Николаевским уездным начальником Сипайловым в Троицке. Одноклассная школа, что была недавно лишь на бумаге, собрала все же двенадцать учеников. Новый учитель Воскобойников мог бы наладить дело, да не хватает места. Подполковник Сипайлов за триста рублей в год сдает под школу свой старый дом, в то время как за такие деньги можно снять втрое большее помещение. Если же отказаться от арендования, то Сипайлов обидится. А от него зависит строительство нового училища в Кустанайском урочище. И так уже говорил Тлеу Сейдалин, что Сипайлов недоволен учителем.

Также и из Иргиза не шлют деньги. Дом, снятый пока под училище, там хороший, да только начальник уезда занял половину его под свою канцелярию. Без губернского участия его оттуда никак ее выдворишь. В Илецком уезде решено строить училище в укреплении Актюбе, а пока что предлагается снять дом где-

то при старом медресе. Лишь в Тургае благодаря Якову Петровичу уже половина дома построена и есть где заниматься.

В книжном магазине выбирал он хоть какие-нибудь подходящие для дела книги. Отложил «Учебную книгу географии» Смирнова, русскую хрестоматию Водовозова, «Элементарный курс всеобщей и русской истории» Белярминова и еще для учителей руководство по преподаванию истории Иловайского. Руководство не понравилось ему – одни только даты для заучивания, да другого не было. Придется обо всем подробнее списаться с Николаем Ивановичем. И еще в отношении учителей напомнить...

Медленно катил он в новом уже тарантасе по усаженной деревьями дороге. Тарантас, почти такой же, как у деда, был сделан на заказ из инспекторского содержания. Мудрый бий Балгожа знал, как лучше ездить по степной целине. Лишь немного поменьше был экипаж, да рессоры мягче. Кучер Нигмат тоже из уездной службы перешел в ведомство народного просвещения и даже получал теперь жалованья на рубль больше.

Впереди в сыром, ветреном небе белели будто прозрачные минареты башкирской мечети. Когда-то, в школьные годы, любил он гулять по этой дороге, и мечеть тоже переносил на Тобол.

Показался «Царский сад», еще при Перовском отданный под военный госпиталь. Тарантас проехал высокие чугунные ворота с золочеными пиками, свернул на аллею к офицерскому корпусу...

Высоко на подушках лежал Арсений Михайлович Алатырцев, и в руке у него была раскрытая книга.

– Все, знаете, старое перечитываю. Это позволяет думать о себе...

Учителю принесли пить лекарство, а он машинально переворачивал страницы журнала, что дал ему

из-под подушки больной. Глаза остановились на знакомой фамилии... «Григорьев издевается над твоим словом, русское общество, кастрирует твою мысль; всякую попытку высказать то, что ты думаешь, запретитель книг считает личным оскорблением для себя... Глядя на то, как нагло издевается над русским человеком шайка грабителей и правителей, можно, пожалуй, подумать: вот смелые негодяи! Вот уже записные герои бесстыдства! И бога не боятся, и людей не стыдятся. Хоть они разбойники, а, должно быть, люди железного характера и воли. Ничуть не бывало! Ты сам, конечно, знаешь, читатель, что мозгливее, трусливее, бесхарактернее нашего правительства трудно подыскать. Отчего же оно так смело и решительно душит тебя? Душит и при этом нагло попирает как писанные законы, так и неписанные, естественные права гражданина и человека?.. Мудрено ему уважать свободную мысль, когда миллионы его подданных вовсе не заинтересованы в ее существовании»¹.

Пришел врач, и по закону учителя Алатырцева он спрятал запрещенный журнал, принялся листать другой... «Спрашивается: если я люблю свое отечество, то люблю ли и должен любить все, что в нем живет, летает и пресмыкается, всех птиц и гадов, его населяющих?.. Ясно, следовательно, что, любя отечество, можно и должно многое в нем ненавидеть, презирать, гнать, клеймить, позорить. И если бы (беру случаи теоретической возможности) мрачные исторические условия обратили хищение и неправду даже в «народную святыню», так и то она должна быть низвергнута, как был низвергнут идол Перуна (тоже народная святыня того времени)...»²

Со всеми подробностями рассказывал он учителю про свои дела: как договаривается о лесе и кирпиче на

¹«Русский фельетон». М., Государственное издательство политической литературы. 1958, 261.

²Там же, 275-277.

строительство в уездах, достает белье и кухонные казаны, читает гранки для своих книг. Тот слушал с лихорадочной заинтересованностью, переспрашивал самые обычные вещи.

– Страшно бывает прожить жизнь впустую... Так вы не забудьте, Ибрагим, где что лежит!

Опять учитель Алатырцев зачем-то говорил ему об этом.

Евфимовский-Мировицкий, с громадной черной бородой, пил чай, прихлебывая из толстой фаянсовой чашки и наливая сам себе всякий раз из самовара, что стоял рядом на табурете. Чашка находилась в правой руке, а левая прижимала гранки набора, что дыбились на столе. Читал хозяин типографии быстро и как-то одним глазом. Человек с бородой наливал и ему чай, придвигая лежащие тут же баранки. Внизу, в полуподвале, стучала машина, и деревянный дом чуть вздрагивал от ее грохота.

– От генерал-губернатора несут: срочно, не медля ни часа. От вице-губернаторов несут – тоже немедленно. Так тут еще от тургайского военного губернатора приносят. Что за город такой Оренбург – полно губернаторов!

Глаза у Евфимовского-Мировицкого смеялись. Борода напозла на набор, мешая чтению, но тот все равно успевал еще сделать жест рукой.

– У нас в школе военных кантонистов было правило: чем больше начальства, тем удобнее избежать порки... А вот и ваша книга, господин Алтынсарин!

Рабочий в косоворотке внес снизу ровную пачку книжек.

– Двадцать штук переплели, как обещали вам, Иван Алексеевич.

Печатник был из тех, кто приходил на общественные чтения с Березовским. Книги лежали недвижно на столе. Настала тишина. Он подошел, взял

верхнюю книгу из пачки. Подержав в руке, раскрыл где-то на середине... «Один плотник, сколько бы он ни зарабатывал, довольствовался малым...» Это из сюжетов графа Льва Толстого, где царь Петр встречается с мужиком. И тут же лондонская собака, что вбежала в горящий дом за куклой. Все на своих местах: батыр Кобланды, айтысы, стихи, загадки. Он возвратился к первой странице:

Знаний увидев свет.
Дети, в школу идите!
В памяти крепко, навек
Прочитанное сохраните...

Только теперь он посмотрел на обложку: «Киргизская хрестоматия». Первое слово располагалось полукругом, второе – ровно. И внизу уже обыкновенно: «Составил И. Алтынсарин».

Хозяин типографии и печатник как-то странно смотрели на него. Как видно, давно уже он держит в руке книгу. И люди еще появились в комнате: пожилой наборщик с синими нарукавниками, подросток в фартуке и измазанной черной краской рубашке. Даже унтер без ноги, сидящий у входа, оказался здесь.

Другое, чем обычно, лицо было сейчас у Евфимовского-Мировицкого: серьезное, значительное.

– Вот и сделана ваша книга, господин Алтынсарин!

Он обвел всех глазами и вдруг с ясностью понял, как трудно было им набирать эту книгу, в которой слова из другого для них языка. Хозяин типографии протянул ему руку, за ним печатник и наборщик. Унтер внес и поставил на стол корзинку с шампанским и бокалы.

– Я сам, позвольте... Я распоряжусь, господа...

Он хотел достать деньги, попросить всех пойти с собой в буфет, но хозяин типографии отвел его руку:

– Нет, господин Алтынсарин, то от нас. В честь киргизского просвещения!

Печатник поднял бокал:

– Сейте разумное, доброе, вечное...

Он вдруг вспомнил, как Яков Петрович выстраивал когда-то гарнизон на открытие школы. Глаза сделались мокрыми, и он выпил вино...

Все стояло перед глазами лицо, как бы вправленное в гробовую крышку. И другое, медное, когда сидел этот человек в знакомом кресле, а Марабай пел песни. Евграф Степанович Красовский убежал тогда по коридору...

«25 ноября 1879 года. Оренбург. Ваше Высокопревосходительство, Василий Васильевич! Находясь под Вашим покровительством и пользуясь нравственным Вашим влиянием, мы несколько киргизских офицеров, начали свою служебную деятельность. Доброе влияние Ваше глубоко вкоренилось в нас и, идя по указанному Вами направлению, мы стали впоследствии не бесполезными, как полагают, людьми для родного нам народа.

Примите, Ваше Высокопревосходительство, настоящую первую книгу на киргизском языке, составленную одним из питомцев Ваших как живой признак нашей вообще и моей в особенности глубокой признательности и беспредельного уважения.

С глубоким уважением и искреннею преданностью имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою И. Алтынсарин».

13

Почти столетний Жарылгап эсепши¹ еще три года назад сказал:

– Будут эти годы сухие, а потом выпадет снег по верблюжье брюхо и произойдет джут. Я знаю, так уже было!

Так оно и случилось. Три лета подряд дули горячие ветры, а в зиму не выпадало даже снежной крупы. Тургай совсем перестал течь, и дно тысяч озер

¹Знаток расположения звезд и предсказатель погоды.

сделалось сухим и твердым, как железо. Даже под черной коркой в них не было воды.

В третий год начались пожары. Желтый камыш скрежетал под ветром и вдруг вспыхивал ярким, как солнце, огнем. С Тургаев то здесь, то там пламя перекидывалось на едва проросшую высохшую траву, и мчалось по степи, лишая скот последнего корма. Потом небо сделалось сине-черным, ветер круто переменялся, и уже не с неба, а откуда-то сбоку пошел снег. Даже не падал он, а двигался сплошной стеной, опрокидывая и ломая все на пути. Он шел неделю, другую, третью, пока не достиг брюха у верблюдов. Но и тут буран не остановился. Нижний снег, упавший на не остывшую еще землю, оседал и превращался в лед. Никакому коню не было по силам пробить копытом его саженную толщу. А сверху все сыпал новый снег.

Уже в первый месяц зимы стал падать скот. Отбившиеся от людей табуны, пущенные с осени на тебеневку¹, пробивались сквозь снег к приречным тугаям, чтобы укрыться хоть от ветра, но там встречали их острые обгоревшие пеньки. Овцы и вовсе никуда не двигались, а сбившись в плотную непробиваемую массу, блеяли, потом лишь чуть слышно плакали и затихали, заметенные снегом. Люди, уходя проведать свой скот, не возвращались.

Лекарь Кульчевский, старый тургаец, каждый день приходил к нему. Жар не спадал, и он слышал сквозь тугую, нескончаемую боль в голове, как тот в другой комнате говорил плакавшей Айганым:

– Это горячка и все прочее, голубушка. Также и рана ревматическая на ноге. Как можно в такую зиму пускаться в путь. Раньше нужно было выбираться ему из Оренбурга.

– Он книгу свою ждал. Да и служба, – объясняла Айганым.

¹Зимний выпас на подножном корму.

– Ничего, дай бог, оправится. А что маслом горячим он думает лечиться, так это можно разрешить, вреда от того не будет...

Айганым все сделала, как когда-то делал ему горбатый Шоже-таиб, даже и травок разных у женщин достала. Фельдшер Федорчук вдобавок ставил ему банки, и он почувствовал себя лучше. Снег подмел уже под самые окна, и он решил, пока лежит в постели, написать «Киргизскую газету». Генерал-майор Константинович, когда он заговорил о том, тут же прямо и приказал ему:

– Чтобы к следующему году была у нас газета. Извольте, господин Алтынсарин, представить проект!

Аккуратным, ровным почерком писал он листы в две колонки – на казахском и русском языке, стараясь в переводе, чтобы совпадали даже размеры. Разные газеты, что получали в Тургае, принесли к нему, и он подбирал разделы, составлял предполагаемые статьи... «Киргизская пословица говорит: «Ученый плывет и в гору». Так в настоящее время счастье, богатство и сила у тех только народов, которые не забывали этой пословицы... Все племена, подведомственные Белому царю, могут по крайней мере непосредственно передавать начальству о своих нуждах через своих же единомышленников или устно, или письменно; а мы, лишь только встретится надобность, разыскиваем сначала какого-нибудь человека, знающего киргизский и русский языки.. Опыт и нужда год от года ощутиее указывают нам на необходимость постройки для зимы домов, и вот, как только приступаем к этому делу, опять натываемся на непреодолимые препятствия: у нас нет ни порядочных печников, ни стекольщиков и ни плотников... Вот на такие-то вопиющие нужды народа и обратило внимание высшее начальство. Оно признало, что киргизы от природы – весьма способный и умный народ, и чтобы эти способности не пропадали даром, сделано, как слышно, распоряжение учредить в каждом киргизском уезде по одному хорошему

училищу, где будут основательно обучать киргизских детей русскому языку и грамоте, и разным искусствам...»¹

В нерусской части он кругом писал «казахском уезде», «казахских детей» и называлось все «Казахская газета». Он увлекся и уже, как в подлинно существующей газете, разнообразил местные новости: младший помощник начальника Иргизского уезда такой-то за бездействие власти и неисправности по службе удален от должности и на место его определен такой-то, награждены за усердие в службе такие-то волостные управители и бии, а именно: золотой медалью, кафтаном с галуном, тубетейкой. Перечислялись происшедшие в различных уездах происшествия: пожары, разливы рек, появившаяся оспа, сообщались цены на хлеб и скот на Оренбургском меновом дворе. Для раздела «Иностранные известия» он взял движение английских войск на Кабул в ответ на происшедшее там убийство посланника и действия русских войск по защите прилинейных казахов в Мангышлаке от нападений текинцев. Были еще любопытные народные рассказы, объяснение различных слов и обычаев. Целую полосу отвел он старому налогу «ушур», который собирался от лица халифа и шел на охрану жителей от неприятеля. С приходом русских войск такая надобность отпала, и ушур – десятина от скота и урожая, остается теперь у людей.

Писал он до поздней ночи при свете поставленной к кровати лампы, а в сердце не проходила тревога. Два года назад перевел он сюда с Тобола принадлежащий ему табун гнедых коней от оставленного ему дедом Балгожой племенного хозяйства. Каждый год он вкладывал деньги в племенное дело и все его состояние было в этом. Сводный брат Оспан, который следил за хозяйством, никогда ничего не делал без него. Да и

¹Алтынсарин И. Том II.

постаревший Мамажан не мог уже помогать в полную силу. А он задержался в Оренбурге, и сено в этом году почти не было заготовлено. Как там сейчас на Акколе зимуют триста его лошадей...

Снег уже подмело под крышу. Каждый день Нигмат отгребал его от двери и окон широкой деревянной лопатой, и узкие глубокие рвы образовались от дома к дому. Такие же проходы посредине улицы копали солдаты. Лишь ветер свистел поверху, когда приходилось идти между ровными снежными стенами. Сани ездили где-то наравне с печными трубами, вокруг которых образовались желтые наледы.

В один из нескончаемых, наполненных снежной слепотой дней дверь отворилась и в дом ввалился широкий смерзшийся ком. Ничего не говоривший человек сбил с шубы лед, с трудом снял большую лисью шапку и повалился на пол.

– Ой-бой.– Оспан качался на корточках у открытой голландской печки.– Ой-бой, горе какое!..

Племенного табуна больше не было. Лишь гнедой жеребец-вожак привел неделю назад полтора десятка истощавших, с окровавленными копытами, лошадей к озеру, где находилось зимовье Мамажана. Один из табунщиков погиб, другой отморозил пальцы. Но и уцелевшим лошадям нечего есть, негде укрыться от ветра в выгоревших тугаях.

Он чувствовал себя лучше, и на следующее утро в санках-волокушах с широким, подминающим снег передом, поехал с Нигметом и Оспаном к Акколю. Ветер бил то в лицо, то с одного боку, то с другого, неся снег кругами по окоёму. Вскоре не сделалось слышно ударявшего время от времени колокола в тургайской церкви. Спустившаяся ночь ничем не отличалась от дня. Они ехали уже, не зная куда, чтобы не стоять на месте.

Давно уже пора было быть Акколю или хоть соседним озерам, по ни зимовья, ни реки все не было видно. Может

быть, так и проехали они сверху по засыпанном снегом озерам? Лошади в санях, хоть и содержались перед тем в теплой конюшне, стали выбиваться из сил. Они теперь надолго останавливались, мотая головами, потом сами трогались дальше, неизвестно в какую сторону.

На третий день лошади уже стояли по брюхо в сугробе, а они лежали в санях, прижавшись друг к другу и даже не отбрасывая с натянутой сверху кошмы падавший снег. Буран все не кончался...

Первыми встрепнулись лошади, задвигались, приминая боками сугроб, и одна голосисто заржала. Где-то в белой тьме раздалось едва слышимое ветром ответное ржание. Потом уже послышался человеческий голос.

– Так то вы, Ваше высокоблагородие!

Тургайский сотник Серебряков стоял над ними, держа коня в поводу. Из снега показались еще люди в бурках и полушубках. Оказалось, Яков Петрович разослал команды к зимовьям во все четыре стороны, чтобы проверить, не терпят ли там крайнее бедствие.

– На Акколь?– хмыкнул один из казаков.– Так то верст семьдесят отсюда, совсем в другой стороне!

Часа через два приехали вместе с командой на зимовье Джакамова рода. С десятков кое-как прикрытых камышом юрт стояли посреди жидких тугаев. Даже и ложбины, чтобы укрыться от ветра, здесь нигде не было. Остатки собранной с осени травы лежали под смерзшимся снегом.

Они расположились в лучшей юрте. На одной стороне помещалось семейство хозяина: старая мать, жена и четверо малолетних детей. Сзади стоял ларь для муки и припасов. Все остальное свободное место занимали два верблюжонка и теленок. Ветер свирепо врывался в невидимые глазу щели и гулял в середине. Люди и животные жалобными глазами смотрели в едва горящий посредине огонь. Его то и дело задувало ветром, слышался треск ломаемого камыша. Все

жилище вздрагивало и вот-вот могло быть разбро-
санным и унесенным бурей.

– Ой, Кудай!¹– испуганно приговаривала старуха
при каждом сильном порыве ветра.

Они молча сели у огня.

– Так без нас ты уж не трогайся с места, Ваше
высокоблагородие!– сурово сказал ему Серебряков.

Казаки и солдаты поехали дальше. Он заснул под вой
ветра и причитания старухи. Под утро он проснулся
от женского плача. Жена уговаривала хозяина не идти
искать скот, засыпанный в степи снегом. Тот с черным
от горя лицом ничего не отвечал и потуже стягивал
свой кушак.

– Эй, ага, не ходите,– стал и он говорить.– Из-за
скота жизни лишитесь!

Тот посмотрел на него невидящим взглядом и
продолжал одеваться. Проверив, крепко ли сидят ноги
в сапогах, хозяин пошел к двери и сказал, не поворачи-
ваясь лицом к жене:

– Я должен Алтыбаю двадцать рублей, больше
никому...

Через два дня возвратился сотник Серебряков.
Солдаты везли с собой в санях голодных, обморо-
женных людей, найденных в дальних зимовьях. Рас-
сказывали, что там погибло до пятнадцати человек, а
оставшиеся страдают от голода, так как весь скот пропал.

Хозяин юрты, так и не нашедший своих овец, сидел
у огня, не поднимая головы, старуха все причитала в
закутке: Ой, Кудай!» Они поехали с командой обратно
в Тургай...

В укреплении освобождены были все помещения.
Даже в старой казарме селили людей, женщин с детьми.
Школа и половина его собственного дома были заняты
пострадавшими. А солдаты все привозили с дальних
зимовий новые жертвы джута. Некоторые приходили

¹О господи!

сами. Каждые пятнадцать минут раздавался звон с колокольни, чтобы заблудившиеся в степи нашли дорогу.

Но больше людей оставались на своих местах и умирали от голода, заносимые снегом. Каждый день варил Нигмат по полному котлу каши, и школьные запасы были на исходе. Ученики разносили горячую еду в мисочках для находящихся здесь детей, и те ели, обжигаясь. Мука в ермолаевских лавках достигла в цене шести рублей за пуд, и стали голодать уже и в городе.

Яков Петрович кричал в эти дни на всех, кто подворачивался ему на пути: на жителей, на солдат, на голодных детей, что теснились кучками на устроенных для них нарах. И, странное дело, дети нисколько не боялись грозного старика-полковника. Из уезда в четвертый раз отправили рапорт о бедствии, но ничего не приходило в ответ. Даже почта третью неделю не доставлялась в Тургай.

К началу января начальник уезда вскрыл военные склады с особым запасом. Квартирмейстер выдавал муку для голодающих зимовий из мешков сурового полотна с двуглавым орлом и интендантским номером на боку. Это позволялось только на случай военной осады...

Теперь Яков Петрович приходил к нему, не снимая шинели садился к печке и молча сидел два-три часа, опустив плечи. Слышно было из школы, как тихо плакали на руках у матерей дети. Каши им раздавали теперь только по полмисочки на день. И в городе уже тоже умирали от голода. Посидев, начальник уезда вставал и уходил. И снова слышался с улицы его громкий крик.

– Апа, нан... нан...¹

Мальчик лет четырех тянулся полными ручками к матери. Он даже удивился, как при плохой еде могут

¹Мама, хлеб... хлеб...

быть у мальчика такие толстые ручки. И у держащей ребенка женщины выпирали из-под платья огромные ноги. Он подошел ближе и остановился, не в силах отвести глаз. У людей пухли руки и ноги. Только теперь он вспомнил, что так и бывает от голода.

Айганым, днем помогавшая матерям, приходила и плакала, по-казахски причитая:

– Ой-бой, не могу, Ибрай... Не могу...

Яков Петрович сидел, опираясь локтями в колени и выставив из рукавов красные жилистые руки. Ветер был с неослабевающей силой и снежные вихри с твердым стуком ударяли в окно. Протяжный крик и звук команды слышались на улице. Звякали колокольцы.

Начальник уезда теперь недвижно стоял, шевеля губами. Потом твердым шагом пошел на улицу. Натянув полушубок, он бросился следом.

Слышно было, как за горами снега выходили из домов люди. Ряд оледенелых, залепленным бураном саней двигался вверх от Тургая. С первых соскочил высокий человек в полушубке. Полковник Яковлев приложил руку к шапке:

– Ваше превосходительство, в уезде, согласно с инвентарным списком...

Начальник области генерал-майор Константинович с обмерзшим лицом и красными от ветра глазами принял рапорт, потом повернулся к обозу. Месяц пробиваясь от Троицка и Николаевска, четыреста саней с мукой прибыли в Тургай. На Тоболе фомировались также два частных обоза...

Не от известного ему графа с властной уверенностью во взгляде, не от происходящих за дверью совещаний, даже не от генерал-майора Константиновича, приведшего обоз через буран, произошло это. От того всадника, что вздыбил коня из болотного, заливаемого морем берега, шла созидаящая сила.

Отложив пока «Киргизскую газету», писал он в «Оренбургский листок» о переживаемом степью бедствии. Страшную быль рисовал он с натуральным чувством участника. Впервые это делается известным миру. Плач старой женщины в засыпаемом снегом зимовье шел к людям из Тургая: «Ой, Кудай!»

И был один только путь... «Каждый народ, развиваясь прогрессивно, непременно должен в конце концов перейти от кочевого быта к оседлости, с которой тесно соединено просвещение. Мы заметили уже, что киргизский народ сам на пути к оседлости, что такое стремление его проявляется на деле весьма быстрыми переменами векового быта, так что и понудительные меры едва ли бы довели их до цели скорее, нежели дело идет теперь естественным путем...

Такому естественному сближению русского и киргизского простонародья содействует, нам кажется, прежде всего некоторая сходственность нравственного их строя. И те и другие отличаются безыскусственностью в житейском быту, здравым, практическим умом, не развращенным религиозными или национальными предрассудками, добрым сердцем и полной веротерпимостью, которая основана на простом рассуждении, что всякому-де своя вера хороша...

И так, по нашему убеждению, киргизы дойдут до оседлости сами и сами же сольются, рано или поздно, с русскими. Остается сберечь для них землю, на которой рядом со скотоводством появится и земледелие, хотя и скотоводство само по себе должно поощряться не меньше земледелия в интересах общегосударственной экономии. Если Россия справедливо гордится тем, что юго-восточные губернии ее служат житницей даже Европы, то Киргизская степь не меньшую службу сослужит... Никакие премии, никакие сельскохозяйственные академии не сделают такого пастуха, каков есть киргиз. Этот пастух состав-

ляет предмет тайной зависти для европейской дипломатии, сознающей силу России именно в том, что в ней есть и воин хороший, и земледелец искусный, и пастух природный.

Поддержите же киргиза на пути его естественного стремления; оберегайте его благовременными заботами от случайных хозяйственных потрясений, какие испытывает он теперь; развивайте среди киргизов влияние русского образования, действуйте на юный, даровитый и поэтически впечатлительный народ мерами нравственного сближения, и киргизский народ скоро сольется с государством русским, сам увидит счастье свое в этом сближении и будет не только скотоводом, но и земледельцем и даже воином под дорогим для него знаменем России, которым он уже и теперь гордится»¹.

14

С утра звонили колокола. Народ крестился, переглядывался. По улицам спешной походкой ходили какие-то люди, заворачивали в открывающиеся лавки и магазины, договаривались с владельцами. На базаре городовые не ругались, как обычно, и сдержанными голосами поощряли раскладывающих мясные туши хозяев:

– Оно и приказчик пока справится, Григорий Трифоныч. А то твой мальчик пусть посидит. Все будет в целости, не сумлевайтесь...

Сам полицмейстер Якубовский объезжал улицы. Из собора доносилось пение:

«...Государю – Освободителю, Александру... от безбожных руки... Ве-ечная па-мять!»

К обеду от начала Большой улицы двинулась толпа человек в тридцать. Несли портрет покойного госу-

¹Алтынсарин И. Том II.

даря, обвитый большими бумажными розами. Впереди шел с крестом известный своими суровыми проповедями священник Никольской слободской церкви отец Владимир. От магазинов и с базара присоединялись еще люди. Среди чужок и весенних пальто виделись чиновничьи шинели, от городского сада подошло с полдесятка гимназистов. Сзади, наблюдая порядок, ехал в дрожках полицмейстер.

Народ стоял кучками на углах, провожая глазами процессию.

– Слышно, уже всех переловили, кто бомбу на государя делал, – говорил какой-то приезжий, которого раньше не видели в Оренбурге. – Все нерусский народ: поляки да жида!

– Как же, Русаков, Желябов, – железнодорожный служащий с газетой в руке с сомнением покачал головой.

– Там баба какая-то всем верховодила. Стриженная! – говорили в толпе.

– Не баба, а графская дочь. Как раз племянница нашего прежнего губернатора. Город Перовск знаешь?..

– Еще говорят, граф Лорис-Меликов царя предупредал. Не езжай, мол, в манеж, Ваше величество!

– Лорис-Меликов, он из армян будет?..

Известный всем господин Ильунин, уже в новом сером пальто вместо недавней ополченки, подошел и сказал:

– Что же вы, господа, к патриотической манифестации не присоединяетесь?

На него посмотрели с безразличием, стали молча расходиться в разные стороны.

Возле Тургайского областного правления коллежский советник Мятлин, когда-то преподававший в Неплюевском училище, говорил среди стоящих чиновников:

– Победоносцев прямо заявил новому государю в части представленной Лорис-Меликовым конституции: «В такое ужасное время надобно думать не об

учреждении новой говорильни, в которой произносили бы новые растлевающие речи, а о деле... Нужно действовать!» Граф Дмитрий Андреевич поддержал это мнение.

И согласитесь, господа, что русский дух в народе ничем лучше не выражается, как этими патристическими шествиями, что проходят по городам России. Славянская степенная натура всегда имеет в виду авторитет государя. И надо его постоянно воздвигать, какие бы человеческие недостатки ни были присущи держащему скипетр лицу. В том якорь нашей государственности. Славянство и в центре – Русь. Объединяющее знамя Москвы должны мы очистить от чуждых наслоений.– Мятлин, по своей преподавательской привычке, широко разводил в воздухе руками, чуть не задевая рядом стоящих.– Нас хотят соблазнить всякими мудромысленными теориями с Запада, и вот во что они претворяются. Бомба в государя подвела черту. Нет, у России свой путь, и на страже должны мы быть как против разлагающего воздействия Европы, так и киргизской дикости...

Стоящий рядом советник правления Давыдов кашлянул:

– Однако же, Аскольд Родионович...

Тот оглянулся и увидел, что здесь же стоит инспектор киргизских школ Алтынсарин. Мятлин слегка покраснел и завозился, доставая платок. Лицо у Алтынсарина ровным счетом ничего не выражало.

Ему сделалось смешно от того, как потерялся Мятлин. Будто замеченный на нечестной игре в карты. Они все такие, возвеличители патристического духа. Видно и вправду непреодолима для них сила пирога, от которого кусок хотят иметь. А тот же Мятлин в молодости Герцена хвалил...

Манифестация дошла до конца улицы, повернула назад. Люди начали расходиться. Мимо пронесли

хоругви. Приземистый сиделец скобяной лавки Полуянова, в поддевке и заляпанных грязью сапогах, нес на плече, лицом книзу, портрет государя. Слышалась степенная речь:

– Никита Васильевич ни за что не спустит Дергачеву, что товар у него перебил.

– Так и Дергачев за свою выгоду старается...

Больше уже и не говорили о покойном царе. Он вспомнил, что четверть века назад бегали они из школы на улицу смотреть, как волновался город по поводу смерти Николая Павловича. Казалось тогда людям, что рушится все. И будто свежим ветром подуло откуда-то. Теперь же больше в администраторском плане принимаются меры. По приезду он услышал, что в городе арестовали нескольких людей: Катю Толоконникову, печатника из типографии, двух знакомых офицеров. Он пошел узнавать что-нибудь о Толоконниковой, но его к ней не допустили...

Господин Ильюнин прошел мимо, почтительно поклонился ему. Он вернулся назад в правление, к бумагам, что горой лежали на столе. К его приезду выделялась особая комната и даже молодого чиновника для переписки представляли в его распоряжение...

«При обсуждении в особом совещании под моим председательством... тайный советник Лавровский представил, что издание газеты на киргизском наречии русским шрифтом принесло бы истинную пользу киргизскому населению и в сильной степени содействовало бы успешному проведению предложений правительства в киргизский народ». Это переданное ему для оформления письмо генерал-губернатора к Министру внутренних дел. Рукой управляющего канцелярией с пометкой: «С личных слов Его высокопревосходительства» было вписано: «В недавнее время даровитым киргизом Алтынсариным составлена киргизская хрестоматия русским алфавитом».

А это уже его заготовки, сделанные еще в Тургае, от лица нового попечителя Даля: «А потому он, г-н инспектор Алтынсарин, просит моего ходатайства перед Вашим превосходительством о снабжении Клычбаева надлежащим разрешением на вырубку в Аракарагайском бору 500 бревен для постройки училища».

Следующая бумага уже от военного губернатора почетному блюстителю Тургайского училища Беримжанову: «При степных киргизских школах, как, известно мне, не имеется библиотек, ни ученических и не учительских, а между тем потребность в них, как заявил инспектор киргизских школ Алтынсарин, уже сказывается. Обращаюсь поэтому к Вам, милостивый государь, как лицу, близко стоящему к народному образованию, с предложением оказать всякое возможное содействие к устройству означенных библиотек». Кургамбек Беримжанов – лучший его ученик из тургайского выпуска. Можно было бы обойтись с ним без губернатора, да не для того пишется такое письмо. Пусть прочитают Сипайлов в Троицке да вельможные казахи в Илецком и Иргизском уездах, чтобы знали, что самое высокое начальство за тем следит. Как говорится: «ругаю дочку, а ты, сноха, слушай». С благодарностью следует помнить Варфоломея Егоровича Воскобойникова, научившего его с блеском писать бумаги.

Важное дело в этот приезд – ремесленная школа. Пусть пока будет она при одном тургайском училище. Это составит по десять копеек в год покибиточного сбора. Деньги небольшие, зато польза несомненная. Хоть топоры да сундуки не придется из Троицка возить, сами научатся делать. Да и столы пошли в ход там, где люди оседают на землю. В плотники да кузнецы не дети дистаночных начальников пойдут, а черная кость. И рядом с ремеслом научатся грамоте.

Однако совсем уже тайная мысль на уме у него. Ведь, и рукоделие есть ремесло. Также и выделка ковров.

Может быть, и девочек когда-то можно будет привлечь к учебе. Пусть утвердится только за школой доброе мнение...

Перед самым отъездом сюда, собрались вдруг у него в доме все прежние ученики. Он удивился, потому что не звал их. Даже за триста верст приехали волостной управитель Жангожин и Ибрагим Ташенов. Кургамбек Беримжанов, с которым, как с самым значительным лицом уезда, обговаривал он содержание ремесленной школы, явно волновался:

– Простите, агай, что побеспокоили вас, – и вдруг перешел на русский официальный язык. – Мы, собравшиеся здесь тургайцы, господин инспектор, от лица народа выражаем пожелание о том, чтобы дать имя ремесленной школе... Поскольку господин начальник уезда столько лет, и все мы видим его... В бедствии ли, в заботах о просвещении... Так желаем назвать школу Яковлевской!

Это было неожиданно для него. Некоторую вину почувствовал он, что сам не подумал о чем-то таком. Яков Петрович, крикливый старик-полковник, собирался уходить от дел. Однако даже и представить себе было невозможно без него жизни уезда. Те, кто сами сделали уже стариками, помнили ходившего по степи топографа.

С собой в Оренбург привез он эту просьбу. Новый попечитель – тайный советник Даль тоже был тронут ею.

– И все ж, господин Алтынсарин, в законах Российского государства присутствует строгое правило: не присваивать чему-либо имен ныне здравствующих людей, сколько бы пользы они не принесли отечеству. Тем более, находящихся при служебной должности, – на умном, тонком лице попечителя мелькнула улыбка. – Вспомните, что даже Петербург назван только в честь святого апостола Петра...

Приходилось придумывать, как выйти из положения.

Всякий раз, сидя по полмесяца в правлении над бесчисленными бумагами, он заново радовался, что выбрал себе место в степи. Находишь он здесь, то и всего года не хватило бы на переписку. Смертельная угроза исходила отсюда школьному делу. Все шло к тому, чтобы заставить учителя с утра до вечера составлять отчеты, высушивая самую душу.

Господин Даль, родственник знаменитого этнографа, некогда тоже служившего в Оренбурге, пролистал сданный им пятифунтовый отчет о тургайском просвещении, пожал плечами на его сетования:

– Педагогика консервативна по сути своей, господин Алтынсарин.

Все повторялось. Опять писал он письма за разрешением на бревна, известь, кирпич для строящихся школ, разыскивал учителей. Никто из дельных людей не решался ехать в степь на место с рублевым жалованьем в день. Только двоих пока учителей направил к нему из Казани Николай Иванович. Не кем было заменить Воскобойникова, убежавшего из Троицка от гнева господина Сипайлова, в Илецком уезде пустовало старшее место при училище, а дела шли совсем дурно. Помощник начальника уезда Баядиль Кейкин никак не принимал к сердцу школу с русским учителем.

Опять приходилось думать с губернским инспектором Катаринским, как выходить из положения. Еще ступая на крыльцо к Василию Владимировичу Катаринскому, начинал он улыбаться. Помнился первый день, когда пришел он в их дом. Сам Катаринский был даже помладше его, а Евпраксия Васильевна так вовсе казалась девочкой. Услышав, что он упомянул в разговоре своих родичей – узунских кипчаков, она удивилась:

– Так вы, Иван Алексеевич, кипчак?!

– Да, уж так вышло.

– Самый настоящий?– всплеснула она руками.

– Что ни на есть «идолище поганое!»– засмеялся он, и с того времени они стали близкие друзья. Только и

знала Евпраксия Васильевна из истории, что говорили ей в институте благородных девиц да из патриотической оперы.

– Кто б подумал, что вы кипчак, из тех, кто нападал на Русь!– простодушно удивлялась она.

Катаринский, вдумчивый, серьезный чиновник, с настойчивостью вел дело, и вместе они преодолевали как бы специально устроенные барьеры для просвещения. Всякая бумага от него шла через губернию, а это уже было прямым начальством для уездов!

И свои дела не оставляли его. Даже мыла лицевого не всегда можно было купить в Тургае, и приходилось все везти ящиками на год. Дарья Михайловна в этот раз не очень одолевала его поездками в магазин. Уже в конце, когда пришел он прощаться, она вынесла из своей комнаты узел, перевязанный красной лентой.

– Думаю, мальчик у вас будет, Ибрай. Так это от нас с Володиной... И поцелуйте от меня Аннушку!

Так она звала Айганым. Полковник Дальцев улыбался чуть извиняющейся улыбкой. Дарья Михайловна складывала все в особый мешок:

– Мне уж привычно на детей шить. Осенью вот Машеньке в Самарканд пеленки да распашонки переправила...

До сих пор она говорила, растягивая «а» – «переправила». Машенька состояла замужем за инженером по землепользованию, служившим при Туркестанском генерал-губернаторстве, Петя был морской лейтенант где-то во Владивостоке.

Арсений Михайлович умер два месяца назад, и комната стояла запечатанная. Слуга Тимофей лежал с ним вместе на оренбургском военном кладбище, при самой стене. Бывшие ученики, оренбургские офицеры и друзья Алатырцева делали сбор на памятник.

Ему пришлось явиться с понятиями: офицером от Неплюевского корпуса и секретарем правления.

Нотариальный чиновник в их присутствии вскрыл печать, зачитал касающийся пункт из завещания:

«Всю библиотеку мою, также и находящиеся в шкафах журнальные книги и рукописные бумаги оставляю Алтынсарину Ибрагиму, ныне помощнику начальника Тургайского уезда и тамошнему учителю киргизской школы...»

Завещание было составлено за четыре года до смерти. Он помнил, как учитель Алатырцев настойчиво говорил ему, где что лежит. И больше ничего не было к нему написано...

Штабс-капитан Ержанов и служащий при областном правлении коллежский секретарь Мухамеджан Ахметжанов, приехавший сюда из Казани по окончании университета, помогали ему связывать книги в пачки. Как и он когда-то, много раз сидели они тут на стуле между шкафом и буфетом. И книги в шкафу большей частью были им знакомы.

С неопределенным чувством брал он в руки одну книгу, другую, третью, задерживался чтением, словно надеясь найти тут ответ на вопрос, почему именно ему оставил их учитель Алатырцев. В журнале попало ему вдруг стихотворение, которого он не читал, хоть состоял подписчиком. Оно было написано недавно умершим известным поэтом и поразило его.

Приведенные Ержановым солдаты выносили книжные пакеты и укладывали в тарантас. Он заметил, как ловкий молодой солдат тоже все засматривал в книги. И товарищ его, постарше, был, по-видимому, грамотным.

Для него уже в тарантасе не оставалось места, и приходилось ехать на облучке, вместе с Нигматом. Кабыл Ержанов и Мухамеджан Ахметжанов, сын агай-кожи Динахмета, остались стоять возле дома, где снимал квартиру учитель Арсений Михайлович Алатырцев. Оба солдата, помогавшие носить книги, стояли с ними рядом. По всему было видно, что у них с Ержановым особые отношения. Он замечал уже раньше такие

отношения между образованными офицерами и нижними чинами: спокойные, сдержанно-уважительные. От Дальцева он знал, что некоторые офицеры гарнизона в воскресных школах учат солдат грамоте. Незримая цепь связывала учителя Алатырцева, его самого, Кабыла с Мухамеджаном, этих солдат...

Медленней обычного ехал тяжело нагруженный тарантас. Крепкие кипчакские лошади осторожно объезжали рытвины и ухабы. Все думал он над завещанием учителя Алатырцева.

Унылая, грязная от нескончаемого дождя дорога извивалась между холмами, никак не уходила за окоём. Прочитанное один раз стихотворение настойчиво повторялось в памяти вместе с движением облучка.

Сеятель знания на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? Слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!..

Что-то необыкновенное было в этих словах, идущее от самой сути языка, на котором они были написаны. И хоть печален был тон, упругая внутренняя сила готова была распрямиться, стать во весь рост.

Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?..

«4 октября 1881 г. Оренбург. Неизменно добрейший Николай Иванович! Я получил письмо и бумаги Ваши относительно учителей, посланных в нашу область: только очень поздно, в конце сентября. Да я же, впрочем, был во все прошлое лето неуловим, переезжая из уезда в уезд, из волости в волость... На своих учителей я вообще смотрю как на братьев, с которыми все у нас должно быть общее: и мысли, и желания, и материальные силы...

Всего тяжелее, оказывается, создавать школы, не имея никаких готовых материальных сил. Вот и таскаюсь я по степям, выпрашивая деньги у обществ и разных общественных, уездных и областных властей. Дело в том, что крепко задался мыслью учредить как можно скорее по центральному двухклассному училищу в среде самого киргизского уезда, поставить его на прочное основание; обставить его прилично и опрятно, так чтобы задуманное воспитание киргизских детей не встречало в нем таких препятствий, как грязь, сырость, теснота, угар, голод, холод, недостаток учебников и неграмотные еще учителя...

Но как ни трудно было, добиваемся-таки и мы своего. В Тургае и Иргизе школьные здания готовы, в Илецком и Николаевском уездах суммы уже имеются; ждут только весны... Внутренняя обстановка почти такая же, как была, вероятно, помните, в школе при Областном управлении. Теперь устраиваем библиотеки ученические и учительские, ремесленные отделения, а в скором будущем, между прочим, примемся и за садоводство и огородничество. Кроме того, в Тургае задумали мы устроить особенную ремесленную школу и наименовать ее, в честь обожаемого дедушки нашего, Яковлевской. На эту школу охотно жертвуют деньги богатые киргизы, и начальство соглашается на устройство ее. В марте будущего года будет пятидесятилетие службы Якова Петровича...

Передайте глубочайшее почтение и сердечный сале́м Екатерине Степановне.

Выданные Вами в ссуду деньги учителям будут в скором времени высланы. Преданный душою и телом Ваш И. Алтынсарин».

Перед алтынсаринским домом стояли экипажи: коляска господина Курылева, архитекторская бричка, двуколка лесничего Петрова. И еще дорожный шара-

бан, как видно, из губернии. Мужик из Деминского поселка, служащий при доме инспектора, носил лошадям сено. Уездный врач Константин Дмитриевич Кодрянский и свою коляску поставил там же.

На веранде кипел самовар. Из открытых окон слышен был шум голосов:

– Да помилуйте: русский Чикаго, русский Чикаго!.. Что с таким обилием мяса вы будете делать? Пусть даже и проведут железную дорогу...

– Дешевая промышленная пшеница, дешевое промышленное мясо. Это миллионы освобождающихся рук. Потому и шагнула далеко Америка, что получила эти руки...

Русский Чикаго! Все никак права города ему не дадут, хоть строительство по всем меркам идет городское. Даже архитектор настоящий сюда из столицы выслан. На чистом месте из всех этих Николаевских, Новониколаевских да еще при десятке Николаевок в Николаевском же уезде строится каменный город Кустанай, как зовут его старожилы. И Василий Анисимович Курылев пророчит ему мировую будущность. Даже не едет никуда отсюда, несмотря на миллионное наследство и дело в пяти русских губерниях...

Вот и инспектор Алтынсарин приехал сюда недавно, но поселился зачем-то на другом берегу Тобола, в четырех верстах от города. Тут как будто его родовое гнездо. В молодом еще саду при новом просторном доме Ольга Алексеевна Курылева сидит с женой Алтынсарина, и дети бегают тут же. Старинная дружба у них между семействами. Как сама Ольга Алексеевна говорит, Алтынсарин чуть ли не заменил ей отца, помогая дать образование. Это такая особенность у киргизов – считать как бы родственником близко знакомого человека. А Иван Алексеевич, несмотря на европейский вид, все одно киргиз. Даже половина дома устроена на азиатский лад: с коврами на полу, одеялами при сундуках. Юрта сзади стоит у него, и киргизы со всей степи постоянно гостят.

Уездный врач прошел с веранды направо. В знакомом кабинете с книжными шкафами и гитарой над диваном кроме промышленника Курылева и спорившего с ним архитектора Никольского сидели помощник начальника уезда Сейдалин, земский лесничий Петров, учитель Данилов, телеграфист Правоторов и молодой чиновник – киргиз с тонким, удивительно красивым лицом. Как всегда, тут же был кто-то из старших учеников. Хозяин, не смутившись врача, показал глазами стул, который тот обычно занимал. У всякого было тут свое место. Лишь синяя атласная подушка за спиной Алтынсарина говорила о болезни.

Врач Кодрянский через минуту забыл свою обязанность и с бессарабской запальчивостью уже спорил с неким невидимым противником. По всей России теперь говорили так, будто отвечая на газетные сообщения об очередных действиях правительства.

– Мы ли, Кантемиры, не патриоты России!..

Константин Дмитриевич гордился тем, что по какой-то линии является потомком знаменитого поэта и сподвижника Петра. Правда, в доверительную минуту врач рассказывал, что чуть не половина Бессарабии состоит в кантемировских родственниках. В разговоре он не знал полутонов:

– Герой Карса и Эрзерума, генерал-аншеф Лорис-Меликов говорил при воцарении государю: «Ваше Величество, под знамя Москвы не соберете всех деятельных сил, обязательно будут недовольные. Разверните завещанный Петром штандарт империи, и всем под ним найдется место!» Но испуганный венценосец бросился в привычную с детских лет опеку Победоносцева. И граф Дмитрий Андреевич сыграл свою роль, став тут же министром внутренних дел, шефом жандармов и одновременно президентом Академии наук. Проповедуется оскорбительное для ста народов России их уничтожение с обязательным восхвалением чуть ни дыбы царя Иоанна... Найдутся

ли для такого правительства Лазаревы и Багратионы? Пойдет ли с охотой для их дела в глубь Азии князь Бекович-Черкасский?¹ Не говоря уж о тысячах немецких, датских, голландских и прочих офицеров и деятелей, привлеченных в Россию великим царем, в детях и внуках, считающих себя природными русскими. И даже тут, в Кустанае, какой-то негодяй Ермолаев, чтобы удобней ему было украсть, начинает отлучать их от отечества. И не он один: вон в литературе уже целая стая их заливается, начиная с присяжных историков и кончая господином Катковым², разжигают вражду и человеконенавистничество. А правительство поощряет это расшатывающее течение, считая его за благонадежность. Кто же больший враг России, чем эти люди?

– Вы, любезный доктор, видите только часть вопроса. – Курылев говорил с обдуманной убежденностью. – В государствах и народах, где столь велик разрыв между первобытным почти состоянием значительного большинства, родившегося крепостными, и той необходимостью развития, которую требует от великой страны история, обязательно должно происходить нечто подобное. Что половина России состоит из инородцев, лишь дополняет проблему. После смерти задержавшего ее на сто лет Николая Павловича...

– Палача всяя Руси! – твердо сказал архитектор Никольский.

– Не боитесь, Андрей Григорьевич, так про царя говорить? – засмеялся Сейдалин второй. – Я же лицо официальное. Или дальше Кустаная, думаете, не пошлют? Есть еще Пишпек, Верный...

¹Лазаревы – известная дворянская семья армянского происхождения, сыгравшая большую роль в деле присоединения Армении к России.

Багратион – русский генерал грузинского происхождения.

Бекович-Черкасский – кабардинский князь на русской службе. Погиб в 1717 г. в Хиве.

²Катков М.Н. (1818-1887) – известный русский публицист шовинистического, черносотенного направления.

Бескровное лицо Никольского с длинными волосами от шестидесятих годов, еще больше побледнело:

– Кажется, и в правительстве еще не решаются обелять пред потомством палочного мастера. Уж слишком много всего доброго погубил он в России. Царя Ивана ведь никто еще не посмел взять себе в пример.

– Что же, и тогда государство Московское росло помимо царя Ивана и вопреки ему, – возразил Курьев. – Кто знает только, на сколько веков задержал его рост этот царь, лишившись поддержки людей типа Курбского. И поставлено государство было в конце концов на край гибели. Смутное время – оно ведь от Ивана. Беда не в том.

– В чем же она, Василий Анисимович? – спросил Алтынсарин, со вниманием переводивший взгляд с одного на другого говорившего.

– В том, что родившиеся в крепостном праве думать не умеют иначе, да и потомству то передают. Как снизу, так и сверху. Уж как душа наверху не лежала к тому, да рухнуло рабство. Но люди-то те же остались. И других методов никак не знают, как вернуться к палке. Посмотрите-ка кто в правительстве. Те же, кто и тридцать лет назад, при Николае Павловиче, вселенную уловлял.

Уж в России ли нет умных людей, что видят и понимают к чему все идет. И коли ругают что-то, то лишь от мучительной боли, от желания помочь обескровленному, доведенному до состояния кипящего котла отечеству. В Европе, где правители поумней, спрашивают таких людей, стараются получить их в союзники. У нас же их травят чуть ни собаками. Кто говорит не так, как уездный пристав, тот враг. Чтобы хоть как-то нащупать мнение общества, мнение народное, так нет. Никакого мнения вообще не должно быть. Так бывает, когда у правительства, у представляющих его людей, свои частные интересы свои привилегии, которые не хотят они терять. Да по-

своему и правы они: кому станут нужны такие болваны, если общество само начнет влиять на выбор себе правительства. Уж господина Сквозника-Дмухановского никак для себя не выберет.

С другой стороны и революционеры наши, следуя крепостному завету, идут в разбойники. Ведь как поступал обиженный барином смерд: выходил на большую дорогу и без разбора людей резал!

– То уже мистика. Василий Анисимович, – телеграфист Правоторов из исключенных студентов резко придвинул стул. – Думаете, так уж глупо правительство, что не хочет иметь диалога с передовыми, мыслящими слоями общества. Свой талант у господина Победоносцева, какого нам с вами не дано. Даже чтобы отечество двигалось вперед, он тоже хочет. Но при одном только условии: чтобы он был всегда у власти. Тут вы правы. Какой же ему резон привлекать людей заведомо способней себя. И раздор между народами такому правительству нужен. Что же касается революционеров, то есть людей, видящих дальше обеденного стола и экипажа, то тут вы не вправе так говорить!

Курылев, нисколько не поколебленный в своем мнении, покачал головой:

– Как-то чересчур практически вы смотрите на это, господин Правоторов. И это, скажу вам, тоже издержки нашего общего крепостного состояния. Людей мерим глазами буфетчика из барского дома и думаем, что это и есть существо вопроса. Не думаю, чтобы Победоносцев или граф Дмитрий Андреевич так уж за свою министерскую карету готовы были отечество погубить. Дело тут сложнее, и тем оно хуже. Народ русский они принимают за тех, кто каждый день на глаза им попадается: подхалимов-чиновников, кучеров с их экипажей, льстивых газетчиков, пропойц, которых видят из окна кареты валяющимися возле кабаков. А потому считают, что нельзя этому народу и крупницы власти давать. Нас же с вами почитают опасными мечтателями.

– Что же, получается, и конца этому не будет?– спросил Кодрянский.

– Нет, жизнь все равно идет, как шла она при том же Николае Павловиче. Пушкин был и Белинский. Только на сколько лет опять остановит Константин Петрович Победоносцев Россию и сколько это потребует жертв за такое состояние государства через двадцать или тридцать лет, сказать трудно. В новом времени покруче начнут случаться повороты истории, а мы вступаем в него все с тем же крепостным багажом. Даже, как видите, и в революционерах. Все имеет свой конец. Предок ведь не случайно нас предупреждал о некоем сильном народе, как раз и занимавшем наше пространство «погибоша аки обра».

Какой-то дух был в этой комнате у Алтынсарина, что вечно не прекращались тут споры...

Внесли киргизское угощение: деревянную чашку с кумысом, копченое мясо, жаренное в масле тесто, крепкий чай с молоком. Алтынсарин жаловался на врача:

– Константин Дмитриевич меня чуть не чахоткой пугает, да я не сдаюсь!

– Все же рано, Иван Алексеевич, ехать вам куда-нибудь,– настаивал врач.

Кодрянский играл на гитаре с большим чувством, пел молдаванские песни.

– Зачем у вас гитара висит, если сами не играете?– спрашивал Никольский, проектировавший и этот дом.

– Как видите, только для гостей,– серьезно ответил хозяин.

Сидящий между шкафом и буфетом подросток лет тринадцати ел булку и со вниманием слушал взрослый разговор.

Утром он чувствовал себя совсем уже бодро, хоть в груди по-прежнему свистело. Так было и в прошлый, и в позапрошлый год, но когда выезжал он в весеннюю

степь, дышать становилось свободней, боль проходила. С того страшного тургайского года это началось, когда пробивался он, больной, в зимний буран к Акколю, где гибли его лошади. Полтора десятка все же осталось их, и теперь опять у него племенной табун выведенной дедом породы. Тут же, в наследственном зимовье – кыстау, при Деминском поселке, где поставил он себе дом, стоит и теплая конюшня для лошадей с приготовленным к зиме сеном. Солдат Демин с Нурланом строили ее.

Солнце коснулось лишь верхушки растущей у озера липы. Все еще спали, даже коров еще не выгоняли в степь, только в поселке бабы чуть слышно стучали ведрами. Казахи так и называли теперь озеро «Инспекторским». Пройдя вокруг него по тропинке и перейдя перемычку, отгородившую озеро от обмелевшего Тобола, вошел он тихо на веранду.

Кто-то был в его кабинете. Стараясь не шуметь, встал он на пороге. Мухамеджан Ахметжанов стоял у шкафа с книгами и листал одну из них. Чуть задумчивое лицо было у молодого человека и совсем был похож тот сейчас на агай-кожу. Вчера вечером говорил ему Ахметжанов о степной казахской газете, что думают они с Ержановым издавать в Оренбурге. Евфимовский-Мировицкий во всем их подозревает, но, как водится, пройдет несколько лет до реального дела. К тому же и время сейчас тяжелое для нового издания, тем более инородческого. Не имеет значения, что среди зачинателей чиновник и офицер, все теперь под подозрением...

«Погибоша аки обра». Он усмехнулся. Что перед этим книжным шкафом неистовство Победоносцева или кажущаяся власть графа Дмитрия Андреевича. Черно-золотым кубом стоял за стеклом другой граф Толстой. Это не «обра».

Шкаф стоял точно так же, как в доме у учителя Алатырцева. Буфет и стулья с креслами он расставил тем же образом, даже гитару на стену в Оренбурге

купил. Когда строили дом, он предупредил Никольского, чтобы была там такая комната.

Вспомнился доклад, что читал когда-то молодой человек в студенческой тужурке. Про культурный слой в каждом народе, подобный тонкому плодоносящему слою земли, откуда вырастает все живое и доброе. Под ним застывшая в недвижности, спрессованная глина, и лишь оплодотворенная теплом тысяч живших раньше поколений, становится она землей. Придется ведь и ему передавать кому-то эти книги...

– Хорошо ли вы спали, агай?

Увидевший его Мухамеджан протянул по-казахски обе руки, как следовало по отношению к учителю. Стоявшие в шкафу книги не претендовали на ограничение кипчакской вечности. Они не знали окоёмов.

Проездом из степи гостивший у него сын агай-кожи сегодня уезжал и подвез их с учителем Даниловым до города. Сидя втроем в казенном шарабане, они проехали Деминский поселок, железные шины застучали по доскам построенного весной моста. Круглолицый, неулыбчивый Данилов рассказывал, как четыре года назад приехал сюда:

– От Орска до Троицка, сказали мне, пятьсот верст, по четыре копейки за версту. Ну, из прогонных денег, выданных Николаем Ивановичем Ильминским, я уже в Оренбурге сапоги купил, чтобы обутым на место прибыть. Как-никак, учитель. А в Орске ахнул. Смотритель на станции говорит, что на восемьдесят верст дальше от Троицка, и по восемь копеек за версту. Денег у меня осталось тридцать девять рублей. Если даже положить четыре дня на дорогу, то на еду остается пять копеек в день. К моему счастью попутчик до Великопетровской станицы нашелся, так что разделили бремя. А там уж сто двадцать верст до Троицка... Приехал – сорок копеек в кармане. В школе заперто, и говорят: господин инспектор только два дня, как уехал. Сел я на пороге и не знаю, что делать. Вдруг идет

чиновник с почты: «Вы будете учитель Данилов из Казани?» Да, говорю. «Велено передать вам пятьдесят рублей!» И тут же вручает. Эти деньги спасли меня тогда, Иван Алексеевич. И отчета даже за них потом не потребовали. Видно, в казенную часть их записали?..

– Да, в казенную, – согласился он, сам точно не зная, что это значит. Хорошо еще, оказались у него тогда от продажи лошадей остатки. Хоть по пятидесяти рублей смог выделить учителям. Иван Григорьевич в Тургай вовсе босиком пришел. Неужели всегда так будут содержать учителей, что месячного жалованья на сапоги не хватит?..

– Сейчас какво жить вам, Сергей Петрович? – спросил Ахметжанов.

– Что же, жалованья на круг по двадцать восемь рублей и тридцать три копейки в месяц. В Троицке прежде – дрожишь один на квартире, да и по два раза на день, холод ли, буран, в казенном пиджаке в школу бежишь. И базар там дорогой, едва на еду хватало. Тут же, в Кустанае, все дешевле. Квартира при школе с отоплением. Киргизы в питании помогают: мясом и куртом. Это у них хорошее правило – учителю помогать...

Данилов говорил с ним и Ахметжановым, как бы не считая их казахами. Без всякого умысла это выходило.

На мосту догнали учеников. Семеро их шли тесной группкой: четверо из Деминского поселка, трое из узунского зимовья. Мальчики держали в руках сумки из дерюжки, какие ввел он во всех школах, и деревянные пеналы выпирали из них. «Инспектор, инспектор... Иван Алексеевич едет!» – они прижались в ряд к перилам моста, поклонились, пропуская экипаж. Казахские дети тоже звали его «Иван Алексеевич», как на елке в Новый год. Младший сын Нурлана, прячась за пыль, побежал следом, желая уцепиться сзади. Кто-то из старших задержал его...

– На киргизское дело денег давать не станем. Твердое наше слово!

Он сдержал себя. Глядя в знакомое с детства лицо с помутненными злыми глазами, продолжал он видеть оренбургскую улицу и растерянного старика с жалкими деньгами в ладонях: «Рубыль, говорил!»

– Господин Ермолаев, как видно, не хочет понимать, что речь идет о строительстве второй школы, исключительно для детей русских поселенцев. Разумеется, также татар, башкир, киргизов, что живут в черте города, перемешавшись с поселенцами. Одного русско-киргизского училища явно недостаточно. Кустанай со старыми поселками насчитывает уже до десяти тысяч душ. Двадцатипятикопеечный сбор не будет для них обременителен. Таким образом был произведен сбор с киргизского населения уезда на постройку училища.

– Знаем, все одно на киргизов пойдет. Если начальство киргизское...

– Грамоте пусть дети у батюшки учатся! – загудел из-за спины Ермолаева поддерживающий голос.

В третий раз уже собирались начальник уезда Караулов, городской архитектор Никольский, он как инспектор от лица губернатора и волостные представители: среди них был Ермолаев, переехавший из Тургая и открывший здесь контору. Лютая злоба была у того на Курылева, перебивающего его торговлю в степи. Промышленник Курылев платил больше за скот, и дело происходило без обмана. С двоюродным братом его Жумагулом – сыном дяди Кулубая – имел общие дела в степи Федька Ермолаев. И вопреки Курылеву, поддержавшему строительство городской школы, не давал на это согласия.

Дело было в том, что формально не становился городом Кустанай. На школу от казны выделялась только тысяча рублей. Василий Анисимович Курылев сам готов был оплатить строительство, но требова-

лось постановление схода. И Ермолаев становился поперек. Его слепо поддерживали разбогатевшие на «варяжной» торговле обыватели. Среди них было много староверов.

– Неча нам детишек баловать. Блуд да неверие от этих школ. Вон в газетах даже про то пишут!

Когда выходил он из волостного правления, то слышал, как Ермолаев громко говорил среди своей партии:

– Лучше б каргызов вообще отделить. И в город чтоб не пускать!

Вопль «святая Русь» не сходил со страниц правительственной печати. Тем самым уповалось, что в царей перестанут стрелять. Что же тогда граф Дмитрий Андреевич с кипчаками думает делать?

– Мы призовем вас, господин Алтынсарин!

Так сказал ему государственный человек, прощаясь в Оренбурге. Это по какой же линии думают звать его: по министерству внутренних дел или по академии?..

Никак нельзя было ему больше оставаться к стороне. Две недели, по строго установленному им порядку, проверял он Кустанайское училище. Потом выехал в степь.

Едва съехал тарантас с дороги и покати по целине, как боль в груди отпустила. Она не прошла совсем, но отступила куда-то далеко, подавленная чистым весенним ветром и теплым солнцем, описывающим круг за кругом где-то над Золотым озером...

Уже светло-серый, с темными хвостом и гривой, конь двоюродного брата его Жумагула прискакал первым, обогнув озеро. Джигит с запыленным лицом, что ехал на нем, никак не мог отдышаться и все трогал холодными пальцами кровавые рубцы на плечах от нагаек соперников. Где-то по ту сторону озера издыхали в тугаях три или четыре лошади, покалеченные нанятыми людьми.словно вставший из могилы дядя Кулубай, был Жумагул: в топкую линию приветливо

собирались глаза и губы. И только совсем новый городской костюм был на нем и в руках палка с набалдашником, как носили в уезде. А в стороне, у большой белой юрты, стояла бричка Федьки Ермолаева.

И говорил Жумагул почти так же, как дядя Кулубай, только чуть косноязычно, с жалобной невинностью в голосе:

– Совсем распоясались нехорошие люди. Травят меня за мою честность. Вот и дорогой родственник, всеми уважаемый внук незабвенного бия Балгожи, почтивший нас своим присутствием, может подтвердить...

До сих пор он сидел с опущенной головой. Так уж повелось за много лет, что все говорившие тут ссылались на него. Но теперь он поднял глаза. Все было, как много лет назад. Полукругом сидели уважаемые люди нескольких родов, аксакалы. Почти столетний Азербай находился посередине, на подушках, где сам он сидел когда-то у колена деда и пророчилось это место ему самому. Теперь же его место было среди почетных гостей, вместе с начальником уезда Карауловым, Тлеу Сейдалиным, исправником.

И котлы с мясом стояли там же. За спинами имеющих свои хозяйства людей теснились те, кто жил на выгоне, в жуламейках и юртах с квадратами нашитого войлока на прохудившихся местах. С каждым годом по несколько таких юрт отпадали от кочевья, оставаясь на Тоболе и продолжая улицу Деминского поселка. От этого их не становилось меньше, и темная масса людей колебалась, отливая и приливая к подножию холма, где проходили выборы волостного управителя. Кругами носились джигиты.

На мгновение встретился он взглядом с волостным писарем Нургали Авезовым, одним из первых своих тургайских учеников. Когда-то тот в экзамены читал «Железную дорогу». Нургали сидел рядом со своим отцом, могучим аксакалом с твердым, словно выделан-

ным из карагача, лицом. Такое же лицо было у Авеза Бердибаева и много лет назад, когда тот повернулся и ушел от дастархана ага-султана Джангера. По годам ему следовало находиться в первом ряду, но старик сидел там, где лица людей начинали сливаться в одно общее лицо. Нургали смотрел с удивлением, видимо не понимая, почему на этот раз учитель не остановился у них...

Теперь говорил Жунус, сын дяди Хасена. Плотный, тяжелый, тоже в костюме и в меховой шапке, он яростно стискивал рукоять камчи:

– Кто лишь о себе думает, мы знаем. И какие деньги некоторые платят, чтобы склонить начальство в свою сторону. Под меня подкапываются, чтобы самим мошенничать. Всеми уважаемый наш родственник Ибрай пусть свидетельствует нашу честность!..

– Жунуса оставить волостным... Жунуса! – слышалось из-за спины волостного.

– Пусть Жумагул будет волостным! – кричали другие, – Жунус по три раза налог берет, своим тавром чужой скот метит...

И вдруг все замолчали. Он увидел обращенные к нему недоуменные лица. Двадцать лет он ничего не говорил, лишь сидел, приезжая сюда, на почетном месте. В озере плеснула рыба и люди оглянулись.

– Я ведь тоже узунский кипчак и приписан к волости, плачу, как и другие, налог, – он слышал тяжелое дыхание людей и старался говорить как в школе, когда приходилось объяснять нелегкий урок. – Уважаемые братья мои Жунус и Жумагул много лет спорят из-за этой должности, от чего происходят беспокойство и большие убытки остальным людям. Такая трудная должность совсем расстроила их чувства. Наверно, им нужно немножко отдохнуть. Между тем, среди нас есть и другие достойные люди, аксакалы, которые всю жизнь прожили честно и пользуются нашим уважением. Я говорю об известном вам Авезага...

Все головы повернулись в сторону аксакала. Тот сидел, не пошевелив бровью. Тяжелые, темные руки лежали на коленях. Растерянный Нургали искоса посматривал на отца, не зная как себя вести.

– Каково дерево, таков и росток от него. Вы знаете и того, кому Аvez-ага приходится отцом. Все разумные дела в волости ведет Нургали: не берет взятки, вовремя и по закону пишет бумаги, помогает неграмотным людям уберечься от ошибок. Во всем он сможет помогать аксакалу. Поблагодарим же за долгую службу уважаемых братьев моих Жунуса и Жумагула, а волостным пусть станет Аvez Бердибаев. И да будет над ним божье благословение...

Тишина стояла еще некоторое время, но где-то сзади, из-за первого ряда явился и начал нарастать как бы идущий от земли гул. Начальник уезда Караулов растерянно вертел головой, исправник приподнялся с места. Видно было, как из белой юрты поспешно вышел Ермолаев, встал на бречку, чтобы рассмотреть, что же произошло.

– А-а-а... Правильно, Ибрай!

– Пусть будет Аvez...

А он уже собирался уезжать, не дожидаясь выборов. Тлеу Сейдалину сказал ему, пожимая руку:

– Эй, Ибрай, что сделал... Теперь жди из Оренбурга вестей!

Это он знал хорошо и без Сейдалина.

Кони легко бежали к югу по обрызганной грозowymi дождями земле. Дышалось легко, во всю грудь. Еще через четыре дня услышал он посреди степи школьный звонок. То был Тургай...

Первую неделю, как обычно, посещал он уроки. Ученики читали «У лукоморья дуб зеленый». Во всех школах знали, что инспектор любит слушать эти стихи. Пятьдесят детей было в училище, из них уже треть своекоштных. Места больше не было. Родители сами

оплачивали их содержание, и только учение было бесплатным. Двенадцать русских учеников посещали занятия.

Потом проверил он учебную часть. Обучение русскому языку шло по общероссийской азбуке «Первинка» в сочетании с его «Руководством» и «Киргизской хрестоматией». Затем использовалась общая «Книга для чтения» Бунакова, грамматические упражнения делались по грамматике Тихомирова, учение счету – по арифметике Лубенца.

В старшем классе, как было разработано им совместно с Катаринским, учили географию Пуцковича, краткую историю Острогорского, арифметику по Лубенцу и Евтушевскому. Для устных бесед употреблялись «Зоология» Сент-Илера, «Минералогия» Герда, «Физика» по Крюгеру.

Вечером, оставаясь один в учебном классе, он писал справку для предварительного отчета: «Кроме разных книг и руководств выписаны, как учебные пособия при наглядных устных беседах, техническая коллекция Гастермана, т.е. образцы производства и употребления льна, хлопка, шерсти, кожи, писчей бумаги, стекла, пчелиного и красильного производства, недорогие барометры, термометры, микроскопы, компасы, электромагнит, телеграф, оборудование для физического и химического кабинетов, волшебные фонари, отечественная история в картинках Рождественского, коллекция мер длины, веса, теллурии и прочее. Большая часть этих пособий выписана на деньги, пожертвованные почетными блюстителями киргизских школ в количестве 669 рублей, а часть – на казенные средства»¹.

Непонятный настойчивый писк все мешал ему. Он вышел в коридор. Звук доносился из другого класса, и он заглянул туда. Совсем еще малыш с вытянутой шеей

¹Алтынсарин И. Том II.

и оттопыренными ушами, один на всю школу, увлеченно стучал на электрическом телеграфе. Стараясь ступать неслышно, вернулся он к себе, дописал, что следует запросить книжный магазин Фену в Санкт-Петербурге о высылке счета на три учебных телеграфа, и вышел тихо притворив за собой двери школы. В теплой тургайской ночи все слышался телеграфный стук...

В Яковлевской ремесленной школе смотрел он, как подростки делали оконные рамы, красили ткани и чисто, как в городе, выделявали кожи. Во вторую часть дня они учились в классах читать и писать. Заботой смотрителя училища Бабина было то, что уехал из Тургая врач Орлов, учивший прививке оспы и лечению простых болезней.

Вторую неделю он сам давал уроки на месте старшего учителя. Это был его отдых. Точно в назначенное время звенел звонок, и он уходил от всего на свете: от препирательств с начальствующими лицами, хозяйственных забот, газетных статей, бесчисленных отчетов, от своей болезни. Дети смотрели пытливо, как и двадцать лет назад. Откинув руку с книгой, он звучно читал: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои...»

На задней парте сидели старший неплюевец Султан Бабин и молодой учитель Иван Григорьев, казанский питомец Николая Ивановича. Будучи еще в Тургае, он женил Григорьева на дочке покойного отца Василия, и был при том посаженным отцом. Учителей надо было оставлять здесь накрепко.

Жил он, приезжая сюда два или три раза в год, у Якова Петровича. После того, как умерла сестра, старик остался совсем один. Дети звали его в Россию, но никак не хотел тот уезжать.

– Я, милостливый государь, старый тургаец, да-с. Вот и школа, как видите, здесь моя! – говорил полковник хриплым, резким голосом, переходя с ним почему-то

вдруг на официальный тон. А вечерами дулся в шашки с «мерзавцем» Семеновым, который, уйдя в чистую отставку, так и остался служить при командире, хоть имел неплохое гусиное хозяйство внизу на Тургае.

– Как ходишь, дубина?– слышался из гостиной крик.– Али не видишь, что дамкой тебя бью!

– Так мы и дамку у твоего высокоблагородия схрямаем. Чтобы не очень форсу себе позволяла,– спокойно отвечал Семенов.

Всякий день то тут, то там в Тургае слышал распекающий голос «деда», как звали его здесь. Регулярно являлся он в училище и ремесленную школу своего имени, наводил порядок:

– Какая нерадивая bestия лопаты во дворе бросила? Где дежурный? Эй, Бабин!

И ругался по-казахски. Ученики говорили ему «агай» и вели с ним точно так же себя, как с суматошным привередливым дедом где-нибудь в ауле. Если и был человек, чье имя следовало бы навечно оставить на тургайской школе, то именно Яков Петрович Яковлев.

Однако, когда шли занятия и звенел звонок, начальник уезда и на улице не позволял никому кричать близко к школе. Два раза видел он, как заглядывал полковник в окна, когда вел он уроки, и, не решившись помешать, уходил.

– Стар, батюшка, сделался, ноги болят!– как-то жалобно сказал Яковлев, когда прощались утром на крыльце его дома. Они обнялись, и старик всплакнул.

Когда уехали уже полверсты от Тургая, услышал он звонок: слабый, дребезжащий. Султан Бабин все спрашивал, зачем ему необходим старый школьный колокол, что провисел здесь больше двадцати лет. Он так и не сказал Бабину в чем дело, обещал только колокол в школу возвратить.

В Иргизе он тоже одну неделю проверял училище, а другую сам давал уроки. Кроме того, говорил со

своими бывшими учениками, которые сделались значительными людьми в уезде, о возможности открытия рукодельной школы для девочек. В училище все было в порядке, только построенный из плохого воздушного кирпича дом оседал, прохудилась часть земляной азиатской крыши. Следовало начинать разговор с начальством о новом здании...

Еще через неделю был он в Актыобе. Школа недавно только переехала сюда, и руководил ею самый толковый из его учителей – казанец Арсений Мозохин. Три года тот управлялся в старом городище, где в одном доме со школой обретало медресе. Вовсе неграмотный мулла-ишан Хуббунияз строил всякие козни. Но и доверенное лицо губернатора – помощник начальника уезда Баядиль Кейкин тоже в душе не хотел школы. Однако учитель повел дело вроде господина Дынькова. Сначала пресек ежедневные пятикратные отлучки учеников на молитву, перенес их в школу. Такое предусматривалось правилами веры. Потом Мозохин выдворил служителя, что приходил с палкой гнать учеников на молитву. Пришлось помогать ему во всем, переписываться самому с Баядилом, с ретивым муллой.

Даже и теперь, в Актыобе, Баядиль Кейкин не отходил от школы, все стремясь к чему-нибудь придаться.

– Этот сарыорыс хочет обычай казахский изжить, всех русскими сделать! – зло бросил ему Баядиль, когда учитель зачем-то вышел.

Так, «желто-русскими», называли русских людей, стремясь причинить обиду. Между тем Мозохин, хорошо уже говоривший по-казахски, никак не делал того, что приписывал ему Кейкин.

– Опять, Баеке¹, Музаффар Чокин и Айбасов не хотят русскую книгу читать. Кто их учит этому? – простодушно удивлялся Мозохин.

¹Доверительно-уважительное от Баядила.

– Ай, господин Мозохин, от невежества все происходит, – отвечал с ласковостью в глазах Баядиль, поддерживая за рукав молодого учителя.

Оставшись наедине с Мозохиным, он сказал:

– Вы Арсений Андреевич, при Кейкине не очень откровенно говорите. Он не из наших друзей.

Две недели, ни дня меньше, находился он в Актюбинском уезде. Проведя установленную проверку и дав показательные уроки, он поехал дальше. Законченный круг в две тысячи верст составляла его инспекторская поездка. Ближе уже был Оренбург. Сухой раскаленный ветер ровно дул в спину. Он знал, что его ждет...

– Да как осмелились вы, милостивый государь, вмешиваться в дела правительства? Влиять в неизвестных целях на выбор гражданской власти... У меня в области!

Шпоры царапали пол. Глядя в круглые бессмысленные глаза, он думал, как легко Баядилю Кейкину или брату его Жумагулу обходиться с такими людьми. Тысячелетний опыт окоёма у них за спиной. И вот уже, набросив невидимый курук на такого человека со всеми его лентами и орденами, ведут в необходимую им сторону.

...Данной мне властью... Куда Макар телят не гонял!..

Но за спиной у него было нечто большее, чем двадцать пять лет назад.

– Позвольте мне, Ваше превосходительство, напомнить вам, что сто пятьдесят моих учеников служат отечеству у нас и в Туркестанском генерал-губернаторстве. Среди них офицеры, чиновники, партикулярные лица... Не знаю, почему бы образованному слову не влиять на жизнь моего народа!

Новый губернатор стоял с незакрытым ртом. Господин Мятлин сидел в стороне с видом оскорбленного незнакомства. Однако пришлось писать: «На представленные мне Вашим превосходительством обвинения в корыстном вмешательстве в политику

волостных выборов, злоупотреблении авторитетом власти и вымогательстве, заключенном в получении будто бы мною тысячи рублей и угощения от противной партии, считаю себя вынужденным дать следующие разъяснения...»

Но было хуже. Опять смотрел он на перчатки, в которых прятались руки. Все остальное было лишь приложением.

– Э-э, потрудитесь вспомнить, господин Алтынсарин, не приходилось ли вам слышать мнение власти о предложенном вами на должность киргизе Авезе Бердибаеве? О его, так сказать, независимом поведении и дерзости по отношению к уважаемым людям. Была даже какая-то ссора с господином султаном Джангером. Согласитесь, что в столь тревожные времена не таких людей желательно было бы видеть во главе общества...

– Я держусь другого мнения, господин полковник. Честные люди всегда желательны.

– Что же, это дела, можно сказать, преходящие. Однако и более близкие к просвещению вопросы. С некоторым удивлением узнали сочувствующие вам люди о желании вашем издать особый школьный учебник по исламу...

– Я не склонен думать, господин полковник, что магометанским народам следует вдруг отказаться от тысячелетней культурной своей истории. К тому же лучшим способом борьбы с невежественным фанатизмом как раз и является спокойное разъяснение религиозных корней...

– Позвольте также спросить вас, господин Алтынсарин, с какою целью был введен вами в школе русский шрифт?

– Есть много других причин, которые... которые, наверно, не будут вам понятны, господин полковник. Поэтому скажу лишь одну: это наиболее удобный путь для киргизов в общее движение мировой цивилизации.

Пронзительный искусственный запах исходил от этих людей. Он вспомнил, что это духи. И пальцы в перчатках все как бы листали книгу. Господин Щедрин написал об этих людях, которым начальством назначено читать в сердцах степень любви к отечеству. Прочтет одну страницу у человека в сердце, помуслит палец в перчатке и перевернет. В тон самой перчатке, в которой вчера проверял на заднем дворе чистоту бачков для помоев. Одно же министерство этим ведает, одни и те же люди. Потому они, как видно, и опрыскиваются духами.

...Не встречали ли вы в степи некоего Ивана Березовского? Вы как будто были с ним знакомы?

Лицо у полковника вдруг стало быстро темнеть, сделалось вовсе черным. Он даже дыхание перевел. Неужто, как у курдаса Марабая, появилась у него возможность различать карабетов?

В прокопченном дворе литейной мастерской рабочие выносили обернутые в промасленную бумагу колокола, укладывали их по двенадцати штук в ящик. Стояло восемь ящиков, а четыре колокола связали вместе. Все положили в тарантас, и тот осел под тяжестью меди. Опять приходилось ехать на облучке с Нигматом. Перед отъездом он все же заехал на почту, отправил в Тургай Бабину взятый там для образца колокол...

«14 сентября 1884 года. Добрейший Николай Иванович! Простите, что не писал к Вам так долго. Это простит мне разве только такое неисчерпаемое великодушие, как Ваше. Не потому я не писал к Вам, что плоха стала память, а потому, что в последнее время большею частью находился в самом грустном настроении. С весны 1883 года почти до конца этого года я был болен и чуть не отправился туда, откуда более не возвращаются, а с начала этого года невольным образом

затеялась у меня борьба с многолетним злом, посеянным между моими ближайшими родными... Здесь лет десять находились в ссоре двое моих двоюродных братьев из-за должности волостного управителя, и ссора эта, разделившая волость на две партии, дошла до такой ожесточенной войны, что почти razорила эту несчастную волость. Мой приезд вселил в простом народе надежду, что помирю родных, о чем неотступно и стали просить меня. На мой совет помириться эти глупцы не согласились, а потому пришлось советовать народу оставить ссорящихся просто в стороне и избрать волостным управителем третье лицо. Согласно этому, большинство и избрало одного почтенного старика. И вот один из означенных братьев, подстрекаемый разными доброжелателями, стал осаждать и попечителя, и губернатора, и даже министра внутренних дел прошениями о вмешательстве моем в выборы должностных лиц. Дело дошло до заявления даже, выдуманного, конечно, не киргизами, что я, должно полагать, СОЦИАЛИСТ, замышляющий что-либо противу правительства, так как иной причины к моему вмешательству они не видят. Приходилось давать неприятные объяснения... Начальство вызвало меня в Оренбург, как оказалось, для благовидной ссылки куда-либо на время производства в Николаевском уезде выборов... Вспоминайте иногда Вашего преданнейшего И. Алтынсарина».

16

«С кем из мужей древности сравнить почившего в славе Михаила Никифоровича Каткова? Лишь с витязями святорусскими, побивающими поганых татар. Ибо перо его, подобно копью святого Георгия, всегда было победоносно направлено против гидры мятежа, неверия и нигилизма. Где бы ни поднимала голову сия гидра: в лондонском ли «колокольном» тумане, в так званном

«новом» ли суде, где оправдывают стреляющих в полицеймейстеров стриженных «девиц», в варшавских ли «освободительных» притонах, на улицах ли «белокаменной» матушки – Москвы, где молодцы-патриоты дали славный урок «невинным» университетским башибузукам, в недавних ли орехово-зуевских стачечных безобразиях или во всемирной жидовско-масонской «Интернационалке», откуда направляются все эти подтачивающие крепость России действия, повсюду вставал на ее пути «Илья Муромец» нашей здоровой публицистики, и перед его разящим словом в страхе отступали враги...»

Господин Сейдалин, читавший вслух, оторвался от газеты, вопросительно посмотрел на хозяина дома:

– Кто же теперь «Московские ведомости» будет редактировать?

Алтынсарин молчал, думая о чем-то своем.

– Смотри: весь правительствующий Сенат, Победоносцев и министры выражают соболезнования. Это писателю-то. Венки от царской семьи. Ну да, он же учитель государя... А вот еще: «Русские патриоты не позволят низкопоклонствующим перед Европой, родства не помнящим Иванам да всяким инородцам затушить святое пламя любви к русскому монарху. Пусть помнят господа инородцы свое место...»

Сейдалин придвинулся, заговорил по-казахски:

– Ай, Ермолаев что кричит. Собираться всем русским и с крестом идти, татар да киргизов из города вышибать. Как раз «Московские ведомости» он читает и приказчиков своих заставляет. Скажу тебе, Ибрай, не знаю как себя теперь вести. Наше казахское дело отдельно получается...

Сейдалин вдруг резко отодвинулся от Алтынсарина, оба посмотрели на незакрытую дверь. Там стоял лесничий Петров. Хозяин дома сильно побледнел.

– Тебе нехорошо, Ибрай?!

Сейдалин поддержал его за руку. Петров растерянно топтался на месте, думая, что пришел невовремя.

– Ничего, садитесь, Платон Матвеевич...

Однако разговор не клеился. Как видно, Алтынсарину было вовсе худо.

– Может быть, Константина Дмитриевича позвать? – спросил Сейдалин. – А Караулову я доложу, чтобы в губернию написал. Больной ты, не можешь ехать.

Алтынсарин отрицательно покачал головой. Посидев недолго, гости удалились.

Будто ударило по лицу, когда Сейдалин отпрянул от него. Перед тем тот придвинулся и заговорил вдруг по-казахски, притушенным голосом. Потом вошел Петров, старый его знакомый. Оттого и замолчали они, словно застигнутые ворами.

Что же произошло? Он почему-то в глаза не мог смотреть лесничему. «Наше казахское дело отдельно получается», – сказал Сейдалин. На столе осталась лежать газета.

Впервые в жизни некая раздвоенность проникла во все его существо. Откуда же появилась она? Он взял со стола оставленную помощником начальника уезда газету, начал читать. Какие-то токи ненависти исходили оттуда, все больше расширяя наметившуюся трещину...

Ночью вдруг пришел Человек с саблей, не являвшийся уже много лет. Но теперь тот виделся ясно и стоял в двух шагах с ожиданием в глазах...

Едва дождавшись утра, встал и пошел он по Деминскому поселку. Полторы версты вдоль реки тянулись избы с резными наличниками на окнах. Подросток со светло-русыми волосами, как у матери, и матово-смуглым лицом от Нурлана, пошел к реке с ведрами. С подворья раздался женский голос:

– Булат... Телушку-то у речки отвяжи-и. Чай, запуталась!

– Жаксы... отвя-ажу!

Их все больше будет становиться, таких людей – с каждый годом, десятилетием. Что ждет их в будущем? Неужели у каждого пройдет через душу эта трещина?..

Может быть, и дуб у лукоморья был лишь миражем, явившимся в голой, бесприютной степи?..

В очередной раз разболелся он. Однако опять сменился губернатор, и надо было ехать.

Что-то произошло с ним. Остановившись на день в Орске, он кричал на директора казахской учительской школы Бессонова:

– Извольте объяснить, милостивый государь, кто позволил вам запрещать студентам уходить на молитву? Что же вы хотите, чтобы вовсе забыли дети киргизскую жизнь?

Директор смотрел на него изумленным, непонимающим взглядом. Во рту было горько, а рука все сжимала оставленную Сейдалиным в доме у него газету.

Сменивший генерал-майора Проценко новый тургайский военный губернатор генерал-майор Барабаш, покряхтывая, заглядывал ему в глаза:

– Та нехай им бис... Не нужно мне ничего от вас, Иван Алексеевич. Да вот не хотят, чтобы опять вы при выборах там были, в том Кустанае.

Плотный, приземистый, с длинными усами на благодушном лице, губернатор проводил его до двери:

– Пренебрегите тем делом, отдохните в городе, погуляйте. В Дворянском собрании театр как раз сейчас хороший.

Он ни к кому в этот раз не пошел, а все ходил по городу, не замечая домов и людей. Шум экипажей, отдельные обрывки разговоров доносились до его сознания. Было одиноко и пусто.

– Иван Алексеевич!..

Во второй раз позвали его из окна дома, и он поднял голову. Это была типография. Печатник, что делал когда-то его хрестоматию, звал зайти.

Все так же гроыхала внизу машина. Он поднялся по деревянным ступеням. Знакомый печатник и еще двое молодых людей были в комнате. За столом Ефимовский-Мировицкий, бывший также шефом-редактором «Оренбургского листка», быстро читал гранки, участвуя одновременно в общем разговоре. Чуть в стороне сидел бородатый мужик в картузе и больших смазных сапогах. Что-то знакомое показалось в светлых серых глазах.

– Здравствуйте, Иван Алексеевич!– сказал мужик.

Он ответил, недоумевая. Печатник говорил:

– Что не заходите к нам, господин Алтынсарин? А я смотрю в окно: стоит человек, на дом смотрит, и как будто бы не видит.

Владелец типографии, придерживая листы, подал ему большую руку. Молодой человек, даже еще без усов, в застегнутой мелкими пуговичками под горло рубашке что-то громко рассказывал. Он почти не слушал, о чем шел разговор. Кажется о каких-то студентах, что переезжали зачем-то Финский залив по льду. Потом говорили про форму газетной полемики:

– Глядите, господа, опять у них восемнадцать слов в одной статье в кавычки взяты. Это уж точно Тряпичкин, приятель господина Хлестакова, в политическую публицистику пустился. Так кажется ему неотразимей. Вместо доказательств, фактов, взял слово в кавычки, и все. А дальше пусть уж полиция принимает меры. Кавычками ей прямо и подсказано, что плохо.

И вдруг словно какая-то стена рухнула, он все стал видеть и слышать.

– Знаете, господа, уже в день похорон какие стихи обошла столицу...

Молодой человек резко, гневно опустил правую руку:

Убогого царя наставник и учитель,
Архистратиг седой шпионов и попов,
И всякой подлости достойный покровитель,
Скончался Михаил Никифоровч Катков.

Над свежей падалью отребий олимпийских
Слился со всех сторон в гармонию одну
Немолчный вопль и плач мерзавцев всероссийских,
Гнетущих нищую, несчастную страну!

Никакой больше трещины не было в мире. У мужика смеялись глаза. Чуть прищурив их в знак прощания, Иван Березовский взял в руку дерюжный мешок и пошел к двери. Узнать его было нельзя.

А он продолжал сидеть час, другой и третий, все слушал их разговоры. Пришел вдруг Мухамеджан Ахметжанов, аккуратный, подтянутый. Поклонившись ему, поговорил о чем-то тихо с печатником, ушел. Приходили и уходили еще люди, чем-то похожие на Березовского. И каждый здоровался с ним.

Выйдя потом на улицу, он увидел, что еще из Кустаная носит с собой газету, оставленную Сейдалиным. Сначала тут же захотел он ее бросить. Но потом вошел во двор, обошел с задней стороны дом и там бросил ее в помойницу.

Он обедал у Дальцевых. Машенька приехала из Туркестана с детьми, и Дарья Михайловна не отпускала их от себя. Младший внук возился у нее на руках и все тянулся к генеральским эполетам дедушки. Старшая девочка, тоже Машенька, сидела со всеми за столом.

– А у вас, Иван Алексеевич, дочка совсем маленькая?– спрашивала она.

– Нет, она уже на ножки становится,– серьезно, как всегда, когда говорил с детьми, отвечал он.– Зато сын Абдрахман у меня настоящий разбойник. Как-то уехал с табунщиками в степь и целую неделю домой не являлся!

Девочка замирала и делала большие глаза. Другая – старшая Машенька рассказывала о своем муже:

– В старом Мерве, куда войска лишь пришли, проектируется государственное имение. Хотят представить текинцам научное землепользование в пустыне. Даже водяную электрическую станцию думают строить. Так Виктор Георгиевич и не мог приехать. За всем там необходимо своим глазом смотреть.

– Слышал я, что у вас происходили неприятности с начальством, – говорил генерал Дальцев. – Теперь губернатором Барабаш у вас, человек искренний и добросердечный. С Гурко¹ на Балканы ходил...

На обратном пути он снова задержался в Орске, провел инспекторские уроки.

– Правильно то, что вы не отпускаете по пять раз в день с занятий студентов. Хотя бы и на молитву, – сказал он директору Бессонову. – Нужно только тактичней это делать. Врагов у нас с вами сами знаете сколько... А на тот раз вы уж не обижайтесь!

«Сентябрь 1888 г. Многоуважаемый Николай Иванович! Вы, вероятно, уже знаете, что представленная через Вас записка помогла нашему учебному вопросу. Тот же губернатор, который ранее упорно признавал бесполезным открытие для киргизов школ, стал торопить меня к устройству сразу шести волостных школ в области и я не замедлил пополнением... Затем обстоятельства изменились: губернатора Проценко уволили от должности, и на место его поступил генерал Барабаш, человек умный, ученый и сочувствующий вообще киргизам и их жизненным вопросам. Я ожил, дорогой Николай Иванович, и продолжаю действовать: ныне открываю женский пансион при Иргизском женском училище для киргизских девочек, открыл уже

¹Гурко И.В. – русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

русскую школу для кустанаевских поселян, женское училище в Актюбе и еще две волостные школы в Тургайском и Илецком уездах, в реальном Красноуфимском училище открыли четыре стипендии для обучения киргизов техническим наукам и в сельскохозяйственной школе – пять стипендий для обучения сельскому хозяйству под руководством славного, дельного и глубоко любящего свое дело Соковнина. В этой сельскохозяйственной школе, поставленной совершенно на практических началах, обучаются кожевенному, мыловаренному, маслодельному, гончарному делам, столярно-токарному, кузнечно-слесарному ремеслам и из сельского хозяйства – огородничеству, садоводству, скотоводству, земледелию с ознакомлением с новейшими машинами и их устройством, со способами лечения скота и борьбы с вредными насекомыми для хлебов. Внес я ныне проект об устройстве сельскохозяйственной школы для киргизов в самой области на тех же началах...

Слышал, что не совсем Вы здоровы, но мы – вся Киргизия – молим бога, чтобы он сохранил Ваше здоровье, и надеемся, что он, по неисчерпаемому милосердию своему, услышит наши молитвы.

Здравствуйте, дорогая Екатерина Степановна! Желал я непременно побывать у Вас, но не пришлось; буду жив – непременно приеду в будущем году. С истинным почтением и глубокою преданностью Ваш слуга И. Алтынсарин».

17

На старом зимовье – кыстау рода узунских кипчаков был сегодня праздник. За тридцать и за сорок верст съехавшиеся люди сидели прямо на траве и на сваленных в кучу бревнах. Джигиты скакали вокруг на лошадях. И весь Деминский поселок был тут же: мужики негромко разговаривали между собой, бабы лужали

семечки. Подсолнух рос тут же в огородах и в поле на пашенных землях, вдоль полосок ржи и пшеницы.

Ровная площадка была укатана в том месте, где раньше старый мулла Рахматулла учил ребят. Теперь там стоял новый дом из красного кустанайского кирпича. Деминские мужики и строили его весь прошлый и этот год на собранные с волости деньги.

Из города наехало начальство. Все были те же, которые ездили сюда к инспектору Алтынсарину: уездный начальник Караулов, оба брата Сейдалины, владелец скотобоен и почетный школьный блюститель Василий Анисимович Курылев, врач Кодрянский, учителя из русско-киргизского училища и начальной русской школы. Молодой учитель будущей волостной школы Нурланов из местных, деминских «суржиков»¹, как дразнили их кустанайцы, волновался, но держался уверенно. Притихшие, построенные по двое дети, во всем слушались его.

Гости стояли отдельной группой. Всегда всем распоряжающийся при общественных мероприятиях в уезде заседатель Зайнчковский подбежал к Алтынсарину:

– Позвольте начинать, Ваше превосходительство?

Инспектор кивнул головой. Всю весну он болел и встал с постели ради сегодняшнего дня. Стоящий рядом врач говорил ему, чтобы шел к себе, но Алтынсарин не соглашался.

Сначала деминский мулла Затулин, содержавший здесь торговлю, читал разрешающую молитву на пороге. Потом поп из Николаевской церкви за Тоболом обошел вокруг дома, освящая школу. В торжественной тишине слышно было, как вздыхали бабы, люди говорили «аминь» сначала мулле, потом попу. Инспектор подозревал учителя Нурланова, дал ему в руки крупный медный колоколец. Тот принялся

¹Смесь пшеницы с рожью.

подвешивать его к специально врытому на дворе столбу с железным навесом от дождя.

Когда все было готово, сам Алтынсарин подошел, слабой белой рукой взялся за веревку. Сильный высокий звон раздался в воздухе, перелетел Tobол, укатился в степь...

Этот день вспомнился ему летом, когда лежал он в своем кабинете, укутанный одеялом по шею. Холодно было ему: болели грудь, голова, ноги. И все же встал он с постели, с трудом ступая, подошел к углу, где лежали колокола. Их стало уже меньше, потому что в каждую школу, открытую им, передавался такой звонок. Он хорошо выбрал его когда-то в Оренбурге...

Долго смотрел он на книги. Сдвинул толстое стекло и осторожно, как всегда, тронул их руками. Он любил так делать, еще когда пришел в первый раз к учителю Алатырцеву...

Потом он выдвинул верхний ящик в шкафу и достал шитую шелком коробку. Его награды и ордена находились в ней. На красном шифоне лежали звезды: Святыя Анны третьей и второй степени и Святого Станислава. Да, он уже «Ваше превосходительство». Что же, все это непросто. Всадник на медном коне, возле которого стоял он когда-то, не был случайностью в его жизни...

Он пошел и лег. Боль вдруг прошла, стало легко и просто. Уже не в комнате и в постели он был, а ехал в свою инспекторскую поездку в степи без всяких окоёмов. Ровно и покойно бежали лошади, и со всех сторон, тут и там, слышался ему школьный звонок.

Алма-Ата, 1977-1981

ЕМШАН

Олжасу

Степной травы пучок сухой...

Л. Майков.

Султан Бейбарс остановился и сжал кулаки. Слово опять шевельнулось в горле. Он чуть не крикнул его, и горький вкус остался на губах.

Оно всегда было с ним, это слово. Не слово, а чей-то неясный плач. Словом оно стало сегодня утром, когда он открыл глаза, и у него вот так же сдавило горло. Откуда оно?..

Бейбарс впервые чего-то не понимал. Он тронул рукой грудь, там, где сердце, оглянулся по сторонам. Осторожно, не до конца разжал он пальцы и неслышным шагом пошел по садовой дорожке. Дверь в Розовый Дом была открыта. Девочку помыли, но ничем не натерли. Бейбарс не любил никаких запахов.

Она лежала на широкой красной тахте, там, где ей приказали. В открытых глазах был обычный испуг. Свет падал из высоких окон в потолке, и узкие ромбы его пламенили на бархате тахты. Один из этих ромбов выхватывал половинку ее недоспелой груди и наискось ударял туда, где только начиналась белая, уже не детская нога. Из-за этой ноги ромб света был шире других. Девочка спрятала бы свое тело в темноту тахты, но ей сказали, чтобы она лежала так...

Он увидел ее вчера, когда пришел в дом бея Турфана. Пройдя к фонтану, где купались дочери бея, он показал на одну пальцем. У Турфана тряслись руки. Этими тяжелыми, в буграх, руками поломал он когда-то саблю, схватил большой камень и рвался на политую скользким маслом стену Мансуры, разбивая головы бело-волосых фраков!.. Таких надо все время больно бить. По носу, по глазам, как львов. Львы быстрее всех становятся собаками и лизут палку, ноги, жрут навоз под ногами повелителя. Турфана он давно не трогал. Тем больнее нужно было ударить...

Бейбарс почему-то долго смотрел в ее лицо. Неужели из-за этого странного слова, что пришло утром?.. Он разделся, положил на нее руку. Как у всех девочек, грудь ее была маленькой и твердой. И холодной. Наверное, от ожидания. Они всегда долго ждали так, готовые к его приходу...

Девочка дрожала под рукой. Ноги у нее были хорошие: крупные и гладкие. И тоже холодные. Потом она громко вскрикнула от боли. Все было, как всегда...

Одеваясь, Бейбарс задержался, посмотрел вдруг на свое тело. Оно было сильным и нежирным, хоть ему больше пятидесяти. На сколько больше, он не знал...

Девочка теперь ждала, не зная, что ей надо делать дальше. Они встретились глазами. Такого еще не было у Бейбарса. Он вышел в сад... Куке!.. Что значит это слово?

Долго смотрел он на посыпанную речным камнем дорожку в саду. Дорожка была такой, как всегда, иначе бы он сразу обратил на нее внимание. Но сейчас он увидел, что среди круглых серых камушков есть красные, а один – синий. Они здесь лежали всегда.

Дорожка упиралась в стену. Серые гладкие камни были одинаковыми. Было тихо, потому что он запретил подходить к стене с той стороны. Когда-то там был базар...

Бейбарс обвел взглядом сырую стену. Круглые башни молчали. Ему потребовалась другая тишина, и он уже

знал, что это из-за слова. Бейбарс приказал дежурному Эмиру Сорока седлать лошадей. Глухо ухнув, сигнальные трубы придавили к земле искусственную тишину Цитадели...

Выехав, он придержал зачем-то коня, посмотрел на стену с этой стороны. Здесь она была сухой. В пыли валялась стрела. Из бойниц в стене предупреждали тех, кто нарушал запрет... Старый султан Салих сам выезжал когда-то на базар и толкался в толпе. Люди поэтому радовались, когда ему перерезали горло. Собаки боятся орла, пока видят только его тень...

Бейбарс отпустил коня. Сорок Эмиров Пяти давно умчались вперед, перекрывая улицы и проходы. Еще сорок скакали с ним, держа слева – на левых и справа – на правых локтях напряженные луки. Сорок двигались сзади, снимая посты. Отрывисто, предупреждая ухали сигнальные трубы.

Пустые улицы Эль-Кахиры никогда не вызывали его внимания. Бейбарс не привык смотреть по сторонам. Но сегодня посмотрел. Сырые от нависших крытых балконов переулки уходили в темноту. В глубине их, казалось, стояла черная вода...

Перед мечетью ибн-Тулуна лежали аккуратные горки желтого кирпича. Им обновляли подход, стершийся от ног верующих. От старых кирпичей остались острые, гладкие осколки...

Ветер обжег лицо. Эль-Кахира кончилась. Мощно заревели навстречу большие военные трубы Оплота Веры – старого Фустата. Конь весело заплясал с задних на передние ноги. Но Бейбарс рванул его в сторону, туда, где ломался горячий воздух.

Он осадил коня у самой воды. На подсохшем берегу зеленели влажные следы потревоженных трубами крокодилов. Шамил, Эмир Сорока Эмиров личной охраны, дал знак отстать...

Бейбарс смотрел в грязную речную даль. Отсюда, с низкого берега, Остров был похож на спину медленно

плывущей черепахи. Дважды в году Река становилась коричневой и быстрой поднималась там до корней семиствольного дерева, не выше. Барат, которого он сделал Начальником Острова, хотел недавно срубить это дерево. Оно мешало постройке учебной стены, такой, как у франков. Мамелюки должны уметь прыгать на нее с лестниц.

Бейбарс запретил рубить дерево. Без дерева это был бы только кусок твердой земли. Мамелюки – люди, надо удовлетворить их потребность в гордости. Просто кусок земли не может быть родиной. Для этого нужно зеленое дерево, чтобы оно им снилось. Бахр – Речные воины, они так и называют себя. И гордятся, что все Эмиры Тысячи – с этого Острова. Бурджи – Башенные воины, те что в Фустате или Дамiette, тоже гордятся. Напротив каждой башни есть свое дерево. Пока оно снится им, он может посылать их на какие захочет стены. Они не сомневаются.

Он знал это твердо. На Остров его тоже привезли Ниоткуда. От семиствольного дерева начинается его жизнь. Под этим деревом наковали ему когда-то на левую руку широкий серебряный браслет со знаком султана Мелик-эс-Салиха Эйюба. Это было правильно. Султанский браслет на руке должен всегда быть связан с деревом, которое снится. Тогда распилить его будет трудно, как это дерево...

Бейбарс приподнял к лицу свою левую руку. Сразу за запястьем был твердый коричневый бугор. Выше его не росли волосы. Много лет назад распилил он свой браслет. Речные и Башенные мамелюки носят теперь браслет со знаком Абуль-Футуха – Отца Победы, султана Бейбарса Эль-Мелик-эд-Дагера. Но он носил браслет и знает его силу. Этот браслет был вчера у Турфана, когда он отнял у него дочь.

И те, что лишены права носить браслет, пусть чувствуют себя недостойными... Бейбарс вспомнил черную болотную воду в переулках Эль-Кахиры. Их много миллионов, одинаковых людей в этой стране

Миср¹, куда привезли его Ниоткуда. А Речных было две тысячи, и они надели стране Миср его браслет. Это можно было сделать здесь, где столько пирамид и старых каменных львов с человеческими лицами. Когда он увидел первую пирамиду, то сразу понял того, кто ее строил...

Конь дернул головой, попятился. В мутной воде показалось серое костяное бревно с глазами. Оно медленно приближалось к отмели. До половины приоткрылась бледная страшная пасть... Люди страны Миср чтят этих зубастых. Те, что строили пирамиды, были мудры. Мертвые, они не позволяют живым распиливать браслеты. В таких странах нужно только менять клеймо. Он сразу приказал мамелюкам не трогать священных крокодилов...

Отсюда казалось, что дерево растет из воды. Но он знал, что это не так. К дереву спускалась широкая утоптанная дорога с мягкой травой по обе стороны. Раз в четырнадцать дней им привозили в лодках женщин: по одной на пятерых. Каждый раз других, чтобы они не привыкали. Это было правильно – удовлетворять потребность в женщинах. Иначе мужчины будут портить друг друга, а это позволительно сборщикам налога или правителям канцелярий. Воины от этого слабеют. Им нужны женщины.

Он оставил все, как было тогда, при султани Салихе. Раз в четырнадцать дней мамелюкам привозят на Остров женщин: по одной на пятерых. И разных, чтобы они не научились жалеть. Старый султан понимал жизнь. Но к старости он размяк и начал выезжать на базар к людям. Людям страны Миср...

Что делает сейчас Барат там, на Острове?.. В это время мамелюков выстраивают ровными рядами, по сорок в ряд. Они замирают по команде с вынутыми из ножен клинками и поставленными перед собой луками. Греет солнце, и пахнет кожаными ремнями.

¹Миср – средневековый Египет.

Начальник Острова обходит ряды, проверяя оружие. Потом Барат идет в конюшни. У каждого сорока – своя конюшня, и Эмиры Сорока в синих сапогах боятся, что лошади испачкают пол как раз к приходу начальства. Барат идет медленно, не поворачивая головы, но острые глаза его все видят: ослабевший пояс на животе мамелюка, плохо отточенный клинок, пыльную лошадь. А вечером Барат сядет в большую лодку с черными гребцами и приплывет к нему, в Эль-Кахиру. И они будут пить вино, которое делают в Александрии из красного винограда спокойные, рассудительные греки...

Их, первых Речных, сначала было немного. Они собирались на берегу и жадно рассматривали приближающиеся лодки. Это было хорошее время!.. Куке... Нет, там, на Острове, он не слышал этого жалобного слова.

Бейбарс дал коню свободу. Конь отошел от воды боком, вздрагивая и храпя... Твердая желтая пыль лежала на клейких листьях хлопковых кустов. Мягкие сапоги тянули за собой тяжелые жирные ветки. Конь вышел из нескончаемого поля, стал лизать свои ноги. Потом двинулся к желто-серым оливам у поднимающего воду колеса. Бейбарс тихо отвернул его навстречу сухой мгле, красящей страну Миср в один цвет. Лицо сразу высохло от пота, глаза пришлось сощурить.

Желтая неровная полоса долго отодвигалась. К полям ее не пускала колючая трава без листьев. Жесткие хитрые прутья не боялись пустыни. Листья только мешали бы этой траве.

Конь остановился, потянул горячий воздух и уже прямо пошел по скованному острыми камнями твердому песку. Ничего здесь не отвлекало его.

Бейбарс оглянулся. Охрана разъехалась в обе стороны, прячась за дальними холмами. Шамил понимал, какая ему требуется тишина. Ничего не двигалось в застывшем каменном море. Ветер был ровный, пустой, без запахов.

Ку-у-ке... Слово было связано с человеком в кожаных штанах. Но он никогда не мог вспомнить лица этого человека. Если бы он вспомнил, то знал бы, откуда в нем это слово...

Человек в кожаных штанах пришел из безвременья. Он был всегда. Штаны его пахли теплой дорожной пылью и морем. Это он помнил.

Потом его били, и он хотел есть. Человека в кожаных штанах уже не было в его жизни. Были другие люди с длинными, рвущими спину бичами и одинаковыми глазами. Справедливые люди, раздающие еду. Те, что рядом, были враги, вырывающие еду. Ноги, руки, тело становились больше. Нужно было отбирать еду у других. Он убивал, потому что не отдавали.

В первый раз он задушил того, который был рядом, и съел его хлеб. Его привязали к кольцу в земле на ровном солнечном месте. Каждый вечер его били, а других заставляли смотреть. Потом отвязали, и было плохо. У него не хватало сил защищать еду. Справедливость человека с бичом спасла его. Тот отгонял других от его еды, пока он не смог это делать сам...

Тогда пришло в первый раз это слово. Он лежал ночью, привязанный к кольцу, и липкая обугленная спина уже не принимала холода земли. В середине было легко и пусто. Черное спокойное небо опускалось все ниже, к самому лицу. Во рту стало вдруг горько, и криком сдавило ему горло. Так, как сегодня... Утром его развязали и дали хлеб.

Но тело росло. Другого он ударил серпом в живот. Его привязали и били. Он был уже больше и скорее окреп.

После этого он бил слабых ночью, а днем они отдавали ему половину своей еды. Он быстро стал сильнее всех. Когда привезли еще одного, который отбирал хлеб, им пришлось драться всю ночь. К утру он перегрыз другому руку у локтя и не отпускал, пока не вытекла кровь. Сам он тоже не мог встать. Его вынесли из сарая и били. Потом дали окрепнуть, надели цепь и повели к морю...

Там, откуда повели его, они копали землю и срезали колосья короткими острыми серпами. Зимой они сидели в сарае и рвали руками пахучую мягкую шерсть. Чтобы не задерживалась в горле шершавая пробка, они плевали на серый холодный пол... Хорошо было перед тем, как их запирали на зиму в сарай. Они подрезали тяжелые виноградные гроздья, складывали в высокие корзины и носили к дому с трубой. Люди с бичами понимали жизнь и не трогали их, когда они отрывали зубами пыльные сладкие ягоды. Они отрывали бы все равно, даже если бы их били. Животы становились хорошими: круглыми и теплыми.

Плохо было, когда после долгой зимы их выгоняли из сарая копать землю. Жирная земля качалась перед глазами. Она пахла вкусным паром, а еду им давали одинаковую. Тогда, весной, он и задушил того, кто был рядом. Тот был маленький и плакал, крепко прижимая к животу свой хлеб... Где это было – по ту или эту сторону моря?

Конь шел медленно, объезжая плоские острые камни. Слово не приходило. Бейбарс нетерпеливо дернул повод и расправил плечи...

Это было время его славы. Абуль-Футух его назвали потом, когда в Айн-Джалуте он разгадал мысли Безбородого Хана. А Бейбарсом он сам себя назвал, чтобы боялись твердости его имени. В море была его настоящая победа. Другие пришли сами.

Моря он не увидел, но слышал всегда. Оно шуршало за широкой плотной доской возле его скамьи. Свет и соленый воздух приходили через отверстие для весла. Когда шорох кончался и начинало гулко бить в доску, оттуда брызгала соленая вода. Все качалось вокруг, и люди затихали.

Их было по четыре на весле – по двенадцать с обеих сторон. Там, где сходились широкие доски, был помост, на котором сидели пристегнутые к длинной цепи запасные гребцы. Это он увидел утром, когда его

разбудил человек с бичом. Ночью он ничего не видел, кроме пятен, пахнущих человеческим потом.

В то утро услышал он море. Сначала, когда их разбудили, двое с ведрами воды обошли скамьи, смывая утренние нечистоты. Грязная вода стекала в узкие щели у пола. Потом им отстегнули от весел руки, и многие начали молиться. Одни прижимали лицо к полу, другие трогали сложенными пальцами лоб, живот и плечи или только шептали что-то, накрывшись черными платками. Таких, которые молились, он знал в сарае, откуда его привели. У них легче было забирать хлеб.

Те, что молились, говорили всегда о каких-то людях, которые где-то гладили им головы, чмокали их губами и даром давали хлеб. Они называли по-разному этих людей, странными влажными именами. И непонятно почему плакали. Он был доволен, что не было в его жизни отца и матери. Это были плохие люди, делавшие человека слабым...

Им разнесли хлеб. По большому куску, какого никогда не давали в сарае. Хлеб был светлее и пахнул черной весенней землей... К его хлебу протянулась рука. Он ударил сведенными цепью кулаками по руке и по упавшей на весло чужой голове. Весло стало скользким и теплым.

Потом он посмотрел туда, где сходились широкие доски. Он сразу увидел на помосте Маленького с неподвижными глазами, возле которого сидели самые сильные. Они не молились...

Маленький не посмотрел в его сторону, а только сделал знак. Двое с цепями на ногах быстро оттащили мертвого на середину, а весло обмыли водой. Собранный хлеб отнесли Маленькому, и он раздал его тем, которые сидели вокруг. Когда вернулся человек с бичом, все ели и молчали.

Человек с бичом ничего не сказал. Оттягивая руку, он коснулся сразу всех спин по обе стороны прохода и показал на пол. Мертвого понесли и вытолкнули вверх через круглую дыру в потолке.

Один из тех, кто мог ходить, взял палки и подошел к круглому барабану на помосте. По знаку человека с бичом он ударил палками в гулкую кожу. Гребцы, медленно валясь на спину, потянули тяжелые гладкие весла. И тогда зашуршало море...

Барабан бил все быстрее. Сквозной соленый ветер постепенно уносил запах утренних нечистот и свежей крови. Человек с бичом два раза ожег ему мокрую спину. Он еще не научился попадать в такт и мешал другим. Люди с бичами всегда были справедливы...

Он не смотрел на Маленького и ждал. Вечером, когда руки стали тугими и тяжелыми, его отстегнули от весла и повели на помост. Там его пристегнули к общей цепи. Он уперся спиной в широкую доску и приготовился. Но Маленький не поворачивался к нему.

Человек с бичом принес и раздал по большому куску соленого рыбьего мяса. Двое отстегнутых обошли всех, забирая лучшие куски. Все мясо принесли Маленькому. Самый большой кусок выбрал Маленький и протянул ему. Он взял и съел.

Он слышал, как злобно крикнул что-то Длиннолицый, и все понял: Длиннолицый хотел занять место Маленького...

Поэтому и не пошевелился Маленький, когда через три дня он, навалившись на Длиннолицего, задушил его цепью. Так он занял свое место возле Маленького и стал Бейбарсом.

Их было девять с Маленьким. Они много ели и не садились к веслам. Их отстегивали, и они могли ходить между скамьями.

Тех, которые служили им, называли шакалами. Они приносили собранный на скамьях хлеб и били непослушных. За это им оставляли еду. Остальные были те, которые у весел. Это было справедливо, и люди с бичами не вмешивались в их жизнь.

Каждый из девяти имел другое имя. Маленький был Гюрзой – змеей, которая убивает молча. Длинно-

лицего, которого он задушил, называли Молот – за тяжелые твердые кулаки. Он слышал, что есть пятнистые звери, одной лапой ломающие спину человеку, и назвал себя Беем этих зверей. Когда он сказал это, Маленький остро посмотрел на него – так, как три дня назад на Длиннолицего Молота.

Но им еще было рано. Сначала он помог Маленькому убрать через дыру в потолке Кривого, Льва – Аслана и остальных. Каждый хотел занять место Маленького.

Его стали бояться больше Гюрзы, и пришло его время. Он сразу это почувствовал по тому, как хвалил его силу Маленький. Ему теперь давали куски лучше, чем новым девяти, и они злобно молчали.

Они хотели убить его ночью. Но вечером, когда Маленький подвинул ему самый большой кусок, он неожиданно прыгнул и поломал Маленькому спину... Новых девять он тоже менял по очереди. Тому, кого не хотел видеть возле себя, он давал лучшие куски...

Потом все было правильно. Он забирал хлеб и справедливо делил его, отдавая сильным больше. Он убивал кого хотел. Им, слабым, нужна была опора в качающейся темноте. Они были рабы и не могли жить сами. И он стал их опорой, потому что забирал у них хлеб и убивал их.

Все быстрее гремел барабан. Те, что у весел, пели песню о нем, Бейбарсе. Они пели о его силе и справедливости...

Конь остановился над обрывом. Рыхлыми каменными уступами все дальше спускалась пустыня. На другой ее стороне были другие города и страны...

Это было по ту сторону пустыни. Раздав утром хлеб, люди с бичами размотали длинную цепь и первым приковали к ней его, Бейбарса. Остальных пристегнули сзади по двое. Потом ему показали на дыру в потолке. Люди с бичами знали, что только он сможет шагнуть туда, куда выносили мертвых.

Он увидел Солнце. Круглое и белое, оно висело совсем близко над головой. Там, где он копал когда-то землю, не было круглого Солнца. Или он забыл...

Все, кто вышел с ним наверх, сразу перестали видеть. Уцепившись руками за железные кольца, шли они за ним по длинной качающейся доске на землю...

Они не могли сразу пойти по земле. Люди с бичами заставили сгибаться их ноги. Земля была большая. На ней было много людей, домов и деревьев. Он не верил в это раньше.

На площади, куда привели их, он впервые увидел женщин. Их держали отдельно. Сзади заволновался кто-то, начал дергать цепь. Он удивленно оглянулся...

Их приковали на ночь к железному столбу. Они не могли уснуть без доски, за которой шуршит море. Рядами стояли столбы на широкой базарной площади, и всю ночь звякало железо. В эту ночь он услышал слово...

Он не знает, спал он или нет, но кто-то на площади тихо позвал: «Ку-уке!» Воздух сразу стал горьким. Он вскочил, начал рвать цепь. Но люди с бичами не спали. Они знали, что в такую ночь люди становятся глупыми и часто убивают себя.

Он лежал неподвижно, прижимая горячее тело к земле. Медленно наливалась красным огнем светлая полоса неба. И тогда он услышал трубы.

Люди на больших лошадях с блестящими кривыми ножами у пояса въехали на базар. Они стали у железных столбов, ожидая молитвы. К тем, кто молился, они потом не подошли.

Человек с кривым ножом, в синих, обшитых золотом сапогах остановился, посмотрел ему в глаза и сделал знак. Люди с бичами, суетливо кланяясь, бросились распиливать цепь. Он удивленно смотрел. Они были шакалами, люди с бичами!.. Руки у него стали вдруг совсем легкими, и было неприятно.

Двадцать было тех, кому распилили цепь. Человек в синих сапогах сделал им знак идти, но они стояли. Тогда другой, молодой, засмеялся и толкнул их одного

за другим грудью лошади. И они пошли. Люди с кривыми ножами ехали впереди и сзади. Они пахли кожаными ремнями, и на левой руке у каждого был браслет.

Снова качалась длинная доска, и он с облегчением увидел черную дыру в палубе. Оттуда пахло утренними нечистотами и человеческим потом. Но их не пустили туда...

Прямо на палубе очистили им от волос голову и тело. Потом помыли их и показали человеку в красных сапогах. Двое не понравились ему: у одного слезились глаза, а другой дернул головой, когда подняли перед его лицом руку. Этих двоих сразу отделили и толкнули в дыру под палубой. Тем, которые остались, дали одинаковые синие штаны, широкие кожаные ремни и серые сапоги.

Потом им дали мясо. Он заволновался от свежего запаха. Мясо отрезали теплыми большими кусками и жарили прямо на палубе на железных палках. Они ели, пока глаза не завесил туман и головы не упали на доски. Человек в красных сапогах внимательно смотрел, как они ели...

Проснулся он успокоенный. За доской опять шуршало море. Глухо бил барабан, и плавно качался черный мир. Но когда он открыл глаза, то увидел гору недоеденного мяса. Горел факел. Люди с кривыми ножами на поясах играли маленькими твердыми костями. Они бросали их с размаху, и кости со стуком рассыпались.

Он приблизил к лицу руки и с силой развел их. Они разошлись, но тут же сошлись снова. Цепи не было, но рукам так была лучше...

Бейбарс посмотрел на свои руки. Они были сведены на лошадиной холке. Он не стал разводять их. Конь осторожно сошел с уступа и пошел по осыпающемуся гребню к старой дороге.

Найдя ее, конь пошел быстрее. Гладкие треснувшие камни лежали по обе стороны. Их когда-то возили для храма. А потом обратно к Реке. Возить готовые камни было легче, чем обтесывать...

Человека в синих сапогах, который купил его на базаре по ту сторону пустыни, звали Икдын. Он был Эмир Сорока. А в красных сапогах с блестящими коричневыми глазами был Котуз. Начальник Острова сам покупал мамелюков, и это было правильно.

Барат лежал рядом с ним на палубе. Он был таким, как и сейчас, – жилистым и молчаливым. Они с Баратом сразу нашли друг друга среди восемнадцати. Другие поняли и подчинились. Мяса было много, но первыми брали он с Баратом.

Икдын увидел это и тоже понял. Когда нужно было сказать что-нибудь всем, Икдын говорил ему. Так было и потом, на Острове. Барат не завидовал. Он всю жизнь был хорошим помощником...

Барабан бил внизу ровно, не переставая. На второе утро из дыры в палубе вытащили голое тело с разорванным горлом. Это был тот, у которого слезились глаза. Не сняв цепи с рук, его бросили в море. Мертвые коричневые глаза Котуза не ошибались в людях...

Море долго было синее. Прошло шесть дней, и они увидела желтую воду страны Миср. Потом они увидели желтый берег. Опять там были люди, дома и деревья. Вода делалась гуще, пока не стала Рекой...

Еще три дня плыли они, пока не прорезались в небе синие столбы мечетей Эль-Кахиры. Мимо провезли их, на Остров. Это было правильно. Нельзя мамелюкам близко видеть жителей страны Миср...

Их было триста на Острове, купленных в то лето. В лодке с голубым и красным бархатом приплыл на Остров султан Салих. Эмиры Пяти личной охраны были с ним, и Эмиры Тысячи в красных сапогах... Он уже знал, что самые сильные носят красные сапоги. И когда купивший его Котуз переглянулся с громадным Айбеком, он все понял. Внимательно посмотрел он на султана...

У старого султана было белое мягкое лицо и глаза человека, который молится. Он не осматривал каж-

дого, как Котуз. Вяло махнул голубым платком султан Салих, и всем им наковали браслеты на левую руку. Но кривых ножей им не дали. По пять, по десять и по сорок сначала разделили их. И учили ездить на лошадях и стрелять из луков. Через четырнадцать дней им привезли в лодках женщин. Он сделал так, как другие, и почувствовал облегчение. После этого он сильно захотел есть...

Лучше этих дней у него не было. Даже когда стал он Абуль-Футух и исчезли границы исполнения его желаний. Он быстро привык к равенству с теми, кто давно носил ножи на поясах, а занял свое место у своих сорока. Когда один не послушался, они с Баратом задушили его и бросили на песок, где грелись крокодилы. Эмир Сорока Икдын знал, но сказал Начальнику Острова, что один убежал. Потому что боялся уже его Икдын.

Котуз внимательно посмотрел тогда на Икдына и кивнул головой... Ночью они встретили Котуза, когда несли мертвого к Реке. Начальник Острова стоял в тени дерева, а они шли в белой свете луны. Котуз видел их с мертвым, но кивнул головой.

Да, Котуз видел. Поэтому Котуз сделал его Эмиром Пяти, потом Десяти, а в разлив Реки, когда все они носили уже кривые тяжелые ножи, – Эмиром Сорока вместо Икдына... Среди сорока у него было уже своих девять, и они слушали его, а не Икдына. Девять потом всегда держал он возле себя, как в море. Это было правильное число. Им было трудно сговориться, девяти. И видеть он мог сразу всех...

Икдына послали куда-то далеко охранять с другими сорока башню у дороги. Через много лет он, Абуль-Футух, нашел и убил Икдына. Он нашел и убил всех, кто вместе с Икдыном покупал его на базаре у моря. Он всегда помнил лица людей, даже если видел один раз...

Он долго носил синие сапоги, и Котуз брал его с собой, когда плыл через море покупать мамелюков. Тех, кого он приводил с базара, не нужно было отсылать в палубную дыру. Котуз покупал все больше, и они

оставались на Острове, учились ездить на лошади и стрелять из луков. Потом им давали кривые ножи...

Они радовались, когда на далеких башнях Фустата ревели трубы. Это значило, что снова где-то люди страны Миср нарушали порядок и справедливость. Тогда они садились вместе с лошадьми в большие лодки, плыли к берегу и мчались потом через бесконечный хлопок, пачкая сапоги и лошадей жирной зеленью.

Люди страны Миср были худые и несильные. Они всегда кричали что-то, показывая на небо, и в глазах их была молитва. Наказывать их было нетрудно. Тех, у кого глаза были без молитвы, убивали. И если приходилось на четырнадцатый день, забирали у них женщин.

Были еще братья султана Салиха Эйюба. Они правили городами и странами по ту сторону пустыни и не могли справедливо разделить их. Эйюбы воевали друг с другом и с франками. Они просили мамелюков у старого султана.

Там впервые увидел он франков. Они были белые, как мамелюки-сакалабы¹. И хоть громко пели песни своему богу, прозрачные глаза их смотрели прямо, не отвлекаясь...

Старая каменная дорога была прямая и гладкая. Сухой ветер ровно жег лицо. Бейбарс забыл слово, за которым ехал...

Котуз был умный и знал все. Среди каждых сорока на его Острове были девять, которых боялись остальные. И Эмиром Сорока Котуз делал главного из девяти. Это было правильно. Глупый не становился раисом².

Так делал Котуз – Раис Острова. И так делал большой Айбек – Раис Охраны Султана. Другие Эмиры Тысячи не делали так. Они были людьми страны Миср и назначали у себя эмирами тех, кто быстрее стелил

¹Мамелюки-сакалабы – славянский корпус мамелюкской гвардии.

²Раис – начальник (букв. – «пасущий стадо») (арабск.).

коврики, когда их снимали с лошади. И их самих назначил старый султан потому, что они умели рассказывать ему о его славе. Шакалы правили страной Миср, и это было несправедливо.

Когда франки приплыли в страну Миср, у Котуза на Острове было уже сорок эмиров, носивших синие сапоги. Среди них у Котуза были свои девять. И первым был у девяти он, Бейбарс...

Франки были дикие барбарои¹, и бог не путал их мысли. Они носили одинаковую одежду, и раисом у них мог стать лишь достойный. А в Дамииетте, там, где желтая вода страны Миср смешивается с синей водой моря, мамелюков тогда не было. Там были солдаты страны Миср со старыми эмирами, подстилающими коврики. И они бежали от франков из Дамииетты в Мансуру, а потом из Мансуры. И старый султан страны Миср кашлял, и не мог он сидеть на настоящем коне.

С франками было трудно воевать. Когда они поднимали руку, чтобы ударить, их не отвлекали сомнения. Но у них было слишком много достойных, и каждый делал свое. А мамелюки знали только своего Эмира Тысячи. И они вошли в Мансуру, отрезая головы у франков.

Тогда он мог погибнуть, когда франки начали лить масло под ноги. Он упал на жирной каменной стене, и большой светлородый франк с красным крестом на грязном плаще уже колот его копьем. Но Турфан бросил тяжелый камень в голову франка, а Барат отсек ему голову. И шрам у глаза остался у него от копья франка...

А потом они с Баратом, Турфаном и Шамуратом догнали и сбили с лошадей франкского султана и двух его братьев. За них франки заплатили султану Салиху четыре корзины золота: две – за святого султана Лудовика и по одной – за его братьев. Франки сами ушли из Дамииетты и больше никогда не приходили в страну Миср... Быстрый и ловкий, как маленькая кошка, был Шамурат. Он убил сразу Шамурата, когда стал Абуль-Футух.

¹Барбарои – иноземцы, варвары (арабск.).

После Мансуры он не поехал на Остров. В Эль-Кахиру взяли его Айбек с Котузом. Старый султан долго смотрел на него и потом закрыл глаза. Айбек с Котузом переглянулись, и он стал Эмиром Сорока личной охраны султана...

Они всегда были непонятными, люди страны Миср. У них были пирамиды и бог, который раздваивал мысли. Человек с раздвоенными мыслями бьет вполсилы, и стрела его не попадает в цель. Этот бог всегда придерживал их руку, когда они поднимали клинок, и дергал их лук, когда они отпускали тетиву. Поэтому они всегда проигрывали и были плохими солдатами. Почему они благодарили бога?

Люди страны Миср тоже делали это по-разному: одни пять раз в день прижимались лицом к земле, другие крестились и громко пели, как франки. Были и такие, кто привязывал ко лбу коробочки и накрывался с головой, чтобы отделить себя от жизни, которая вокруг. Они напрасно ссорились. Это всегда был один и тот же бог, который делал их слабыми. Им, как женщинам, была неприятна кровь и знакомы слезы.

Были в стране Миср люди, которые умели писать и читали написанное другими людьми. Эти были совсем глупые. Султан Салих давал им деньги, и они молились богу, считали звезды и рисовали на желтых дощечках круги и треугольники. В Аль-Азхаре¹ жили они с учениками, и он сопровождал к ним султана. Непонятное говорили они и всегда просили деньги...

Султан Салих умел читать. Он неподвижно сидел на полушках и смотрел в развернутые свитки. И когда отставлял их, глаза его были, как у беззащитной собаки.

А на обеих руках эмира Айбека были у запястья твердые коричневые бугры. Такие бугры были у всех, когда-то прикованных к веслам. И у Котуза на руках были бугры.

¹ Университет в Каире (образован в 972 г.).

Султан Салих смотрел на них странными глазами, на Айбека и Котуза, на него. В глазах его не было страха, просьбы, гнева. Так смотрели львы с человеческими лицами, которые стояли у начала страны Миср.

Все чаще выезжал старый султан на базар. Он становился в стороне и подолгу смотрел, как торгуются покупатели, кричат друг на друга женщины, играют в пыли голые дети. Люди страны Миср замолкали и уходили в сторону...

Пришел вечер, и Котуз сделал знак войти туда, где был султан. Когда они подошли к тахте: Айбек, Котуз и он, султан Салих посмотрел на них и закрыл глаза. И они ударили его в сердце и перерезали горло маленькими острыми ножами, которыми бреются и режут дыни. И когда уходили они, круглоголовый Айбек остался в Розовом Доме с Шадиар, светлоглазой женой султана...

Утром Айбек сказал, что султан Салих умер от кашля. И Эмиры Тысячи страны Миср молча кивнули головами и коснулись ладонями лица и бороды. И Эмиры Канцелярии Султана коснулись ладонями лица и бороды. И Эмиры всех городов: Дамьетты, Мансуры, Александрии, Бени-Хасана, Эль-Амарны, Асуапа коснулись ладонями лица и бороды. И ученые люди Аль-Азхара, умеющие писать и читать написанное, испуганно коснулись ладонями лица и бороды...

Это было правильно – сказать, что султан умер от кашля. Люди страны Миср не любят слышать плохое, и в этом их радость... Они знали, как умер султан, люди страны Миср. И шепотом говорили об этом друг другу. Но слову из Цитадели верили они, потому что так им было спокойней. Они радовались и ругали султана. Пирамиды были у них, и не могли они простить, что он выезжал к ним на базар...

И браслет поэтому надели большой стране Миср. Для этого нужно было, чтобы объединились девять эмиров, у которых на запястьях были твердые бугры. И чтобы были на Острове всего сорок раз по сорок мамелюков, у которых не было хватающего за руки

бога, не было делающих человека слабым отца и матери и которые были барбарои – чужие люди в стране Миср. И нужно было, чтобы мамелюки беспрекословно слушались Эмиров Пяти, а Эмиры Пяти слушались Эмиров Сорока, а Эмиры Сорока слушались Эмиров Тысячи. И тогда это нетрудно сделать. Богатая и бессильная страна Миср всегда носила браслет...

И когда сказали, что Тураншах, беспокойный сын старого султана, утонул в Реке, тоже радовались люди страны Миср. Он и Барат пустили по стреле в голую спину буйного Тураншаха. И не мог уже уплыть Тураншах от их ножей...

У большого Айбека была круглая бритая голова, круглые глаза и широкий рот с крепкими зубами. И твердые коричневые бугры от галерных цепей были на его руках. Он правильно шел к власти и стал первым. Но он остался с Шадиар, светлоглазой женой султана, когда убил его...

И сразу перестал все понимать эмир Айбек, потому что остался надолго со светлоглазой женщиной. Не султаном назвал он себя, а атабеком – воспитателем Халила, сына Шадиар аль-Дурро. Последним Эйюбом был маленький Халил, сын старого султана, и не живут долго последние...

И не султаном стал Айбек, а только мужем аль-Дурро – Золотой Шадиар, когда эмиры признали его право. Неправильно это было. Каждому эмиру позволил он думать, что дорого их согласие. И не были никогда спокойными эмиры. И все это случилось потому, что не в четырнадцать дней один раз приходил Айбек к женщине. И не менял он женщину каждые четырнадцать дней. И не по мужской необходимости шел к ней...

Каждый день был Айбек у Шадиар. И круглый рот его раздвигался до ушей, и круглые глаза сияли, как начищенные пряжки на поясах мамелюков. И перестал он видеть прямо, и захотел, чтобы у всех в стране Миср был раздвинут рот и сияли глаза. И не бывает так, чтобы все были счастливыми...

Все начал разрешать Айбек людям страны Миср. И сразу перестали они работать, и в глазах их уже не было молитвы. Стрелы метали они в мамелюков, приезжавших за хлебом и женщинами. И Река перестала подниматься до корней семиствольного дерева. И начался голод и болезни. И франки из Акры и Антиохии стали все ближе подходить к границам страны Миср.

Браслеты распилил Айбек у мамелюков. И разрешил он всем носить синие и красные сапоги. Нельзя было узнать больше, кто раис, а кто стрелок. Крикливые становились впереди молчаливых. И бежали мамелюки с Острова в пустыню и становились там дикими разбойниками. По Реке к морю бежали мамелюки, забирали корабли с гребцами и на море становились разбойниками. И купцы перестали плыть в страну Миср...

И так затемнены были мысли Айбека от женщины, что не убил он Котуза. И никого из девяти не убил он, кто убивал с ним старого султана. Справедливость и порядок нарушил эмир Айбек. И они убили его...

Твердые бугры были на руках Айбека. И больше Котуза был Айбек, но обессилел от женщины. А блестящие коричневые глаза Котуза были, как у ожидающей гиены.

Раисом Острова был Котуз и сам покупал мамелюков. Его и Барата сделал он Эмирами Тысячи. И не сразу Котуз убил Айбека, потому что умел ждать.

Маленький Халил, последний Эйюб, тонул в Реке раньше, чем убили Айбека. Совсем мало крови было у прыщавого Халила. И, как отец, смотрел он на нож, и в глазах его ничего не было. Мертвый ушел он в Реку и не выплывал больше, потому что был последний. Люди страны Миср рассказывали, что священный крокодил унес маленького Эйюба, и показывали место, где это произошло. И стали они с Баратом Эмирами Тысячи...

Охрану оттеснили они и на части изрубили Айбека, когда приехал он на Остров делать смотр. Даже круглой головы не осталось, чтобы посадить на пику и показать

жителям Эль-Кахиры для утверждения порядка. И светлоглазая Шадияр знала, что ждут они Айбека на Острове. Потому что женщины – как люди страны Миср, и не любят они тех, кто ходит к ним каждый день...

Конь вдруг остановился; замотал головой и начал сходить с ровной дороги. Бейбарс потянул повод...

Он сам убил светлоглазую женщину, когда приказал Котуз. Закрытую привез он ее на середину Реки. Белая, как солнце, была луна. И снял он покрывало, и долго смотрел в лицо Шадияр.

И она в первый раз смотрела ему в лицо. И глаза ее становились все больше. Совсем светлыми стали они. И засмеялась она. И руки его перестали вдруг быть тяжелыми. Луна вдруг упала в воду, и остановилась вода...

И он сощурил тогда глаза, и ударил кривым мамелюкским ножом, где раздваивалась у нее грудь. И смеялась она, и закрыла глаза, счастливая...

В пустой лодке сидел он. И не брал весла. Светлая вода была кругом... И не пошел он на четырнадцатый день к женщине...

Котуз хорошо умел ждать. И знал он, что такое большая власть. Раньше, чем стать султаном, захотел он остаться без девяти, которые были возле него. И сделал правителем он человека, который не сам выбрал себе имя. Байгушем – Птицей, жрущей падаль, называли этого человека Бахр – Речные мамелюки. Бурджи был он – Башенный мамелюк из Фустата. И выбрал его Котуз, потому что чужой он был среда Речных.

И делал Байгуш то, что хотел Котуз. Все эмиры были убиты при нем, которые мешали Котузу. И в Реке утонул Байгуш, когда пришло его время. Остался только он, Бейбарс, из девяти, которые были с Котузом...

Новых девять выбрал себе Котуз, когда стал султаном. И громко хвалил Котуз его силу, и дарил ему самых

красивых лошадей и самых толстоногих женщин из своего гарема. И знал он поэтому, что пришло его время...

Но был уже он Раисом Острова и имел своих девять. Барат, Турфан и Шамурат были всегда с ним. Трудно было Котузу, но он умел ждать. Все чаще посылал его Котуз через пустыню тревожить франков. Там и увидел он монголов...

Они обогнали слух о себе. Потные, безбородые, с ночным птичьим уханьем бросались они, не спрашивая, кто впереди. Тело к телу и конь к коню, не давая подняться пыли из-под копыт, ехали монголы, и остановить их было нельзя.

И мамелюки повернули коней и разбежались по пустыне, спасаясь от звонких монгольских стрел. И не всех он собрал потом у сторожевых башен на дороге в Страну Миср...

И легкая горячая стрела вошла ему в левое плечо, когда отворачивал он коня от монголов. С черными жесткими перьями была стрела. Тихо свистнул тонкий волосяной канат, сорвал его с коня и бросил спиной на землю. И тогда прыгнул со своего коня длиннорукий Барат, и перерезал канат, и взял его на своего коня...

Он долго стоял у сторожевых башен на дороге в страну Миср, рассылая во все стороны мамелюков. И ему привозили живых монголов. И он долго смотрел каждому в глаза. У них были узкие равнодушные глаза, в которых совсем не было бога. Послушно садились они на корточки и ждали удара клинка, не отворачивая головы. Страха они не понимали... Это были дикие барбарои, как франки. И знали они своего Эмира Тысячи, как мамелюки. И эмиры их никого не знали, кроме Безбородого Хана.

И пахло от них, как от франков, грязным потом и шкурами. Кобыльим молоком пахли монголы. И чем-то горьким еще пахли они, как не пахли франки и мамелюки. Это был непонятный запах, который мешал ему правильно думать...

А потом побежали в страну Миср люди, которых обогнали на своих оскаленных лошадях монголы. Люди из Басры, из Багдада, из Урфы и Мосула. Они бежали днем и ночью мимо сторожевых башен, и один только бог был в их глазах.

И говорили они, что Безбородый Хан монголов – сын христианки и не трогает он тех, кто крестится. И еще говорили они, что монголы привязали всех сыновей халифа правоверных к хвостам своих диких лошадей. Всех братьев халифа и всех визиров халифа привязали они к хвостам лошадей и погнали всех лошадей в пустыню. Самого халифа правоверных привязали они к четырем лошадям, и гнали их в четыре стороны, пока не разбежались лошади...

И он дал отдохнуть мамелюкам и вернулся в страну Миср. И опять ждал Котуз, потому что побежали уже в страну Миср люди из Халеба и Дамаска, а Речные мамелюки знали теперь только его, Бейбарса. И стало известно, что франкские эмиры из Акры и Антиохии принимают у себя визиров Безбородого Хана, и вместе говорят они, что пришло время страны Миср...

И о том, что пришло время страны Миср, кричал в Эль-Кахире перед мечетью Ибн-Тулуна оборванный человек из Багдада. Братом халифа правоверных называл он себя, оторвавшимся от хвоста монгольской лошади. И кричал он это перед мечетью Аль-Акмары, и в Аль-Азхаре, и перед мечетью халифа Хакима. И Котуз сказал, чтобы схватили его и бросили в яму под Фустатом, где сидели нарушившие справедливость и порядок...

Он шел к Айн-Джалуте, а монголы шли ему навстречу. Они были барбарои и шли всегда прямо, не сворачивая. А на длинной монгольской дороге были города и страны, где эмиры умели писать и читать написанное. И люди в этих городах и странах знали бога, который мешал им смотреть прямо. И они всегда искали не прямой путь к спасению. А монголы шли прямо, и их путь был всегда самый короткий.

В море стал он Бейбарсом и знал прямой путь. Не было другого пути в качающейся темноте, когда прыгнул он Маленькому на спину. Твердые бугры с тех пор на его руках... Девять тысяч мамелюков взял он с собой, Бахр и Бурджи – Речных и Башенных. Быстро шел он к Айн-Джалуте, чтобы не успели франки соединиться с монголами. Знак бога рисовали франки на своих плащах и на своих щитах, но не успел еще бог ухватить их за руки...

Монголы не знали других путей, кроме прямого, и это был самый правильный путь. Когда они увидели мамелюков, то начали съезжаться плечо к плечу и конь к коню, поворачиваясь в их сторону. И он дал знак, и ухнули боевые трубы, и мамелюки тоже начали съезжаться плечо к плечу и конь к коню, поворачиваясь к монголам. И, как монголы, прижались они друг к другу, и пыль из-под копыт не могла пробиться между их телами.

И монголы удивились, потому что в первый раз увидели идущих к ним прямым путем. И когда столкнулись мамелюки и монголы возле Айн-Джалуты, то монголы рассыпались.

И кончились монголы, когда рассыпались, потому что не знали они пути, кроме прямого. Никого не знали они, кроме своего эмира, и были, как слепые щепки, каждый в отдельности. В разные стороны побежали монголы, бросив луки и круглые кожаные щиты. В грязи и навозе было их хвостатое знамя цвета теплой крови.

До конца он пошел прямым путем. Плотными отрядами по сорок разъехались мамелюки по пустыне, догоняя монголов и отрезая им головы. И собрал он все отрезанные головы и построил из них красную пирамиду на высоком берегу Евфрата. Никогда больше не шли монголы в страну Миср. И дальше не шли они через страну Миср в страны франков, потому что он остановил их в Айн-Джалуте. Так стал он Абуль-Футух – Отец Победы.

И когда он вернулся в Эль-Кахиру, Котуз приготовил ему белый дом с двенадцатью фонтанами. И ждали его

там черные мамелюки с отравленными ножами. Но он прыгнул первым и на площади перед мечетью Ибн-Тулупа, где встречал его Котуз, он убил его. И сам он отрезал голову Котуза с блестящими коричневыми глазами, и бросил ее на стертые кирпичи перед мечетью Ибн-Тулупа...

Конь шел ровно... Из-за холмов поднимался храм. Люди построили его, которые строили пирамиды. На стенах нарисовали они своих богов, об их мудрости и силе написали они. Но победили их барбарои – люди пустыни, чей бог был простой. Прямую дорогу знал тогда этот бог, и Пророк его не умел писать.

И стали люди пустыни брать гладкие камни из этого храма. И построили мечети в Эль-Кахире, мечети в Мансуре, в Тель-эль-Яхудие и в Эль-Лакхуне мечети с красивыми высокими минаретами. У людей страны Миср научились они растить хлопок, рисовать треугольники и считать звезды. И научились писать их пророки, и бог из пустыни перестал видеть прямую дорогу. И сами стали они людьми страны Миср, которым неприятна кровь и знакомы слезы...

Мечети и башни построили из гладких каменных плит. И только один угол храма пошел на это, такой он был большой. С той стороны, где брали камни, въехал Бейбарс на крышу храма. И конь остановился, опустив голову...

Он сразу назвал себя султаном, когда убил Котуза. И всегда он был Абуль-Футух, потому что отнял у франков Цезарею и Арсуф. Яффу и Антиохию он тоже отнял у франков, потому что франки были уже другие. Они научились мыться горячей водой и перестали носить бычьи шкуры. И стали они одеваться в муслин и атлас, как люди Дамаска и Багдада, и под верхней одеждой стали носить нижнюю, и часто меняли эту одежду. И бороды уже красиво подстригали франки, как люди Дамаска и Багдада. Сахар они ели, которого не знали раньше.

И многие из франков умели писать и читать написанное, и учились они у людей из Аль-Азхара и Низамийи¹ рисовать треугольники и считать звезды. И не умели уже идти прямым путем навстречу мамелюкам. Только в каменной Арке остались франки, рисовавшие крест на своих плащах. Он, Абуль-Футух, положил предел им по эту сторону моря, куда пришли они на могилу своего бога.

И монгольские ильханы за Евфратом быстро научились мыться горячей водой, носить мягкую одежду и есть сахар. Бога нашли они себе, и писать научились, и перестали быть опасными.

Никто не мешал ему теперь идти с мамелюками на Восток, в богатую армянскую Киликию, и на Запад никто не мешал ему идти, в Барку и Ливию. И на Юг, в святые города Хиджаза. И в Эфиопию, за черными рабами...

Бесплодны люди, не умеющие смотреть прямо... На стене храма из белых каменных плит стоит его конь. В черном кожаном седле сидит он, Бейбарс, и смотрит на Восток, и на Север, и на Юг. И видит только желтый песок, скованный острыми камнями, которые ранят копыта лошадей. На небо смотрит он. И видит круглое белое солнце. Вниз смотрит, и каждую травинку видит внизу. Суслика видит он, который побегал от круглой норки. И камнем метнулась тень орла по земле. И твердые когти вошли в мягкое тело, и красные брызги остались на белом камне. Брызги почернели сразу, потому что камень горячий... Все это так, как он видит. И у того, кто видит не так, косые глаза.

Они смотрят на желтый песок и говорят, что это не простой песок, потому что ехал по нему Пророк. И на человека смотрят они и говорят, что это не просто человек. И на женщину смотрят они и говорят, что это не просто женщина. И второе, и третье имя дают они всему, что видят.

¹Знаменитый университет в Багдаде, названный по имени организовавшего его Низам-аль-Мулька, великого визиря Сельджукидов (1018-1092).

Он прямо видит все, и поэтому он Абуль-Футух. И он понял, что такое гуманус и культура, о которых говорил ему генуэзец Джакомо в кожаных штанах. Это писк суслика, который не услышал он отсюда. Никогда его лицо не было мокрым!.. Белый и зеленый мрамор привозит в Эль-Кахиру генуэзец на своих кораблях. И ездит в Аль-Азхар, чтобы срисовывать треугольники. И руки у купца гладкие, без бугров...

Он Бейбарс и смотрит прямо. И он все вернул стране Миср, что отнял у нее Айбек. Султаном назвал он себя. И надел мамелюкам браслет на левую руку. Только клеймо изменил он на браслете. И вернул Эмирам Тысячи красные сапоги, а Эмирам Сорока – синие сапоги.

И дал он мамелюкам власть в стране Миср. Землю у Реки и людей страны Миср для ее обработки дал он каждому эмиру. В Эль-Кахиру отправляют все, что собирают с этой земли. И только мамелюки могут быть эмирами городов и областей, потому что носят его браслет.

Под зеленым деревом на Острове наковывают мамелюкам этот браслет, чтобы была у них родина. И детские дома сделал он на Острове и в Фустате. Крепких мальчиков от мамелюков забирают в эти дома, чтобы не знали они отца и матери, которые делают человека слабым.

И выпустил он из ямы под Фустатом человека, назвавшегося братом халифа правоверных, и назвал его братом халифа. И сажает он его на ковер, чтобы знали это люди страны Миср, и люди Дамаска, и люди Кордовы, и все другие люди, которые пять раз в день прижимают лицо к земле, когда молятся. Пусть в Эдь-Кахире будет их бог.

И раз в году разбрасывают перед мечетями хлеб от него людям страны Миср, чтобы знали они, что он о них заботится. И не видят его никогда люди страны Миср, потому что только тени орла боятся собаки.

Это было правильно – все сделать по-старому в стране Миср, где мертвых хранят в пирамидах. И отдать их с землей мамелюкам было правильно. Руку, которая бьет, лижут собаки. Опора нужна им в качающемся мире, потому что рабы они, и хуже смерти для них ответственность за себя. Отцом страны Миср называли они его. И песни поют о нем, когда собирают в фартуки хлопок, и раньше имени бога кричат с минаретов его имя, и именем его называют детей. И когда умрет он, святым будет в стране Миср все, чего он касался...

Как собаки, доверчивы люди страны Миср. Айбеку с Котузом нетрудно было обмануть их, умеющих писать. Оправдание всему, что делают, ищут они, и нерешительны поэтому. И думали люди страны Миср, что Айбеку с Котузом тоже необходимо оправдание, и не видели бугров на руках у Айбека с Котузом.

Опасны, у которых бугры. Их нужно всегда менять, которым отдал он страну Миср. И раньше всего – девять первых эмиров, которые рядом. Айбек не сделал этого, и круглой головы его не осталось, чтобы показать на базаре. И Котуз пропустил время, и голова его долго катилась по стертым кирпичам перед мечетью Ибн-Тулуна. Нельзя пропускать время...

Длиннорукий Барат по его знаку убил одного за другим всех эмиров, которые были с ним в Мансуре, когда франк направил на него копье. И тех убил он, которые рубили с ним Айбека. И тех, кто в Айн-Джалуте был, когда взял его к себе на коня Барат. И многих других убил он, время которых пришло. Нельзя оставлять жизнь тем, кто был рядом...

И первым пришло время быстрого, как кошка, Шамурата, который морщил лоб, когда не ему дарил он коня или женщину. И Турфан был последним, которого задушили вчера по его знаку, после того как он забрал у него дочь. Давно отстранил от себя он Турфана. Но львы, ставшие собаками, видят неправильные сны...

И один Барат остался возле него из тех, которые были рядом. И глаза Барата сегодня утром смотрели в сторону...

Бейбарс поднял правую руку, и всадники показались на ближних и дальних холмах. Ухнули сигнальные трубы, и помчались к Эль-Кахире первые сорок Эмиров Охраны, оставляя посты. И ждали уже внизу еще сорок с напряженными лугами на локтях. И еще сорок съехались плечо к плечу и конь к коню, чтобы охранять его спину...

Конь, осторожно переступая, сошел вниз. На стене, откуда брали камни, рядами шли одинаковые люди страны Миср с одинаковыми длинными глазами. Одинаково вытянув вперед правую руку, несли они богу положенное. Это было правильно – то, что делали люди, строившие пирамиды. Султан у них был богом. И ему были пирамиды.

Бейбарс посмотрел вокруг. Гладкие каменные колонны уходили в небо. Он вспомнил, зачем поехал сюда, и удивился. Какое-то слово мешало ему утром.

Он Бейбарс и презирает слова. Прямо смотрит он и все видит. Ничего не было утром, только глаза Барата смотрели в сторону!

Ожидание знака было в черных глазах Шамила – Эмира Охраны. И браслет его был начищен песком с серой. Шамил будет Раисом Острова, пока не придет его время. Молодой он, и руки его крепко держат кривой мамелюкский нож. И хорошо, что он Бурджи. Чужим будет он среди Речных, и не скоро найдет своих девять. И не будет он смотреть прямо, когда найдет. И придет тогда его время...

Бейбарс дал знак, и в горячей желтой мглой, красящей страну Миср в один цвет, понеслись они к Эль-Кахире...

Красное солнце легло в Реку. И красной стала желтая мгла. Желтый песок и серые камни стали красными.

И красной была Река, и синие минареты Эль-Кахиры были красными от солнца. И он видел это прямо, а не так, как люди страны Миср. Кровью пророка Хусейна называли они простую вечернюю зарю.

На новых кирпичях перед мечетью Ибн-Тулуна молились они, расстелив мягкие коврики. Во дворах и на улицах молились. И на крышах домов молились, повернувшись лицом к Мекке. Он трогал рукой камень в Мекке, которому молились они, и испачкал руку...

Тяжело ухнули трубы Цитадели, заглушив муэдзинов на минаретах. Через железные ворота въехали они на стертый каменный двор. И бросив повод коня черному рабу, пошел он с Шамилом и Эмирами Пяти в Зал Приемов.

И ждали уже там двадцать четыре бея и эмира, которым отдал он страну Миср. И Эмиры Тысячи в красных сапогах ждали. Знатные люди страны Миср ждали, которым позволил он видеть себя. И ждал тот, кого назвал он братом халифа. И склонились они, прижав руки к животам.

Прямо смотрел длиннорукий Барат, который был Раисом Острова, но утром он смотрел в сторону. И Бейбарс сделал знак черному рабу. И принес черный раб высокую золотую чашку с красным александрийским вином. Взял он у раба чашку, и передал Барату, и сощурил глаза. И Барат выпил красное вино, потому что пришло его время.

На ковер сел Бейбарс, и ждал со всеми, пока у Барата побелели губы. И побелели губы Барата, и бритая голова его ударилась о край фонтана. Тогда Бейбарс встал и вышел в сад. Все розы были красные в саду. И листья были красные. Камни на дорожке были красные. И Розовый Дом был красный, и дверь в него была открыта...

Девочка была там, где утром. Она спала, и маленькая рука ее лежала под пухлой щекой. И ног ее не увидел он, потому что скорчилась девочка от вечернего

холода. И грудь ее была детская. Оттопыренные губы и мокрое обиженное лицо были у нее.

Красное солнце горело в высоких окнах. Стены и потолок были красные. Зеленый ковер на полу был красный. И только красная тахта была черной от вечернего солнца. И всхлипнула во сне девочка...

Куке-е!.. Словом вдруг разорвало ему горло. Горькими сразу сделались губы. И он все вспомнил...

Это высокая горькая трава пахнет так, красная от вечернего солнца. И красный песок становится чернее. А на песке лежит человек, и это его куке. И плачет мальчик, и тянет своего куке за большую руку. Только стрелу он боится трогать с черными жесткими перьями...

Чернеет песок. И все вокруг чернеет. А запах становится гуще, и такой уже горький он, что нельзя облизать сухие губы. И зеленые точки совсем близко в горькой темноте. Их все больше вокруг, и все ближе они. И он прижимается к большому холодному куке, и тепло ему, и не страшно так...

А потом опять белое солнце в белом небе. И трава белая. И только песок, на котором растет она, красный. Весь мир – этот твердый красный песок, потрескавшийся от белого солнца. И ничего больше нет. И куке лежит, примяв горькую траву. И не хочет вставать куке, потому что стрела с черными перьями прошла через его горло. А там, где вышла она, черные капли на красном песке... А когда снова краснеет трава, и начинает пахнуть, появляются откуда-то большие мохнатые ноги. Медленно ступая, идут они мимо, все идут и идут. И мерный звон стоит над черным песком. Кто-то трогает острым копьём открытые глаза куке.

– Тут мертвый кипчак!– ясно говорит чей-то голос. И похож он на голос купца Джакомо...

И отрывают его руки от холодного куке, и передают его человеку, сидящему на верблюде. И человек этот похож на Джакомо, а кожаные штаны его пахнут дорожной пылью и морем...

И дальше идут верблюды. А слезы легко текут из его глаз. И тянет он руки назад, и плачет, задыхаясь горьким воздухом:

– Ку-у-к-е-е!..

Бейбарс тронул рукой лицо. Оно было мокрое. Тихо ступая, подошел он к тахте и прикрыл девочку накидкой от холода.

Потом Бейбарс пошел обратно в зал Приемов. Бей и эмиры, которым отдал он страну Миср, пили красное александрийское вино. Из высоких золотых чашек пили они, которые берут в пирамидах, и твердые коричневые бугры были у них на руках.

Чашка Барата стояла пустая. Бейбарс сам налил ее, выпил и вышел в сад. Эмиры молчали, скованные непониманием...

Так умер Бейбарс Эль-Мелик-эд-Дагер, четвертый бахритский султан, по прозвищу Абуль-Футух, победитель монголов и крестоносцев. С 1260 по 1277 годы от р. Хр. правил он страной Миср. И плакали люди страны Миср, и с минаретов кричали его имя раньше имени бога, и святым стало в стране Миср все, чего он касался.

И как жил он, так и умер – чтобы не знали, где его могила. В Дамаске показывают ее, и в Эль-Кахире, и в других местах...

ЭПИЛОГ

Это случилось в год смерти Бейбарса...

Твердый красный песок был вокруг, потрескавшийся от белого солнца. И горькая белая трава. Ничего больше не было в мире...

С четырех сторон налетели монголы на маленький род Берш. Падали кипчаки, потому что с четырех сторон летели к ним легкие стрелы с жесткими черными перьями. Быстро связали монголы живых мужчин. Молодых женщин они тоже связали и положили в толстые шерстяные мешки на седлах. Длинноногровых кипчакских лошадей монголы согнали в

один табун. Только больных и стариков не взяли они. И маленьких детей не взяли, которых нужно долго кормить, чтобы продать. Это были дикие монголы, которые не знали Великого Хана и Каракоруме.

И высокого старика со шрамом у левого глаза не взяли монголы, который пришел утром. Старик пришел откуда-то и сел у огня крайней семьи. Ему дали поесть, и не спрашивали ничего, потому что он молчал. И старик не поднял руки, чтобы закрыть лицо, когда ударил его камчой молодой красноглазый монгол, потный от крови.

Он стоял и смотрел, как убивали монголы, как вязали они мужчин и валили на песок женщин. И молчал старик.

И когда умчались монголы, ничего не осталось у кипчаков. Совсем мало их было, старых и больных. Они засыпали красным песком мертвых и зажгли собранную в кучи сухую горькую траву емшан. И заплакали они все, и подняли руки к белому солнцу. Высокий старик поднял со всеми руки, и лицо его было мокрое.

А когда стала краснеть от вечернего солнца белая трава, и почернел красный песок, высокий старик собрал оставшихся. И они пошли за ним, ничего не спрашивая...

Он вел их к Северу, где были холодные леса, которых не любят монголы. Зеленые точки были совсем близко в горькой темноте, и они прижимались друг к другу. Тихо шли они, и только мальчик на руках у одной старухи все плакал и тянул назад руки:

– Ку-у-ке-е!..

Так слово победило человека... По-разному рассказывают об этом в Красных Песках: путают имена и страны. И русский летописец услышал только один рассказ о белой горькой траве, запаха которой не в силах забыть человек¹. А Красные Пески большие...

¹Речь идет о Волынской летописи.

ИСКУШЕНИЕ ФРАГИ

Нет, он был совсем не такой... Голова – вполоборота, сжатые губы... Да, он был горд, но никогда не держал так голову. Ведь он был очень умен.

А каменная властность в очертании губ... Он знал свою власть над людьми. Но это была не та власть, от которой так презрительно и брезгливо складываются губы.

И непреклонность – полная, не признающая возражений... Разве мог быть таким поэт, который всегда мучается, сомневается? А он был настоящим поэтом. Иначе не пели бы уже двести лет его песни.

В парке играют дети. Вокруг шумит яркий Ашхабад. А юноша в вышитой рубашке, по-видимому, студент, уже добрых десять минут разглядывает памятник. В глазах – раздумье. Едва заметно пожав плечами, он отходит...

Таким был совсем другой человек. Это он держал так голову, слегка повернув ее на короткой шее. Самодовольно и пренебрежительно кривились его губы. Весь подобравшись, готовый вылезть не только из халата, а из своей skóry, слушал его собеседник. А поэт сидел в стороне и в который уже раз приглядывался к знакомому лицу.

Как хорошо он знал и как ненавидел это гладкое лицо с сероватыми нетуркменскими глазами. Сколько раз он слышал властный голос, гулкий и сильный, как из нутра хивинского карная. Сейчас он думал над тем, откуда берутся такие люди.

Поэт заметил, что губы его кривятся, как у хозяина дома. Он невольно повторял жесты, движения людей, когда хотел понять их. Думая за другого, он порой забывал о себе.

Но с Сеид-ханом это не получалось. Он мог в точности повторить каждое его движение, но что думал этот человек, не представлял себе. И не потому, что очень уж сложным был Сеид-хан. Его желания

просты и ясны для каждого, как желания любого зверя, который хочет рвать зубами живое мясо. Просто они совсем разные люди – поэт и правитель этого края.

Вот хозяин встал с подушки и выпрямился во весь свой маленький рост. У этого человека, одного имени которого боялись люди, были узкие плечи, непомерно большая голова и короткие ноги. Но держаться он старался прямо, и от этого зад его оттопыривался, как у маленькой обезьяны. У поэта мелькнула мысль, что во всем виноват низкий рост. Он не раз в жизни замечал, что люди маленького роста хотели казаться большими, страшными. От этого росли в них самолюбие, подозрительность, жестокость. В каждом встречном они видели врага, готового смеяться над их ничтожеством. Поэтому они зло мстили большим людям, старались унижить их... Но нет, все это не так просто. Сколько встречал поэт маленьких людей с большим сердцем!

Сеид-хан, прихрамывая, прошелся по ковру, потрогал дорогую афганскую саблю, которая по перенятому у арабов обычаю висела на стене. Как каждый трусливый в душе человек, он очень любил оружие. Вот и халат на нем всегда, военный. А ведь этот человек никогда не сидел в боевом седле. Когда-то, лет двадцать назад, при осаде Исфагана, он доставлял лошадей для разбойничьих отрядов Каджаров¹. С тех пор он считает себя военачальником – сердаром. И хромота у него не от боевой раны. Кто знает, где прошла его юность, где подобрали его Каджары, когда еще только мечтали о шахском троне...

Сеид-хан вернулся и сел на подушку. Он старался не хромотать и поэтому дергался при ходьбе, как парализованный. А в народе его так и называли Хромым. Правда, здесь, в городе, при разговорах друг с другом его еще звали Яшули – глубокоуважаемый. Но какая нехорошая улыбка появлялась у людей, когда они применяли по отношению к этому человеку такое хорошее слово.

¹Каджары – шахская династия (XVIII-XX вв.).

Кем стал бы Сеид-хан, если бы не нашли его Каджары? Поэт мог представить его мирабом, торговцем или просто погонщиком верблюдов. И был бы он таким, как все мирабы, купцы или погонщики с их обычными человеческими слабостями. Может быть, труд поднял бы со дна его души и доброту, и жалость к людям. Страшная власть над людьми, над их жизнью и смертью, детьми и имуществом сделала этого человека таким, каким стал Сеид-хан. И как быстро начинают верить ничтожные, злые люди, что они родились повелевать.

Гость Сеид-хана снова заговорил о своих делах, заглядывая, как голодная собака, в самые его глаза. Это был здоровый, сильный человек с красивым мужественным лицом. Когда на таких лицах видишь угодливость и раболепие, противно становится жить.

Там, в приморских аулах, которыми правил Мамед-сердар, много было людей, отравленных дьяволом власти. В глаза они льстили ему, но что ни день посылали доносчиков к Сеид-хану и самому шаху. Они съедали его заживо, как жадные гиены. Съедали точно так, как он сам съел своего предшественника. От Сеид-хана зависело, сколько еще времени ему быть правителем. Глядя по-собачьи в глаза Сеид-хана, Мамед-сердар старался угадать его решение.

Подходили новые люди. Одним Сеид-хан собственноручно бросал бархатные подушки, других приглашал сесть простым кивком головы.

Поэт хорошо знал всех их. Вот по правую руку Сеид-хана тяжело опустился на подушку Какабай-ага – гора разбухшего мяса. Это давнишний друг и, кажется, родственник Сеид-хана. За спиной его неслышно присел тощий Мухамед Порсы, его верный помощник. Время от времени он что-то шептал хозяину, и тот жмурился. Этого хитрого шакала ненавидели и боялись больше самого Какабая – правителя города и окрестных аулов. Все знали, что Мухамед, как хочет, вертит своим заплывшим от обжорства ленивым хозяином.

Слева от Сеид-хана сидел Дурды-хан, свирепый властитель горного края. Маленький, злой, он чем-то был похож на Сеид-хана.

Уверенный в себе, прямо и важно сидел на подушках чернобородый, узкоскулый Ходжамурад-ага. Сам Сеид-хан почтительно передавал ему пиалу с чаем. Небольшой род Ходжамурад не платил никаких налогов, не выставял даже всадников для шахских набегов. Сам пророк Мухамед считался его основателем. И люди Ходжамурад во время кровавых войн ездили в Хиву, Бухару и Иран. Никто не смел поднять на них руку. Это был род святых ишанов и купцов.

Но поэт знал, что святой Ходжамурад-ага еще в молодости утопил в Атреке двоюродного брата, стоявшего на его пути к власти. А совсем недавно его поймали с чужой женой, и он откупился от мести жизнью невинного человека. Шепотом говорили об этом друг другу в городе.

В ряд сидели по степени своей власти над живыми людьми другие сердары и правители: Ходжагельды-хан, Коушут-ага, Сапарли-хан... Каждый из них готов был разорвать Сеид-хана, чтобы занять его место на бархатной подушке. Но все они сидели тихо, глядя ему в рот.

Тугие толстые животы, блестящие от терьяка глаза, дрожащие руки. В одно страшное оскаленное лицо сливались они в глазах поэта. О, как бы он рассказал о них в своих песнях! Как с разных сторон показал бы их людям! У поэта сжались кулаки и загорелись глаза...

Но вот плечи его снова согнулись, кулаки постепенно разжались. Пришедшие на ум слова сразу как-то потускнели и потеряли свое значение. Глаза его стали обычными, как у всех, сидящих на огромном гокленском ковре в доме Сеид-хана. Сейчас поэт уже не был тем глупцом, которому так много доставалось в молодости. Долгие годы гонений и скитаний сделали его мудрым. Что ж, таков мир, где сильный гнетет слабого. Человек рождается для страданий. Так было и будет. Как он не мог понять такой простой мудрости жизни!

Ведь многие его друзья поняли это уже в двадцать лет, другие к тридцати, а ему...

Ему скоро пятьдесят. И песни поэта давно полны тем, за что через много лет умные осторожные люди назовут его творчество «противоречивым».

Поэт снова обвел взглядом сидящих. Сейчас они уже не казались ему такими плохими. Видно, они лучше него понимают смысл жизни. Где-то в глубине души поэту было приятно, что его пригласили на совет правителей. Он быстро отогнал от себя эту мысль и с достоинством выпрямился. Тонкие губы наблюдавшего за ним Мухамеда скривились в нехорошей усмешке...

Хивинский хан обрушил свой гнев на йомудов. Так было всегда, когда они за воду не платили кровью. Йомуды снова не дали всадников для большой ханской войны на Севере. Тогда хан закрыл каналы. Йомуды открыли воду силой, и хан наказал их. Все хивинское войско прошло по их землям, и сейчас живые бегут сюда. По дороге хивинцы напали и на балханских теке. Хан сказал, чтобы между Бешеной рекой – Джейхуном и землями шаха не осталось ничего живого.

Это рассказывал Дурды-хан, и голос его был спокойным. Он понимал хана Хивы.

Как принять беглецов? Голодные и жадные, они ничего не принесут с собой. И, пройдя Черные Пески, остановятся ли хивинские всадники на виду у Хорасана?

Каждый говорил, наклонив голову к Сеид-хану... Пусть идут на Мангышлак. Пропустить, пусть идут в земли курдов. А хан Хивы не посмеет тронуть людей, которые служат льву Ирана. Молчал лишь Дурды-хан. Поэт слышал, что в горах уже тайно перехвачены две сотни йомудских кибиток. Снова на невольничьих рынках Измира и Дамаска появятся бритые туркменские головы.

Жизнь темная, жуткая, и не видно в ней просвета. Аллах проклял эту землю. И поэтому можно петь лишь о воле рока. Нечего волновать людей несбыточными мечтами. Все на свете преходяще. Рабом или шахом

родится человек – его ждет могила. Она ждет и поэта. Все чаще думал он теперь о смерти, и губы его шептали красивые и безнадежные слова.

Такие слова из века в век повторяли здешние поэты. А когда им становилось невыносимо тяжело, они начинали петь о радости минуты, о счастье быть с любимой, пить запретное вино и погружаться в мрак пьяного небытия...

Сеид-хан по установившемуся обычаю выслушал всех. Потом принял решение. Да, пусть идут куда хотят. Не пускать йомудов в гокленские селения под страхом смерти и не давать им ни воды, ни лошадей. Объявить об этом во всех аулах. Пусть видит хан Хивы, что нет у нас с ними ничего общего.

Сеид-хан не успел закончить, как его перебили.

– О мудрый повелитель!– вскричал Караджа-шахир.

Поэт, уйдя в свои думы, не заметил его прихода. Круглый, гладкий, с жирным холеным лицом и черными глазами, Караджа-шахир был похож на бойкого преуспевающего купца из Тавриза. Он занимался самой постыдной торговлей – торговлей словом. Поэт помнил его еще красивым мальчиком, который умел петь хорошие песни. Но Караджа-шахир еще в пятнадцать лет понял мудрость жизни, которую до седых волос в бороде не мог понять он. Сейчас у Караджа-шахира три дома в городе и добрых пять или шесть тысяч овец в горах. Правда, он совсем разучился владеть словом. Но зачем это ему; за кусок хлеба и крышу над головой сочиняют для него хорошие песни другие люди. И на советы правителей и вождей родов его зовут уже много лет. А поэта, чье слово знают в Хиве и в Багдаде, позвали только сейчас.

Почему же они наконец позвали его? Нет, неправда, он ведь, как и раньше, пишет прекрасные стихи. Но писать почему-то стало труднее, он долго не может найти слово, злится на себя, на всех. Все чаще он уже не ищет этого слова, а пишет обычное.

Может быть, это старость. Но не такой уж он старый. Или... мешает, что он понял наконец простую мудрость жизни? Рано или поздно ее начинают понимать все, даже поэты... Почему же его стал звать Сеид-хан на свои советы?!

Ели плов из розового ханского риса. Потом слушали песни Караджа-шахира. В них было много одинаковых женщин с тугими толстыми ногами, розовым телом и длинными змеями-косами. Пел он, смачно причмокивая, как будто расхваливал этих женщин для продажи. У старого Хошгельды-хана изо рта капали слюни.

Сеид-хан на прощание милостиво пошутил с поэтом. И поэту снова стало приятно...

Он шел к своему дому и думал об этом. Да, ему стало приятно. Как все же слаб человек!

На улицах былолюдно. Город готовился к завтрашнему базару: ехали груженные арбы, гнали скот. У городского водоема дорогу поэту пересекла красивая армянка с кувшином на голове. Он посмотрел ей вслед и вздохнул. Раньше, видя красивую женщину, он расправлял плечи и ловил ее взгляд. Ему нравилась жизнь. Он считал, что аллах поступил мудро, создав ее такой. Теперь при виде женщины он как-то сразу ощущал грузность своего тела, седину бороды и стыдился самого себя. В молодости он привык к быстрым женским взглядам, внезапно вспыхивающему румянцу на их лицах, ответным улыбкам...

Пройдя вверх по улице, поэт остановился передохнуть. Тяжело поднималась и опускалась грудь, сжималось и ныло сердце. Уже два ила три года чувствовал он эту тупую боль в груди.

Жил он на окраине, в ауле, где всегда селились туркмены. Узкие, пыльные улицы города не нравились им. Там жили тюркские, иранские, армянские купцы, сборщики пошлин, писцы, менялы. Лишь совсем обедневшие или изгнанные из своих родов туркмены шли в город. Сдавленные высокими дувалами, оглу-

шенные непривычным шумом и суетой, они быстро чахли, начинали кашлять кровью и умирали, тоскуя по тишине песков.

Зато здесь, на окраине, им было легче. Отсюда видны были голые красные горы, а через ущелья ветер приносил родные запахи емшана, горькой колючки и раскаленного песка. Да и дома здесь строились дальше друг от друга. Они были сделаны из вязкой казенной глины, с узкими щелями для света. Но возле каждого дома стояла крытая шерстью легкая кибитка. Огромные желтые собаки с квадратными мордами стерегли покой семьи.

Каждую осень кибитки разбирали, грузили на верблюдов и уходили на север, в Черные Пески. Оставались лишь самые бедные в роду, кому не нужно было заботиться об овцах и верблюдах. Они уже навеки связали себя с землей и копались в ней, как черные жуки.

Таким был сосед поэта – Сахатдурды. Он и сейчас работал возле своего дома. Поэт остановился и долго смотрел на земледельца. Стоя по колено в воде, тот выбрасывал лопатой мокрую серую землю, перекрывая в нужных местах арык... Это был совсем другой мир, ничем не похожий на мир Сеид-хана. Сахатдурды нисколько не интересовало, кто будет правителем города: Какабай-ага или Сапарли-хан, который хочет занять его место. Он знал только, что, когда едет правитель, лучше убираться с дороги.

Но при этом он родственно связан с Ходжамурадом-ага. Ведь Сахатдурды тоже принадлежит к этому святому роду. Но он не купец и не ишан. У него нет даже лошади. Когда надо защищать интересы рода, ему дают коня богатые родственники. Но скоро сосед выбьется из беды. Сам Ходжамурад-ага берет его дочь в жены.

А вот и девочка. Ловкими движениями wygrебает она горячую золу из тамдыра. Как красивы и быстры ее движения! Поэт и не заметил, как выросла дочь соседа. Она повернулась и глянула в его сторону такими глубокими черными глазами, что страшно смотреть в

них. И какая-то неженская смелость в ее взгляде. Нет, не у газели такие глаза. У газели они красивые, но пугливые и бездумные.

Уже много лет самых красивых женщин забирает себе род Ходжамурад. И никогда еще ни одна женщина не ушла из этого святого рода.

Девушка прошла к дому, и он заметил на шее у нее кольцо из серебряной проволоки. Значит, она уже обручена. Никто, кроме Ходжамурада-ага, не станет теперь ее мужем...

Дома он сел за работу. Тонким подпилком резал он темноватый серебряный диск. Гульяка – нагрудное украшение женщины – была почти готова. Причудливые разводы и узоры расходились от середины круга. Оставалось вытравить отверстие и вставить прозрачные багряные камушки, которые привозят купцы с берегов Кульзума – Красного моря.

Он был хорошим мастером по серебру, но не любил свою работу. Она требовала усидчивости и терпения, а он с детских лет был нетерпеливым. Но за песни и стихи, которые знали все, не платил никто. Один убыток приносили они поэту. Он был ученый муллой, познавшим свет духовной науки в знаменитом медресе Ширгази. Только молитвы о браке люди почему-то старались заказывать муллам, не сочинявшим стихов. Их молитвы казались вернее.

Немного поработав, поэт отложил гульяку в сторону и взялся за ножны от боевой сабли. Сверху донизу были они изрезаны чудесными узорами, перевитыми тонкими замысловатыми линиями. Они чем-то напоминали его стихи: такие же плавные, выразительные, полные глубокой внутренней силы. На стыках узоров сверкали дорогие камни, но не красные, а черные и синие. Это были ножны от его сабли, которая переходила из рода в род, пока не пришла к нему. Зачем ему сабля и ножны? Он вспомнил родовую заповедь. В бою эта священная сабля может стать на локоть длиннее, чтобы нанести

последний удар врагу истинной веры. Кому он передаст ее, если в доме его не слышно детского крика?

Но это была работа для души. Очень уж не любил поэт работать на заказ. Поэтому он отложил в сторону гульяку и принялся вырезать узор на ножнах.

Равномерно и тихо двигался по послушному металлу подпилочек. Мысли постепенно отвлекались от всего, что его мучило.

Наступил час вечерней молитвы. Он долго бездумно стоял и не мог сосредоточиться. Губы его шептали принятое обращение к аллаху, а мыслей не было. Снова тяжело ныло сердце.

Ночью он лежал с открытыми глазами и смотрел в откинутую дверь кибитки на небо. Как сложен мир, который казался ему раньше таким простым. И что такое мир? Он изменчив, как бегущая вода. Каждый видит его по-разному. У его соседа Сахатдурды один мир, у него самого – другой, у Сеид-хана – третий. Какой же из них настоящий, созданный аллахом? Он знал, что богохульствует, гнал от себя грешные мысли, но они приходили снова и не давали ему спать.

Никогда еще не чувствовал он себя таким слабым, жалким и беспомощным. Не было просвета в этой жизни. Волей аллаха послана она как испытание людям, и ей нужно покоряться.

На следующий день к нему в гости пришел Мухамед Порсы, помощник правителя города. Он ел мясо, аккуратно поддерживая его куском лепешки, и умно расхваливал поэта...

Они не любили друг друга. Мухамед сам когда-то пробовал стать шахиром. И как всякий неудачник, он жестоко ненавидел людей, которым дал аллах высокое искусство владеть словом. Ничего нет страшнее и мучительнее этой ненависти. Как змея, сосет она и гложет сердце завистника, и нет ей утоления. А поэт просто не любил бездарных людей.

Сколько подлостей делал ему этот тощий желтолицый человек! Но вот сейчас он хвалил поэта, и тому это

нравилось. Не таким уж ничтожным начинал казаться ему Мухамед. Поэт снова подумал о слабости человека.

Зачем все же пришел к нему этот хитрый Порсы? Прошло то счастливое время, когда поэт без разбора верил людям.

Мухамед издалека подошел к делу. Он долго говорил о мудрости Сеид-хана, о его благородстве. Имея дар, он обязательно прославил бы его в стихах. Сейд-хан, конечно, оценил бы это. Он простил бы даже песни, приписываемые поэту. У кого не бывает заблуждений в молодости! Кстати, скоро Сеид-хан устраивает большой той. Если бы спели там хорошую песню, хозяин остался бы доволен.

Поэт вежливо поблагодарил гостя за совет. О, он понимал этого человека! Как хотелось ему, чтобы поэт при всех показал, что он ничем не лучше его самого!

И опять после ухода гостя тяжелой волной навалилась грусть. Не та прозрачная грусть, от которой сладко ноет сердце, а мутная, безысходная... Что же, Мухамед умнее его. Так же, как Караджа-шахир, он раньше и глубже понял смысл жизни. Не имеющий никаких достоинств, этот человек лучше устроил свою судьбу, чем он, владеющий высоким даром аллаха. И что такое ум? Самым умным человеком в этих краях считался когда-то его отец. Но поэт хорошо помнит шемахинского торговца Мустафу, который каждый раз обманывал отца в цене и локтях при покупке тканей. Кто же из них был умнее – невежественный Мустафа или его отец, постигший глубины науки ислама и обучавший других? Мустафа лишь усмехался про себя. Отца поэта, конечно, он твердо считал самым большим дураком в городе.

Но что же делать? Как он сможет написать что-нибудь доброе в честь Сеид-хана? Поэту сразу ярко представилось: он идет по улице, и люди смотрят ему в глаза. Горячей волной прилила кровь к лицу. И тут же увидел другие глаза: Какабая-ага, Сапарли-хана, Мухамеда. Какое в них тайное самодовольное торжество!

А какие разговоры пойдут по аулам – ведь той будет большим.

Нет, не напишет он! Пусть не думают, что у благородного волка выпали зубы! У него снова сжались кулаки. Он вскочил на ноги и заходил по мягкой кошме. В голове лихорадочно рождались гневные, едкие слова. Но поэт обманывал себя. В глубине души он уже знал, что напишет стихи к празднику Сеид-хана. Он знал это, как только заговорил Мухамед. Он стал ходить медленнее, остановился, постоял немного и сел.

Ночью он опять лежал с открытыми глазами и уже прямо думал о том, как писать. Не будет он, конечно, славить хана, валяясь в прахе у ног его, как Караджа-шахир. Просто он опишет охоту, умение хана терпеливо ждать в засаде хищного зверя, твердость его руки. Это не будет ложью: говорят, Сеид-хан – хороший охотник...

Утром он выпил чаю, съел лепешку с виноградом и сел писать. Два раза откладывал он жесткий свиток и снова возвращался к нему. Потом дело пошло лучше. Он увлекся, как увлекался иногда обычной резьбой по серебру. Ровные красивые слова текли из-под белого пера и сами вели его. Так раньше не было. Он писал и одновременно как бы со стороны наблюдал за собой, за своими мыслями, ощущениями...

Все это было не так трудно, как казалось. Он перечитывал, и, ему даже нравилось написанное. Промелькнула мысль: пускай Караджа-шахир попробует так написать.

Писал он весь следующий день. И увлекался все больше, не переставая холодно наблюдать за собой. Из всего написанного могла родиться мысль, что человек, умело и храбро убивающий зверя, такой же уверенной и мудрой рукой правит людьми. Он заколебался – развивать ли дальше эту мысль? Но скоро утешился; услышав его стихи, Сеид-хан сам захочет быть хорошим и добрым. Но все же поэт решил, что не прочитает хану последние стихи.

Это случилось внезапно, как удар грома в горах. Был праздничный солнечный день. Спокойным, размеренным шагом шел поэт к дому Сеид-хана. В руках его был тугой свиток со стихами. А другой, поменьше, в котором славился хан – правитель людей, он спрятал под халатом. Но достать его можно было сразу.

И вдруг наступила тишина. Такая тишина, что перестало биться сердце. Поэт медленно повернулся и увидел их... Они ехали посередине улицы, ряд за рядом. Осторожно опускались в мягкую дорожную пыль конские копыта. И на каждой лошади, по одному и по двое, сидели мальчики без рук.

Это было до того противоестественно, что крик замер в горле. А они все ехали, безмолвные йомудские мальчики. Там, где у всех запястья, у них краснели ключья ваты. Всадники хана Хивы обрубили им руки, чтобы никогда не смогли они держать кривые сабли.

Сколько их было: десять или сто?.. Кто мог пересчитать их! Ему казалось, что всем детям на земле отрубили руки, и они едут сейчас перед ним по этой пыльной улице нескончаемыми рядами... Как всегда, высоко несли свои головы измученные до смерти благородные кони. А дети сидели на них тихо, с сухими, широко открытыми глазами...

Вел их высокий, совсем юный текинец. Он тихо ехал впереди на черном ахалском коне. Красный полосатый халат его сверху донизу вспороли страшные сабельные удары. Он весь был залит кровью, своей и чужой. В крови было лицо, и даже белый высокий тельпек был в красных пятнах. Но ехал он ровно и спокойно. Только горели черные глаза.

Один из всего рода отбился он от хивинских всадников. На старом заброшенном колодце нашел умирающих детей, перевязал их раны и повел за собой. По дороге к ним пристало несколько уцелевших от хивинцев човдурских и текинских семей. Днем они лежали в горячей пыли барханов. Когда становилось темно, текинец по очереди усаживал мальчиков на

коней. Ночь за ночью в призрачном свете луны двигались через Черные Пески скорбные молчаливые тени. И сейчас они пришли к людям...

Молча стояли люди вдоль дороги. И ни одна рука не притронулась к сердцу, чтобы произнести слова приглашения. Они знали, что значит нарушить приказ наместника Каджаров.

Вот дрогнул и зашатался конь, на котором сидел безрукий мальчик. Другие лошади остановились. Они беспокойно поводили ушами, не понимая, что происходит. Лошади не помнили случая, чтобы после тяжелой дороги в песках их не поили и не кормили в зеленых селениях. Лишь безрукие дети ничему не удивлялись и напряженно смотрели куда-то вдаль.

Как будто легкий ветер прошел по толпе. Сотни твердых мужских рук, не спросясь разума, потянулись к падающему калеке-ребенку. Но тут же рванулись обратно: каждый вспомнил, что рядом, за спиной, стоят свои дети. Прямо перед людьми горячили свежих, сытых коней Сеид-хан и его гости. С праздничного тоя прискакали они сюда, прослышав об этих мальчиках. В высоких бархатных седлах сидели маленький Дурдыхан, налитый тяжелой кровью огромный Какабай, синегубый старый Хошгельды-хан...

Лошади постояли и медленно тронулись с места. В душной тишине едва слышно захлопали мягкие удары копыт по теплой пыли. Падающая лошадь последними отчаянными усилиями пыталась оторвать колени от земли. Она билась на пыльной дороге, и в кротких безумных глазах ее стояли слезы.

И вдруг прямо через дорогу прошел человек. Он подошел к лошади и снял с нее больного ребенка. Потом, не обращая внимания на Сеид-хана, повернулся и посмотрел на людей. И люди сразу бросились к детям. По двое, по трое они уводили их в разные стороны. Живое, яркое солнце светило над землей!..

Сеид-хан молчал и только, сощурившись, смотрел на поэта. А поэт просто забыл про него. На руках у

поэта, запрокинув голову, лежал больной ребенок. И что по сравнению с этим безруким мальчиком все остальное в мире!

Сеид-хан и его гости, не зная, что делать, не трогались с места. Лишь Дурды-хан не спускал с поэта глаз. Но он не смел ничего сделать. Когда последнего безрукого ребенка увели с дороги, Дурды-хан начал яростно хлестать камчой собственного коня. Он рвал страшными ударами гладкую лошадиную спину и не отпускал поводья. Обезумевший конь храпел и крутился на одном месте. Ключья кожи и кровь падали в мягкую пыль. Белая пена закипала на лошадиной морде.

Мальчик тихо плакал и метался в тяжелом сне. Но какой сон мог присниться ему страшнее жизни? Поэт не помнил, сколько времени сидел он так и молча смотрел на спящего ребенка. Неслышной тенью входила и выходила его жена. Женщина с помутившимся разумом, она досталась ему после смерти старшего брата. Когда его любимую, что Менгли, отдали другому, он не представлял себе, что может быть на земле большее горе. Сколько жгучих стихов написал он об этом страшном горе! Но разве мог он себе представить тогда настоящее человеческое горе? То, что явилось сейчас к нему в дом с безруким йомудским мальчиком?

После многих лет скитаний он снова встретил Менгли. В груди шевельнулось что-то, зануло сладкой болью. Но не эта самая обычная женщина с узким лбом и широкими скулами была тому причиной. Просто он вспомнил молодость. А потом он каждый день встречал Менгли, и в груди его было пусто. Где-то в юности затерялась стройная темноглазая гокленка, единственная на свете...

А вот это горе не пройдет даже с его жизнью. Мальчик плакал и водил во сне руками. Ему казалось, что он хватается ими что-то.

Комок подкатил к самому горлу поэта. Он поднес руку к глазам и увидел, что они влажные. Но на этот раз поэт не вскочил с места и не сжал кулаки. Он медленно придвинул светильник и взял перо. Глухая ночь была вокруг. Прямо перед ним горел и метался на одеяле больной ребенок. А он писал, и, казалось, само его сердце исходило словами. И он понял, что никогда еще не был откровеннее с аллахом.

Слезы и кровь текут по земле. И Фраги плачет с вами, люди. Это слезы Фраги и кровь Фраги. Потому что он – человек...

Он сам не заметил, откуда пришло это слово: Фраги – Разлученный со счастьем. Но никаким другим не назовет он себя отныне. Ведь рядом был безрукий мальчик.

И Фраги не только плакал. В раскаленных словах обнажал он ужас жизни... Поэт не мог с ним мириться...

Повеял утренний ветер. Ребенок успокоился и дышал ровнее. Откинув руку с пером, Фраги смотрел на пробуждающийся мир.

Что-то твердое давно уже давило ему в бок. Он сунул руку под халат и вытащил свиток со стихами в честь Сеид-хана. Какими маленькими и ничтожными показались ему сейчас мысли и сомнения, мучившие его в последние дни! Да, высокий дар аллаха для человека одновременно и наказание. Как бы низко ни хотел сон согнуть голову, талант выдаст его. Дар аллаха сильнее слабого человека. В этом проклятие таланта... И в чистое утро, сидя на простой белой кошке возле безрукого ребенка, Фраги всей душой возблагодарил аллаха за это его наказание.

Дрожа и давясь, ел мальчик теплую лепешку из его рук. Он далеко вытягивал тонкую шею и старался откусить побольше. За дверью послышался стук копыт. Зарычала собака. Мальчик сжался. Фраги вышел и увидел молодого текинца. Он почему-то был уверен, что текинец придет к нему, и не удивился.

Сейчас, когда джигит обмыл свои раны, он казался совсем юным, почти мальчиком. Но он был громад-

ного роста, могучий и статный. В спокойных глазах его чувствовались сила и решимость. Это был мужчина, настоящий юный батыр. Фраги протянул ему руку и пригласил в дом.

Они почти не говорили друг с другом в эту первую их встречу. Текинец сказал, что будет пока жить у одного знакомого их семьи. Молча пили чай. Потом Фраги взял свиток и начал читать то, что написал этой ночью. Только ему, юному батыру, и мог бы он сейчас читать свои стихи. Гость никак не выражал своего отношения к ним. Но Фраги верил его спокойным глазам. Люди с такими глазами понимают поэзию...

Когда гость уходил, мальчик вдруг всхлипнул и прижался головой к его халату. И то, что сейчас увидел Фраги в глазах молодого текинца, огромной радостью отозвалось в сердце. Значит, есть на земле большие, сильные люди, которые могут любить и жалеть!.. А ведь он уже перестал верить в людей.

А когда они вышли во двор, случилось то, что каждый миг случается на земле. Молодой джигит и дочь его соседа Сахатдурды увидели друг друга. Фраги почувствовал это сразу. Лишь на одно мгновение встретились они глазами: юный батыр и девушка. Но могучая таинственная сила сразу связала их. Разве не самим аллахом была предуготовлена их встреча!

Девушка только на мгновение взглянула на джигита и сразу же быстро отвернулась. Она продолжала ломать сухие ветки саксаула, но движения, поворот плеч, все они стали совсем другими. В спокойных до сих пор глазах текинца застыло удивление. Даже рот был по-мальчишески приоткрыт. Как всякая женщина, она была мудрее его и поняла все сразу. А он еще ничего не понял...

Текинец сел на коня и еще растерянно оглянулся. А она посмотрела на него лишь тогда, когда он поскакал по пыльной дороге...

Ему вдруг до боли в груди захотелось увидеть Менгли. Она вспомнилась ему такой, какой была в их первую встречу. Неужели этот больной ребенок разбудил

дремавшую в нем жизнь?! Все сегодня было не так, как в последние годы.

Мальчик снова заснул, Фраги погладил его по голове и вышел. Он не знал точно, куда и зачем идет. Но мысль рисовала глухой темный дувал, узкую калитку, дом, где живет она уже много лет.

Люди и раньше почтительно здоровались с поэтом. Но сегодня Фраги, оторвавшись от своих дум, увидел в глазах людей что-то необычное, давно забытое. Какое-то особенное уважение было в их приветствиях. Что же случилось? Или все просто кажется ему не таким, как всегда? И вдруг он все вспомнил: падающего ребенка, сощуренные глаза Сеид-хана, пену на губах Дурды-хана... До сих пор он не думал о том, что сделал.

Несколько раз проходил он мимо калитки в дувале. Никто оттуда не выходил. Обругав самого себя, Фраги решительно повернулся и пошел домой.

Идя через город, он встретил Мухамеда Порсы. Тот сделал вид, что не заметил поэта. Лишь по тонким губам его скользнула улыбка. Так, наверно, улыбались бы змеи, если бы могли.

Святой Ходжамурад-ага стоял возле лавки, где продавались женские украшения. Он ответил на слова приветия, но тут же холодно отвернулся. Это был совсем плохой знак. Ходжамурад-ага считал для себя обязательным вежливо улыбнуться каждому человеку.

Да, теперь его не оставят в покое. Они не посмотрят на то, что он мулла. Но Фраги почему-то совсем не боялся сейчас гонений.

Когда он переходил мост над мутной речкой, сзади послышался лошадиный храп. Конь прижал его к перилам. Он должен был ухватиться за них, чтобы не упасть в воду. Прямо над собой он увидел бешеные глаза Дурды-хана. Маленький хан выругался и, чуть не задев его гибкой камчой, ускакал.

И тут Фраги испугался. Холодным потом залило спину. Но испугался не за себя. Ему вспомнились молодой текинец и девушка. Он вдруг ясно увидел ужас

их положения. Гокленка и текинец, да еще из презренного рода бывших рабов. А она из самого рода Ходжамурад. И обручена! Ни на миг не появилась мысль у Фраги, что они могут забыть друг друга. Ведь он был поэт...

Текинец пришел на следующий день. Так же молча слушал он поэта.

И поэт забыл в эти дни обо всем на свете. Мальчик и стихи, которые он писал ночами, сидя возле него, были жизнью Фраги. Ребенок кричал по ночам.

Каждый вечер читал Фраги свои стихи юному батыру...

Вот лежат они, Черные Пески. Открытые всем ветрам, перемешанные с горькой солью, опаленные неистовым солнцем, как проклятие аллаха посланы они людям.

Самый несчастный народ на свете живет в этих песках. Рвут друг друга на части коварная Хива, хитрая Бухара и свирепый Иран. А самые страшные раны остаются на теле этого народа. За право пить воду его всадники идут впереди хивинских, бухарских и шахских отрядов. Чтобы не умереть от жажды, брат убивает брата. Текинцы, йомуды, гоклены, салоры на одном родном языке проклинаят друг друга. И на том же языке плачут по мертвым сыновьям туркменские матери.

Не от ханов ждать спасения. Потерявшие облик человеческий, жадные и похотливые, они продадут отца за один милостивый кивок шаха или эмира. Слава тому батыру, который поднимет меч объединения!

Втянув голову в худенькие плечи, слушал стихи безрукий мальчик. Фраги увидел, что губы его повторяют снова. И в один из вечеров, когда они сидели так втроем, Фраги взял дутар, и мальчик тихо запел его песню.

Горло сжалось у обоих мужчин. Чистый, слабый голос ребенка пел горькие слова поэта. Казалось, сама эта бедная, измученная земля, такая неприветливая и родная, плачет в песне безрукого мальчика.

Но вот голос его стал крепнуть. В нем слышались железо и ярость мужественных стихов Фраги. И сабли сами вырывались из ножен, от грозного топота коней сотрясались Черные Пески, мщение и смерть настигали врагов!

А жизнь шла путями, намеченными аллахом. Ночью, выйдя к арыку, Фраги увидел две тени.

Маленькая яркая луна лила свой чистый свет. В белой таинственной мгле лежала спокойная земля. Бесшумно переливалась вода в арыке. Для чего-то прекрасного создал аллах эту лунную тревожную тишину.

Не таясь, в тени дерева, стояли и смотрели друг на друга текинец и девушка. Поэт знал, что они пришли сюда, не договариваясь. Ни одного слова в жизни не сказали еще они. Просто им нельзя было не встретиться.

Так и стояли они молча, боясь бога и всем своим существом благодаря его за дарованную жизнь. Какая молитва аллаху сильнее той, которую излучали их глаза?.. Было так тихо на земле, что он ясно слышал, как бьются их сердца. А может быть, это билось собственное сердце Фраги...

Кто имеет право мешать им? Поэт повернулся и медленно пошел к дому...

А днем он снова ходил у глухого дувала, и тревожной болью отдавался в сердце каждый стук калитки.

Фраги совсем забросил свое узорное серебро и только писал. И мальчик повторял во сне певучие слова.

В городе знакомые прятали глаза. А если останавливались для разговора, испуганно озирались по сторонам. Лишь простые люди окраины заходили сейчас в его дом.

Он снова пошел к арыку. Сидя на покато́м берегу, текинец держал руки девушки в своих и говорил прекрасные, волнующие слова. Сердце поэта дрогнуло. Эти слова шептал он своей Менгли. Юноша не знал, чьи это стихи. Все влюбленные уже много лет считали их своими.

Сейчас луну закрывали синие тучи. Когда она на миг показалась, девушка подняла кверху глаза. В лунном свете блеснула вокруг ее смуглой шеи тонкая белая полоса. Это было кольцо обручения...

Спать он не мог. Со своей вечной Менгли, с самой юностью виделся Фраги в эту ночь там, у арыка. Он снова переживал горечь разлуки, безумно ревновал ее к другому, сильному и богатому. Рыдания душили ему горло, как и тогда, перед вынужденной поездкой в Хиву. Лихорадочно вспоминая, повторял он забытые строки.

Нет, что-то не так сделали люди. Не рукою аллаха были написаны слова Корана о женщине. Любовь, мир, жалость – все это олицетворено в ней богом. И пока будет она молчать в присутствии мужчины, не будет в мире добра и справедливости.

В этот раз он встретил Менгли. Она спокойно смотрела на него: обыкновенная, измученная заботами сорокалетняя женщина. Нос, рот с закушенным платком молчания, тяжелый борык на голове – все такое же, как у тысяч других.

Но что это? Увидев его глаза, юные глаза Фраги, она вздрогнула. Рука ее прижалась к сердцу. Знакомые припухлые губы выпустили платок. Широко открылись и чудесно заблестели большие глаза. Перед ним стояла его Менгли! Ничего, что возле дорогих глаз морщины, что щеки не горят молодым румянцем, что волосы стали серыми. Это была она. Они стояли и смотрели друг на друга, как двадцать пять лет назад. Потом, не сказав ничего, разошлись. Слова им были ни к чему.

Время бежало незаметно, как в юности. Фраги знал, что черные тучи сходятся над его головой, но не хотел думать об этом. Что для мира его маленькая судьба!

Он писал, читал написанное, слушал, как наливается оно живой болью и слезами в голосе маленького безрукого певца. Ему казалось, что они вечно знали друг друга: поэт, мальчик и батыр. Мальчик как-то вытянулся за эти дни, печать глубокого страдания

сделала его старше. А батыр, большой и сильный, был спокоен. Но кто лучше Фраги знал, что скрывается под этим спокойствием!

Выходя к арыку, он не видел их в лунном сиянии. Они уходили в тень дерева. Так и должно было быть...

В последний раз Фраги показалось, что не один он наблюдает за влюбленными. Когда он шел обратно, от кустов с этой стороны арыка метнулась чья-то тень. Люди снова вмешивались в дела бога...

Впервые юный батыр опустил глаза. Уши его горели, и он не знал, куда деть свои руки: большие, железные руки воина. Но вот он посмотрел прямо в глаза поэта и попросил выслушать его просьбу. Фраги знаком остановил его и молча кивнул головой.

Долго сидел он так, глядя в огонь светильника, а текинец, сдерживая дыхание, ждал. Наконец Фраги спросил, есть ли у него поручитель. Юноша открыл рот. Откуда этот человек знал, о чем он будет просить его? Наверно, он святой. Но Фраги был только поэтом...

У текинца был поручитель, лихой човдур, приставший к нему в пустыне после хивинского разгрома. Но где найти поручительницу краденой невесты? Какая женщина решится на это?! Фраги молчал и смотрел в огонь светильника. Он знал такую женщину.

Они сидели перед ним на праздничном ковре, смущенно отвернувшись друг от друга. Рядом с юным текинцем присел човдур, рослый мужчина со смелыми глазами. А со стороны девушки сидела Менгли. Не колеблясь, пришла она по зову поэта.

Фраги надел свой самый лучший зеленый халат. На голове его была ровно закручена снежно-белая чалма. С серьезной торжественностью задавал он положенные вопросы. Кто этот юный джигит? Кто был его отец? Кто был дед? Из какого он рода, и не было ли в этом роду недостойных? Не совершал ли сам он чего-либо не достойного мужчины?

Отвечал свидетель-поручитель. Он не скрыл ничего. Дед текинца был рабом. И до седьмого колена в его роду не было свободных. Сам же он достоин называться мужчиной. Фраги поднял руку и сказал, что труд раба так же угоден богу, как и труд свободного.

Потом отвечала Менгли. Да, отец, и дед, и прадед этой девушки из святого рода Ходжамурад. К самому пророку уходят его корни. Но девушка сорвала со своей шеи кольцо обручения... Фраги увидел, что тонкая серебряная проволока оставила на шее девушки розоватую полоску. Он сказал, что так было угодно аллаху. Три раза обращался он по очереди к ней и к нему. Хотят ли они жить вместе по всем законам, установленным богом. И все три раза, как и следовало по закону, за них отвечали поручители. Тогда Фраги соединил их мизинцы и обратился к аллаху.

Никогда еще не делал он этого с таким самозабвением. Немало в жизни соединял он супружеской нитью стариков с молодыми, красивых с уродами, да и молодых с молодыми. Но делал это без вдохновения. Даже ника, молитву о браке, читал поэт скороговоркой, пропуская целые строфы...

Но сейчас он почему-то волновался. Пропустить одно слово в молитве казалось ему кощунством. Каждое слово бога, соединяющего этих двух влюбленных, хранило свой глубокий смысл.

Ровно горел светильник. Затаив дыхание, сидели люди. Лишь Фраги вполголоса говорил с небом. Именем своего доброго, мудрого человеческого бога утверждал он вечную связь этих двух жизней. Как никогда, был Фраги чист перед ним.

Люди перевели дыхание. Протянув вперед руки, он разъединил пальцы и объявил их мужем и женой. Теперь и безрукий мальчик был допущен в комнату. Човдур внес плоский казан жареного мяса. Из середины его достал он полусырое сердце барана. Оно было разрезано на две равные половины. Одну из них дали текинцу, другую – девушке. И, скрепляя свой союз по

древнему обычаю Черных Песков, они съели это сердце, которое только что было живым.

Они вышли на дома. Дул осенний порывистый ветер. Тревожное небо было закрыто тучами. Два оседланных коня с курджумами у высоких степных седел стояли возле кибитки. Текинец и девушка поблагодарили всех, сели на коней и, стараясь не шуметь, уехали в ночь.

Човдур попрощался с поэтом, сел на своего коня и поскакал в другую сторону. Фраги повернулся и прижал руки к груди. Так же молча ответила ему Менгли. Потом она погладила по голове мальчика и, закрыв рот платком молчания, пошла к своему дому.

Долго еще стоял Фраги прислушиваясь. Где-то в предгорьях плакали шакалы. Он привлек к себе мальчика и вошел в опустевшую кибитку.

Утром на улице послышался глухой шум. Фраги вышел и увидел всадников. Человек сорок горячили коней возле дома Сахатдурды. Это был весь род Ходжамурад.

Степным растянутым строем помчались они к горам мимо его дома. Ни один не повернул головы в сторону поэта. Фраги стоял и молча смотрел им вслед. Он знал, на что идет. Ни с ним, ни с его детьми и внуками не заговорит теперь человек из святого рода. Никому не прощал этот род своих обид. И никто никогда еще не наносил такого страшного оскорбления роду Ходжамурад!

Но что же они хотят делать? Ведь все уже знают, что слово бога связало текинца с девушкой...

Не легла еще пыль на дорогу, как новый отряд пронесся в сторону гор. У Фраги сжалось сердце. Он узнал гуламов – собственных стражников Сеид-хана, настоящих зверей в человеческом облике.

В городе встревоженно перешептывались. Когда он приближался, замолкали. На него смотрели с тайным ужасом. Люди не представляли себе, как можно совершить то, что он сделал. Теперь уже никто не

подходил к нему. Молча проходил Фраги через город, не глядя на людей. Он понимал их и прощал.

На третий день весь город вышел к мосту. Люди смотрели вдаль и ждали. Мутная, пыльная мгла стояла в холодном осеннем воздухе. Плотной колючей стеной несло ее из Черных Песков. Туркменским дождем называли в городе этот слепой песчаный ветер.

Всадники появились из темной пыли, как будто их несло вместе с нею. Сейчас они ехали сплошной массой, конь к коню. У людей были злые, оскаленные лица. Они везли шесть трупов.

Мертвых положили возле чайханы, прямо на дощатый настил. Широкими красными полосами были иссечены их халаты. У старшего брата Сахатдурды чернело разорванное горло...

Они догнали беглецов к вечеру, на выходе из ущелья. Текинец повернул к ним коня. В страшном клубке сбились на горной тропе всадники. Когда они разъехались, двое остались на камнях. Снова бросились они к текинцу, и опять один остался лежать, разрубленный пополам.

Лишь в третий раз сумели они избежать его руки. Старший брат Сахатдурды набросил на текинца тонкий ременный аркан. Все, кто был там, навалились на него. А он, опутанный, бился на земле, подминая их своим могучим телом.

И вдруг ослабел тонкий ремень. Поднялись на дыбы испуганные кони. Та, о которой совсем забыли, молча бросилась к державшему аркан. Это был брат ее отца. Он свалился уже на землю, она все била его маленьким широким ножом.

Но в этот миг с звериным гиканьем налетели на них гуламы Сеид-хана...

Черный соленый песок мчался над землей. Их привезли к месту, где сходились дороги. Его отвязали от спины лошади, и он упал в пыль. Толстыми шерстяными канатами было опутано сильное тело текинца. Он молчал и смотрел вверх.

Потом раскатали плотную серую кошму и выбросили оттуда ее. Девушка сразу забилась, пытаясь разорвать, перегрызть веревку. Она каталась в пыли, и кровь текла из растертых веревками ран. Но когда их привязали спина к спине, она сразу успокоилась.

Сангсар-даш, Камень Проклятия, древний закон пустыни, осуждал их за это. Раз ею, обрученной, овладел другой, земля и небо отвернутся от них обоих. А людям остается одно: связать виновных и бросить на большую дорогу. И каждый, кто пройдет по ней, обязан во имя справедливости Черных Песков поднять самый большой камень и швырнуть в них. Так и умрут они, засыпанные камнями. И проклята будет самая память о них.

Но ведь эти двое были связаны словом бога! Не сильнее ли оно самых старых людских законов? Кому, как не роду Ходжамурад, знать это!

Сотни людей стояли в напряженном ожидании. Подъезжали и слезали с коней все новые люди из окрестных аулов. Толпа молчала. Только оборванный сумасшедший Мамед проклинал текинца. Он кричал, что всех этих теке и йомудов надо вырезать до одного, и нечеловеческие глаза его не могли на чем-нибудь остановиться. Люди слышали хриплый вой терьякеша¹ и ждали.

Но вот толпа заволновалась. Через мост от города рысью шли всадники. Это был Сеид-хан со своими людьми. Рядом с ним ехал сам святой Ходжамурад-ага. Они подъехали и остановились. Ходжамурад-ага неторопливо слез с лошади и сделал знак Сахатдурды.

Медленно вышел из толпы отец девушки, поднял круглый гладкий камень, размахнулся и бросил. Дочь смотрела прямо на него. Камень ударился в маленькую девичью грудь. Сахатдурды, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад и опустил руки... Ходжамурад-ага сдвинул брови, и уже несколько камней с разных

¹Терьякеш – человек, употребляющий терьяк – грубый наркотик, примешиваемый в табак.

сторон полетело в связанных. Сумасшедший Мамед подскакивал и радостно смеялся при каждом удачном ударе. Большинство камней не попадало в лежащих.

Вдруг те, кто уже размахнулся, застыли с камнями в отведенных руках. Толпа раздвинулась. Прямо напротив связанных стоял Фраги. На нем был все тот же зеленый халат и белая чалма на голове.

Люди пятились от него... Как он посмел прийти сюда?! Или этот неудачный мулла надеется, что белая чалма защитит его голову?

Но Фраги не надеялся ни на что. Он должен был прийти сюда с безруким мальчиком и видеть все с начала до конца.

Что для них слово бога! И что это за слово, которое так послушно воле этих людей!.. Все они смотрели на него: надменный Сеид-хан, тупой Какабай, слюнявый Хошгельды-хан, огромный Ходжамурад-ага. И со всех сторон глядели на него люди. Разные были у них глаза: злые и добрые, тупые и умные, мутные и честные. Прямо перед ним, как две черные звезды, блестели огромные девичьи глаза.

Только ровный гул холодного ветра стоял в воздухе. Чего они ждали от него? Чтобы он начал кричать, просить их, заклинать именем бога? Он знал, что все это бесполезно. Что им любые законы! Они не признали связанного им брака. Так они захотели. И мысли не должно появиться у людей, что можно безнаказанно нарушить их закон. И бог, их бог, всегда будет на их стороне. Ну, а его бог, добрый, человеческий?

Сам святой Ходжамурад-ага наклонился и поднял большой камень. Тяжело ступая, подошел он почти вплотную к ним и с силой ударил камнем в лицо текинца. Тот даже не посмотрел на святого. А Ходжамурад-ага зашел с другой стороны, снова взял большой камень и бросил его в лицо девушки. Дикий вопль пронесся над толпой. Десятки, сотни камней полетели в связанных. Текинец бешено заметался, головой и ногами загребая глубокую дорожную пыль.

Своим огромным телом он стремился прикрыть, защитить девушку от этих ударов. Но камни сыпались со всех сторон. Люда сразу озверела при виде крови. Пьяный от терьяка Мамед плясал и кривлялся. Он, кого не пускали на порог самого последнего дома, вдруг получил власть над жизнью и смертью двух людей. И он убивал их, как убивала бы связанного льва грязная, вонючая гиена. Рыча, вырывали друг у друга камни гуламы Сеид-хана.

Спокоен, как всегда, был лишь святой Ходжамурад-ага. Он поднимал камень за камнем и бил теперь одну лишь девушку. Громадный, злой, подлый старик убивал ее за то, что она не захотела его объятий.

Ветер усиливался. Все больше мутной соленой пыли нес он с собой. Фраги стоял и поверх этих беснующихся людей смотрел в грязное небо. Дрожа, прижимался к нему безрукий мальчик.

Связанные уже не двигались. А их все били и били камнями. Глухо ударялись они в неподвижные тела. Серая дорожная пыль слипалась от теплой человеческой крови. Только открытые глаза юноши были еще живыми.

Опрокидывая встречных, влетел в толпу маленький всадник. Это был опоздавший Дурды-хан. Человеческая кровь притягивала его. Раздавая удары камчой, он пробился к связанным и начал дико хлестать неподвижные тела. Тяжелый ременный конец камчи попал в открытый глаз текинца. Фраги опустил глаза и посмотрел на людей. И вдруг увидел, что все они смотрят на него. Прищурившись, смотрел на него Сеид-хан, гаденько улыбались глаза Хошгельды-хана, неприимимым был взгляд Ходжамурада-ага. Даже Дурды-хан, избивая мертвых, глядел на него. Но самой лютой, открытой, всепоглощающей ненавистью горели глаза Мухамеда Порсы! Да, ведь он был неглупым человеком, этот Мухамед. И никто лучше него не мог чувствовать сейчас свое ничтожество...

Но вот ускакал Сеид-хан со своими людьми. Толпа быстро начала расходиться. Те, кто бросал камни, как будто очнулись от пьяного сна. Теперь они не смотрели друг на друга и не знали, куда деть руки. Люди искали своих коней, спеша поскорее покинуть место убийства.

Скоро лишь четверо гуламов, присланных Сеид-ханом, остались на дороге. Они развели огонь и поставили на него чугунный кумган для чая. Один из них пнул ногой сумасшедшего Мамеда, который мешал им своими криками, и тот, жалобно воя, побежал к городу.

Заслонившись от ветра черными бурками, грелись у огня бородатые гуламы. Время от времени они поглядывали на поэта. А Фраги по-прежнему стоял, прижав к себе мальчика. Оба они не спускали глаз с высокой груды камней на дороге... Он так верил в спокойные молодые глаза юного батыра, что не мог поверить в смерть. Мысли гудели в голове, как этот холодный, свирепый ветер. Но ни разу не обратились они к небу.

Время от времени на дороге показывалась одинокая арба или всадник. Проезжий останавливал лошадей, искал камень и бросал его в кучу. С твердым стуком ударялся камень о камень.

Три раза еще в течение этого дня гуламы расстилали в пыли молитвенные коврики. Повернувшись лицом к Мекке, они стояли неподвижно, потом падали на колени и, выбросив вперед руки, прижимались лицом к земле. Фраги молча смотрел на них.

Холодная ночь накрыла землю. Ветер стал еще сильнее. Мальчик дрожал от холода, прикрывшись полой халата. Фраги еле стоял на ногах. Но они не уходили.

Когда потухли последние далекие костры в городе, старший из гуламов плюнул на груды камней. Все четверо сели на коней и уехали.

Затих грохот копыт по деревянному мосту, и они подошли к каменной груди. Камень за камнем начал Фраги сбрасывать с огромной кучи. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Мальчик, как мог,

помогал ему обрубками рук. Неверный, мятущийся свет догоравшего костра заставлял прыгать их тени: большую и маленькую...

Руки их стали липкими. Но вот рука Фраги почувствовала тепло! Большое, мощное плечо текинца было еще теплым. С невероятной силой дернул его к себе Фраги, и последние камни посыпались на дорогу. Он перерезал веревки, но холодное тело девушки нельзя было оторвать от живого. Рукояткой ножа пришлось разжимать ему пальцы текинца...

Немного прошло времени, пока догорели последние угли. Ночь стала еще глуше. Смазанные колеса не скрипели. Холодная луна то показывалась желтым пятном сквозь несущийся песок, то совсем исчезала. Когда Фраги поднимал на арбу текинца, он увидел в трех шагах человека. Лунное пятно посветлело, и он узнал своего соседа Сахатдурды. Но Фраги поднял на арбу и тело девушки.

Фраги взял лошадь под уздцы и повел прочь от города. Сидящий на арбе мальчик все время оглядывался. Не догоняя и не отставая, шел за ними человек.

Долго ехали они так. Потом Фраги остановил лошадь и лопатой начал рыть землю. Он посадил в яму мертвую девушку, засыпал и воткнул в холм палку с белой тряпкой. Они поехали дальше, но человек уже не шел за ними. Он остался у холма.

Когда они поднимались в гору, мальчик тронул за плечо Фраги и показал назад. Там рвался и качался на ветру яркий огонь. И хотя было очень далеко, Фраги узнал свой дом...

Долго стоял и смотрел он на дальний пожар. Потом снова тронул коня и, не оглядываясь, пошел вперед.

ЭПИЛОГ

Кончилась холодная зима. Старики не помнили столько ветра и снега. Бешено крутил мокрым песком Новруз, день, когда тепло приходит на смену холоду.

Зато никогда еще не было в Черных Песках такой зеленой травы, таких красных маков, такого синего неба...

И этой буйной весной по кровавому морю маков ехали от аула к аулу три всадника. Быстрая молва летела по пустыне. Когда они проезжали, люди уже ждали их. Один из них играл на дутаре, а безрукий мальчик пел. И столько боли, гнева и человеческой ярости было в его песнях, что сердца людей уже не могли биться спокойно. А пока они пели, третий – молчаливый одноглазый батыр со шрамами – только переглядывался с молодыми джигитами. И такой был у него взгляд, что после их отъезда мужчины, не сговариваясь, проверяли оружие.

Да, это были они: самый великий поэт, самый лучший певец и самый большой воин, которые когда-нибудь рождались в Черных Песках. Меч объединения везли они с собой. И ножны этого меча были украшены чудесными, как стихи, узорами.

Фраги всей грудью вдыхал чистый, свежий ветер пустыни и уже не чувствовал боли. Он расправлял плечи и открыто улыбался женщинам. А они отвечали ему быстрыми взглядами, ответными улыбками, и яркий румянец вспыхивал на их лицах. Он был мудр безумной мудростью юности, Фраги, самой высокой мудростью на земле!

В груди и в голове его каждый миг рождались новые образы. И слова текли свободно и просто, как эти белые тучи над головой. Именно в эти годы и написал он свои самые прекрасные стихи.

ПАРФЯНСКАЯ БАЛЛАДА

Муж Азат-Сарв ученый в Мерве жил...
О предках славных записи хранил.

Я их прочел и здесь перескажу,
Но зданье слов по-своему сложу.

Фирдоуси.

От женщины, которая прочтет предание о Вис и Рамине, целомудрия не ждите!

Убайд Закони.

Базар смеется над дворцом.

Орбели.

НАЧАЛО РАССКАЗА О ВИС И РАМИНЕ

Луне подобен шах был, а вельможи
Казались на созвездия похожи...

Гургани. «Вис и Рамин».

Да, шаханшах Мубад был авторитетный государь. Мужи и витязи, которые съехались к нему с четырех сторон света, были бронзовотелые и слоноподобные, а женщины – скромные и луноликие.

Дело было летом, и Мубад приказал расстелить ковры и кошмы прямо на берегу арыка, текущего через большой царский сад. За день перед этим слуги расчистили широкую площадку и обмазали ее хорошей мервской глиной с саманом, чтобы гостям было гладко сидеть.

Пир начался вечером, когда громадное мервское солнце растворилось в песках, а тонкая мервская пыль начала медленно опускаться на плоские крыши благословенного города. В это время воздух в Мерве пахнет сушеными дынями – бахрман и пушистой шапталой – сдавленными с двух сторон медовыми персиками.

Гости расселись в определенном порядке: мужи и витязи на левой стороне площадки, женщины – на

правой, хоть и происходило это задолго до рождения Пророка, определившего женщине ее место. Просто так было удобней и мужчинам и женщинам. Главное для человека – не чувствовать себя стесненным.

Слуги расстелили на коврах чистое синее полотно, расставили высокие узкогорлые кувшины с пахучим маргианским вином, разрезали на удобные куски тяжелые и звонкие золотые дыни – бахрман, набросали целые горы хорошо промытого в арыке винограда, персиков, сочного инжира. Кунжутная халва с орехами была заранее расколота, а густая белая мешалда, которую делают из свежих куриных яиц с козьим молоком и пчелиным медом, слегка подогрета и взбита. Жаркими, как солнце, кругами лежали на полотне только что из тамдыра белые лепешки из бронзовой хорасанской пшеницы.

А в стороне уже с утра ждали громадные глиняные миски с молодым мясом, перемешанным с зернами красного гурганского граната и сдобренным пахучей армянской травкой, сладким фарабским луком и жгучим, как уголь, чачским перцем. Тяжелыми камнями было придавлено мясо, – и прозрачный багряный сок поднимался до краев, заливая камни. И жаровни уже были готовы, и плоские медные котлы уже стояли на камнях, и сухой саксаул был аккуратно сложен под ними.

Было, как бывает на таких пирах: мужи с достоинством разговаривали друг с другом о государственных делах, витязи помоложе пересмеивались с луноликами на правой стороне. Все затихли, когда Мубад по присвоенному праву зажег священный огонь. Он недаром собрал больших и малых царей и всех их союзников. Раз в десять лет надо напоминать людям, у кого в руках ключи от рая. Ведь он был Мубад, а это значит на великом и древнем языке пехлеви не просто шаханшах, а уста самого Ормузда.

Кроме того, нужно было решать обычные дела. Систанцы снова угнали у забулистанцев две отары овец и убили пастуха. Большая драка случилась на базаре в

Герате, где арийцы подрались с гурцами и дело дошло до ножей. Непокойно в последний год и на горной дороге Махабада, что ведет в Арташат и страну Шаш¹. Весной мидяне ограбили там исфаганского купца: забрали восемь верблюдов с черным китайским шелком и самую молодую жену. Пришлось посылать туда вазира Зарда с войском. Шелк мидяне вернули, а жена купца до сих пор у них. Зард говорит, что она сама не хочет вернуться...

Черное каменное масло, которое привозят амульские купцы из-за Каспиды, было подлито в жертвенник, и священный огонь вспыхнул, чуть не опалив крашеную хной бороду Мубада. Он слегка отстранился, обвел твердым взглядом царей и начал свою речь. Раньше всего он сказал о великом Ормузде, вселяющем в душу человека при рождении правду, доброту и рассудительность. Но не дремлет злой Ахриман и его дэвы: с ранних лет стремятся они отравить чистую человеческую натуру ядом обмана, ненависти, слепого упрямства. Дело самого человека – отстаивать Ормузда в собственной душе от проникшего туда Ахримана. Благословен и воистину счастлив тот, кто победил себя...

Потом Мубад напомнил о бессмертном Зардуште² – человеку из города Рей, который разъяснил людям смысл добра и зла. Как дикие волки и онагры шатались по земле люди до него. Это он запретил кровь и насилие, научил приручать зверей и сеять пшеницу. Скоро, очень скоро наступит время, когда клыкастый полосатый тигр сядет рядом с маленьким беззащитным козленком, и будут мирно есть они из одной миски...

Мубад говорил, закрыв глаза, но все видел из-за полуопущенных ресниц. Мужички слушали привычные слова, глядя прямо перед собой, а какой-то старый царь

¹*Систан, Забулистан, Аррейя, Махабад (Мидия), Кухистан и др.* – древние и средневековые иранские провинции. Некоторые сохранили свои названия до наших дней. Страна Шаш – Сирия.

²*Зардушт (Зороастр)* – по преданию, создатель религии древних народов Средней Азии, Азербайджана и Персии.

из Кухистана явно спал. Он сидел ближе всех к шаханшаху, и осторожный храп его врывается в святыя слова в самом неподходящем месте. Среди молодых витязей стоял легкий шум. Длинноногий и долгоголосый по киммерийской моде Виру из Махабада, укрывшись за спинами, играл с Рамином, младшим братом шаханшаха. Рамин кошачьими движениями выбрасывал кости, невинно поглядывая по сторонам. Маленький паршивец здорово играл, обставляя зрелых мужей...

Женщины слушали со скучными лицами, и только махабадская царица Шахру не сводила больших зеленых глаз с Мубада. Мидянка была в том возрасте, когда глаза женщины уже не искрятся и не лукавят. Мудрая, спокойная откровенность в них, и это волнует настоящего мужчину больше, чем исчезающая пена быстрых взглядов и аромат красных глупых щек.

Мубад покосился на князя Карана, которого неизвестно за что выбрала себе в мужья оставшаяся десять лет назад вдовой красавица Шахру. Простоватый великан-мидиец сидел, тупо уставившись перед собой. Все знали, что Шахру сохраняет ему верность...

Витязи давно уже ерзали, нетерпеливо поглядывая по сторонам, и даже испытанные мужи начали поворачиваться на своих подушках. Мубад понял, что наступила пора, когда святыя слова начинают раздражать людей, и поднял руку...

– Великий учитель дал верное средство против происков Ахримана, – сказал он. – Когда начинается чистое сознание человека? Когда сгущаются черные силы зла в его душе? Когда кровь приливает к голове и руки тянутся к железу? Тогда это происходит, когда желудок человека пуст, когда кожа его шершава от холода, когда слепо жаждет он женщину. Лучший союзник зла – воздержание. Мысли голодного всегда неправильны. Вот почему, прежде чем решать государственные дела, мы должны подавить в себе подлого Ахримана!..

В торжественной тишине взял шаханшах Мубад факел от священного огня и поднес его к сухому дереву под самым большим котлом. Вспыхнуло оно, и сразу зашумели, заговорили гости, придвигая к себе кувшины с вином.

Все котлы и жаровни обошел Мубад, зажигая под ними огонь. Веселые костры загорелись со всех сторон, разгоняя наступившую темноту. Мясо доставали из гранатового сока и жарили надетым на железные иглы. Пьянящий запах его быстро пропитал воздух, и все собаки Мерва сразу подобрели. Даже в рабадах¹ замолчали они.

Когда Мубад садился на большой царский ковер, он снова увидел глаза мидянки: влажные, восхищенные, близорукие от откровенной покорности. Мубад выпрямился, развел плечи. Безудержное, как в молодости, веселье подкатилось откуда-то снизу, заполнило грудь, ударило в голову. Он вылил в себя царский рог крепкого и сладкого вина. А когда гости уже целовались друг с другом, Мубад встал, сделал ей знак глазами и пошел в сад. Мидянка опустила ресницы, а через минуту, скользнув спокойным взглядом по Карану, пошла между темнеющими деревьями. Каран, сведя густые брови, беседовал со старым кухистанским царем...

Они ничего не сказали друг другу, просто Мубад взял ее прохладную руку в свою, и они вместе пошли в темноту сада. У самой стены, где срослись карагачи, а из-за кустов инжира нельзя было ничего разглядеть, даже пригнувшись, они остановились. Мубад потянул ее за плечи, сразу опустил руку ниже. И она не сопротивлялась. Наоборот, она помогала ему. Со спокойной предусмотрительностью постелила она на траву свою легкую накидку. Она действительно была царицей, Шахру!..

А потом... Потом они сразу вдруг услышали, что поют соловьи. Весь сад был наполнен соловьями. Пахло в саду тяжелыми осенними розами. И не могли перебить этот

¹Рабад – средневековый пригород.

чудный запах сушеные дыни – бахрман, медовая шептала, и даже прозрачный терпкий дым от мяса, пропитанного гранатовым соком. Розами пахло в ту ночь...

Не одни они были в саду. Трепетные тени жались уже ко всем деревьям, и волнующим шепотом полна была темнота. Ахриману здесь нечего было делать...

Сначала вернулась она, а потом он... Лишь негодяй Рамин смотрел на них, и веселое понимание было в его быстрых глазах. Мубад хлопнул его слегка по шее и жадно выпил еще один рог холодного вина. Кровь кипела, как много лет назад. Уверенность молодости вернула ему женщина. Радостная щедрость переполняла его. Мубад вдруг вскочил и, легко подтянувшись, гибкими, сильными движениями полез на дерево. Он снова был молодым и безрассудным. Мощно встряхнул он старое дерево, и море тяжелых золотых персиков обвалилось вниз, освобождая усталые ветви. Крупные спелые плоды разбивались о плечи, спины, лица, и благородным душистым соком брызгало вокруг. А Шахру сидела, высоко подняв голову, удовлетворенная обманом и гордая...

Это потом уже, через много лет, она говорила, что ничего такого не было. Просто шаханшах Мубад, восхищенный ее необыкновенной красотой, умом и рассудительностью, предложил ей стать его женой. Он посадил ее на золотой трон и положил к ногам весь мир. Любое ее желание было для него законом. Он плакал и умолял ее, Мубад!

Но она, конечно, отказалась, объяснив, что ей уже не тринадцать. У нее созревшие сыновья, среди которых самый знаменитый – витязь Виру, мощью своей посрамивший слонов. Вот когда ей было тринадцать, тогда она действительно была красивой. Солнце тускнело при ее появлении, а Луна стыдливо убегала за тучи. Прямее среброствольного тополя была она. Целый год потом пахло жасмином там, где утром проходила она. Все властелины мира были у ее ног, а

лучшие витязи не знали сна. Войны начинались из-за одного ее взгляда. А теперь... теперь прошла весна, и красота ее померкла...

Тогда шаханшах принялся уверять ее, что она и теперь заткнет за пояс любую молодую. И он представить даже не может, какой она была в молодости, если сейчас от ее красоты у него меркнет разум. Счастлива мать, родившая такую дочь, и пусть будет счастлив род, имеющий такую пери!

И тут шаханшах взял с нее слово, что если родится когда-нибудь дочь у Шахру, то она отдаст эту дочь замуж за Мубада, чтобы он всегда видел в ее облике черты Шахру. Без этого он жить не может. И Шахру пришлось обещать ему, так как был он безутешен. К тому же не думала она, что в ее возрасте у нее еще родится дочь...

Мы знаем, как все было на самом деле, но так рассказывала потом Шахру. Ведь она была не только царицей, но и женщиной. Во всяком случае, ее слова, пересказанные многими доверчивыми людьми, дошли до наших дней. Все остальное – только подозрения...

Когда были удовлетворены все потребности гостей, быстро решились и государственные дела. Еще в самом начале пира арийцы перецеловались с гурцами и поклялись в вечной братской дружбе до конца своих дней. Систанцы твердо обещали взамен угнанных овец отдать забулистанцам табун лучших парфянских лошадей и возместить серебром за случайно подвернувшегося под нож глупого пастуха. Много и других важных вопросов было решено. И только жену не удалось вернуть ограбленному купцу. Шахру, махабадская царица, встала на ее сторону. Плачущего купца решили обеспечить другой молодой и красивой женой за счет шаханшаха, и он тоже успокоился.

Были потом различные игры, скачки, царская охота, после чего гости, умиротворенные и усталые, разъехались на все четыре стороны света. Стоя на самой высокой башне, махал им рукой Мубад, пока не растая-

ли они в горячих песках. Но чаще махал он в сторону спокойного заката, куда уезжала великая мидянка Шахру. Не молодым глупцом и не старым дураком – счастливым и мудрым был он тогда, шаханшах Мубад!..

РАССКАЗ О РОЖДЕНИИ ВИС

Судьба, плутая, шла путем превратным
Нежданное смешав с невероятным.

Гургани. «Вис и Рамин».

Никто не предполагал этого, и прежде всего сама Шахру. Тем не менее через несколько лет после знаменитого шахского пира, когда можно было уже смело сказать, что ей далеко не тринадцать, Шахру родила дочь...

Упомянув об этом, никто из написавших предание о Вис и Рамине не останавливается на подробностях. А писали многие. Достаточно назвать поучительного Тмогвели или не по чину любящего поэзию царя Арчила¹. Солнечный Руставели не раз вспоминает о Вис и Рамине. И разве не повторяют их на далеких сырых берегах белокурые Тристан и Изольда!²

Но мы останемся верными доброму, лукавому персу Гургани³. Он первый записал эту древнюю историю, которую пересказывали за тысячу лет до него. Простим ему, когда он путает названия стран и городов, обозначая их современными ему именами. Никто ведь не знает, когда жили Вис и Рамин, и правда ли все, что о них рассказывают. Не был он благородным дихканом⁴, как великий Фирдоуси. А с базарной площади всегда виднее,

¹Тмогвели – автор грузинского романа в прозе «Висрамиани» (конец XII в.). Царь Арчил II – автор стихотворного перевода на грузинский «Вис и Рамин» (1647-1713).

²«Тристан и Изольда» – бретонский рыцарский роман XII в.

³Фахриддин Гургани – автор знаменитой сатирической поэмы XI века «Вис и Рамин», написанной по мотивам древнего парфянского предания.

⁴Дихкан – дворянин, правитель.

что делается там, у царей. Он любит их, своих Вис и Рамина. Наше же дело: во всем следуя Гургани, уточнить некоторые подробности...

Нет, не называет Гургани царицу Шахру старухой, неожиданно-негаданно родившей дочь. Он лишь поражается тому, что засохший ствол вдруг снова оделся листвой. А когда, озарив, как Солнце ночь, появляется на свет Вис, он деликатно упоминает, что она, как две капли воды, была похожа на мать.

Так уж было принято тогда у царей, и Шахру сразу же отправила Вис на воспитание мамке-кормилице в Хузан. Известно, что в Хузане самые здоровые кормилицы, и никто лучше их не воспитывает девушек. Если прибавить к этому чистый сельский воздух, то можно понять Шахру.

Хоть и долго рассказывать, какой ослепительной выросла Вис, мы не можем пройти мимо этого... Прежде всего, она никогда не была одинаковой. Если с первого взгляда ее можно было сравнить с весенним цветником, в котором глаза – нарциссы и тюльпаны – щеки, то через минуту Вис превращалась в созревший плодовый сад с готовыми лопнуть гранатами. Легче тростника был ее серебряный стан. Самая богатая царская казна померкла бы рядом с ее рубиновыми губами и дивным перламутром зубов, а губы при этом были сладкие, как сахар. И щеки у Вис были не просто красные. Цвета молодого вина пополам с молоком были они. Горным хрусталем сверкали ее руки. А завершали все десять пальцев из слоновой кости, и ногти на них были не ногти, а горсти лесных орешков!..

Мы специально так подробно останавливаемся на перечислении всех достоинств Вис, чтобы одного намека в дальнейшем было достаточно. И, тем не менее, нам каждый раз придется дополнять эту картину, потому что красота Вис была бесконечной.

Соответственно и воспитывалась Вис. Кормилица в ней души не чаяла. Парча, атлас, соболь, горностай –

вот что было одеждой Вис. Ела и пила она, как и подобает, только из золотой посуды. И при всем этом оставалась хорошей, пока... Дело в том, что здесь, в Хузане, у другой мамки воспитывался подросток к тому времени Рамин, младший брат шаханшаха. Мубад отправил его сюда сразу после знаменитого царского пира. И они каждый день видели друг друга – Вис и Рамин.

И вот однажды, когда Рамин подсаживал Вис на дерево за гранатами, зеленая ветка обломилась, и Вис сползла по гладкому стволу прямо в руки Рамина. Он долго, очень долго не разжимал рук, позабыв про гранаты, которые росли на дереве. Незнакомо пахли волосы и белая кожа Вис. Ни одного облачка не было в синем небе Хузана...

Мамка откуда-то позвала Вис, и она пошла, медленно переставляя отяжелевшие почему-то ноги. А Рамин в тот же день уехал в Мерв. Шаханшах Мубад требовал его ко двору, где он должен был служить в войске, чтобы стать настоящим витязем.

С того дня и переменялась Вис. Что с ней произошло, лучше всего видно из сохранившегося письма мамки царице Шахру. Пользуясь своим положением, мамка прямо обвинила Шахру, что она плохая мать. Ей, мамке, не совладать уже с Вис. Девушка полна причуд, все не по ней. Желтое она не хочет надевать, потому что этот вульгарный цвет впору потаскухам, белое – старит, в синем обычно ходят вдовы и уродки, в двухцветном – базарные бабы. Все она сразу стала понимать. То ей нужно не меньше восьмидесяти знатных девушек для услуг, то гонит всех и плачет. Сад созрел и нуждается в садовнике...

Шахру обрадовалась этому письму и немедленно вызвала дочь к себе. Увидев Вис, она тут же решила выдать ее замуж за своего сына Виру. Такие уж нравы были у зороастрийцев, и ничего тут не поделаешь...

Как само солнце, был красив и отважен Виру. А греки, считающие Венеру богиней красоты, не

видели Вис. Лишь росписи художников Китая могли соперничать с ней в яркости. Понятно, почему Шахру на старости лет захотела оставить в своей семье эти два сокровища. Мудрые астрологи поняли это, и вращение светил совпало с замыслами царицы. Месяц Азармах, на который указали светила, обозначал начало весны и счастливую жизнь без войн и болезней. Когда наступило нужное число и прошло ровно шесть часов от начала темноты, Шахру соединила руки Вис и Виру. Этого было достаточно. Когда женится брат на сестре, не нужны жрец, печать и свидетели. Благословение Луны и Солнца тогда на них...

В тот ранний час, когда Луна бледнеет при виде Солнца, в махабадском дворце все было готово для свадебного пира. Были расстелены ковры во дворе, приготовлены котлы и жаровни, приглашены музыканты. Ночь уползала, укрываясь в горных ущельях. Светлый радостный день вставал над страной Мах. Как вдруг тень минувшей ночи наплыла со стороны реки. В черную тучу превратилась тень, гром срывающихся в пропасти камней стремительно приближался к Махабаду. И все увидели, что это не туча, а витязь на вороном коне скачет в горах, вздымая черный прах из-под копыт. Как черная гора был всадник, и плащ, сапоги, пояс, головная повязка были на нем тоже черные. Въехав на царский двор, он соскочил с коня, отбросил с лица накидку, и все узнали Зарда...

ПРЕВРАЩЕНИЕ МУБАДА

Как только Зард привез такой ответ,
Лег на лицо Мубада желтый цвет.

Гургани. «Вис и Рамин».

Да, это был могучий Зард – брат, вазир и военачальник шаханшаха. Глаза его были рубиновые от дорожной пыли, и гневные морщины бороздили темное лицо. Ни слова не говоря, он приблизился к Шахру и вручил ей свиток с большой государственной печатью.

Царица, как принято, приложила письмо шаханшаха ко лбу, поцеловала печать и вскрыла его. А когда она прочла письмо, вид бедной Шахру стал, как у ишака, завязшего в дорожной грязи перед самым въездом в Махабад...

Мы упоминали, что весь разговор Шахру с Мубадом на знаменитом шахском пиру много лет назад записан со слов самой Шахру. Но дыма без огня не бывает. Возможно, и пошутил тогда Мубад насчет будущей дочери Шахру, да и она шутя согласилась. Так или иначе, но в письме сейчас шаханшах самым серьезным образом требовал в жены Вис.

«Главное в жизни – это правда, – писал шаханшах Мубад. – И бог всегда видит ее. Поэтому ты должна быть справедлива и выполнить свое обещание. Дороже всех жемчужин мне твоя дочь, и я хочу видеть ее в Мерве... Я-то не тороплюсь, но что ей делать в Махабаде? Ты же сама знаешь, какие там у вас в горах мужчины. Ни стыда, ни совести! Все развратники – старики и молодые. Ни одну женщину не пропустят!.. А женщины по природе своей мягкосердечны: первый встречный нашепчет ласковое слово, и сразу пускают в постель. Все они такие, даже самые умные и достойные. На первый взгляд и не подходи, только и разговору о любимом муже и своей честности. А попробуй сказать, что Луна и Солнце меркнут перед ее красотой – и готово!.. А не готово, то нужно заплакать и сказать, что днем и ночью умираешь от любви. И только одна она может спасти тебя от смерти, дав ухватиться за свой подол. Самая непорочная не устоит перед такой отравой! И когда подумаю только, что какой-нибудь мерзавец... Нет, я знаю, что Вис хорошо воспитана и чужда порока, но все же лучше будет избавить ее от искушений. Дело уже сделано. Большие деньги розданы нищим в честь будущей свадьбы. Вис будет хорошо со мной, а тебе я дам столько золота, сколько пожелаешь. Что касается Виру, то ему я воздам почет, как сыну. Мой дом – его дом. Пусть берет из него любую жену!..»

Почти слово в слово пересказано здесь письмо Мубада к Шахру... Да, много лет прошло с того знаменитого пира. Совсем старым стал Мубад, а ничего на свете нет хуже старых шаханшахов. Они уже не могут с аппетитом есть, хорошо спать, громко смеяться... многого не могут они. И Ахриман прочно поселяется в их душах, вытесняя последние остатки Ормузда...

Шахру, прочтя письмо, так и не смогла вымолвить ни слова. Зато весь Махабад загудел от негодования. Все вокруг кричали, размахивали руками друг перед другом и подпрыгивали в ярости, хватаясь за кинжалы. Но Зард и бровью не шевелил. Он знал махабадцев...

Тогда подошла к нему сама Вис, царская дочь. Она обошла удивленного Зарда, осмотрела его со всех сторон.

– Ты, я вижу, умный человек, – сказала Вис. – Все у вас в Мерве такие, да?

– Я – Зард, вождь и советник шаха, не ведающий боязни, – ответил он гордо. – И конь мой – вороной!

– Ай, молодец! – похвалила его Вис. – А не можешь ты мне сказать, что любезней молодой красивой девушке: упругий стройный кипарис или бесплодный дряхлый ствол?

Зард только хлопал глазами.

– Так садись на своего вороного коня, поезжай в свой Мерв и спроси это у того старого дурака, который тебя послал... Только пусть, как стрела из лука, да! А то приедет с охоты мой дорогой муж Виру, и у нас двойной праздник будет: свадьба и похороны одного невежды!..

Зарду ничего не оставалось делать. Снова загрохотали камни в горах, поднялась пыль, и когда она постепенно рассеялась, шаханшахский посол был уже далеко за пределами страны Мах. А толпа царских гостей и родственников (в Махабаде все – родственники) уже рассаживалась по коврам, громко восхваляя необыкновенный ум и рассудительность Вис...

Нет, не желтым стало лицо шаханшаха Мубада, когда выслушал он своего брата и посла Зарда. Оно стало

зеленым. Сначала закипел он, как струя неперебродившего вина в тазу, а потом зашипел, как парфянская кобра. И сразу слева и справа послышался скрип. Это скрежетали зубами от гнева шахские придворные...

Давно прошло время мудрых примирительных пиров в шахском саду, когда окружали Мубада веселые незлопамятные люди. Теперь он ел наедине, подозрительно принимаясь к пище. Вина и мяса Мубад и не видел. Один отварной рис без соли позволяли ему врачи. Спал он тоже плохо, а об остальном и говорить не приходится. Где уж тут было ждать от него доброты и государственного благоразумия!

Зато он нашел в другом удовлетворение, и тут уже не знал воздержания. Слишком много злобы накопилось в нем от отварного риса. На золотом троне теперь сидел Мубад, и чтобы зайти к нему, нужно было ползти на животе от самых ворот дворца. Одежду он тоже носил только золотую, и все окружающие были в золоте. А когда очень уж противным становился ему отварной рис без соли, он приказывал отрубить голову какому-нибудь врачу, и голый рис казался ему тогда душистым пловом...

Между тем скрежет вокруг шахского трона усиливался. И Мубад дал знак говорить.

– Шахру осмелилась нарушить слово, жену владыки выдать за другого!– начали слева.

– Звезду, что светит шахскому двору,– твою жену как мог отнять Виру!– подхватили справа.

– Не только брату не дадим сестру, но отберем и царство у Шахру!– угрожающе подсказали слева.

– На землю Мах, всемогущ и жесток, из тучи грянет гибели поток!– перебили справа.

– Едва в ту землю вступит наша рать, начнем страну громить и разорять!– дрожа от преданности шаханшаху, взвизгнули слева.

– Повсюду будет литься кровь расплаты, все люди будут ужасом объаты!– рычали справа.

Так началась эта война. Мубад, может быть, и собрал бы остатки своего благоразумия, но шаханшахов всегда

окружают люди, стремящиеся доказать, что болеют за его дела больше самого шаханшаха. И поди разберись, кого теперь винить за это – шаханшаха или его окружение...

ВОЙНА

Мир заболел куриной слепотой,
Источник солнца был в пыли густой...

Велел, чтоб вышли с войском боевым
Табаристан, Гурхан и Кухистан,
Хорезм, и Хорасан, и Дехистан,
Синд, Хиндустан, Китай, Тибет, Туран,
И Согд, и земли сопредельных стран.

Гургани. «Вис и Рамин».

До нас не дошло, таким образом, войска каких еще сопредельных государств участвовали в походе шаханшаха Мубада на Махабад. Не сохранилось и подробностей похода: могли ли солдаты менять пропотевшее белье во время марша через пустыню, завелись ли у них нехорошие насекомые, и многое другое. Авторы того времени не акцентировали внимания читателя на трудностях войны. Известно только, что Мубад не застал врасплох махабадцев. Узнав о его замыслах, Виру выставил объединенные силы Истарха, Хузистана, Исфагана, Азербайгана, Рея и Гиляна.

Как две горных цепи, встали войска друг против друга на отведенной для войны равнине. Удивление вызывало, как может земля вынести на себе столько людей и железа. В должном тактическом порядке построили свои армии Мубад и Виру: середина каждой была как булатный кинжал, а крылья напоминали рычащих львов.

И только первый луч Солнца ослепил темную землю, мир вздрогнул и отпрянул в ужасе. Это взревели боевые трубы! Все, что было живого на земле, попадало от их

рева. Сама Природа пустилась бежать из этих мест. А трубам уже вторили грозные барабаны, вопили изумленные горны, плакали литавры и жалобно стонал сантур¹.

Но все было ничего, пока с обеих сторон не приказано было поднять над войсками овечьи знамена со львами, орлами, симургами, павлинами и другими благородными животными. И тогда закричали в ярости воины, затрубили боевые слоны, зарыкали львы, заревели верблюды, заржали лошади и мулы. А опытные полководцы все еще не давали знака к битве. Они ждали, пока достаточно покраснеют глаза у солдат. По их приказу шум был усилен. И только, когда глаза героев засверкали, как дорогие рубины на перстнях красавиц, Мубад и Виру махнули платками. Вздогнула и пошатнулась земля, а пыль поднялась до самой Луны.

И ничего нельзя было уже разобрать в этой пыли. Она плотно забила рты, глаза и уши воинов. Но это не мешало им. Они выпускали стрелы, тыкали копьями, рубили саблями и делали многое другое. Первыми они убивали родных и соседей, которые стояли рядом, впереди или сзади. А потом уже бегали в пыли, находя друг друга по голосу. Точно страсть, входило в грудь копьё. Как портные иглой, трудились люди, прошивая им друг друга. Меч спешил добраться до мозгов быстрее мысли. И металась между людьми, не зная куда убежать, трусливые львы и слоны.

Это была настоящая война! Жаль только, что из-за пыли не удалось увидеть всех совершенных в этот день благородных подвигов...

Но вот все постепенно стало затихать, пыль медленно опустилась, и полководцы увидели, что день был хороший. Ни одного лентяя не оказалось в их войсках. Земля на равнине была, как виноград в давяльне. Уцелевшие воины, затыкая пальцами раны,

¹Сантур – струнный музыкальный инструмент.

собрались возле своих полководцев, и армии двинулись каждая в свою сторону.

Когда все хорошо отдохнули и отпраздновали победу, Мубад и Виру снова повели своих витязей на войну. Но перед решающим сражением шаханшах Мубад узнал радостную новость. Хотя и женился Виру на Вис, но мужем так и не успел стать. Справедливая Луна помешала их замыслам, а жена зороастрийца, как известно, должна в этот период удалиться от супруга на целую неделю. Выяснив, что ничего не потеряно, шаханшах Мубад решил в таком деле посоветоваться со своими братьями: Зардом и Рамином.

Может быть, и оставалось в памяти Рамина воспоминание о синем небе Хузана, откуда как-то сползла по гранатовому стволу прямо в руки ему теплая большеглазая девочка с недетской грудью. Или вспомнил, как уходила она тогда от него на зов кормилицы?..

– Кто знает, что такое любовь!– задумчиво сказал он.– Ее нельзя завоевать или купить, как человека. При этом вспомни свои годы, шах и брат. Осень и весна – каждая имеет свои цветы. Ледяной коркой станешь ты для нее, и как первая весенняя трава, будет рваться она к теплу из-под тебя. Бесполезным будет твой запоздалый плач, потому что нет лекарства от таких болезней...

– Ай, какая там любовь!– махнул рукой Зард.– Где видел ее? Какого она цвета?.. Не об этом речь. Совет мой настоящий, не ребячий. С одной стороны – пригрози гневом и окружи Махабад войсками, с другой – пошли Шахру хорошие подарки. Страх и золото – между ними качается мир!

Шаханшахи иногда принимают советы. И в этот же день неисчислимые войска мервского владыки со всех сторон окружили славный Махабад. К главным воротам города подошел караван, начало которого уже входило в Махабад, а конец еще не вышел из Мерва. Сто верблюдов с пышными шатрами, пятьсот верблюдов с жемчугом, пятьсот верблюдов с алмазами и

рубинами, кроме того – еще двадцать тюков румийского жемчуга, отдельно сто ларцов с жемчугом, триста золотых венцов, семьсот хрустальных и золотых чаш, сто боевых коней, сто вьючных мулов и триста таких томных и красивых девушек, что, казалось, жемчуг катится из их уст, – вот лишь небольшое из того, что посылал в подарок царице Шахру шаханшах Мубад. Вместе со всем этим добром он тайно передал ей и одно маленькое письмо...

И Шахру... Шахру не выдержала, увидев все это богатство. Она ведь не была уже той Шахру. Она тоже все забыла!.. Голова закружилась у нее от жемчуга. Ничего больше не могла она уже любить. А уговорить себя, что ей очень жалко тех молодых витязей, которые должны пасть завтра в битве, ей было нетрудно. Шахру велела позвать дочь и села писать тайный ответ шаханшаху...

Когда Виру узнал, что похищена его любимая жена Вис, у него из клеток мозга улетели все мысли. Скоро он пришел в себя, но было уже поздно. Шаханшах Мубад вместе со всем своим войском что есть духу скакал к Мерву, унося драгоценный рубин из чужого ларца...

РАМИН ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ВИС

Шумит в его душе любви базар!..

Гургани. «Вис и Рамин».

Случилось это по дороге в Мерв. Рамин скакал рядом с верблюдом, на котором в золотом паланкине везли Вис. Беззаботно поглядывал он по сторонам, совсем забыв о маленькой девочке из Хузана. Как вдруг легкий ветерок подергал и отбросил на мгновение парчовую занавеску...

Да, это была она! Но совсем не похожая на голоногую девочку, рвавшую гранаты. Все у нее было другое: матово-белое лицо, мягкий поворот плеч, открытая

шея. И глаза... Совсем другие, непонятные глаза!.. Это уже потом он все пытался вспомнить. А тогда Рамин упал почему-то с коня и лежал без движений. Вся армия всполошилась и окружила его, не зная, что делать. Кто-то сказал, что брат шаханшаха заболел падучей.

Постепенно все же кровь начала возвращаться к лицу, с губ сошла синева, и он кое-как вскарабкался в седло. Но теперь Рамин уже не ехал рядом с паланкином, а, испуганно поглядывая на него, плелся где-то сзади. Он и желал и смертельно боялся, что снова налетит ветерок и качнет занавеску... Как полны тревоги, как хлопочем, когда заболит человек паршивой лихорадкой. И смеемся обычно, когда трясет его от настоящей любви!..

На нетронутый райский сад во времена первого человека был похож Мерв, встречающий победителей. Все крыши города почернели от народа. Играла музыка, пели и плясали молодые колдуньи из храмов Солнца. Для утехи народа знать щедро разбрасывала по улицам жемчуга, а чернь – яблоки, орехи и пряники.

Как щеки самой Вис, пламенели при въезде туда розы. Но не этой Вис, которую привезли в золотом паланкине с парчовой занавеской. Щеки у нее были от горя желтые, как шафран, и дрожала она, как ветка на ветру...

И ничего не помогало, когда хотели развеселить ее. Не ела и не пила она. Тонким, как иглы хвои, стало ее тело. Только посмотрит на Мубада, как начинает громко кричать и рвать на себе волосы. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не мамка-кормилица. Та самая, из Хузана...

Мы уже знаем, чьего молока больше пошло на Вис. И как только узнала мамка о ее положении, так сейчас же приказала оседлать тридцать быстроходных верблюдов. Нагрузив их хорошим хузанским провиантом, она, ни часу не мешкая, отправилась в Мерв и через семь дней была на месте. А увидев, в каком состоянии Вис,

она тут же села на пол с ней рядом и, раздирая одежды, так заплакала, что весь Мерв притих.

– О, поникший тюльпан!– плакала мамка.– Гиацинт в золе! Похитили тебя в глухую ночь,– украли у меня покой и дочь! Ты без родных осталась ночью темной,– без дочери я сделалась бездомной!..

И так горько причитала она, что Вис, совсем расстроившись, начала царапать себе лицо ногтями. Поплавав как следует, мамка вытерла слезы и придвинулась к Вис.

– Зачем царапаешь такое красивое лицо?– сказала она.– Чем же любоваться будут тогда витязи всего мира? Луной? Так она на печеное яблоко похожа рядом с тобой! И высуши глаза, а то веки отсыреют и станут красными, как у зайца... Что же, Виру, конечно, молод и красив. Но разве победишь судьбу! Да и не так уж она неблагодарна к тебе. Ты умна, красива, жена царя царей! А с Виру кем была бы? Паршивой махабадской царицей. Что толку в его длинных волосах, за которыми он лучше смотрит, чем за женой!.. Теперь, зато ты – шахиня. Как говорится, серебряного яблочка лишилась – апельсин из золота нашла. Бог закрыл одну дверь – распахнул другую, задул свечу – зажег звезду... А счастья захочешь, так здесь его – полный дворец. Только выбирай, и каждый за пояс заткнет тысячу Виру. Стоит лишь услышать тебе их мольбы!..

Говоря так, мамка расчесывала Вис, клала холодные примочки на глаза, сурьмила ей брови. Попутно она испекла душистые пироги с красной хузанской тыквой, которую привезла с собой, потому что ее очень любила Вис. А когда кончила она разговор, у Вис уже порозовели щеки. Такая была она в шахском платье, что Солнце просило одолжить у нее немножко света. Но мамка видела, что Вис не думает о чем-то, и прямо спросила об этом.

– Ветка радости обломилась в моем сердце,– тихо сказала Вис.– И у судьбы нет запасных дверей. Об одном тебя прошу: сделай так, чтобы хоть один год не звал

меня на свое ложе этот шаханшах, позвать бы ему лучше туда свою смерть. Пусть потеряет мужскую силу на это время. Зарежу себя, если приблизится он ко мне сейчас, да!..

Махабадцы всегда прибавляют к своим словам это певучее «да!», когда волнуются. И так сверкнули большие глаза Вис, что мамка не стала спорить. Поругав ее для приличия, она принялась за дело.

В Хузане ведь все – колдуньи. И мамка была не последняя среди них. Она быстренько разогрела кусочек бронзы и изваяла из нее голую фигурку шаханшаха. Пошептав нужные слова, мамка надломила его мужскую силу. В темную глухую ночь отнесла она этот талисман к реке и зарыла в прибрежном холодном иле. Пока будет лежать это в холоде, – объяснила она Вис, – шаханшах не запыхает страстью. Холод – самое полезное в таком деле!..

Мамка предупредила Вис, что это только на один месяц, а потом она достанет талисман и расколдует шаханшаха. Но бедная Вис и этому обрадовалась, дав слово, что будет веселой и любезной...

Так и случилось, что когда вышла Вис к шаханшаху, погасив Луну и наполнив солнечный день сумраком своих кудрей, тот лишь мог смотреть на нее, как нищий на чужую золотую монету. Словно голодный лев на цепи, видящий перед собой сочную дичь, метался шаханшах. Но цепи такого страшного колдовства никому не расковать.

Это бы еще ничего. Но в ту самую ночь, когда закопала мамка шахский талисман в прибрежном иле, река вышла из берегов. То ли пошли сильные дожди, то ли снег начал быстрее таять в горах, но Мургаб вздулся, разлился по равнине, ломая дамбы, затопляя города и селения. Половина Мерва была смыта в одно мгновение. А уж куда вместе с илом был унесен жалкий маленький талисман, никому не известно. Так что положению шаханшаха можно было не завидовать!..

Мы склонны думать, что в беде шаханшаха было виновато не одно хузанское колдовство. Немалую роль сыграл отварной рис без соли. И нам кажется, что мамка учитывала это...

ВИС ВЛЮБЛЯЕТСЯ В РАМИНА

Я видела, что он со мной лежал,
В своей руке он грудь мою держал...

То страсть горит в глазах огнем безумья,
То в голову приходят ей раздумья.

Гургани. «Вис и Рамин».

Рамин давно уже не был мальчиком. Придя в себя от потрясения, он немедленно начал искать пути к излечению своего недуга. А на пути этом стояла мамка из Хузана, которая одна имела влияние на Вис, ела и спала с ней. И Рамин обратился к мамке.

За всю свою жизнь не слышал он столько проклятий, сколько высыпалось сразу ему на голову. Как только ни называла она его: бесстыдником, вором, дураком, головорезом. В наши дни и произносить стыдно такие слова, какие говорила она ему. А потом выгнала вон и сказала, чтобы тени его больше не появлялось на камнях перед их домом. Но Рамин все ходил и ходил. И вот как-то...

Кто-нибудь может подумать, что если мамка, то обязательно – старуха. Ничего подобного: это была здоровая полнокровная хузанка с хорошими деревенскими ногами и будто молоком налитыми полными плечами. Однажды, уговаривая ее, Рамин задержал свой задумчивый взгляд на этих плечах. А Рамин носил уже тонкие черные усики над верхней губой. Как молодой гилянский дуб был он – узкий в талии, широкий в плечах, с мужественным румянцем на смуглом лице. Черные, как ночь, брови были у него и горячие голубые глаза. Но самое главное – усики! И когда положил он свои красивые сильные руки на эти теплые белые плечи,

она... она уже не могла ему ни в чем отказать... Ох, уж эти зороастрийцы!

А потом мамка пришла к Вис с разговором. Был этот хитрый разговор, как ожерелье, рассыпавшееся по сердцу: что слышно от матери, пишет ли брат, почему скучная сидишь. И Вис рассказала, что снился ей Виру такой, каким никогда его не видела. Молодой, горячий, как солнце, сильный. И был он ночью рядом, совсем рядом, обнимал и целовал ее всю!.. И она разрыдалась.

Мамка принялась утешать ее. Она сказала, что так уж мир устроен, в котором все влюбленные страдают, не одна Вис. Вот недавно она видела юношу. Кипарис на восходе солнца! Разъяренный трехлетний барс! Тончайший волос пробивает копьём! А только полюбил – лицо, как солома, пожелтело. Даже страшно становится за него. Дни и ночи тоскует. Землю целует, где проходит та счастливица...

Как ни грустно было Вис, она все же спросила, в кого мог так влюбиться несчастный витязь. Вроде нет таких уж красавиц при этом паршивом дворе. Только после долгих уговоров мамка сказала, что это Вис. Совсем не желая этого, мучит она бедного юношу. Имени витязя мамка так и не назвала.

Три дня Вис все заводила разговор о том, как изменчивы и вероломны мужчины. Хоть и не видела их близко она, но хорошо знает, чего стоят их уверения в любви. Тысячи сетей расставляют, чтобы уловить в них невинную девушку. Мольбами, грустными взглядами, искусной лаской, а чаще всего силой добиваются они своего. И сразу не узнать их. Ее же и называют блудницей, потому что уступила. С презрением сторонятся они той, на которую вчера еще молились. Холодная зола там, где бушевало пламя... А женщина запуталась уже в цепях желаний. Как на медленном огне горит несчастная, и одно горе у нее от любви. Нет, не понимает она тех женщин, которые хоть на выстрел из лука подпускают к себе мужчин!..

Мамка слушала и молчала, пока Вис не рассердилась.

– Почему совсем не споришь со мной, да? – спросила она. Но мамка отвечала, что согласна с ней.

Теперь, о чем бы ни заходил разговор, Вис обязательно переводила его на мужское непостоянство. А заканчивала тем, что: просила назвать того бедного витезя, который имел несчастье полюбить ее. Разве мало вокруг интересных молодых женщин, которые с радостью пошли бы на все? Как не повезло ему, что влюбился в такую порядочную девушку, как она. Нужно сказать ему, что это совершенно бесполезно!..

Много прошло времени, пока мамка согласилась. Так и быть, – сказала она, – завтра на шахском приеме...

На следующее утро Вис проснулась раньше мервских разносчиков воды. То она бледнела, как Луна на заре, а то вдруг струя молодого вина ударяла от ее сердца к щекам. Пять раз переодевала она платье в этот день...

Приемы у шаханшаха проходили теперь без угощений. Он терпеть не мог обжор и пьяниц, зато очень любил серьезную музыку. И Рамин в этот вечер пел, аккомпанируя на чанге¹. Печальна была его песня, и слезы отчаяния стояли в прекрасных голубых глазах. А руки, смуглые, сильные руки, нежно перебирали струны, и благородный чанг плакал и жаловался на судьбу вместе с Рамином!

Не знал он, что Вис совсем близко. Дальними переходами привела ее сюда мамка. Чуть отведя балконный занавес, Вис посмотрела... Голубое небо Хузана качнулось, закружилось, и она начала медленно сползать вниз. Уже не детские, сильные мужские руки подхватили, понесли ее к Солнцу. И одна из этих рук властно и нежно легла ей на сердце...

Очнулась она в своей комнате, куда притащила ее мамка. Сильный жар был у Вис. Она металась по голубым шелковым подушкам, и звала, звала... Вечером, когда мамка провела его в сад, Вис протянула свои хрустальные руки к Рамину...

¹Чанг – древний музыкальный инструмент типа арфы.

ШАХАНШАХ УЗНАЕТ ОБ ИЗМЕНЕ

Но Вис от страсти так изнемогла,
Что стала и бесстрашна, и нагла...

Пусть буду заперта я на замок.
Но вор уже похитил все, что мог!

«Гургани. «Вис и Рамин».

Три мешка золотых динаров, дорогой красивый ларец, шесть нитей жемчуга, пятнадцать золотых колец с крупными алмазами и два фунта мускуса дал Рамин мамке в благодарность за ее доброту. И еще сказал, что целует землю у нее под ногами и отдает ей свою душу до конца дней. Но мамка не взяла подарков, а лишь оставила себе на память недорогой перстень без рубина. Ты как... как сын родной мне, – сказала она, всхлипнув, – и твой нежный взгляд для меня дороже золота!..

Так хорошо распределились звезды на небе в это время, что шаханшах Мубад поехал в Кухистан на охоту. Рамин притворился больным. Он так сильно похудел и такие большие синие круги были у него под глазами, что шаханшах приказал лучше кормить Рамииа в его отсутствие...

Что делали, как проводили время Вис и Рамин?.. Дни и ночи мелькали без перехода. Яркое Солнце стояло ночью у них в глазах, и прохладная черная ночь была в яркий день. Вот почему, только в третий раз перечитав письмо, понял Рамин, о чем пишет ему шаханшах. В Кухистан зовет его – стереть ржавчину с сердец веселой охотой. И Вис он требует захватить с собой, чтобы не скучала, бедная, без шаханшаха...

Легок и светел был путь их через пустыню. Они уходили ночами далеко от дымных походных костров и ложились на горячий песок. Звезды сыпались с теплого неба. Ухали песчаные совы, плакали шакалы, барсы мяукали возле самой их головы. Но никто не трогал их, потому что не трогают дикие звери людей в это время...

Когда приехали они в Кухистан, Мубад обрадовался веселому блеску в глазах Вис. Какой шаханшах не уверен, что все чахнет без него и расцветает от одного его присутствия. А Вис действительно стала похожа на хорошо ухоженный цветок. Рамин был худой, но веселый.

Поохотившись как следует в Кухистане, все они поехали в Махабад. Пора было уже мириться с родственниками. Еще когда Мубад тайно увез Вис, мудрые люди посоветовали Виру не связываться. – Умный царя не оскорбит, – сказали они. – Чего добивается петух, бросаясь на лисицу?.. А молодой Виру, хоть и носил длинные волосы, был человек солидный и рассудительный. Вот почему он вместе с Шахру выехал навстречу шаханшаху с шахиней и поцеловал перед ними землю.

Много было тут радости, родственных объятий и поцелуев. День за днем шли праздничные игры и состязания, в которых всегда побеждали Виру и Рамин. Как-то вдвоем решили они съездить поохотиться в горы Армении. А Вис теперь дня не могла прожить, чтобы не видеть Рамина. И мамка побежала на рассвете разбудить ее.

– Скорей иди на крышу! – шепнула она Вис. – Оттуда все увидишь и сможешь помахать рукой своему Рамину. Только тише, чтобы твой старый лопух не услышал!..

Рев разъяренного слона оглушил вдруг их обоих. Это вскочил раздетый шаханшах, который не спал и все слышал.

– А-а-а! – кричал он, махая руками. – Старая собака, потаскуха, сводня проклятая! Пусть крепкий град упадет на поля Хузана! Страна греха и блуда – Хузан! Одни подлость и разврат царят там, и для злодейства рождены хузанцы! Пусть все молоко выльется у их кормилиц, потому, что одна зараза от этого молока! Лучше слепого взять в сторожа, чем хузанку в воспитательницы! Куда, кроме кладбища, приведет ворон-поводырь!..

Так громко кричал шаханшах, что весь дворец сбежался в их спальню.

– Опозорила меня твоя дочь, Шахру! Бесстыдная сестра у тебя, Виру!– плакал в гневе шаханшах, раскачиваясь и дергая себя за усы.– Грязной изменой отплатила мне за мою доброту! Возьми ее, Виру, и пройдишь хорошенько по ней утюгом, чтобы образумилась! И заберите скорей их обоих от меня, потому что, боюсь, изувечу подлых без всякой меры!.. Ослепить распутницу! На виселицу – мамку! Не брат мне Рамин! Выгнать за границу негодя!..

Но тут вдруг Вис в одной нижней рубашке выпрямилась на ложе, ослепив всех своими хрустальными руками. И так бесстыдно посмотрела на шаханшаха, что тот замолчал от удивления. Она и не думала оправдываться.

– Ты прав во всем, что говоришь, могучий шах, да!– сказала Вис.– Тебе с Виру я принадлежу, и в вашей власти меня ослепить, отдать на корм диким зверям или с позором пустить босую по базару. Но ты только человек, хоть и шах. А может ли человек выколоть глаза любви? И что могут поделаться с любовью дикие звери? Где ты видал, чтобы любовь испугалась стыда? Я люблю Рамина!..

Шаханшах крутил головой, ничего не понимая. Но тут разгневался Виру, схватил за волосы Вис и с криком потащил к Шахру.

– Весь наш род стыдом покрыла, проклятая!– разошелся он.– С самим шаханшахом, царем царей, как разговариваешь! Мужа не уважаешь! И себя, и меня на весь свет позоришь! При всех говоришь, что любишь этого Рамина!.. Да кто он такой, твой Рамин! Гуляка, пьяница, стихи только сочиняет. С евреями дружит, да!!!

Шахру со своей стороны набросилась на дочь, справедливо ругая ее за низкое поведение. Вис обвиняла во всем мать и брата, кляла шаханшаха. Такой шум стоял три дня в царском дворце, что невозможно было торговать на знаменитом махабадском базаре напротив...

Постепенно все успокоились, и пребывание шаханшаха в Махабаде закончилось старой конной игрой в мяч. Сам шаханшах Мубад участвовал в ристалище и, по единогласному мнению, играл лучше всех. Рамин и Виру не успевали почему-то к мячу, и шаханшах каждый раз опережал их. Мяч в этот день взлетал от его ударов до самого Сатурна. Даже Вис ласково махнула платком с крыши...

ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИС

Отчаянье Рамином овладело.
Не знал покоя дух и ложа тело.

Не знала сна, ни пищи, ни надежды,
В ней страсть жила, сорвав свои одежды.

Гургани. «Вис и Рамин».

Прекрасен Хорасан! Тому, кто знает пехлеви, ясен смысл. Хор и асан – Солнечный восход. И тому, кто не знает, понятно это радостное слово. Хорасан!.. Если в раю синее небо, сладкий воздух, а трава и деревья полны свежей зеленой кровью, то здесь второй рай! А есть ли в первом раю такой матовый виноград, такой крупный белый урюк, такие дыни – бахрман?! И если носят в первом раю прозрачные и легкие, как мечта, шелковые платья, то это из хорасанского шелка. Если и там есть бедняки, которым не по карману натуральный шелк, то они надевают блузки из хорасанского тонковолокнистого хлопка. А уж если бывает в настоящем раю зима, и приходится покупать пальто, то воротники на них несомненно из хорасанского каракуля. Разница только в цене: самый дорогой, конечно, сур – золотой каракуль, подешевле – серебряный, и для основной массы – обычный черный по полдирхема шкурка...

Неповторим Хорасан. Но есть в нем жемчужина, перед которой весь он со своими полями, садами и тучными пастбищами, как сухая безжизненная пустыня. Эта жемчужина – Мерв!

Туда, в Мерв, и возвратился шаханшах Мубад с родней и советниками после поездки в Махабад. Со своей благородной женой Вис поднялся он на крышу большого шахского дворца. И сели они там на золотые стулья, как Сулейман с Балкис¹. Солнце померкло от ослепительного величия шаханшаха, а Луна и не показывалась, боясь сравнений с Вис.

Весь Хорасан был виден отсюда. Зеленые волны садов заливали со всех сторон Мерв. Словно перегруженные белые корабли, плыли дворцы и библиотеки. Простых домов и видно не было, так глубоко утонули они. И совсем потерялся где-то скромный виновник этого праздника – ласковый Мургаб. Протянув друг другу самые большие ветки с обоих берегов, спрятали его от чужих глаз прижимистые карагачи. А может быть, принесся сюда жизнь с далеких Индийских гор, сам он захотел отдохнуть от горячего Солнца!..

– Разве не велик Хорасан! Не лучше ли он, чем твой Махабад? – спросил шаханшах Мубад у Вис. На свое горе спросил!..

Не Хорасаном интересовалась Вис. Даже если бы настоящий рай можно было увидеть с этой крыши, она бы не взглянула в ту сторону. Лишь один раз за всю дорогу увидела она Рамина, и то издали. Он как будто избегал ее!..

Совсем маленькими казались отсюда люди. Но большие глаза Вис сразу заметили молодого стройного всадника в мервском переулке, ведущем от базара. Он медленно ехал вдоль арыка, красиво положив руку на бедро и разговаривая с кем-то на теневой стороне. Ветки карагачей поредели, и в горящий уголь превратилось бедное маленькое сердце Вис. Он говорил с женщиной!!!

– Сто таких городов у меня, как Махабад! – не унимался шаханшах. – И мир лежит в прахе у моих ног, как твой Виру!..

Витязь остановился, погорячил коня и перескочил вдруг арык. Он спрыгнул на землю и взял ту, подлую, за

¹Сулейман с Балкис – библейские царь Соломон и царица Савская.

руку! Зеленые круги завертелись перед глазами Вис, а когда они пропали, никого уже не было и у арыка...

– Что же ты молчишь?– взорвался шаханшах.– Опять об этом Рамине думаешь?..

Вис посмотрела на него. Так отвратительны вдруг сделались его большие крашенные усы, что она не выдержала. Ей было уже все равно.

– Кого хочу – того люблю, да!– закричала она.– Да! Да! Да! Из-за него и тебя терплю! Ты для меня как острые шипы на его розе! А он, жестокий... он...

– Ах ты, сукина дочь, да!– захрипел шаханшах.– От вавилонских проституток твой род! И мать твоя Шахру тридцать ублюдков родила. Если есть среди них два от мужа, то хорошо!.. Вот видишь три дороги: одна в Гурган, другая в Демавенд, а третья – в Хамадан. По любой из них убирайся к чертовой матери! И пусть самые острые камни подвертываются тебе под ноги, и глаза твои пусть ослепнут от дорожной пыли!..

Вис не ругалась. Она вежливо поблагодарила царя царей и пошла собираться в дорогу. Легко и пусто было у нее на сердце.

– Есть ли на свете кто-нибудь несчастнее меня!– сказала она мамке, вздохнув.– У других женщин – добрые, хорошие мужья. И любовники у других не такие!..

С шаханшахом она простилась по-хорошему.

– Одно горе было у тебя со мной!– честно признала Вис.– Найди себе любящую жену. Сто таких, как я, служанок, приставь к этой достойной женщине. Будь счастливым без меня, а без тебя и я буду счастливей...

Весь Мерв плакал, когда она уезжала. Кто знает, почему любили ее...

Что горе всего Мерва по сравнению с рыданиями Рамина, когда узнал он об отъезде Вис! Деревья вяли вокруг и трава не росла там, где падали его слезы... Он, действительно, не подходил близко к Вис, чтобы не прогневить шаханшаха. И у такого витязя было, конечно, в Мерве немало хороших знакомых. Не мог же он так, сразу, порвать с ними...

Мир опустел без Вис. Такие же пушистые волосы и большие глаза были у его мервских знакомых. Так же светились их хрустальные руки, тот же был гранатовый сад, те же белые ноги. Может быть, даже лучшие ноги. Но только Вис была нужна Рамину... И уехала она, не простившись. Значит, не имеет он для нее значения... И к кому она так торопилась?!

Словно большой майский скорпион заполз в его сердце. Днем и ночью не давал он ему спать, как художник, рисуя в памяти все подробности свиданий с Вис. Только теперь не его, а чужие беззастенчивые руки ласкали ее. И Вис отвечала на эти ласки!.. Рамин вскакивал и бегал в отчаянии по комнате. А когда почувствовал он, что ни одной минуты не может больше быть без нее, сел и написал шаханшаху письмо.

«Шесть месяцев болел я, а теперь почти уже здоров, – было сказано там. – И леопарды мои скучают без добычи. Соколы совсем разучились падать с неба на жирных куропаток. Мой конь – верный Рахш – еле передвигает ноги. Сердце мое устало биться от безделья, а голова кружится от скуки. Нет счастья в неподвижности. Пусть разрешит мне великий и мудрый царь царей, гроза и улада Вселенной, поохотиться во славу его в Гаргане и Сари, где много пернатой дичи. Оттуда я поеду в Амуль, который славится дикими свиньями. На козлов и онагров я поохочусь в Кухистане, на ланей – в Азербайгане...».

Все поднебесные страны, кроме Махабада, перечислил Рамин, и всех зверей, кроме той серны, для которой готовил стрелу. Но не такой еще дурак был шаханшах, каким он стал потом. Пока не дал ему Рамин честное слово, что как черную чуму будет обходить Вис, шаханшах не отпускал его. На дорогу он посоветовал Рамину найти себе хорошую жену в Кухистане. Там, говорят, хоть и не очень красивые, но порядочные и домовитые женщины. Что еще надо молодому человеку, да?.. В Хорасане теперь все прибавляли к своим словам протяжное махабадское «да-а».

Как стрела, пущенная из лука метким стрелком в хорошую погоду, устремился Рамин прямо в Махабад. Всех леопардов и соколов отпустил он по дороге, чтобы не задерживали его. Черной чумы Рамин не боялся...

Ну, а Вис? Что она делала все это время?.. Родня есть родня. Поругав старого дурака за плохое отношение к молодой жене, да еще из такой хорошей семьи, ей выделили самую лучшую комнату в махабадском дворце. Окна ее выходили на Восток...

Совсем не узнать было Вис. Она уже не подводила бровей, не красила ногти, в тугую косу заплетала полосы. Платье носила простое, из махабадского полотна. Светлым стало ее лицо. Каждое утро садилась Вис у окна и смотрела на пылающий Хорасан. Первое, самое чистое Солнце видела она, и сердце ее нагревалось от радости и предчувствий.

И вот как-то не одно, а сразу два Солнца встали на Востоке, и Вис ослепла, задохнулась от счастья. Это был Рамин...

Семь месяцев они видели только друг друга и не устали. Все дело было в шах-туте, царском тутовнике, которым славится Махабад. Кто не знает его целебных свойств? Полные шапки теплых фиолетовых ягод приносили им дети. Рты, подбородки, руки у Вис и Рамина уже ничем нельзя было отмыть. С утра до вечера и с вечера до утра ели они один шах-тут, и где только не оставалось у них сладких лиловых пятен. Солнцем и горами пахли Вис и Рамин...

Распивая крепкое, как огонь, тутовое вино, не заметили они, что пришла зима. Холодный порывистый ветер дул из Хорасана, горстями бросая в окно к ним, то дождь, то мокрый снег. В один из таких дней, когда совсем черно было за окном от снега, страшно заревели невидимые трубы. Рамин едва успел натянуть рубашку и выскочить через заднюю дверь, шаханшах приехал за Вис...

Очень удивился он, застав жену в простой домашней одежде, не покрашенную и с распущенными волосами. Даже не умыта была она: с испачканным синим ртом и руками. Вис спокойно пригласила сесть озябшего в дороге шаханшаха, приказала хорошо проварить для него рис и вела себя так, будто ничего не было между ними в Мерве. Не знал что и подумать шаханшах, увидев Вис в такой обстановке. Проклятия, которые накопились в нем за дорогу, выветрились из головы. Так и не сказал он ни одного плохого слова...

Две недели назад получил шаханшах Мубад небольшое письмо без подписи. Какой-то хороший человек сообщал ему, что Рамин живет у Вис в Махабаде. Буквы были неровные, как будто пьяные. Кто мог написать такую клевету?! Когда шаханшах рассказывал об этом, у Виру все время вздрагивала от возмущения левая рука. Она у него дрожала потом всю жизнь. А на старости лет отсохла...

Как бы между прочим, спросил шаханшах и о Рамине.

– Разве он в Махабаде?! – удивилась Вис, и глаза ее сделались еще больше. – Ах да, я его как-то осенью в окно видела. Некрасивый такой, усы сбрил... Совсем мальчишка!

Шаханшах погладил свои пышные усы.

БЕГСТВО ВИС И РАМИНА

Не беспокойся ни о чем, живи

Лишь для любви, лишь для одной любви!

Гургани. «Вис и Рамин».

Только взяв клятву с шаханшаха, что не будет больше приставать с недостойными подозрениями, согласилась Вис поехать с ним обратно в Мерв. Шаханшах помолодел сразу от радости. Взяли они с собой и оказавшегося тут же в Махабаде Рамина...

Но все ту же рисовую кашу без масла продолжал есть шаханшах, и талисман его никак не находился. Поэтому

не прошло и недели, как начал он себе в усы, а потом все громче говорить, что только ради проклятого Рамина сидела она так долго в Махабаде. Если бы Вис, как все порядочные женщины, любила мужа, то и половины того времени, которое провела она в Махабаде, хватило бы, чтобы соскучиться. Вис молчала и думала, что ему, наверно, легче бы стало от ее признания.

– Я решил тебя испытать!– сказал ей однажды утром шаханшах.– Все очищающий огонь есть частица самого Солнца. Лишь Ахриману страшен он, а честная и непорочная пройдет сквозь него, не закоптив носа...

Вис подумала сначала, что он шутит. Но когда увидела, что полсотни мулов с утра возят сухие дрова на площадь между дворцом и главным храмом, ей стало не по себе. А шаханшах собрал уже всех жрецов, военачальников и советников. Со всего города бежали люди посмотреть, кого собирается сжечь царь царей.

– Сначала дашь клятву верности, а потом не спеша пойдешь через огонь!– учил шаханшах жену.– Только не торопись. Как прохладный ветерок будет он для тебя, если ты невинна. Это самый удобный случай доказать, что неправду говорят о тебе с Рамином...

Шаханшах сам вынес из храма священный огонь и поджег костер. Камфарою разжигал он его, а чтобы Вис было приятней, подбрасывал сандал, амбру и мускус. Как вулкан разбушевался костер, и словно второй – огненный небосвод встал над миром. Языки пламени лизали небо. А весь Мерв удивлялся, не понимая, что происходит. Культурные люди давно забыли этот варварский обычай.

– Видишь, что придумал старый болван, да!– сказала Вис Рамину.

– Не такой он болван, как тебе кажется!– ответил Рамин и внимательно посмотрел на шаханшаха. Радостный, возбужденный, как перед свиданием, ходил тот вокруг огня. Ключковатые усы его дымились, в слезливых глазах прыгали два сумасшедших костра. Чуть заметная улыбка кривила его губы.

– Так пусть сам сгорит от злобы царь царей!– сказала Вис. Под видом того, что ей надо подготовиться, она пошла во дворец. Там у задней стены ее уже ждала мамка с хорошей шерстяной веревкой. Захватив золото и жемчуг из ларцов, они перелезли на ту сторону, где стоял Рамин, переодетый женщиной.

Легче найти потерянную в море жемчужину, чем человека в мервских переулках. Одни сонные собаки встречались им по дороге. Все трое быстро дошли туда, где приготовлены были лошади. Когда шаханшах, удивленный долгим отсутствием Вис, пошел искать ее во дворец, они уже были далеко. Если бы шаханшаха не удержали, он сам бросился бы в свой костер...

Почему у таких, как Рамин, кругом бывают друзья?.. Другие честно женятся, работают, не покладая рук, не пьют и не курят, а люди почему-то обходят их. Вот Виру, например...

Один из самых лучших друзей Рамина жил в Рее. Звали его Бехруз, а все называли Шеру – Счастливым. К нему на десятую ночь постучались Вис и Рамин.

– Тебя ли вижу, дорогой Рамин!– вскричал толстый Бехруз, обнимая и целуя друга.– Сам не знаю, как захватил сегодня на ночь лишний кувшин вина из погреба. Сердце подтолкнуло руку!»

На ковре уже стояли стаканы, лежала различная еда и, словно для Рамина, валялся в стороне чанг. Омыв руки теплой водой из кумгана, они через каких-нибудь десять минут с аппетитом ели и пили, поднимая стаканы за хорошую дорогу, за благополучный приезд, за хозяина дома, за его торговлю. Как всякий воспитанный человек, Бехруз не спрашивал, что за Луну привез с собой Рамин и почему сам он приехал в юбке и под покрывалом.

– Разве ты не знаешь, почему зовут меня Счастливым?– сказал Бехруз, когда Рамин рассказал ему все.– Потому что живу я для дружбы... Посмотри на людей. Одни блудливо поводят глазами и все время втягивают

носом воздух. Это те, кого одолевает мелкая похоть. Возле каждой юбки задерживаются они, не интересуясь, какое лицо под покрывалом. Свое счастье они обычно находят там, где ищут... У других – недоверчивый взгляд и дрожащие руки. Счастье их в деньгах. А умирают они от запора... Но хуже всего тем, кто ищет счастья во власти над людьми. Они дальше всего от него. Посмотри в их угрюмые лица, в холодные неумные глаза. А если бы мог заглянуть в их сердца, то ничего не увидел бы там, кроме мокрой пакли. Нет у них друзей, и умирают они друг от друга...

А я счастливый, когда у меня в доме друзья. И ничего больше мне не нужно. В моей маленькой лавке на базаре всегда много народу, потому что люди любят счастливых. В этом маленьком саду ветки каждый год ломаются от тяжелых плодов, потому что земля радуется людям. И вино мое никогда не киснет, хлеб мой не черствеет, соль не бывает горькой. Все здесь – ваше. И чем вам приятней будет у меня, тем лучше проживу я свои дни!..

Сто дней играл Рамин на чанге для Вис и разговаривал о тайне жизни с Бехрузом. Тихая Луна плыла куда-то над ними. Глухая глиняная стена сада отгораживала их от беспокойного мира. Но на сто первый день опять заревели военные трубы.

– Сам Ахриман, я думаю, закричал, будь он проклят! – заметил Бехруз. – Теперь все коровы у нас перестанут молоко давать. Не любят они шума. Чем громче кричишь, тем хуже доятся...

Это снова был шаханшах Мубад... Через неделю после бегства Вис и Рамина удалился он в пустыню. Рассказывали, что там он плакал и стenal, проклиная себя за жестокое отношение к Вис. Но те, кто лучше знал шаханшаха, ничего не говорили. Он уже не раз удалялся в пустыню, и добром это не кончалось.

Так случилось и на этот раз. Вернувшись из пустыни, шаханшах решил начать новую войну. Все чаще вместо

слабеющих мозгов в государственных делах участвовало у него пищеварение. Теперь он объявил поход в Гилян и Азербайган, обвинив их, что они скрывают Вис и Рамина.

Мир от войны спасла тогда старая мать шаханшаха. Она знала, где ее младший сын Рамин, и написала, чтобы он возвращался вместе с Вис. Шаханшах поклялся матери, что простит их и не будет больше злобствовать. Рамин согласился, но предупредил мать, что у него тоже есть голова и руки. Когда-нибудь и он будет шаханшахом, да!..

ВИС И РАМИН СНОВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ В МЕРВ

Я пожелтел, как золото, гляди, –
Прижми меня к серебряной груди!»

Гургани. «Вис и Рамин».

Однажды сидели на пиру шаханшах Мубад с Вис. Тут же, конечно, играл на чанге Рамин. Шаханшах мало изменился за это время, зато Вис все больше напоминала молодую Шахру. Ее громадные темные глаза чаще и чаще приобретали спокойный зеленоватый отлив, таинственные ямочки появились на округлившемся лице, царским стал уверенно очерченный рот. И грудь Вис уже не была острой, мягче и нежнее сделались ее белые плечи. А негромкий голос Вис, как сдержанный горный поток, волновал душу... Шаханшах теперь даже с некоторым испугом смотрел на ее властную красоту. И Рамин иногда не верил себе, что эту гордую женщину обнимал он здесь в саду, и в Махабаде, и у Бехруза за глиняной стеной. И еще в пустыне, когда падали звезды...

Теперь на шахских пирах снова было вино. Так приказала Вис, и шаханшах согласился. А сегодня ему взгрустнулось, и, плюнув на всех врачей, он налил и себе пару рогов вина...

И сразу прояснился ум шаханшаха, обострились слух и зрение. Он увидел, как посмотрел Рамин, поднося к

губам золотой рог, как вспыхнули и ответили ему глаза Вис. До конца выпила она свое вино... Шаханшах приказал налить себе еще. Уже не считаясь со стариком, коснулся Рамин руки Вис, и она не отняла ее.

– За то, что только мы с тобой знаем!– тихо сказал Рамин. Она кивнула и опять медленно выпила, полужакрыв глаза.

– Побольше пей, поменьше говори!– заметил шаханшах.

Рамин взял чанг и заиграл так, как никогда еще не играл. Жадную песню любви пел он. Призыв и восхищение были в ней. Медленно поднималась и опускалась стянутая белым шелком грудь Вис, приоткрыты были ее губы. Шаханшах снова приказал налить вина...

Когда они шли к себе, Вис слегка опиралась на шаханшаха. Он мягко усадил ее, сам уложил в изголовье подушки. А она затуманенно смотрела на него и так была сейчас похожа на Шахру, что ему вдруг почудился аромат роз. Далеких роз из его сада...

– Я слышал, о чем говорил тебе Рамин!– сказал шаханшах.– Много знал я женщин. Таких красавиц нет теперь, которые любили меня. На край света ко мне прибегали от своих мужей, яд принимали, со скалы прыгали!..

Шаханшах ходил по комнате, размахивая руками. Вис сидела на постели прямо, опустив ресницы.

– Нет, не было раньше такого бесстыдства!– решил он и покачал головой.– Было, конечно... Но чтобы при муже, на глазах у всех...

– И никакой Рамин мне не нужен,– совсем трезвым голосом сказала вдруг Вис.– Никого не хочу, кроме тебя...

И она протянула свои белые руки, закрыла ему рот жадными влажными губами. Любопытство, нетерпение, восхищенная покорность были в ее туманных, золотых от гаснущего светильника глазах. Это была Шахру! И так обняла она его, что... что... Наверно, Солнце пригрело где-то в это время талисман...

Шаханшах сразу уснул, а она отрезвела. Глядя открытыми глазами в темноту, молча лежала Вис. На дворе был ветер, холодным дождем заливало окна. Здесь, на горе, ветер был особенно сильным. И вдруг чуткое ухо Вис уловило какой-то посторонний шум. словно кто-то тихо ходил по крыше... Осторожно встав, она позвала мамку. У шаханшаха была нехорошая привычка вскакивать среди ночи и внимательно смотреть, на месте ли жена. Поэтому Вис попросила мамку лечь на шахскую постель и прикрыла ее до головы шелковым одеялом. Сама же набросила на голое тело широкую накидку из белых горностаев и пошла наверх.

Дождь с мокрым снегом залепил ей лицо. Рваные синие тучи неслись по черному небу, задевая крышу. На самом краю неподвижно стояла какая-то тень. Вис подошла и увидела Рамина. Он смотрел на нее и ничего не говорил. Она протянула руку к его глазам и увидела, что они мокрые. Это был не дождь... Рамин весь дрожал. Вис сняла с себя накидку и, обернувшись с ним вместе, легла на крыше. Ой быстро согрелся. И на всей земле никому не было теплей и лучше, чем им...

Как убитый проспал шаханшах всю ночь. Под утро он проснулся и протянул руку к жене. Нежно погладил он ее, но когда дошел до бедра, насторожился. Хузанки это не какие-то там худосочные хорасанки!.. Шаханшах быстро взял ее за руку и почувствовал, что она литая как чугун, и шершавая. Всю стирку для Вис приходилось делать мамке... Так и не выпустив ее руки, страшный крик поднял шаханшах!..

Рамин вскочил и схватился за кинжал. Сейчас он готов был убить брата. Но Вис встала и, сделав знак Рамину, чтобы потише двигался, спокойно пошла вниз. Пройдя в темноте к постели, она села рядом с мамкой.

– Скорей зажигайте огонь!– ревел как тигр шаханшах.– Интересно посмотреть, какую ведьму бросил Арихман в мои объятия!..

– Не пора ли залить водой рассудка костер твоей злобы!– негромко сказала Вис.

Шаханшах сразу замолчал от удивления и выпустил руку мамки. Когда он спохватился и снова нащупал в темноте руку, это была уже Вис. Мамки и след простыл.

– Что же ты молчала, когда я так нервничал?– спросил шаханшах упавшим голосом.

– Ты так сдавил мне руку, что было не до разговоров!– заплакала Вис. Дорого обошлось шаханшаху в этот день его ночное поведение...

Может быть, и приплели эту историю к рассказу о Вис и Рамине. У кого теперь узнаешь?..

ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА

Еще с войны, царю служить повинна,
Не возвратилась войска половина.

Не распустила поясов другая,
Повинность годовую отбывая.

Гургани. «Вис и Рамин».

Да, все чаще ревели теперь военные трубы над миром. На этот раз шаханшах угрожал с Запада румийский кайсар¹. Он обвинял царя царей, что тот хочет войны. Надо было убедить кайсара, что он ошибается. И шаханшах снова велел собирать войско.

Был бы шаханшах помоложе и не одолевали бы его домашние неприятности, он бы нашел способ договориться с кайсаром. Тем, у кого дома все в порядке, нет нужды гордиться... На беду, и у кайсара дома было не все благополучно. А преданные советники имелись у обоих. И такая гордость поднялась вокруг, что даже серых мервских ишаков ставили в пример белым румийским!

Слышались, правда, осторожные голоса, что воевать стало невозможно. В последнее время придумали

¹Румийский кайсар – византийский кесарь.

наливать черное масло в горшки, поджигать и бросать на врага. Это была уже не честная война с помощью львов и слонов, а сплошное убийство... Шептунов быстро переловили, понимая, из чьей реки песок, которым засоряют они чистые души.

Такое войско собрали шаханшах и кайсар, что целый год пришлось его избивать. В язвах от стрел, искушенные и обожженные, вернулись солдаты домой. Не успели они сходить в баню, как опять загремели трубы...

Чтобы узнать, почему случилось это, придется вспомнить о Вис и Рамине... После пьяной ночи шаханшах чуть не умер от сердечной слабости. Целый месяц его мучила изжога. И уже не отварной рис, а голый отвар прописали ему врачи.

Совсем сошел с ума шаханшах, и почти не осталось врачей в Хорасане. По два часовых с каждой стороны кровати ставил он теперь на ночь, а сам спал с острой саблей в руке. В это время и принесли ему письмо от кайсара, которое царь царей разорвал, плюнул на него и бросил обратно румийскому послу. При этом он поглядывал на Вис и крутил усы. Но она ела орехи...

Самая большая в мире крепость Ишкафти Диван¹ была у шаханшаха. На высокой горе стояла она недалеко от Мерва. Пять ворот надо было пройти, чтобы попасть туда. В этой крепости шаханшах и запер Вис с мамкой, уходя на войну. На десять лет обеспечил он их водой и припасами. Но лично закрыл все ворота, поставил на каждом замке большую государственную печать, а ключи вручил своему старшему брату и вазирю Зарду. Его он оставил с большой армией стеречь крепость.

Когда войско дошло до Гургана, неожиданно заболел Рамин. Пришлось его там оставить. Как только осела пыль за войском, Рамину стало лучше. Он сел на своего Рахша и помчался в обратную сторону от Рума...

¹*Ишкафти Диван* – Волшебная крепость.

Мы видели крепость Ишкафти Диван. Восемьдесят три метра высотой эта искусственная гора сейчас, на которой она стояла. А были на горе еще высокие стены, которые обвалились за две тысячи лет. Так что, если правда, что Рамин забросил туда четырехгранную киммерийскую стрелу со своей меткой, а потом влез по топкому шелковому канату, сплетенному из ночных рубашек Вис, то он был храбрым витязем. И на войну не пошел, потому что был занят делами поважнее....

Рассказывают еще об одной молодой и красивой колдунье Зарингис, дочери туранского хакана¹. Она при помощи ворожбы выведала о пребывании Рамина у Вис в Ишкафти Диване и рассказала все возвратившемуся с войны шаханшаху.

Возможно, и была в Мерве какая-то Зарингис, у которой имелись свои счеты с Рамином. Но скорей всего шаханшах сам решил двинуться к Ишкафти Дивану. До него ведь дошли неосторожные слова Рамина, которые он писал матери. А хорасанцы во время войны пекли хлеб из сочной зеленой травы, от которого в их душах было раздолье Ахриману. Иначе чем объяснить, что царь царей не распустил войско, а повел его к своей же крепости? На такие дела у самых глупых шаханшахов ума хватает...

Так или иначе, но придя к Ишкафти Дивану, шаханшах даже не посмотрел на приветствовавшего его Зарда. Он лишь пробормотал себе в усы что-то нехорошее, отчего у Зарда стало холодно в животе.

– А где наш дорогой брат Рамин?– спросил как ни в чем не бывало Зард, чтобы охладить гнев царя царей. Так охлаждают неопытные люди холодной водой горячую сковородку с маслом. Если правда все, что рассказывают, то от гнева шаханшаха потухло Солнце, и звезды разбежались с неба.

¹Хакан – царь у тюркских племен.

Этим, очевидно, и воспользовался Рамин. В наступившей темноте он быстро спустился вниз на другую сторону крепости и убежал в горы. Ему нетрудно было это сделать, потому что Вис за всю войну так и не успела развязать уже известную нам веревку. Эта веревка и погубила ее.

– Что это такое, да?! – спросил шаханшах, показывая на связанные рубашки. Но Вис не слышала. Сердце вырвал и унес с собой Рамин. Пустое окно видела она и ногтями царапала свое чистое лицо. Красная роса капала на ее грудь и живот, на голые ноги. Боли она не чувствовала.

И шаханшах пнул ногой в голый живот. А когда согнулась и упала на пол Вис, он начал бить ее в лицо и грудь. Но чаще всего он старался попасть в живот. От золотых подковок на сапогах царя царей большие пятна вспухали на теле Вис. Янтарными были эти пятна, а также цвета дорогой яшмы и рубина.

Не отрывая глаз от окна, доползла Вис до тахты с золотыми львиными ножками. Шаханшах сбросил ее оттуда и взялся за плетеный кнут с украшенной драгоценностями рукояткой. Чтобы не закрывала она свое лицо, он связал ей дорогим серебряным поясом руки за спиной. Почему не кричала глупая Вис?..

Зато закричала, заплакала, завывала вдруг мамка, которая пряталась все это время под тахтой. И шаханшах тогда бросил Вис и взялся за мамку. Хорошей железной кочергой прошелся он по ее плотной спине, кулаками подправил оба глаза, но быстро устал от ее крика....

В грязный сырой погреб под крепостью Ишкафти Диван бросил их обеих шаханшах, чтобы не видели они никогда Солнца. Черствый хлеб и неотстоявшуюся воду из арыка приказал давать им. А стражу сменил, потому что лучше волку доверить стадо, чем ослу. Так он сказал Зарду...

ПРОЩЕНИЕ ВИС

Подруги наши и грешны и хрупки, –
Всегда прощай возлюбленной проступки!

Гургани. «Вис и Рамин».

– Теперь воздух здесь очищен от разврата! – сказал шаханшах, войдя в свой мервский дворец. Он отдохнул, попил рисовый отвар и приказал позвать гостей. Мудрейшие мужи, непобедимые витязи, самые тонкоголосые поэты собрались у него. Словно триста шестьдесят пять Лун сразу засветились придворные красавицы. Самый лучший в мире игрок на чанге был приведен к шаханшаху. Давно уже не было такого пира в Хорасане.

Как четыреста соловьев, запел и заиграл знаменитый музыкант, но шаханшах махнул рукой, чтобы тот замолчал. Больной и грустный сидел царь царей. В глазах его была недостойная повелителя тоска, усы совсем повисли. Места не находил себе старик...

Как хорошо было раньше, – подумал шаханшах. – Здесь вот сидел Рамин, а не этот прилизанный горлодер. Напротив сидела Вис. Рамин красиво пел и шептал ей всякие нехорошие слова, а шаханшах делал вид, что не слышит. Но он внимательно следил за каждым их шагом... Нет, тогда ему не было скучно!..

Шаханшах сделал знак гостям, чтобы они шли домой. Долго ходил он по пустому дворцу, останавливался и вздыхал... Вот из-за этого угла он увидел однажды, как Рамин прижал Вис к белой колонне и полез к ней за пазуху... На тахте у окна он застал их целующимися. Вис объяснила тогда, что у нее закружилась голова и пришлось прилечь. А через другое окно Рамин залез как-то ночью и сказал, что торопился поздравить шаханшаха с победой над врагами...

Царь царей разделся, взял, как всегда, саблю в руки, но бессильно выронил ее. Зачем ему теперь сабля?.. Так и не уснул он в эту ночь. Даже спать ему было

неинтересно. А утром, когда приехала извещенная обо всем Шахру и зарыдала, забилась на кирпичном полу, шаханшах заплакал вместе с ней...

Собрались люди, стояли в стороне и смотрели. А они горько плакали, взявшись за руки. О чем они плакали, шаханшах Мубад и царица Шахру?..

Потом привезли Вис, и начался пир. Она умылась, припудрила синяки, подвела брови и еще ярче прежнего засияла над миром. Отыскался и Рамин, который прятался на чердаке для голубей. Он взял в руки чанг и сел по правую руку шаханшаха. Вис села напротив, а шаханшах наострил уши. Все было на месте, хорошо, привычно. Давно уже не чувствовал себя царь царей таким счастливым. А ночью, взяв саблю в руку, он сразу заснул как убитый...

Было у них еще несколько скандалов. Последний случился, когда царь царей снова уехал на небольшую войну по соседству. Старые шаханшахи для того и затевают войны, чтобы увести подальше крепких витязей от своих молодых жен. Молодым витязям война не нужна. У них хороший аппетит, и им хватает любовных кровопролитий. Рамин сбежал, конечно, с первого привала и ночью был уже под окном у Вис.

Но шаханшах все предусмотрел на этот раз. Проходы, двери, окна во дворце были окованы решетками из крепкой хиндустанской стали. Лучших румийских мастеров вызвал шаханшах, чтобы они поставили кругом секретные замки. Собственной рукой закрыл он тяжелые литые ворота и навесил золотые печати.

Но это было еще не все. Ахриман давно уже стал верным другом старого шаханшаха. Он и подсказал, кому оставить ключи от дворца.

– Кто лучше вора постережет лавку, – сказал царь царей мамке-хузанке. – Видно, честные дураки не для государственных дел. Пусть они стихи сочиняют. Испытаю тебя, раз уж не обойтись без воров шахан-

шаху. А чтобы в голову плохие мысли не забрели, пересчитай пока жемчуг, который я дарю тебе вместе с этим сундуком. Только не сбейся со счета. Когда вернусь, скажешь, сколько его там. Правильно посчитаешь – дам еще столько же!..

Вот почему Рамин не мог достучаться в большие дворцовые ворота. Мамка внимательно считала жемчуг, а его как раз было на всю войну. Сколько ни пел за воротами Рамин, ничего на этот раз не помогло. Так и уснул он в саду под забором, где сросшиеся ветки карагачей закрывают небо, а из-за кустов инжира нельзя ничего разглядеть даже пригнувшись...

Но Вис... Вис услышала зов Рамина. Как весенняя тигрица, метнулась она вниз к мамке. Но та посмотрела на нее такими пустыми глазами, что Вис отпрянула в страхе. Губы бедной хузанки шептали что-то, дрожавшие руки она прятала в большом сундуке.

Вис побежала наверх, заметалась по комнатам. Кругом были глухие решетки, и даже руку нельзя было просунуть между ними. Вис села на пол и заплакала. Горько, как маленькая девочка, плакала она. Потом вдруг вскочила и начала сдирать с себя платье, туфли, шелковые шаровары. Один жемчуг остался на ней. Она бросилась к окну и начала рваться через решетку...

Как уж это получилось, мы не знаем. Но брызнул, рассыпался под Луной крупный белый жемчуг, а Вис покатилась по крыше. Разрывая влажные ночные ветки карагачей и инжира, упала она в сад прямо на Рамина... Это – единственное место в повести, вызывающее у нас серьезные сомнения. Мы видели, какие в Мерве решетки на окнах... А впрочем, нужно было увидеть Вис в саду. Ободранная в кровь, простоволосая, босая, без единой жемчужинки на теле – что ей были какие-то решетки! Луна потемнела от зависти, увидев, как схватил ее Рамин. Ветер взметнулся над Хорасаном, унося в пустыню счастливый стон Вис...

Этот ветер и разбудил шаханшаха в походной палатке. Накануне светила полная Луна, а сейчас было темно, как в желудке у Ахримана. Шаханшах потрогал рядом походную постель, но Рамина на ней не было. Как тонущий в болоте осел, заревел царь царей!..

Под утро вместе со всем войском он был уже в Мерве. Приказав не шуметь, шаханшах открутил золотые печати, снял сапоги и прокрался к мамкиной комнате. Там у него сразу отлегло от сердца. Все войско можно было заводить к ней, и она бы не слышала. Мамка считала жемчуг...

Уже не скрываясь, прошел шаханшах в спальню и встал на пороге. Вис не было. Он побежал обратно к мамке, но ключи были на месте. Не зная, что подумать, старик выругался и пнул ногой сундук с жемчугом. Он забыл, что был без сапог, бедный шаханшах. А сундук был кованый!..

Вся любовь вылетела из головы у Рамина, когда он услышал вой шаханшаха. В один миг перенесся он через стену и пропал в темном переулке. А Вис спокойно закрыла глаза и ждала, пока ее найдут.

Ждать ей пришлось недолго. Восток уже посветлел, а шаханшах помнил тихий уголок сада у самой стены. Без сапог, хромой, бросился он туда...

На мягкой зеленой траве, безмятежно раскинувшись, спала Вис. Светлые холодные жемчужины были разбросаны вокруг. Прорвавшись через карагачи, ударил первый, самый чистый луч Солнца, и царь царей не посмел разбудить ее!..

Окаменелый сидел он и смотрел на жену. Порозовели жемчужины в траве, теплее стал воздух. Вис сладко потянулась и открыла свои прекрасные зеленые глаза. Она улыбнулась шаханшаху, обняла его за сухую жилистую шею и поцеловала в крашенные усы.

Удивленно оглянулась Вис, когда шаханшах спросил, как она попала в сад. И он решил, что это дэвы

перенесли ее спящую сквозь стену, чтобы испытать царя царей. Еще больше уверился в этом шаханшах, когда увидел Рамина. Во весь опор скакал Рамин ко дворцу на своем верном Рахше. Ехал он с той стороны, где ночевало войско, а к седлу был привязан убитый на охоте джейран...

Так и прошло бы это безнаказанным, если бы не певец Кусан. Они часто, певцы и поэты, подсказывают шаханшахам, где собака зарыта. Из самых добрых побуждений спел Кусан на шаханшахском пиру свою песню. А что получилось?!

ПЕСНЯ КУСАНА

Я дерево увидел на вершине.
Взглянув на ствол, забыл я о кручине...

Под ним бежал родник прозрачный, чистый,
И были травы вокруг него душисты...

У родника, где так трава сладка,
Увидел я гилянского бычка...

Пусть вечно это дерево растет!
Да будет сень его – как небосвод!

Пусть вечно льется чистый родничок,
И пусть пасется рядом с ним бычок!

*Гургани. «Вис и Рамин».
(Притча Кусана)*

Дослушав до конца, шаханшах схватил Рамина за горло. Дело было еще в том, что царь царей снова решил перехитрить свой талисман. Он ведь не знал о хузанском колдовстве и подумал, что вино опять выручит его. Три полных рога, один за другим опрокинул шаханшах. Но вместо юных соков забродила в нем одна горькая старческая безрассудность.

Пока шаханшах выпил свои три, Рамин успел задрать кверху девять рогов. И он так хватил старшего брата рогом по носу, что тот упал и закатил глаза... О чем тут

рассказывать дальше? Еще и не такое случилось у зороастрийцев!..

Жил в Хорасане звездочет, прозванный за красноречие Бехгум-Убеждающим. Он не раз поил Рамина проточной водой мудрости. Но Рамин предпочитал устоявшееся вино греха. Теперь же ему ничего не оставалось делать, как послушать мудреца.

– Плетью обуха не перешибешь, – сказал великий звездочет. – Выше лба уши не растут. С сильным не борись!..

– А как же Вис? – уныло спросил Рамин.

– Мало других на свете, да?!

И Рамин сел писать письмо шаханшаху. Ничего, кроме усталости, не было в его сердце. Теперь уже не нужно будет красться ночью в чужой сад, ожидая стрелы в поясницу. И не надо будет все время смотреть в дорогие зеленые глаза. Солнце, ветреные сады, радостные улицы можно будет опять увидеть. Только вчера прошла мимо него одна колдунья с легкими, чутьдвигающимися плечами. Она еще оглянулась... Когда Рамин кончил писать, мир для него уже сиял, как после тюрьмы или болезни.

И старый шаханшах вздохнул с облегчением, прочитав письмо. Рамин просил назначить его правителем в какую-нибудь дальнюю страну, где он делами своими смог бы прославить шаханшаха. Только Вис молчала...

Она хорошо приняла пришедшего проститься Рамина. Но когда, оглянувшись, он схватил ее, Вис спокойно освободила руку. О дорожных заботах поговорила она, приветливо кивнула головой на прощанье. Веселые переборы чанга доносились из ее окна, когда спускался Рамин по ступеням дворца...

ЖЕНИТЬБА РАМИНА

Что женская любовь? Пустой обман:
На камне разве вырастет тюльпан?

С хвостом ослиным их любовь сравни:
Не станет больше, сколько ни тяни!

Ослиный этот хвост я долго мерил...

Гургани. «Вис и Рамин».

Так думал Рамин, идя по потускневшему Мерву. Горько и обидно было ему. Она забыла его еще до отъезда...

Шла навстречу та самая колдунья с двигающимися плечами. Грустно посмотрел Рамин, и она закусила край покрывала. Безучастный ко всему, пошел он домой и лег на тахту. Впервые увидел Рамин, что балки на потолке прогнулись. Слишком много земли клали на мервские крыши, чтобы не прогрело их Солнце...

Потолок темнел, расходились стены. Ослы в рабаде прокричали полночь. Мертвый свет упал на левое плечо – к болезни. Но Рамин не плюнул три раза налево – от острой молодой Луны. Не поблекнет еще она, и выедет он через желтые каменные ворота на пыльную хамаданскую дорогу. Когда подобреет и округлится эта Луна, где будет он?..

Рамин поднял голову. Кто-то тихо назвал его имя... Закутанный в покрывало, неслышно шел он за мамкой. Лунное лезвие кралось за ним между заборами. У Вис были холодные руки...

Нет, не дала ему радости эта ночь. Никогда не мешала ему раньше Луна. Вис молчала... Облегчение почувствовал он, когда выехал из узких ворот Мерва.

Почему Рамин женился на Гүль?.. Как цветущий сад были ее щеки. Тростниковым сахаром пахли губы. А когда она смеялась, звездный свет плеяд отражали ровные белые зубы. В быстрых глазах ее засело по смелому абхазскому лучнику. Золотая рыбка в чистой воде была Гүль!

Но не этим пленился Рамин. Простой тоненький поясок захлестнул его отдохнувшее сердце. Такой милый был поясок, так плотно стягивал гибкую талию, что хотелось взяться за нее сразу двумя руками. Не пошел бы уже Вис такой поясок...

Мы знаем, как ведут себя в Гурабе. Не успел Рамин открыть рот от восхищения, как Гуль подъехала и поцеловала его в губы. И он сразу почувствовал себя с ней легко и просто. Ему не пришлось придумывать всякие сложные слова для разговора. Они сами выскочили изо рта.

– Сколько стоит сахар на твоих губах? – весело спросил Рамин. – Жизнь возьмешь – продешевишь!..

Какая девушка в Гурабе устоит на ногах перед такими словами. К тому же по отъезде из Мерва Рамин снова отпустил красивые усики. Через три дня состоялась свадьба...

Кто не знает, что Гуль – значит Роза! Целый Гулистан достался Рамину. И не нужно было вечно прятаться, клясться в любви, по десять раз в день попадать из огня в прорубь и обратно. За месяц Рамин незаметно поправился. Рахш каждый раз недовольно поводил ушами, когда хозяин взбирался на него.

При Луне особенно пахнут розы. И Рамин каждую ночь считал их в цветнике Гуль.

– Разве это Луна, да?! – сказал он как-то. – Черной сковородкой кажется она мне рядом с твоим лицом. Как персик твои щеки, уста – рубины, полумесяцем бровь. На две половинки нужно разрезать самое сладкое яблочко, чтобы сравнить с твоей грудью. Совсем как Вис ты при этой Луне!

Кто не пожалеет розу под дождем, когда холодный ветер обрывает шелковые лепестки и бросает их в грязь! А что делать, если заплачет сразу целый цветник? Пришлось Рамину встать, зажечь светильник и писать письмо Вис. Розотелая Гуль стояла рядом и всхлипывала, когда он задумывался.

– Дурак я был, да!– писал Рамин.– Прельстившись твоим серебром, не знал я, что есть на свете золото. В Гурабе я нашел его полный кошелек. Кому нужно дырявое ведро, если есть дубовая бочка. Полжизни замазывала ты мне глаза. Теперь я понял, в чем настоящее счастье. И видеть тебя больше не хочу..

А в конце письма Рамин написал такое нехорошее слово, что и переводить его с пехлеви не хочется.

В те времена не было всяких глупых законов, и письмо Рамина попало прямо шаханшаху. Весь дворец собрал царь царей и прочел его вслух. Особенно обрадовался он последнему короткому слову. На весь зал выкрикнул его тонким голосом шаханшах и посмотрел на Вис. Она смеялась!..

Шаханшах вынул платок и протер глаза. Все смеялись уже вместе с ней. Пришлось посмеяться и царю царей.

Рассказывают, что десять писем отправила Вис Рамину. По ее поручению писал их самый грамотный в Хорасане человек – Мушкин, а отвозил быстрый Азин. Целый месяц плакала, глядя в сторону Гураба, Вис...

Не могло этого быть, потому что в ту же ночь Луна оказалась в созвездии Рака. Если бы не это обстоятельство, трудно было бы врачам определить, почему заболела Вис на следующее утро. Ведь накануне вечером она весело смеялась, а сейчас лежала с открытыми глазами и не слышала, когда говорили с ней...

То, что не ела ничего Вис, мамку не беспокоило. Больше всего испугали ее эти открытые глаза. Ни днем, ни ночью не закрывала их Вис...

И не посылала Вис мамку в Гураб. Мамка сама поехала на том старом хузанском верблюде, который привез ее в Мерв. И Рамину она ничего не сказала. Просто слезла с верблюда и стала молча у дороги, по которой ехал Рамин на охоту.

– Опять ты, старая ведьма!– налетел он и замахнулся плетью.– Мало твоей Вис, что говорят кругом про нас. На базаре стыдно появиться... Нет, хватит позора и

безрассудств. Скажи ей, что не дети мы уже. Пора жить, как все люди...

Рамин не ударил мамку. Еще что-то хотел он сказать, но только ожег плетью коня и ускакал прочь. А мамка взобралась на верблюда и поехала назад.

Когда мамка вернулась, Вис посмотрела на нее и впервые за много дней закрыла глаза. Полежав так немного, она встала и принялась за свои дела...

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАМИНА

Стареет все, но манят вновь и вновь
Отечество и первая любовь!

Гургани. «Вис и Рамин».

Гуль теперь редко надевала поясок. А когда розы день и ночь перед глазами, рад будешь последнему чертополоху. Только бы не пахнул и покрепче кололся...

В это утро Рамин проснулся с привычной тростниковой сладостью на губах. Гуль, как всегда, была без пояска. Он посмотрел на персики, яблочки, рубины, полумесяцы и зевнул. Потом он увидел прекрасные синие горы Гураба. Белый пар лился над полями. Недвижные гурабские кедры стили у самой крыши, на которой они спали. Внизу слышался визгливый крик вперемежку с кашлем. Это Рафед, отец Гуль, ругал пастуха за горькое молоко. Бездельник гонял коров поближе к дому, где росла одна полынь...

И вдруг, дрогнули кедры, зашевелилась трава на полях, вспыхнули и сразу прояснились горы. Гневным взмахом ресниц стер ночь с остывшей земли Хорасан!

Горячим светом обожгло Рамина. Было синее небо Хузана, теплая ночная пустыня с падающими звездами, мокрая крыша с белой горностаевой нежностью. Ветки карагачей трескали от летящей с неба любви...

Рамин недоуменно смотрел на женщину, спавшую рядом. Ничего не понимая, дотронулся он до чужой розовой груди. Она была холодная, как пузырь. Перекрученный поясок валялся в изголовье...

Почему он здесь, что делает?! Рамин вскочил и, надевая на ходу одежду, скатился вниз. Рахш уже ждал, повернувшись к Хорасану. В пылающее Солнце помчался Рамин...

Сухая пыль дороги, ободранные карагачи, грязная вода в арыках – все было такое обычное, что Рамин заплакал. Едущие с базара люди поглядывали на него, но ни о чем не спрашивали. Рахш стоял смирно...

Только когда закатилось за спину Солнце, тронул Рамин коня. Неслышно ступил Рахш на пыльные листья, нападавшие между заборами. Осень была в Хорасане...

Безлунная ночь пропитала Мерв сырым туманом. Темные переулки молчали. Упершись головой в холодную стену, остановился Рахш.

Рамин поднял голову. Слабая звезда расплывалась между оголенными ветками. Хриплым голосом позвал он Вис...

Голос тоже расплылся в тумане. Тогда он крикнул громче. Но как мокрая вата была ночь. Он кричал и плакал внизу, Рамин...

– Почему ты не слышишь меня, Вис?! – жаловался он. – Жизнь проходит. Пустая, холодная ночь вокруг. А я, усталый и растерянный, стою под твоим окном. Вспомни все и посмотри на мою голову. В серебряной паутине запуталась она. Я пришел к тебе, потому что некуда мне больше идти...

Молча плыла между ветками сырая звезда. Жались друг к другу птицы на деревьях. Рамин опустил голову...

Утром Вис впустила его. Она сидела на высоком троне и смотрела на приближающегося Рамина. Никогда не видел он ее такой: в золотом платье, с шахской короной на голове. Из алебаstra было ее лицо, и холодные зеленые камни в глазах были прикрыты ресницами. Все это снилось ему: небо Хузана, пустыни и крыши, ночи белого горячего счастья. Рамин покосился на львиные лапы шахского трона. По широким ступеням

поднялся он и протянул к ней руки. Но Вис толкнула его, и Рамин упал.

– Это не твое место, – сказала она. – Седой и плешивый, так и не стал ты мужчиной. В болтовне и изменах прошла твоя жизнь. Иди на базар и читай там свои слезливые стихи. Такие же седые толстые мальчишки ждут тебя у винной бочки. Перебивая друг друга и заглядывая под каждое проходящее покрывало, вы будете крикливо ругать шаханшаха. А потом разойдетесь по своим цветникам, гордые и удовлетворенные. И будете разбивать фонари по дороге... Что еще тебе нужно?!

И Рамин ушел.

Кровью набухали синие дымные тучи. Рамин прошел к мамке и попросил у нее зеркало. Он долго смотрел на себя, потом вынул прямой парфянский нож и сбрил усики. Мамка испуганно шептала хузанские молитвы...

Рамин сбросил с себя рубашку с шелковыми шнурками и вышел на площадь перед дворцом. Там уже были люди. Откуда узнали они о его приезде и чего ждали?..

С шипением расплзались тучи. От мелких холодных капель потрескивало пламя в храме Огня. Жрецы запели грозную песню восхода. И когда кровь брызнула из Хорасана, Рамин поднял навстречу руки.

– Что ты сделал со мной, старый шаханшах! – сказал он. – Почему я всю жизнь должен красть то, что принадлежит мне по праву?.. Ты ограбил мою молодость. Съежилась любовь и увяла вера от твоего гнилого дыхания. Даже душу мою сделал такой маленькой, что смог заткнуть за свой блестящий сапог... Нет, я оторву твои мертвые пальцы от своего горла!

По праву шаханшаха зажег Рамин священный огонь. И молитву шаханшаха прочел он, объявляя день в Хорасане. Тогда вазир Зард подошел к Рамину и поднял меч, чтобы убить его. Но Рамин вырвал меч у брата и отсек ему голову. С кровью на руках вернулся он во дворец. И Вис протянула ему свою руку...

ЭПИЛОГ

Но тут клыки вонзил в него кабан
И распорол все сердце до утробы, –
И место для любви, и место злобы!

Гургани. «Вис и Рамин»

Да, не Рамин убил шаханшаха. Его и не было в то время во дворце. Между двумя войнами решил старик поохотиться. И вдруг большая свинья выбежала из камышей, опрокинула коня и распорола живот шаханшаху. Никто не видел этого, но так рассказывают...

СОДЕРЖАНИЕ

<i>К. Нургали. Предисловие.....</i>	<i>5</i>
-------------------------------------	----------

КОЛОКОЛ. Исторический роман

Вступление.....	7
Часть первая. Окоём	22
Часть вторая. Два мира	127
Часть третья. Колокол	269

ПОВЕСТИ КРАСНЫХ И ЧЕРНЫХ ПЕСКОВ

Емшан	446
Искушение Фраги	480
Парфянская баллада	511

Литературно-художественное издание

Серия
“БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

Морис СИМАШКО
КОЛОКОЛ

Редактор *А.Кадикенова*
Технический редактор *С. Бейсенова*
Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*
Корректор *К. Нургали*

Разработка суперобложки
дизайнцентра издательства «Аударма»



ИБ №352

Подписано в печать 12.07.2011 г. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура . “NewBaskervilleCTT”. Печать офсетная. Усл.-печ. л. - 30,00
Уч.-изд. л. - 26,5 Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство “Аударма”
010009, г. Астана, ул. Г. Мусрепова, 5/1, ВП-2